

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкарров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят шестой год издания

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Владимир Гржонко

Редакция – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan;
P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff;
I.Sikorsky; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 293, декабрь 2018

© 2018 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.

POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

<i>Маргарита Меклина</i> – Улай в Литве. Повесть	5
--	---

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Андрей Красильников</i> – На краю бездны. Роман I	20
<i>Александр Радашкевич</i> – «На меже непроявленной яви». Стихи ...	161
<i>Вячеслав Шаповалов</i> – «Где вера вернее надежды». Стихи	164
<i>Елена Дудукина</i> – Стихи	168
<i>Андрей Грицман</i> – Межсезонье. Стихи	175
<i>Виталий Амурский</i> – Стихи	182
<i>Александр Мотт</i> – Сельский пейзаж с избранными праведниками и грешниками. Повесть	185
<i>Александр Григорьев</i> – Стихи	230
<i>Сергей Золотарёв</i> – Стихи	232
<i>Татьяна Данильянц</i> – Стихи	239
<i>Ганна Шевченко</i> – Стихи	244
<i>Елена Литинская</i> – Стихи	248
<i>Ольга Иванова</i> – Из цикла «Гость». Стихи	251

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Л. М. Савелов</i> – Три речи (Публ. – <i>Андрей Любимов</i>)	253
<i>Ирина Анастасьева</i> – «Горьким словом моим посмеюся...» Переписка М. Алданова и Л. Штильмана	262
<i>Виталий Амурский</i> – Пространства и ориентиры А. Гинзбурга в годы изгнания	296

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Марк Уральский</i> – Молодой Алданов. Глава II На литературной стезе	309
<i>Елена Дубровина</i> – «И жизни не было, и смерти нет» О поэзии Владимира Смоленского	332
<i>А. Е. Климов</i> – Солженицын смотрит на Америку	348

КНИГА И СУДЬБА

<i>Наталья Червинская</i> – Записки читателя. Часть II	363
--	-----

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Андрея Битова. 1937–2018	385
<i>Владимир Нузов</i> – Памяти друга	386
ОБ АВТОРАХ	387

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

Маргарита Меклина

Улай в Литве

Короткая повесть

I

Я открыла глаза.

Похожий на древнего крупного рыцаря, он лежал рядом со мной, и его острый мужественный профиль резко выделялся на простыне. Меня поразила его странная бледность. Волосы на лбу были спутаны, и борода больше не выглядела такой неприятной, как ночью.

Его рельефные кисти, так меня заводившие (нет ничего прекрасней для женщины, чем хорошо вылепленные мужские руки), сейчас были спрятаны под простыней. Глаза полуприкрыты, а веки обрамлены пушистыми ресницами, будто у девушки. Длинные волосы не разметаны по подушке, как вчера утром, когда я тоже так за ним наблюдала, а будто каким-то комком прижаты к его голове.

II

Мне пришлось столько лгать, чтобы узнать всю правду о том, кого я любила!

И теперь, через десять лет после поездки в Литву – а с Улаем мы встретились в июле 2008-го – я спрашиваю: куда всё это делось? Почему ушедшие в небытие живописные жесты Джеймса Ли Байарса или сообщения о сенильных выставках Улая (в розовом чепчике, в штанишках, как у младенца, с голым старческим торсом, он царапает на мелованном зеркале скрипучие цифры) вызывают у меня теперь лишь смехок? Почему сердце больше не бьется в восторге при виде мраморно-гладких плеч арт-каталогов?

Почему, когда я читаю, что Улай и Марина Абрамович расстались, а потом помирились, а потом снова поссорились, когда Улай подал на нее в суд за то, что она не разрешала ему использовать их совместные снимки, а затем опять встретились и обнялись на ретроспективе в Нью-Йорке, и объявили, что будут вместе писать мемуары, – заставляет меня думать о продажности так называемого «мира искусства»?

Более того, почему вместе с ушедшими в Лету чувствами мне хочется, чтобы туда же канул *артворлд*?

Уточню: не Улай был предметом моего любовного интереса. Моим «молодым человеком» был вовсе не молодой человек. Меня очаровал почти что старик, артдилер с красиво раскрашенным прошлым и сделанными в лучшей клинике Голливуда зубами, — но он был женат, он вовсе не собирался для меня разводиться; за несколько лет без телесных страстей он забыл, как сохранять ровный ритмичный напор, и поэтому сдувался быстрее, чем шарик, выпустив из себя пшик преждевременного удовольствия... более того, он умер через пару лет после знакомства, а я осталась разгребать внутренний бурелом, который, вместе с дозами спермы и каплями красок неоэкспрессионизма, подарил мне этот артритный арт-коносьер.

Более того, я зачем-то обращалась ко всем его протезам после смерти, чтобы узнать, чем же он жил, какие секреты унес с собою в могилу!

Это теперь, подвешенная посреди омытой дождем ирландской листвы в своей стеклянной светелке, я грущу, замечая в углы осколки прошлых эмоций, — а тогда была горда тем, что в скучном силиконовом разливе Северной Калифорнии смогла выловить личное — живописное! — чудо.

Экскурс в прошлое: мне двадцать пять, у меня есть работа, которая мне поднадоела; отдельная квартира с оградой из деревьев и балконом снаружи, полеживание на короткой кушетке с детективом Марининой и оранжевыми куриными крылышками *Buffalo Wings*, и вот — внезапная страсть... Он искал картины, необычных художников, — а я, получается, искала его. Несколько мужчин тогда были заинтересованы во мне, сколько-то женщин. И вдруг эти затемненные страстью глаза, эти сигары, роскошная кожа портмоне и ремня, вальяжная речь.

Но однажды, после одной быстро выдохнувшейся ночи, в грустной гостинице на берегу Стеклоанного пляжа, когда он сразу заснул, а я долго бродила по комнате, закутавшись в полотенце, наутро он произнес: «Я вряд ли смогу быть одним-единственным для тебя. Почему бы тебе не начать встречаться с кем-то другим? Я не в состоянии быть для тебя всем. Но могу тебя поделить».

Это как коллекционеру предложили бы обладать только частью картины!

Сердце ухнуло. Ведь я уже представляла себя владелицей галереи, его правой рукой, куратором-самоучкой от Бога...

А потом он рассказал мне про Байарса:

«Южная Калифорния. Пасадена. Шекспировский сад. Джеймс Ли Байарс в золотых одеяниях. В черной маске, цилиндре. Профессор МакЭвилли с пафосом академика произносит несколько тщательно подобранных слов. Джеймс раздает конфетти. У каждого присутствующего в руках кружочек с малюсенькой точечкой в центре. При рассмотрении точка оказывается английской буквой Р.

The perfect moment!

В честь перфекции, в честь совершенства!

Зрители и разочарованы, и восхищены этим стремительным, смелым, быстро оконченным действием. Только кто-то успевает раскрыть рот, чтобы спросить, что всё это значит, – как Джеймс исчезает».

Исчезла и я.

III

Один художник хотел превратить смерть в произведение искусства.

Для этого он повесил объявление в местной газете в поисках умирающего, которому врачи сообщили, что тот скончается в течение ближайших нескольких дней. Смертельно больной человек должен был прийти в арт-галерею и умереть под взглядами зрителей.

Только художник поделился этой идеей с куратором, как куратор оповестил директора галереи, а тот – встревоженных доноров и арт-коносьеров – и выставку запретили. Художник, не желавший оставить в покое эту задумку, все же организовал некий перформанс: только мертвым человеком был не заарканенный газетным объявлением, близкий к смерти, пришелец, а он сам.

Он неподвижно лежал посреди пустой комнаты со странно светящимся белым окном, вытянув руки по бокам худого тела, как будто был мертв.

IV. ЛЕБЕДЬ И ЭЛЬЗА

Сразу же после холодных слез Стеклянного пляжа я позвонила своему давнему воздыхателю А. Результатом этой встречи было совместное барбекю где-то в Сономе и навеки запомнившиеся вздущиеся сардельки размером в несколько пальцев. В то время, как мой арт-старик быстро сдувался, Антон Сократов (назовем его так) страдал приапизмом, но мне тогда нравился этот непреходящий напор. Я забеременела. Последовала поспешная свадьба.

Антон был совладельцем игрового портала и вскоре, чтобы уменьшить налоги, перевел главный офис компании из Калифорнии

в Дублин, куда в качестве жены перевел и меня. За этим побегом последовало рождение дочери по имени Эльза.

На всех оставшихся с того времени фотографиях она выглядит как совершенная, с мраморными чертами лица, ангельски красивая кукла в белых рельефных вязаных ползунках, только подчеркивающих какой-то неземной источник, благодаря которому она появилась. Антон, прежде детей презиравший и часто отсаживавшийся в ресторанах от столика с примостившейся рядом коляской, сразу к ней привязался. Но что-то в отношениях наших не ладилось, ведь он всячески препятствовал любому моему выходу в свет без него. Я пробовала себя в журнализме, писала статьи о местном жилищном кризисе (студентам, иммигрантам, официантам приходилось делить постель на двоих, спать по десять человек на одну комнату, как в солдатских бараках), о запредельной местечковости ирландских *literati* и особенно исполнителей «трада», не принимающих другие национальности в свой кадрилино-кровосмесительный круг, а Антон только презрительно кривился, заведя мое имя в газете.

Более того, когда мне предложили позицию репортера, он отказался помочь мне купить машину, а когда я всё же приобрела развалюху, однажды утром я обнаружила, что у нее проколото заднее колесо, а вокруг – как будто этого мало – разбросаны битые стекла. Антон не признался, но что-то в его поведении говорило, что это был он. Ведь столько раз он указывал мне, что задача женщины – воспитывать детей и готовить для мужа. И, видимо, эта моя неудовлетворенность собственной недоовоплощенностью сказалась и на моем отношении к дочери. Я была слишком резкой и нервной, о чем теперь сожалею. Стыжусь своего нетерпения. Осознаю ошибки, лишь оказавшись вдали от нее.

Вспоминаю. Какие-то полтора года назад. Эльзе – четыре. Мы отдыхаем в Англии неподалеку от озера У., и она упраскивает меня покататься на механическом лебедке. Очередь на него извивается, как лебединая шея; наконец два молодых работника в белых теннисках выдают нам жилеты; Эльза рвется к воде, а я, в отвисших сзади черных штанах и мужниной бесформенной футболке, пытаюсь ее удерживать. Наконец работник машет рукой, и мы проходим к массивной железной конструкции-«лебедю».

Отходим от пристани мы без всяких проблем; помня, что работник уведомил нас, что всё плавание должно уложиться в двадцать минут, я жизнерадостно кручу педали, желая показать виднеющийся в конце пруда водопад своему малышу. Лебедя заносит вправо, и я периодически иду задним ходом, не зная, как его развернуть. Тем временем Эльза ставит короткие детские ножки на педали со своей

стороны (наши педали при помощи длинной оси вращают те же самые лопасти). Чем сильнее я кручу свои, тем мощнее ее ударяют по ее голеним, и поэтому, пытаясь развернуть непослушного лебедя, я перемежаю кручение педалей криками: «Эльза, убери ноги, Эльза, я тебя покалечу, Эльза, тебе попадет».

Любопытная Эльза спрашивает, зачем на ней надет красный жилет и спасу ли я ее, если она окажется за бортом. Я говорю, что, конечно, спасу. «Эльза, мы приближаемся к водопаду, смотри, куда мама тебя завезла», — обращаюсь я к ней, и в это время лебедя снова заносит; он начинает клониться, и я пытаюсь его развернуть, а Эльза, такая чудесная в этот момент, со своим дымчатым взглядом и кудрявыми волосами (прохожие все время меня останавливали, чтобы отвесить нам комплименты) тем временем полощет в воде свою новую, розовую, с вышитой бабочкой, кепку.

Опасаясь, что она сейчас свалится, крутя педали и видя лишь ее зеленую спину в футболке, я тяну за болтающуюся передо мной зеленую ткань. Всё это оказывает на Эльзу нулевое влияние. Продолжая крутить педали и вплотную подойдя к отороченному заградительной веревкой искусственному водопаду, я принимаюсь кричать: «Водопад, водопад», — но она продолжает склоняться за борт. Я сильнее тяну зеленую ткань, таким образом стянув ворот футболки, осознавая, что начинаю ее душить.

Эльза дергается и пытается вырваться. Ее кепка падает и плывет по воде. Во что бы то ни стало я должна отнять у воды эту бесценную, подаренную Эльзе моим отцом вещь (мой папа недавно скончался, и поэтому я трепетно отношусь к любому напоминанию о том, что когда-то он ЖИЛ). С берега кричат: «Забудьте о кепке», но я уже склоняюсь за борт, создав для лебедя опасный наклон и продолжая тянуть подол Эльзиной зеленой футболки. С берега опять кричат и машут руками, предлагая оставить тонущую кепку в покое! Тем временем Эльзе удается каким-то образом ее подцепить, и я вижу довольное, забывающее водой лицо своей дочери.

Когда мы с грехом пополам задом приближаемся к пристани, лебедь сходит с ума. Он то заходит слева, то норовит задом ударить другие подплывающие к пристани лебеди-лодки. На берегу стоят четыре работника. Один кричит: «Лови его здесь», другому не удается схватить лебедя за железную шею, третий никак не может изловчиться, когда лебедь проплывает мимо него, и когда я спрашиваю четвертого: «Как мне подплыть? Он ведь умеет поворачивать только вправо», — мне отвечают: «Поверни рычаг влево», — но, несмотря на все эти советы и кручение педалей и рычагов, лебедь бешено крутится на одном месте.

Неожиданно он опять направляется в сторону водопада. Тем временем моя четырехлетняя дочка просит меня: «Мама, оставь все слова в море, пожалуйста», и я недоуменно на нее уставляюсь: «Какие слова?» – «Плохие и злые слова, которые ты мне говорила.» А я и не помню уже, какие слова кидала ей в бешенстве, когда она склонялась за борт.

* * *

Теперь Эльза где-то в России, далеко от меня, а у меня осталась лишь ирландская изумрудная зелень, прогулки на велосипеде, общение с корморанами и людьми с подзорными трубами, сожаления о поспешном побеге от арт-старика и скоропалительной свадьбе с Антоном, а также – лиса.

V. ЛИСА И БАЙАРС

Южный Дублин. Река Доддер. Предвесье лета. На берегу вырастает толпа. Все стоят в ожидании. В Инстаграме уже появилось несколько снимков. Кто-то вывесил короткий фильм (оскал, прыжок) на Ю-Тюб. Люди ждут, вглядываются в зеленую поросль на другом берегу. На лицах – терпение. На теле – теплые жилеты с карманами; на ногах – прочные брюки, удобные туристские башмаки. Некоторые прохожие и бегуны, а также велосипедисты, ничего не дождавшись, уходят. Вдруг в траве начинается шевеление. Сквозь траву пробирается какая-то рыжая масса. Добравшись до кромки берега, лиса (ее, наконец, становится видно) открывает пасть и что-то хватает. Звуков не слышно, но ясно: она что-то жует. Телескопы уже наведены на ее зеленую сцену, на небольшой песчаный кружок посреди сочной травы. Глаза устремляются к месту, которое ей полюбилось. Люди кидаются к окулярам, раздаются щелчки. Какое-то время лиса сидит под лучами редкого, яркого ирландского солнца, снискав взгляды своих почитателей. Затем, сразу же после этого короткого выхода в свет, она исчезает.

Лос-Анжелес. Лето. Жара. В огромной аудитории собралась толпа, ожидается Байарс. Весь город увешан плакатами о его представлении. Байарса нет. Люди ждут, вглядываются туда и сюда, предполагая, откуда он может сейчас появиться. На лицах терпение. На теле – футболки с граффити, джинсовые куртки; на шее – фотоаппараты, фуляры. Некоторые, не дождавшись представления, принимают-ся расходиться. Наконец открывается дверь. Не главная, а запасной выход – незаметное отверстие в конце зала. Зрители пристально смотрят туда. Джеймс входит (глаза его полуприкрыты шелковым

черным шарфом) и как бы парит над толпой. Этакое ночное видение, фигура из прошлого, романтический рыцарь... Дойдя до середины зала, он медленно произносит какое-то слово. Губы шевелятся, но звука не слышно. Присутствующие, боясь пропустить происходящее, спешно делают снимки. Кто-то потом утверждает, что скорее всего он произнес *«perf»* – первый слог «перфекции», ведь совершенство – это его любимый концепт, но с полной вероятностью ничего утверждать невозможно.

Выдув губами нечто, он исчезает практически сразу после короткого выхода в свет.

VI. ХУДОЖНИК И КРИТИК

Лучшим другом Байарса был арт-критик Том МакЭвилли, который, по словам Улая, начал карьеру с написания школьного порноромана, продававшегося в виде пухлого томика в каждом ларьке.

Именно МакЭвилли находился в течение суток рядом с телом умершего Байарса в американском посольстве в Каире, пытаясь добиться разрешения на его похороны в Египте.

Именно МакЭвилли был свидетелем сцены между египетскими клерками и вдовой, вызванной в Каир, чтобы забрать вещи мужа и узнавшей, что она должна платить по счетам, так как покойный муж задолжал деньги нескольким галереям...

Описывая многолетнюю дружбу с Джеймсом Ли Байарсом в журнале «Искусство Америки» в 2008 году, МакЭвилли скрупулезно, учёно, учебно доложил нам все факты.

Однако сухой и желчный арт-критик то ли не нашел слов, чтобы выразить чувства, переполнявшие его рядом с мертвым телом великого друга, то ли посчитал, что последние моменты жизни художника совершенно недостойны войти в арт-журнал.

Таким образом, настоящая жизнь – та, в которой мертвое тело лежало, окруженное египтянами, и над ним с алчными галерейщиками пререкалась не любившая ни его, ни его штучек вдова (вскоре она снова пошла под венец) – так вот, настоящая жизнь Байарса просочилась сквозь его пальцы.

VII

Догадавшись, почему Сократов так любил читать биографии Сталина и Наполеона и почему он, зарабатывая кучу денег, выдавал мне ежемесячно на проживание жалкую сумму и прятал наши с дочкой паспорта в металлический сейф, я подала на развод. Увы, едва унюхав трещину в отношениях, Антон скоропалительно перевез пятилетнюю Эльзу в Рязань к своей матери на все три летних месяца –

я же осталась в съемной комнатке в Южном Дублине абсолютно ни с чем.

Ну, то есть – как это ни с чем!

Стоило мне заикнуться о наличии собственной комнаты, как Сократов выставил за дверь все мои вещи, и там-то, посреди авторучек, тетрадок, ремней, коробок с контактными линзами и старых нетбуков, я углядела потрепанный пухлый конверт, а в нем – плотный черный квадрат. Это было подаренное мне Улаем в 2008 году посмертное издание «Смерти Джеймса Ли Байарса».

Буклет о собственной смерти, над которым смертельно больной Байарс работал в Каире со своими друзьями!

Сразу все прошедшие годы прошли передо мной.

Я – юная девушка, одержимая любовью к искусству.

Затем – недолговременная спутница немолодого арт-дилера, одержимая любовью к нему.

Затем – жена процветающего программиста, обожавшего свои сардельки и барбекю и кривившегося при упоминании Фрэнсиса Бэкона!

Наконец – мать, оказавшаяся вдали от малыша!

Я почти что винила в ситуации, в которой сейчас оказалась, любовь к арт-галереям!

Ведь я так была очарована рассказами о Джеймсе Ли Байарсе и его воздушном выдувании «П», что сломя голову бросилась в омут любви, а потом так же быстро сбежала – и к кому! – к контрол-фрику, который не позволял мне укутывать ребенка промозглыми ирландскими вечерами! Который не разрешал мне давать ей воду, сок, вообще любое питье, когда мы ехали в автомобиле, обосновывая всё это тем, что малышка запачкает интерьер! Который заглядывал в щелку, когда я укладывала Эльзу спать, и стоило мне начать подтыкать одеяло, чтобы ей было уютней, как он сразу врывался в полутемную спальню и просил дочь расцеловать его в обе щеки!

Меня он при всём этом не замечал.

Сейчас, скупая по Эльзе (проживающая в Рязани Раиса Софокловна, мать Антона Сократова, разрешала мне разговаривать с ней по Скайпу только по воскресеньям) и готовясь к экзаменам на медицинского переводчика, я проклинала нынешнее постыдное прозябание на окраине посреди зимородков, корморанов, скачущих за окном желтогрудых синиц, а также лисиц.

В моей небольшой комнатке в тонкостенном, плохо прогреваемом доме, населенном бразильцами, литовцами, поляками, румынами, венграми и португальцами (не в состоянии позволить себе хотя бы студию, я угодила в собственную статью про дублинский жилищ-

ный кризис), не было ничего, кроме буклета с изображением мертвого Байарса и Эльзиных фотографий.

А в душе – моментальные снимки: Эльза в переноске у меня на груди; Эльза бежит от меня в середину пышущей жарой и прохожими улицы; Эльза, подбирающая камни на пляже, и Сократов, углубленный в себя, – а я испуганно слежу то ли за умозрительной акулой, то ли за волной; Эльза, вбегающая в Н&М и сразу же прячущаяся под одной из вертушек с одеждой, так что я не могу найти ее сразу и начинаю паниковать, пока продавщица не выговаривает мне: «Следите лучше за вашим ребенком, посмотрите, вся одежда свалилась», и я сразу бросаюсь к трясущейся от хохота вешалке!

Эти воспоминания перемежаются с воспоминаниями о любви к искусству, которую, ревнуя меня к моему прошлому, Сократов не поощрял.

Вот «Журнал на Невском» и моя глянцевая статья «The Perfect Kiss»* о Джеймсе Ли Байарсе в ней, затеянная, чтобы вызвать признание арт-старика... я описала там, как Байарс раздавал воздушные поцелуи в Китае, где на публике не принято целоваться...

* * *

Она так и стоит у меня перед глазами.

Украина Южного Дублина. Аккуратная набережная – расчерченная на две части дорожка для пешеходов и велосипедистов – и слева речка по имени Доддер: с прибрежной осокой, неспешно плывущими утками (иногда среди них попадаются мандариновые!) и валежником на другой стороне. Какие-то люди с подозрными трубами, в теплых куртках, в туристских ботинках толпятся, сгрудившись, в самом начале реки. Треножники их фотокамер увиты травой.

Один мужчина меня подзывает. Его красные денатуратные глаза и такие же красные дерматитные щеки, а также некая неопрятность указывают на алкогольную страсть.

– Он спит. Видишь в траве?

– Кто?

– Лисенок. Тут лишь его левое ухо, а всё остальное скрыто кустами.

Я приникаю к его окулярам. Бабочки, листики, насекомые. Подзорная труба всё сделала близким.

Вот мой старый блокнот, где я записывала всё, что мой много повидавший любовник рассказывал о добывании бриллиантов для Байарса и немногословном ужине с Уорхолом... вот мои заметки о

* Совершенный поцелуй (англ.)

Йоко Оно, участвовавшей в организованном им арт-шоу и покрасившей все шахматные фигуры одним цветом... никаких враждующих группировок, а вместо этого – гомогенно-белый мир и гармония... И почему, почему постоянно всплывает воспоминание о недавней встрече с лисой?!

Ухо еле заметно подвинулось. Оно было с едва различимой черноватой каймой, и если бы этот бывалый денатуратный мужчина не сказал мне, что это лисенок, я бы все пропустила. Часами он простаивал на одном месте и вглядывался в далекий мех. В это еле заметное подергивание уха, в этот почти неразличимый абрис тела в траве, ожидая, когда звереныш проснется.

Как будто это движение и было искусством, как будто первый вздох проснувшегося существа и был тем самым совершенным моментом, ради которого Байарс устраивал свои выставки!

Стоило уху чуть приподняться, как на секунду отвлекшиеся от камуфляжных труб люди, как по команде, спешили к своим окулярам...

Устав вглядываться в небольшой, застывший посреди травы рыжий кусочек, и вспомнив о грядущем экзамене на переводчицу, чтобы наконец избавиться от финансовых пут Антона Сократова, я поблагодарила мужчину за рассказ о лисе и продолжила путь.

VIII

Приехав на велосипеде домой, я, наконец, нашла в себе силы рассмотреть этот буклет.

Черная, как гроб, коробка.

Внутри нее – золотой диск.

Стоило распахнуть крышку, как лицо Байарса появилось передо мной.

На нем – красная шляпа и золотые очки. Байарс сидел на боличной кровати в Каире, где ему суждено было умереть через четырнадцать дней, и улыбался.

Буклет, в котором описаны его последние дни (а также эпизод с шампанским, про который мне рассказал Улай), был тоже черного цвета. Он возлежал на подушечке из розовой гофрированной бумаги, утопая в мрачной коробке-гробу.

Десять лет назад, когда я подняла эту розовую, как пена на губах, бумажную сущность, я отшатнулась: под розовым гофрированным облаком помещалась другая фотография Байарса: худое, истощенное, желтое тело, череп, обтянутый кожей, страшный, натужный оскал. Руки его были вытянуты вперед, как будто из могилы просили о помощи. Высохшая мумия, иссохшее тело, обратная изнанка Луны...

Друзья Байарса, помнившие его живым, передавали из рук в руки этот мертвый буклет.

Почему-то только теперь, когда тоска по Эльзе пересилила всё остальное, я смогла взглянуть смерти в лицо.

Я вспоминала свой неудачный, но такой глубокий, проникнутый любовью к искусству, роман и истории про Джеймса Ли Байарса на берегу реки Доддер... я брала с собой его каирский песок и пересыпала его из рук в руки посреди ирландской листвы... я читала, как он позвал к смертному ложу танцовщиц живота...

И всё это время надо мной как бы парила эта Лиса, только периодически выходявшая к публике; эта Лиса, чьи безмолвные прыжки по траве почему-то напомнили мне Джеймса Ли Байарса; эта Лиса, за которой хвостиком бегал Лисенок.

Может быть, этот Лисенок был Эльзой?..

IX

Сидя в своей крохотной комнатке на окраине Дублина, я погружаюсь в давнюю переписку. Письмо Кэти Бру! Когда-то она работала ассистенткой в арт-галерее. Под предлогом написания монографии я ей тогда позвонила. Результатом была встреча в баре Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. Мне абсолютно ничего не запомнилось, кроме того, что на мне была дискотечного вида рубашка «Чарльз Тирвит» в красный горошек, а Кэти больше напоминала модель, чем ассистентку: арт-старик любил окружать себя красивыми женщинами!

Какое-то время мне удавалось всем врать – Кэти, Улаю, Чаку Клоузу, Фицпатрику, Николе, Томасу МакЭвилли, Роберту Моррису – что я действительно собираю материал для новой книги. На самом деле я собирала материал для себя: прочно огражденный семьей, долгами и тайнами, арт-старик так и не впустил меня в свой внутренний мир.

Я вошла туда лишь после его смерти.

По пути почитая и всех, кого он почитал.

Джеймс Ли Байарс был одним из его протеже.

Кэти пишет мне 24-го мая 2007-го:

«Вчера была десятая годовщина со дня смерти Джеймса Ли Байарса*. Мы с подругой решили встретиться и отобедать в честь этой даты.

Джеймс частенько мне говорил – ‘Кэти, пусть на тебе сегодня

* Джеймс Ли Байарс умер 23 мая 1997 года в Каире.

будет одежда красного и черного цвета' – и вчера я будто услышала его голос и надела красное платье, а поверх него – черный пиджак.

In honor of the golden man... В честь золотого мужчины... День уже с утра показался особенным. Солнце, блестящая гладь... Мы с подругой облокотились на огромные валуны и уставились на озеро в парке. Там какие-то люди скользили туда-сюда на байдарках... и мы обе, не сговариваясь, представили Джеймса Ли Байарса в гондоле в Венеции...

Неожиданно черная птица с красными крыльями села рядом с нами на один из камней... Мы затаили дыхание. Птица сидела и не улетала. Мы догадались, что это реинкарнация Джеймса Ли Байарса!

Байарс превратился в эту красивую черно-красную птицу с небольшим золотым пятнышком под крылом, напоминающую нам о мужчине, который одевался во все золотое».

Х

В следующий раз я проезжала мимо речки на велике. Как обычно, на набережной собралась толпа. Я прислонила велосипед к ограждению. Встала позади монументального богатыря в джинсах-клешах, в брезентовой куртке. У него была бритая нежно-розовая голова, вкушавшая солнце. Расположившийся рядом со мной мужчина в шапочке цвета хаки достал что-то из рюкзака и принялся кидать на другой берег.

На том берегу что-то мелькнуло. Я увидела хвост. Лисица проскользнула ящеркой к самой кромке воды и что-то схватила, а затем скрылась в зеленой траве.

Я перешла вправо и заняла новый наблюдательный пост. Оказавшаяся рядом женщина с желтой коляской с младенцем воскликнула:

– Ты всё пропустила. Она только что была тут, а сейчас, скорей всего, пошла спать.

Я снова вперилась взглядом в траву на другом берегу. Вдруг, рассекая траву, в поле нашего зрения попала лиса. За ней семенил маленький светлый лисенок.

Она села у кромки воды и уставилась на камуфляжные трубы. Раздалось щелканье. Лиса сидела, глядя на людей, как будто позируя. Ее пасть слегка раскрывалась – возможно, она что-то жевала, возможно, выдувала губами *Perffff... Perffff* – совершенство! *The perfect moment!* Совершенный момент!

Я будто слышала байарсовский легкий выдох, присутствуя при этом неординарном событии...

Как только фотографы сделали снимки, лиса испарилась в высокой траве.

XI

Окрестности Вильнюса. Июль 2008-го. Улай с напрягшейся челюстью вцепился в баранку. Он так часто становился дерганным, нервным! Незнакомая местность его явно пугала.

Перед нами простиралась литовская пыль. Мужик с топором шел по обочине. Водитель легковушки, проезжавшей по встречной, осклабился, поднял в знак приветствия руку. По шоссе передвигались люди с корзинами.

«Что они ищут? Вот чудак! – указал на них Улай и сам же ответил себе. – Наверно, грибы?»

Покинув Богом забытый литовский хутор, мы ехали в Вильнюс.

«Мне хотелось бы взять у него посмертное интервью, – сказала я. – Ведь Байарс просто носился со смертью!»

«Не думаю, что тебе это понравится, – возразил Улай. – Байарс был просто невозможен как человек. Венди, его жена, еле выносила его в последние годы. Не зря она за бесценно распродала потом все его книги».

«Я могла бы проинтервьюировать его дух!»

Улай, будто не слыша меня, смотрел на дорогу. Затем рассказал:

«Да вот тебе случай... После перформанса в бахмановской галерее...

(тут я вздрогнула, ибо он упомянул выставочный зал моего артиста)

...мы все пошли в ресторан. И Байарс заказал – за счет Бахмана, разумеется... бутылку дорогого шампанского. Открыл и перевернул ее вниз головой одним махом! И принялся шлепать рукой по этим лужам. Шлепал и шлепал. Брызги летели в лица людей.

Затем заказал другую – и также перевернул. Все от него отсели подальше, не желая запачкать одежду. Я попросил его прекратить, а он так и не остановился, превращая всё в этакий неприятный перформанс...»

Улай брезгливо пошлепал рукой по воздуху, потом снова вцепился двумя руками в баранку. Добавил:

«Вот такой Байарс был. Со сложным характером. Если приблизишься к нему не с тем вопросом, он сразу вышвырнет тебя из своего загробного мира».

XII

Сдав экзамены на переводчицу, я ехала на велосипеде к реке. Правильным ли было мое решение уйти от Сократова? Что мне теперь делать, как добиваться возвращения Эльзы? Кто я теперь, особенно в глазах ирландцев, для которых дети – это святое? Тут аборт запрещались аж до этого самого дня, до пятницы 25-го мая, когда вся страна вышла на референдум и в жесточайшей борьбе наконец вынесла решение «за»^{*}?

Юрист на берегу другой дублинской речки под названием Лиффи только недоуменно таращил глаза, не понимая, как Сократову удалось вывезти из Ирландии без моего разрешения дочь... а тот прикрыл и весь гейминг-бизнес, и отправился туда же, в Рязань, и поэтому мои родительские права и развод должны были решаться по месту жительства ребенка, в России... а кто в России не знает, что правосудия нет?

В смятенных чувствах, услышав от Сократова, что он в Ирландию возвращаться не будет и дочь не отдаст, не желая, чтобы она воспитывалась ТАКОЙ, КАК ТЫ, МАТЕРЬЮ, я спешила к лисе. Мне хотелось, чтобы в моей жизни хоть что-то было стабильно. Чтобы на берегу Доддер я могла остановиться и впитывать в себя медленно текущее время. Замереть, пытаясь обнаружить в реке мандариновых уток или услышать еле внятные шорохи камыша. Разглядывать водопад и восхищаться изумрудной зеленью зимородков. Ждать, когда на освещенную редким ирландским солнцем песочную сцену выйдет рыжее существо.

Но уже издали я заметила, что на том месте, напротив которого под вспышки фотографов выходила лиса, никого не было. Набережная была абсолютно пуста. Ни прочных курток, ни камуфляжных подзорных труб, ни туристских жилетов.

Сердце вдруг защемило. Я слезла с велосипеда и стояла одна посреди гранитной набережной, вглядываясь в песочный пятачок, полускрытый высокой травой. Что мне делать? В какой суд обращаться? Как вытребовать обратно свою малолетнюю дочь? Возможно ли разрешить ситуацию, в которой я оказалась? И кто я теперь? Любительница современного искусства без галереи... Способная горячо любить женщина, оставшаяся без спутника жизни? Вдумчивая, чуткая – а порой слишком замученная и задержанная – мать без детей?..

И в этот момент я увидела легкое шевеление. Заросли осоки чуть сдвинулись, и на сцену выпрыгнула лиса по имени Байарс.

^{*} 25 мая 2018 года Ирландия проголосовала за разрешение абортов в стране.

Его губы чуть шевелились. Похоже, он улыбался.

Творец. Создатель возникающего на глазах и исчезающего моментально искусства.

Искусства для одного одинокого зрителя.

Ведь только я видела, только я слышала, как, выдувая воздух, еле слышно он произносит: *Perffff! Perffff!*

The Perfect Smile!

The Perfect Moment!

The Perfect Death!

The Perfect Kiss!

*The Perfect Question!**

2008–2018

* Совершенная улыбка! Совершенный момент! Совершенная смерть! Совершенный поцелуй! Совершенный вопрос! (*англ.*)

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Андрей Красильников

На краю бездны*

Если хочешь *знать* историю,
читай толстые монографии.
Если хочешь *понять* историю,
хорошенько поройся в семейном архиве.

ПРОЛОГ

Восемнадцатый век долго и нутжно преображал Россию. К его середине страна по-прежнему не имела университетов, театров, художественной академии, сочинителей романов и музыкальных опусов. Первые сорок лет, если не брать в расчет строительство новой столицы и метания между нею и старой, ушли на переустройство бюрократии, рекрутчины и крепостничества. Да на обновление причесок, костюмов и введение новых увеселений.

Потом за дело взялась Елизавета. Шутов при дворе сменили пииты, наушников – дипломаты; появились первые отечественные профессеры.

И в нравах сильно помягчело. Постылым фавориткам голов больше не рубили. Отныне их можно было содержать открыто. Да и фаворитов теперь особо не скрывали. Не только вдовы, но девицы и мужние жены. Недавние трагедии начали обретать черты фарса.

Сосватать вторую дочь Петра за кого-нибудь из иноземных принцев не удалось, даже за самого захудалого, коими полнились тогда немецкие земли. Правда, ее отец, дяди, дед и прадед вообще не знали, что такое династические браки. И ей бы освятить союз с милым другом своим Алексеем Григорьевичем да наследников с ним делать. Но гордыня не позволяла. И доброхоты на ухо нашептывали, что Земский Собор венчал на царство Романовых, ближайших сродников Рюриковичей, а вовсе не безродных Разумовских, посему плодам супружества сего не видать шапки Мономаха как своих собственных ушей.

Другое дело – старшая сестра Анна. За свою недолгую – двадцатилетнюю – жизнь успела выйти за голштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и произвести на свет сына Карла Петера Ульриха.

* Роман I из цикла «Четвертое благословение». Журнальная публикация.

Отпрыска быстро перекрестили в православие и нарекли Петром, как деда и дядю, двух последних императоров.

Он и стал наследником престола. Не какого-то голштинского – в лупу на карте страны не разглядеть, – а всероссийского. Хотя Гольштейн-Готторпских Земский Собор тоже не выбирал.

Улыбнувшись в одном, судьба сыграла злую шутку в другом. В жены цесаревичу выписали худородную принцессу Софью Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую из крохотного немецкого герцогства. Ей бы пятки всю жизнь мужу лобызать, а она, быстро освоившись в российской столице, дерзнула не только пренебрегать своим повелителем, но и изменять ему с придворными и даже иностранцами. Будь жив отец ее свекрови, бесноватый царь Петр, не миновать бы блуднице эшафота.

Супруг платил той же монетой. В его опочивальне побывала не одна знатная дама. Что ж, свято место пусто не бывает, а опустело оно уже через год после брачной церемонии.

Летом 1761 года Петр привел в покои Елизаветы очаровательную малышку лет шести.

– Благословите, *chère tanté*, это милое дитя. Я не уверен, что сын Великой княгини родился от меня, зато убежден, что сей ангел явился на свет моими стараниями.

Девицы, к тому же внебрачные дочери, спокойствию империи угрожать не могли. И государыня вняла просьбе племянника:

– Благословляю тебя, прелестное создание.

Царица достала из шкатулки медальон с собственным портретом, надела его на ребенка, не проронившего со страху ни словечка, а затем чмокнула своими влажными старческими губами детский пухленький ротик.

Через полгода Елизаветы Петровны, последней из рода Романовых по прямой линии, не стало на этой брэнной земле. А еще через полгода покинул ее и Петр Третий, не только униженный, но и умерщвленный любовниками жены.

Сама же она на долгие тридцать шесть лет захватила российский престол, согнав с него еще живого мужа, отчего, верно, ворочались в гробах все русские цари.

Так закончился для России первый *династический* брак.

Маленькая девочка пережила пятерых венценосцев и отошла от мира сего при шестом, своем племяннике Николае.

Но он и не догадывался о таком родстве: мать девочки сумела замести следы еще при его коварной бабке.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С достоинством победительницы отмечала страна необычный праздник – трехсотлетие правящей династии. Внешние враги серьезных беспокойств уже не доставляли, а врагов внутренних подавил неистощимый на выдумку премьер Столыпин. Правда, смертельно раненная гидра последним ударом хвоста поклиталась с обидчиком. Но террорист-одиночка просчитался: Россия продолжала кормиться идеями самого великого Петра из когда-либо посланных управлять ею.

Он мечтал о мужиках-собственниках, хуторских хозяйствах, растущих посевных площадях и механизации крестьянского труда. И что ж? После предательских выстрелов киевского оборотня земледельцы миллионами продолжали выходить из общины, создавались хутора; заметно невооруженному глазу увеличивался посевной клин; в деревни и села завозились минеральные удобрения и облегчающие труд машины.

Он призывал к страхованию пролетариев и сокращению для них рабочего дня. Уже без него законы об этом приняли и претворили в жизнь, доказав, что и без всякой революции можно добиваться прав эксплуатируемого класса.

Самые хитрые тараканы забились в иноземные щели, где нисколько не стыдились проедать чужие деньги, иногда и уворованные, оправдывая свое сытое бездельничанье каждодневной думой о свободе для сограждан. Тем временем настоящая Дума, открыто избранная от разных курий в самом конце тридцатимесячной смуты, благополучно доработала свой пятилетний срок, и незадолго до празднеств в Таврический дворец вселились новые депутаты, уже не так сильно обуянные страхом перед дамочным мечом роспуска. Даже либеральные кадеты просили называть их отныне не «оппозицией его величеству», а на английский манер – «оппозицией его величества».

Михаил Угрин, студент Московского императорского университета, боготворил партию конституционных демократов. Во многом благодаря ее появлению на свет он решил посвятить свою жизнь адвокатской практике: настолько впечатляли его выступления Павла Милюкова, Андрея Шингарёва, Владимира Набокова, Максима Винавера и других кадетских лидеров, которые он зачитывал до дыр в газете «Речь». С такими вождями России грех не догнать в считанные годы ту же Англию, где адвокат – наиболее почитаемое лицо.

Под воздействием либеральных призывов в 1911 году Миша присоединился к протестующим в дни всеобщей студенческой забастовки. Тогда ему казалось, что нет большего счастья, чем с юного

возраста включиться в борьбу за народную свободу. Но, поднабравшись знаний и оценив мудрость некоторых осторожных на суждения профессоров, он перестал безоговорочно доверять площадным лозунгам, стараясь самостоятельно осмыслить даже самые разумные, на первый взгляд, слова. Российская действительность, которую в древней столице он познал куда лучше, чем в родном Губернске, больше не казалась беспросветно тусклой. Он начинал склоняться к мысли, что отечественный небосклон чаще бывает озарен солнечным светом, нежели затянут облаками и тучами.

Гораздо больше слабого царя и глупых министров омрачали его жизнь московские барышни, бывшие то не к месту чопорными, то излишне легкомысленными. Они вызывали только желания, но никак не чувства, а утолять желания без чувств – всё равно что утолять жажду соленой морской водой.

Выросший в высоконравственной семье, он не мог думать по-иному. Не только словесные назидания старших и примеры из книг, допущенных на полки их обширной домашней библиотеки, но и практический опыт окружавших его многочисленных сестер невольно приводили к такому поэтическому умозаключению. Старшая из единокровных, Ольга, пребывала в счастливом, правда, бесплодном браке с милейшим Павлом Ивановичем Головинным, предводителем уездного дворянства. Их взаимная супружеская любовь скрашивала нерасположение небес в таком деликатном вопросе, как продление рода, и удерживала мужа от отчаянных поступков.

Средняя единокровная сестра Мария оказалась обделена судьбой еще страшнее. Горячо любимый ею красавец Володя умер прямо в день свадьбы от разрыва сердца, обряжаясь к венчанию, и перепуганный шафер доставил вместо жениха ужасную весть о его кончине. Через сорок дней Мария, не колеблясь, ушла в монастырь, и никто в семье не посмел удержать ее.

Младшая из трех сестер, родившихся от первого брака отца, Татьяна, использовала право барышни на брак в сомнительных целях эмансипации. Чем уж было плохо в родительском доме, сказать трудно. Но она тайно обвенчалась с первым подвернувшимся и *нелюбимым* (сама подчеркнула это слово в рассказе о своем нелепом поступке) человеком, после чего уехала в Петербург затем лишь, чтобы подыскать себе лучшую партию, чем позволяли возможности Губернска. Конечно, никто не сыпал ей вдогонку проклятий – все-таки двадцатый век, – однако все дальнейшие отношения свелись к обмену открытками на Пасху и Рождество. С днем ангела ее поздравлял только брат – как старший и единственный мужчина в семье после смерти отца, к счастью, не дожившего до такого позора.

Старшая из родных сестер, умница Вера, обрела собственный семейный очаг при еще более странных обстоятельствах. Начитавшись «Русского богатства» и сентиментальных народолюбцев, она, способная институтка, отправилась учить крестьянских ребятишек в захолустную Минскую губернию. Но в конце концов всё обошлось не так уж и плохо. Буквально через год ей сделал предложение школьный директор Александр Иванович Ивановский, человек солидный и достойный, и теперь она наставляет не только чужих детей, но и собственного сына Константина.

Средняя, красавица Надежда, с юных лет блистала остроумием. Однако самое остроумное, что она смогла совершить, – скороспелое замужество вопреки родительской воле. И результат не замедлил сказаться: теперь локти кусает, что не послушалась мать. Да поздно: с маленькой Марусей на руках Татьянинного подвига не повторишь.

Последняя, Люба, годом старше Миши, пока еще в девицах. Но, похоже, глянувся ей молодой инженер Стефан Лещинский. Не стало бы только препятствием их счастью топтание вокруг одинаковых по смыслу, но разных по обрядности учреждений: православного храма и католического костела – в поисках того единственного, где освятить свои отношения.

Конечно, Мише некуда было торопиться в его неполные двадцать два. Да и жениться студентам императорских университетов разрешалось лишь с письменного соизволения ректора. Но и мать, и сестры явно подталкивали его к решительному шагу, намекая на всяческую поддержку. Мать даже возила летом в имение дальних родственников, где чуть ли не сговорила насчет дочери хозяина, утонченной и манерной барышни, не вызывавшей ни чувства, ни желания, несмотря на хорошее воспитание, симпатичное личико и отменную фигуру.

У этого диковатого сватовства было серьезное оправдание. На Мише в любой момент – все под Богом ходим – могла пресечься главная ветвь их старинного рода, что разом бы стало самой большой трагедией и для бездетной Ольги, и для потерявшей жениха Марии, и для не обретшей счастья Татьяны, не говоря уж об остальных.

Род этот основал без малого полтысячелетия назад храбрый воин, отличившийся при Иване Третьем, когда стоянием на Угре закончилось для русских позорное татаро-монгольское иго. Чем уж заслужил внимание первого Великого князя всея Руси тот дальний предок, не сохранилось даже в устных преданиях. Только с тех незапамятных времен прозывается все его потомство Угриными.

Не меньший вклад в прославление семейства внес и его потомок Субота Иванович. За участие в московском осадном сидении в при-

ход польского королевича Владислава захватить русский престол в 1618 году первый государь из Дома Романовых Михаил Федорович пожаловал ему вотчину в П-ском уезде, что и явилось поводом при составлении по велению Екатерины Великой родословной дворянской книги – внести их род как древний в ее почетную шестую часть.

Михаил стал седьмым ребенком в семье. Но, родись вместо него очередная девочка, отец бы и на том не остановился, а его безропотной супруге пришлось бы вынашивать следующий плод. И так до появления сына-наследника.

Впрочем, роду угасание не грозило. Младший брат отца с первой же попытки произвел на свет мальчика Всеволода, но Угрин-старший не мог допустить, чтобы главенство перешло к другой линии.

Не хотели этого после смерти Георгия Гавриловича и мать, и сестры Миши. Вот и пеклись о его ранней женитьбе: вдруг кузен окажется проворней и опередит старшего из продолжателей фамилии. Но выросший в плотном и многочисленном женском окружении, избалованный сугубым, хоть и родственным, вниманием прекрасного пола, юноша оказался очень капризным и разборчивым женихом и не торопил свой выбор. Цветку в домашней вазе он предпочитал благоухающую клумбу в саду.

Имелась и другая причина материнской поспешности. На пенсию, полагавшуюся вдове статского советника, сильно не разгуляешься, когда есть дочь на выданье и сын-студент. Не единожды заложенное имение пришлось продать еще перед свадьбой Ольги, чтобы не выпустить ее из дома с пустыми руками. Остальным сестрам, оставшимся, по существу, бесприданницами, предстояло самостоятельно заботиться о собственном благополучии. Вот почему их замужества были такими экстравагантными.

Удачный брак сына мог бы поправить семейные дела и даже помочь Любви.

Тут бы пришла ко двору и купеческая дочь, но мать, сама происходившая из промышленников, слышать не желала о таком мезальянсе. Она упрямо клонила в сторону двоюродной племянницы мужа, за которой стояли немалые деньги и богатейшее имение близ Стрельны.

В былые, не столь давние времена, когда сватали ее саму, одного продолжительного визита вполне хватило бы, чтобы сладить дело. Тогда молодые имели лишь совещательный голос. Ее вообще выдали за вдовца с тремя маленькими дочерьми, обремененного к тому же службой и долгами. Правда, красавца и хорошей фамилии. Но последнее начинаешь ценить с годами, а в юном возрасте всегда

хочется пройти через ощущение романтической влюбленности и, не испытав ее, чувствуешь себя обделенной на всю оставшуюся жизнь, даже если становишься состоятельной княгиней. Капитолина Александровна почему-то считала сию истину справедливой лишь для барышень. Мужчина, по ее мнению, мог наверстать упущенное и в браке, на стороне.

Первая же попытка сломить сына натолкнулась на такое отчаянное сопротивление, что неопытная мать сразу же отступила. Но не окончательно, а на ближние рубежи. Погуляй, мол, сыночек, еще годочек, а следующим летом снова поедem к Мокриным.

Против нового визита к родственникам Миша не возражал. В гостеприимном семействе помимо манерной Лиды были еще и юноши его же возраста – кузены, с которыми он быстро нашел общий язык и которые ненавязчиво и деликатно улучшали светскость юного провинциала. Предполагаемая невеста особо не докучала и бывала даже мила в одной компании с братьями. В общем, не худший вариант для вакаций.

Интуитивно Миша понимал: лучшая защита от матушкиных посягательств – самостоятельный и осознанный выбор будущей спутницы жизни. А уж кто ею станет – подскажет сердце, а не пожелания росписи и не амбарная книга.

На поиски отводился неполный год. Но первые месяцы ушли впустую. Потом волнами покатались праздники: сначала именины, потом Рождество с Новым годом и святками, затем нагрянула масляная, на которую пришлось и День освобождения крестьян, и трехсотлетие императорского Дома. Славное выдалось заговенье!

Лиза Савельева с обжигающим сердце трепетом ехала по Тверскому в компании своего кавалера. В первый раз Саша пригласил ее к себе домой, немного смущенно приговаривая, будто с ней хочет познакомиться его матушка. Стало быть, дело принимало серьезный оборот. Они встречались уже полгода, а в последние два-три месяца даже целовались украдкой в парке. И вот пригрело первое весеннее солнышко, напоминая о грядущих долгих днях, коротких теплых ночах и неизбежных соблазнах, пробуждающихся в человеке вместе с природой.

Лизе шел уже двадцатый год, и она понимала, что за таким приглашением и знакомством может последовать нечто большее, важное, способное изменить ее жизнь. Хотелось ли ей этого? Отчасти да, отчасти нет. Да – потому что молодость не вечна, а когда годы начинают исчисляться не одним словом, а двумя, – пора бросать якорь в безбрежном море удовольствий. Нет – потому что Саша, хотя и был

интересен, мил и приятен, никак не вязался с образом мужа и главы семейства. Робкий и застенчивый с ней, он наверняка будет таким же и во всём остальном. Не излучает он той уверенности и той силы, которая может стать опорой в жизни. Муж-мальчик – не ее идеал.

Они остановились возле флигеля четырехэтажного дома на углу Малой Бронной. Саша галантно пропустил барышню вперед, а когда она почти поднялась на второй этаж, обогнал по широким ступенькам и вместо того, чтобы позвонить в дверь, полез в карман. Неужели в доме нет прислуги? И где же матушка? Вынимая ключи, он наполовину выдернул наружу носовой платок, несвежий вид которого вызвал у Лизы мгновенный позыв тошноты. Она в ужасе отвернулась. Ей уже не хотелось заходить внутрь, знакомиться с матерью, стараться создать о себе должное впечатление. Она явственно понимала, что связать судьбу с человеком, не умеющим смолоду следить за собой, не сможет никогда.

– Заходи, Лизонька, сейчас я тебя представлю, – ласково заверещал Саша.

Гостья не шелохнулась. Осталась стоять на пороге как вкопанная.

– Матушка, мы пришли, – каким-то неестественным, почти сюсюкающим голосом возвестил вошедший, но ответа не последовало.

– Лиза, а дома, кажется, никого нет, – полупшепотом проговорил Саша, обернувшись к ней. – Мы будем одни.

Вот этого-то она никак не ожидала. И уж вовсе не хотела. Быстро сообразив, какую ловушку ей подстроили, барышня опрометью бросилась вниз по лестнице.

– Ты куда? – раздался вслед испуганный голос.

Она выскочила из парадного, не унимая своей прыти, которая тотчас же вынесла ее прямо на проезжую часть под неторопливо двигавшийся экипаж. Но даже при тихой езде тот едва-едва сумел избежать столкновения.

– Жить, что ли, надоело?! – грубо заорал извозчик.

В этот момент из парадного показался смущенный Саша, так и не заправивший назад в карман несвежий платок.

Но не успел он приблизиться, как между ними выросла фигура стройного высокого юноши в студенческой форме.

– Лиза? Что ты здесь делаешь? – удивленно спросил он.

Барышня подняла глаза и узнала знакомого ей по Губернску Мишу Угрина. Это он ехал не спеша по Тверскому бульвару на извозчике.

– Увези меня отсюда поскорее, – уверенно и громко сказала она.

Не ожидавший такого поворота событий, Саша трусливо попятился назад и скрылся за дверью. Угрин, стоявший к нему спиной, даже и не понял всей интриги.

– Хорошо, поедem. Куда прикажешь?

– Ко мне в Камергерский.

Такие встречи случайными не бывают. Это мгновенно поняли оба. Поначалу они молчали, осененные догадкой. Первым, как и подобает мужчине, заговорил Миша:

– Ты давно в Москве?

– Уже второй год.

– И чем занимаешься?

– У маминого ухажера в Камергерском свой магазин. Немного помогаю ему.

Их семьи жили в Губернске на одной улице, называвшейся Приклонской. Отец Лизы служил в весьма демократичном городском общественном банке Сергея Живаго, не отказывавшем обывателям в мелких – до двухсот рублей – кредитах, позволявших начать собственное дело. Умер Александр Ильич неожиданно, в совсем еще молодом возрасте. Красивая вдова тридцати пяти лет с барышней дочерью, обещающей превзойти по внешности родительницу, невольно приманивали мужское внимание, вызывая оправданную ревность жен и страх матерей. Злые языки тут же припомнили поспешное венчание покойного, якобы получившего хлебное место за покрытие греха одной важной особы. Слух такой ходил и раньше, но, щадя самолюбие незадачливого мужа, распускать его постепенно прекратили, что позволило Лизе оставаться в блаженном неведении о сомнительности своего происхождения. При таких обстоятельствах жизнь в провинциальном городе становилась невыносимой и даже опасной. Евдокия Васильевна, боявшаяся не только за собственную репутацию, но и за будущее единственного ребенка, сочла наиболее благоразумным покинуть родной город и перебраться в Москву, где люди порою не знают даже соседей по дому. Денег на устройство дала ей богатая сестра Варвара.

Устроить судьбу так, как хотелось бы, ей не удалось. Состоятельный вдовец, первым обративший на нее взор, не спешил покончить с двусмысленным положением, в котором она оказалась. Мать с дочерью занимали квартиру в принадлежавшем ему доходном доме, не неся никаких издержек по поддержанию уюта и комфорта и не зная отказов ни в каких просьбах. За что старшая выполняла роль экономки, а младшая – помощницы в располагавшемся в первом этаже магазине дамских шляп с зазывным французским названием, тоже принадлежавшем домовладельцу.

Подобный образ жизни был хорош всем, кроме одного: он мог закончиться в любой момент разбитым корытом. Поэтому Евдокия Васильевна, сколотившая кое-какое приданое для дочери, поощряла ее увлечения любыми мало-мальски достойными претендентами. Однако впереди уже маячил призрак того неприятного сочетания цифр, когда барышня считается слегка засидевшейся, а Лиза продолжала вести себя достаточно недальновидно. Она разочаровывалась то в уме, то в характере, то в пылкости очередного кавалера и не спешила с выбором. Некоторые влиятельные покупательницы баловали ее особым расположением, даже вводили в свой круг, чем оказывали весьма сомнительную услугу: претензии барышни заметно росли и начинали превосходить ее возможности. Не торопил юную протеже и их благодетель, и настороженную мать начинали время от времени посещать нехорошие мысли на этот счет.

Увидев в окно дочь с незнакомым молодым человеком в университетской фуражке, Евдокия Васильевна покачала головой: опять смена караула. Но студент не отклонялся у порога, вошел с Лизой в парадное, проявив непозволительную дерзость. Не хватало еще, чтобы другие квартиранты застали юную пару за каким-нибудь фризовым занятием.

Однако быстро раздавшийся стук в дверь рассеял все сомнения.

— Мама, узнаешь? Это же Миша Угрин. Мой старинный знакомый по Губернску.

— Ну уж и скажешь: старинный! Можно подумать, что вам по шестьдесят лет, — с облегчением вздохнула Евдокия Васильевна и царственным жестом протянула гостю повисшую кисть правой руки.

Вскоре все трое сидели за одним столом, попивая душистый чай от Перлова и вспоминая общих знакомых из их прежней жизни, так непохожей на нынешнюю. Со стороны могло показаться, будто дружная семья отмечает возвращение сына и брата из долгого путешествия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Папа приехал! Папа приехал!

Очаровательный светловолосый мальчуган в матроске, первым заметив с уютного плющом балкона приближение долгожданного гостя, не знал, куда ему бросаться: то ли навстречу отцу, по которому изрядно соскучился, то ли к матери, вечно занятой своими делами и узнающей главные новости последней. Пытаясь убить двух зайцев сразу, он побежал вниз, к парадному крыльцу, разнося по дороге радостную весть своим звонким ребячьим голосочком.

Первым отозвался седобородый старик. Опираясь на массивную трость, вышел из своей комнаты и зашаркал вслед за внуком.

– Дедушка, папа приехал! – не останавливаясь, прокричал мальчуган и распахнул ручонки, видя, что родитель уже в просторной прихожей и присел на корточки, чтобы подхватить и окружить его.

Отставной генерал-лейтенант Крапивников гостил у невестки в ее родовом имении и тоже ждал отца Ники. Раньше, когда 123-ий Козловский пехотный полк, где Александр Крапивников командовал ротой, квартировал поблизости, в Курске, они виделись чаще. Но полк перевели в Харьков, и приезды молодого капитана становились всё реже к пушему огорчению не только старого генерала, но и его внука.

Легче всего, как ни странно, переносила разлуку жена офицера Зинаида. Она читала, вышивала, воспитывала и обучала сына, но самое главное – вела обширное хозяйство, оставшееся от родителей ей, брату и сестре. Однако те редко навещали родные пенаты, всецело полагаясь на усердие и здравомыслие капитанши. И действительно, той легко удавалось находить общий язык и с сельским старостой, и с настоятелем тамошнего храма, и с уездным предводителем. Что касается мирового судьи и земской управы, то с первым обычно имел дело ее брат Александр, сам служивший мировым, но только другого участка, а со вторым – зять, муж сестры Агнии, состоявший членом этой самой управы и живший в уездном городе.

Капитан почти до упаду покружил сына, несколько раз подбросил его вверх и отправил изучать тщательно упакованные гостинцы, среди которых были и вполне взрослые: красивая ручка с вставными стальными перьями и книга, поскольку пятилетний Ника уже довольно сносно читал и с интересом овладевал теперь навыками письма.

– Здравствуй, сынок, – обнял приехавшего старый генерал.

– Как твоё здоровье, отец? – не разжимая объятий, поинтересовался Александр.

– С ногой неважно, а в остальном терпимо, – не стал лукавить старик. – Молю Бога, чтобы из двух обычных несчастий всех задержавшихся на этом свете меня миновала слепота. А на второе есть палка, костыли и даже кресло на колесах.

– Ну, будет тебе, будет, – попытался утешить его сын. – Надеюсь, до таких крайностей дело не дойдет.

– Хочешь сказать: умру раньше, – мрачно подытожил генерал.

– Что ты, типун тебе на язык, – испугался невольной дерзости капитан.

– Ладно, чего уж там. Мне бы только Нику уму-разуму научить и на путь истинный наставить. Плохо ему без мужской компании придется.

Развить эту неприятную тему не позволило появление хозяйки дома.

– Наконец-то, – сухо произнесла она. – Ребенок уже весь извелся.

– Здравствуй, Зинушка. Здравствуй, родная, – обнял и расцеловал ее муж, чего не позволить ему на глазах у свекра она не могла, хотя и не сочла нужным разжать плотно сомкнутые губы.

Седовласый генерал еле слышно хмыкнул в бороду и поспешил удалиться, чтобы не мешать супругам.

Холодность в их отношениях накапливалась постепенно, годами, как неспешно превращается в лед вода на морозе. Но Александр верил, что не всё отвердело, и под верхней коркой, если подышать на нее теплом, еще по-прежнему журчит и булькает незамерзшая влага.

А как всё красиво начиналось! Познакомились они на губернском рождественском балу в канун девятьсот третьего года. Тогда щеголеватый блондин в мундире поручика очаровал всех барышень, но особенно глянулся строгой Зине Щербачёвой, не замеченной до этого в особых сердечных пристрастиях. И она показалась ему самым заметным цветком в букете возможных невест, хотя и не считалась красавицей. Впрочем, сим негласным титулом награждались преимущественно за наивные кукольные мордашки, а Зинаида, имевшая такой облик в самом начале своего созревания, утратила его за годы учебы в московском Екатерининском институте. Видно, полученные знания (благородных девиц наставляли не только рукоделию: их знакомили с самыми последними достижениями науки) меняли не только характер, но и внешность. Во всяком случае, с Зиной Щербачёвой такая метаморфоза случилась, отчего она стала выглядеть серьезней и немного старше своих лет. Уездным кавалерам, помнившей ее с длинной косой, даже в новой прическе бывшей институтки мерещилась угроза их мужскому господству, и они не спешили свататься к барышне, не уступавшей им по развитию и образованности.

Красавец-поручик, напротив, в налете надменности усмотрел особый шарм, редко встречаемый среди провинциальных красавиц, и вместо надоевших ему пухленьких губок потянулся к устам с застывшей иронической насмешкой. Уста эти были прочно и надежно запечатаны. Даже не раскрываясь, они упорно твердили одно и то же: до соблюдения полного ритуала ухаживания к нам лучше не приближаться.

Против таких условий поручик не возражал. Более того, он принял их как благо, абсолютно уверенный в себе и своих мужских чарах. Записочки, стишки, записи в альбом, букеты ландышей и фиалок медленно, но верно делали свое дело, приближая желанный день. Достаточно частые визиты выдавались за плоды невероятных выдумок, позволявших оставить полк, тогда как либеральный командир

полковник Энгельке обычно закрывал глаза на любые вольности своих подчиненных, и даже рядовые солдаты из бывших студентов могли спокойно жить дома, а не в казармах.

После смерти родителей и замужества старшей сестры Зинаида заправляла всем хозяйством сама. Брат, учившийся в университете и приезжавший в родовое гнездо лишь на вакациях, не мог быть ей помощником. Но добро бы она вела только свое имение!

Огромное село впервые поделили сыновья первого владельца еще в конце «золотого» восемнадцатого века. Один был киевским губернатором, другой, депутат Уложенной комиссии, вышел в отставку в чине поручика с невеликим пенсионом. Сердобольный сановник не стал нанимать управляющего, поручив эту миссию за хорошую плату родному человеку. Благо, способностей тот был недюжинных, что помогло даже стать предводителем губернского (да-да, именно губернского) дворянства.

С тех пор и повелось. В каждом колене доли наследников дробились и дробились, но неизменно находились нуждавшиеся кузены и кузины, получавшие помощь от более состоятельных совладельцев за необременительные услуги хозяйственного толка. Аграрному делу такая взаимопомощь шла только на пользу: пашни не межевались, выгоны не делились, и крестьяне толком не ведали, кто их барин. Так и звались по фамилии прямой ветви разросшегося клана.

Бабка Зинаиды, вышедшая замуж за капитана Тираспольского конно-егерского полка Акима Щербачёва, унаследовала свою долю от внука одного из первых владельцев. Вскоре случилась великая реформа 1861 года, обессмертившая имя ее инициатора, Государя императора Александра Николаевича – истинного отца народа, этим же народом впоследствии и убиенного. По десятой ревизии, проведённой при подготовке к ней в 1858 году, за капитаншей числилось сто пятьдесят три души, включая девять дворовых, а за другими помещиками – в пять раз больше. Но и с таким хозяйством управляться было хлопотно.

Отцу Зинаиды, неизменному земскому гласному, а в конце жизни – члену уездной управы и агенту земского страхования, забот с имением досталось гораздо меньше, чем матери. Но, будучи единственным из владельцев постоянным обитателем села Прут, он тоже облегчал жизнь многочисленной родни, о которой принято говорить «седьмая вода на киселе».

Женился Александр Щербачёв на дочери соседнего помещика из села Шутова Наденьке Выскребцевой. Женился по любви, хотя испытывать такое же чувство к кому-либо другому просто не мог, поскольку по молодости лет ни с кем из барышень своего круга и не был близко знаком.

Жили они дружно и счастливо, но не слишком долго – всего пятнадцать лет. В конце ноября 1892 года глава семейства отправился в управу разбираться по делам земской агентуры, да так домой и не вернулся. Удар хватил его прямо в присутствии, что сильно растрогало земское начальство, и оно простило покойному недочет в сумме шестисот рублей, в результате чего долг его сократился до сорока рублей и одной копейки.

Немного пережила мужа и Надежда Аркадьевна, оставив круглыми сиротами отроковицу Агнию с Зинаидой и отрока Александра. Барышень по ходатайству их родственника и опекуна князя Барятинского тут же увезли в Москву и определили в Екатерининский институт, а имением впервые за долгие годы начал заниматься представитель другой ветви рода – зять отца Василий Николаевич Галицкий.

Сестры кончали учебу уже при Государе императоре Николае Александровиче и в качестве институток старшего класса принимали участие в торжествах коронации. Казалось, празднику не будет конца. Но уже вскоре пришлось возвращаться в Прут, где жизнь нужно было начинать сначала.

Яркая красавица Агния быстро вышла замуж за помещика села Прилеп Тимского уезда Павла Венёвцева и покинула отчий дом. Зина же устраивать свою судьбу не спешила. Этим расчетливо воспользовался Галицкий. Дядюшка быстро ввел юную и смышленную племянницу в курс немудреных дел, от коих сам стал понемногу отходить по причине слабого здоровья и врожденной лени. Его усилия не пропали даром: к двадцати двум годам Зинаида Щербачёва слыла не только образованной, но и весьма серьезной барышней, способной управлять хозяйством, что почему-то не прибавляло ей привлекательности в глазах уездных женихов.

И вот – такая удача. Взят в плен первый красавец полка. Да к тому же генеральский сынок.

Даже не уезд, а вся губерния с любопытством следила за дальнейшими шагами. Но события развивались неторопливо. И в самый их разгар – неожиданное вмешательство судьбы: полк отправили в далекую и неведомую Маньчжурию.

Кто знает, сколько бы длилась эта разлука, не случись события непредвиденного и страшного. В самом начале нового 1904 года японский флот атаковал наши корабли, стоявшие в Порт-Артуре. Казалось бы, курьез да и только: махонькая Япония, затерянная на краю земного шара, посмела напасть на всесильную державу. Но русская армия, не воевавшая целых четверть века (когда такое случалось в последний раз!), крепость на Ляодунском полуострове не удержала, а потом

стала проигрывать одно сражение за другим. Козловский пехотный полк, оказавшийся в самом центре событий, принял на себя отчаянный удар противника и заслужил самой высокой похвалы, хотя и вынужден был отступить. Стояли до последнего. Покидали позиции без личных вещей, многие босиком, иные не в сапогах, а в опорках, с непокрытыми головами или шляпами вместо фуражек, полураздетые и оборванные; офицеры без погон, пешком вместе с солдатами.

За мужество и храбрость Александр Крапивников получил Станислава, отпуск и право быть представленным государю. Но пуще встречи с императором ждал он свидания с Зиной. Забота о продлении рода выходила теперь на первый план: следующая пуля может и не пощадить.

К счастью, пока поручик заезжал к своей возлюбленной, воюющие стороны заключили мир в маленьком американском городишке. Российская империя, доселе только приобретающая земли, второй раз за полвека принуждена была отдать часть собственной территории. Новая неудачная кампания при жизни одного поколения (еще не ушли в мир иной многие участники обороны Севастополя, тот же граф Толстой) вызвала странную реакцию в столицах: народ стал вооружаться чем попадая и чинить беспорядки. Пришлось утихомирить его ограничением высочайшей власти постоянными выборами.

Едва ли не в один день с Портсмутским договором был заключен еще один, для нашего повествования не менее важный. Зинаида Щербачёва согласилась более не требовать к себе знаков сугубого внимания со стороны Александра Крапивникова и, довольствуясь прежними, принять его предложение. Положение сироты, хозяйки имения и выпускницы института благородных девиц позволяло ей сделать это самостоятельно.

За оглашением последовало венчание, а через год и крестины. Непростые — двойные: Господь послал супругам мальчиков-близнецов.

Но вскоре судьба начала поворачиваться к молодой чете спиной.

Прожив всего десять месяцев, умерли оба младенца. Траур по сыновьям едва не перетек в траур по супружеским отношениям. Немалых усилий потребовалось, чтобы растопить мигом образовавшийся айсберг. Если что и помогло появлению на свет Ники, то, скорее, чувство долга, но не любви.

А вскоре полк перевели в Харьков. Ехать за мужем Зинаида категорически отказалась. Даже на зимнее время, свободное от основных забот о хозяйстве.

Теперь губерния судачила уже о вреде женской эмансипации. Если в отсталой Европе не только дочери, но и вторично вышедшие

замуж вдовы не могли распоряжаться собственным имуществом, то в передовой России любая незамужняя барышня владела наследственной долей без всяких ограничений. И к чему эта женская свобода?

Александр, ставший уже капитаном, равнодушно относился к экономическим занятиям жены. Но она оставалась ему по-прежнему мила и желанна, и он вовсе не собирался разрушать семью. Однако вести монашеский образ жизни в мирное время тридцатилетнему мужчине казалось очень обидным и унижительным. Выходило, что ему, красавцу и любимцу женщин, сделали снисходительное одолжение в знак его храбрости и геройства, а также необходимости естественной помощи в вопросе рождения наследника.

На этот раз униженный офицер намеревался потребовать решительного объяснения.

– Хочу поговорить с тобой очень серьезно, Зина, – сказал он жене, когда старый генерал оставил их наедине.

– Полагаю, не сейчас. Сюда в любую минуту может ворваться наш сын. Ребенку ни к чему наблюдать такие сцены.

– Хорошо, поговорим поздним вечером. Я собираюсь остаться ночевать.

– Надеюсь, ты будешь вести себя благоразумно?

– Я тоже надеюсь на твоё благоразумие.

– То, что ты называешь благоразумием, во многом находится во власти природы, поставившей женщину в зависимость не только от мужчины, но и от неподвластных людям обстоятельств.

После таких слов, будь они в доме одни, Александр уединился бы в какую-нибудь из свободных комнат, чтобы не распалить себя понапрасну. Но рядом находилась прислуга, совавшая нос куда надо и не надо и разносившая потом по всему селу новости из жизни господ; здесь же жил его отец, переживавший любой разлад в отношении сына с невесткой, и по утрам в супружескую спальню обязательно врвался Ника, зная, что найдет там обоих родителей. Поэтому демонстрировать свой характер, показывать обиду несчастный гость не мог. Единственным выражением недовольства с его стороны стало уединение со старым отцом на то время, когда сынишка почивал после обеда. До этого и после он всецело отдал себя во власть этого маленького и самого любимого им человека.

– Скажи, папа, может что-нибудь произойти не по воле Божьей? – озадачил его мальчик, уже начавший осваивать катехизис.

– Наверное, нет, – уклончиво ответил капитан, боясь войти в непедagogичное противоречие с тем, кто явно спешил лишить малыша детства.

– Значит, меня нельзя ругать за плохое поведение, – заключил пятилетний мудрец. – Я ведь шалю не по своей воле.

Вспыхнувший было гнев изумленного родителя мгновенно погасило чувство злорадства: вот так-то, горе-воспитатели, это дитя вам еще не раз утрет нос.

– Ты прав, – прозвучало в ответ. – Всё происходит по воле Божьей. Но есть еще и сатана, сбивающий нас с пути истинного.

– Про сатану мне пока ничего не говорили, – расстроился ребенок.

– Сатана – это враг Бога и всех людей. Он искушает нас совершать нехорошие поступки. Ему нужно всегда сопротивляться.

– Почему же Бог не убьет сатану? – последовал вполне логичный вопрос.

– Увы, сатана так же бессмертен, как Бог. И в чем-то даже сильнее Его.

– В чем?

– Сейчас объясню. Захочет, к примеру, какой-нибудь злой негодник подстрелить из рогатки птичку. А ты попробуешь ему помешать. Но не весь же день напролет следить за злоумышленником! Тебе нужно спать, кушать, читать книжку, гулять с бабушкой. Он же другой заботы не знает. И обязательно своей гадкой цели добьется. Не сегодня – так завтра.

– Нет, я ему не позволю! – решительно запротестовал Ника, мигом вообразивший себя единственным и надежным защитником несчастного существа.

– Боюсь, он тебя перехитрит.

– Я его ни на шаг не отпущу.

– Выходит, – сделал обиженный вид отец, – в следующий раз я приеду тебя навестить, а ты носишься по всему селу за каким-то паршивцем и даже не удостоишь меня своим вниманием.

– Что ты, папа! Ты для меня важнее всех.

– Вот этим тот мальчишка и воспользуется. Так и сатана. Пока Бог вершит добрые дела, он успевает исподтишка делать злые.

Капитан в душе торжествовал. Назидательная прямолинейность бездумных наставников посрамлена в считанные минуты. И как посрамлена!

Во время мертвого часа, строго соблюдавшегося и ребенком, и его матерью, старшие Крапивниковы устроились в беседке, где их не могла подслушать падкая на сплетни прислуга. Но генерал, быстро уловивший настроение сына, болезненной для него темы касаться не стал и заговорил о делах исключительно мужских:

– И как тебе нравится это недоношенное дитя наших бездарных дипломатов?

Александр понял: речь идет о Балканском союзе.

– Да, развалилось в считанные дни. Месяца не прошло.

– Позор! Конечно, я простой солдат. Хотя и с эполетами. Но так и не возьму в толк: как можно допустить нападение одних славян на других, где православный на православного меч поднял? Когда мы этих болгар от турок освобождали, могли бы подумать, чем они отплатят.

В начавшей недавно Второй Балканской войне симпатии старика были явно на стороне сербов, черногорцев и не имевших отношения к славянам греков. Заметив это, сын решил съязвить:

– Там не только одни православные схлестнулись. Против болгар уже турки бок о бок с сербами сражаются.

– Этого я совсем не понимаю. Еще вчера Болгария и Сербия сообща магометан за Босфор пытались выкинуть, а уже сегодня – вечный враг стал для одних из них союзником.

Последняя реплика выдавала явное смятение чувств бывалого вояки. Теперь он уже вроде бы осуждал коалицию братьев по вере.

– Может, и к лучшему, – спокойно возразил капитан. – Нам не приходится вмешиваться. Не то бы мы сейчас здесь с тобой не сидели.

Старик нахмурил брови:

– И это говорит боевой офицер! На то и армия, чтобы воевать. Тем более, старинный должок по-прежнему остается.

Николай Крапивников участвовал в кампании 1876–78 годов еще в младших чинах, и с тех пор никак не мог забыть унижительного для русских войск запрета штурмовать Константинополь, исходившего, как шептали с уха на ухо, от королевы Виктории, неформальной предводительницы всех правящих династий Европы.

Александр предпочел промолчать, чтобы не наступать лишний раз отцу на любимую мозоль, но генерал сам продолжил тему:

– Я часто думаю: зачем этой англичанке потребовалось оставлять второй Рим в руках его осквернителей? Христианка всё-таки. И прихожу всё время к одному грустному выводу: женщина есть женщина, даже во главе империи. Не могла она простить нашему государю его нежелания взять ее в жены. Тезка-то твой, Александр Николаевич, был первым красавцем среди всех тогдашних женихов. Видать, из ревности и лишила нас вековой мечты.

Спорить с отцом капитан не решился, а экскурс в недавнюю историю напомнил ему о собственных семейных неурядицах:

– Скажи лучше, что мне с моей «Викторией» делать? Трудно ей быть одновременно и матерью семейства, и управляющей всей этой

махиной (он широко развел руками). Может быть, нанять кого-нибудь ей в помощь?

– Боюсь, не поможет, – замотал головой старик. – Настоящей офицерской женой, как твоя родительница, ей никогда не стать. Даже если ты до генерала дослужишься. Гонор мешает, ученость и, извини, холодность. Она и на мужчин-то совсем не смотрит. Ей что брюки, что юбка – один черт.

– Может, с шурином поговорить?

Александр Щербачёв, уже далеко не мальчик, гораздо больше подходил на роль владетельного хозяина. Юрист, мировой судья, наконец, единственный сын своих родителей.

– Заезжал он недавно, – без энтузиазма поведал отец. – Но побыл недолго. Они с Зоей предпочитают жить в ее имении. Впрочем, у Гусаковых скоро главный наследник женится, брат Зои. Глядишь, жизнь заставит его в родовом гнезде обосноваться, а двум семьям там тесно станет.

Сообщение отца склонило капитана изменить прежний план. Когда они остались поздним вечером с женой наедине, он сказал:

– Мой серьезный разговор с тобой, Зина, будет вот о чем: нельзя ли попросить Сашу заняться хозяйством вместо тебя? Всё равно рано или поздно Нике придется ходить в школу, а тебе быть при нем. Разумеется, в городе.

– Нике нет нужды ходить в подготовительные классы. Я буду заниматься с ним сама.

– Превосходно. Но гимназию ты же не заменишь?

– Это будет не скоро. Через четыре года.

– Что ж, и они пролетят незаметно.

Неожиданно супруга прекратила сопротивление. Она пристально посмотрела на мужа широко раскрытыми глазами и ответила:

– Хорошо. Я подумаю над твоим предложением.

С тем они и улеглись в общую постель, давно переставшую служить ложем любви.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Капитолина Александровна не придавала поначалу никакого значения рассказу сына о возобновлении знакомства с соседями по Губернску. Но уже вскоре, узнав о частых визитах Миши в Камергерский, забеспокоилась:

– Не слишком ли ты увлекся этой мадемуазель Савельевой? Можешь попасть в нехорошую историю.

– Какую? – живо поинтересовался Михаил.

– Не знаю... – растерялась Угрина. Она никак не ожидала подобной реакции. – Говорят, ее мать ведет двусмысленную жизнь.

– Кто говорит? – будущий юрист начинал оттачивать профессионализм даже в быту.

– Настырность свою в судах будешь проявлять. Когда выучишься. Пока же об учении надо больше думать.

Этимися словами сохранившая самообладание Капитолина Александровна прозрачно намекнула сыну на неуместность его ухаживаний за Лизой в ущерб занятиям в университете.

Казалось бы, радоваться ей надо, если торопишься женить своего ребенка.

Однако сословные предрассудки прочно завладели вдовой статского советника. Дворянка по мужу, она никак не хотела допустить даже мысли, что сын повторит поступок отца и женится на барышне из того круга, к которому принадлежала от рождения сама. Савельевы, хотя числились мещанами, никаких внешних различий с Угриными не ощущали – ни в образе жизни, ни в одежде, ни в речи, ни в манере себя вести.

И всё потому, что Лизин дед не дослужился в свое время до нужного чина, умерев сравнительно молодым и всего-навсего коллежским секретарем, а сын его, Лизин отец, вовсе не пожелал идти на государственную службу, не сулившую больших доходов, и предпочел ей работу в одном из преуспевающих банков, позволявшую не отказывать себе ни в чем – ни ему, ни жене, ни подраставшей дочери, которой для собственного положения в обществе важно было не кем она родилась, а за кого вышла замуж.

Обеспокоенная возможным опрометчивым шагом сына, Капитолина Александровна раньше обычного начала собираться в Стрельну, где Угриных все были рады видеть независимо от марьяжных перспектив.

Между тем маленький червячок флирта, щекотавший Лизу и Михаила, начинал окукливаться в настоящее, большое чувство.

Разуверившийся в московских красотках, малоопытный студент нашел в подруге детских игр доселе не встречавшийся букет свежих чувств, зрелых мыслей и того чарующего девичьего обаяния, без которого он никак не мыслил героиню своего романа. Она же, не терпевшая даже малейшего намека на какую-либо грязь, будь то угол носового платка или скабрёзная фраза, не переставала удивляться необыкновенной, абсолютной, до сияния и белизны, чистоте слов и помыслов вновь обретенного знакомого.

Свидания постепенно становились частью их жизни. Сначала

они заполняли пустоты дня, потом день стал заполнять пустоты между свиданиями. Особенно приглянулся им Петровский парк, куда, поужинав в «Яре», они ходили как к себе домой. Место вполне удобное для тайных поцелуев, впрочем, было небезопасным в другом отношении. Однажды их напугала тень какого-то прохожего в длинном плаще и широкополой шляпе, метавшегося от дерева к дереву. Потом выяснилось, что в тот день полиция ловила в окрестностях города знаменитого преступника по прозвищу Сашка Семинарист, и вполне возможно, что именно он попался на глаза нашей паре.

В первый день лета Миша сделал Лизе предложение, намереваясь назавтра, в Троицу, нанести визит Евдокии Васильевне и повторить его уже официально.

– Ты хорошо подумал? – услышал он в ответ.

– Да, моя царица, очень хорошо.

– Тогда мне тоже нужно подумать хорошо, – серьезно заявила Лиза. – И не один день.

– Почему так долго?

– Потому что это на всю жизнь.

На такое проявление житейской мудрости трудно было возразить. И всё же наутро молодой Угрин явился в Камергерский с огромным букетом чайных роз и попросил у Савельевой-старшей руку ее дочери.

– Я-то согласна, – мгновенно отозвалась та. – А что скажет на это твоя матушка?

Вопрос оказался не из простых, хотя угадать реакцию Капитолины Александровны сложности не составляло.

– Насколько я знаю, у нас нет такого обычая: невесте просить руку жениха у его родителей, – невозмутимо ответил Михаил.

– У нас есть другой обычай: благословлять молодых. Неужели ты сможешь жениться без материнского благословения?

– Обычай этот должны соблюдать лишь тогда, когда людей сватают без их ведома. А мы женимся по любви. Значит, нас благословил сам Господь: ведь именно о таких браках говорят, что они заключаются на небесах.

Уверенность просящего порадовала обеих Савельевых. Она внушала надежду матери, что будущий зять, став женатым человеком, сумеет отвоевать себе подобающее место в собственном клане; дочери – что будущий муж отдает любви предпочтение перед всеми суетами бытия.

Михаила же больше всего мучила необходимость признаться в близости скорой разлуки: к заговенью на Петров пост Капитолина Александровна спешила перебраться в Стрельну. Сдав последний экзамен, к ней должен был присоединиться и он.

Однако всё неожиданно повернулось совсем другой стороной. К удивлению Лизы, не говоря уж о ее ухажере, Евдокия Васильевна вспомнила о давнишнем знакомом своих родителей, графе Николае Христофоровиче Милькау, владевшем чуть ли не соседним с Мокриными имением. Старик очень трогательно относился к Савельевым и каждое лето приглашал погостить. На сей раз сам Бог велел его уважить.

Камень свалился с души Угрина. Теперь поездка на вакации из очередной пытки превращалась в приятное приключение, требовавшее недюжинной ловкости и находчивости. С одной стороны, желанная Лиза оказывалась рядом, еще ближе, чем сейчас, с другой – недремлющее материнское око могло наблюдать их ежечасно и почти в упор.

На дачу заезжали по очереди. Сначала Угрина с Любашей, неохотно покидавшей своего инженера. Потом Михаил, успешно выдержавший экзамены по всем предметам. Последними – Савельева с дочерью.

Появились они в субботу, как раз на Петра и Павла, когда хлебо-солёный хозяин особенно обильно проявил свои привычки гурмана. Стол ломился от самых изысканных яств, припасенных не то к празднику, не то к приезду долгожданных гостей. Лиза была не рада такому приему: даже символическая дегустация каждого из блюд угрожала сильно попортить талию, да и времени отнимала столько, что о свидании в тот день не приходилось и мечтать. Не слишком религиозный помещик сам на службу по таким поводам не ходил и домочадцев своих не отпускал. Правда, Лиза робко заикнулась о вечерне, но услышала в ответ лишь насмешку:

– С чего это ты, мое дитя, такой богомолкой сделалась? В твои годы о живых Петрах и Павлах надобно думать, а не о вознесшихся.

Не объяснишь ведь доброму старику, что он попал пальцем в небо: с посещения церкви влюбленные собирались начать свое первое дачное свидание!

В тот вечер Михаил не находил себе места. Ему грезился счастливый соперник, очаровавший его невесту с первого взгляда и положивший конец их недолгому счастью. Он уже начинал всерьез подумывать о поединке, не имея к тому ни навыков, ни опыта.

Лиза лишь наутро озадачила себя поиском способа восстановить порванную нить отношений. Она понимала, что вина в том полностью лежит на ней, и ей же теперь спасти положение.

День был, по счастью, воскресный и снова праздничный: Собор двенадцати апостолов. За завтраком Николай Христофорович лукаво посмотрел на юную гостью, улыбнулся и сказал:

– Устыдила ты меня вчера, Лизонька. В мои годы пренебрегать вековыми традициями становится уже опасно. Решил я сегодня исправиться. Поедешь со мной?

В храме было многолюдно. Мужики и бабы с окрестных деревень пришли в нарядных одеждах, переливавшихся всеми цветами радуги. В их толпе господ выделялись своей нарочитой затрапезностью: тогда считалось дурным тоном одеваться в церковь, как в театр. Лизе не составило большого труда отыскать своего суженого, приехавшего на сей раз без матери и сестры.

– Прости, я вчера не сумела улизнуть от сердобольных хозяев. Всё-таки не у себя дома.

– Лиза всегда должна суметь улизнуть, – не удержался от каламбура Миша, мгновенно оценивший всю бессмысленность своих терзаний.

Семейству Милькау он был представлен не только как родственник одних из соседей, но и как Лизин жених, что давало право на частое и беспрепятственное посещения Затишья – так называлось имение старого графа.

Теперь не надо было и хитрить. Но Николай Христофорович, явно благоволивший к Лизе, придумал еще один способ помочь нашей паре. Он дал в газете – для отвода глаз – объявление о поиске секретаря на летние месяцы, способного быстро привести в порядок родовой архив. Разумеется, выбор пал на студента-правоведа, к тому же обеспеченного ночлегом. Впрочем, отведенную ему комнату «секретарь» мог использовать весь день напролет. Однако он не стал злоупотреблять такой возможностью, боясь навести мать на опасные подозрения. Да и в белые ночи все времена суток одинаково хороши!

Часа два в день Михаилу действительно приходилось заниматься бумагами семейства Милькау. Но и в это время Лиза находилась рядом, выполняя вполне женскую работу: сшивала суровыми нитками приготовленные женихом стопки. Происходило это сразу после обеда, когда сам граф, его сестра и дочь предавались дневному сну, а Евдокия Васильевна садилась вышивать. До обеда влюбленные носились по всему имению, выбирая местечко поукромней. После полдника Мише подавали коляску и отвозили назад к Мокриным.

Первой неладное заподозрила наблюдательная Любаша:

– Ты, кажется, должен работать в архиве. Почему же от тебя несет не затхлым духом старых бумаг, а ароматом дамского будуара?

Миша прекрасно знал характер сестры. Переубеждать ее было делом бесполезным. Обманывать – очень опасным: лгунам она спуску не давала. И он избрал самый разумный путь:

– Какая ты у нас умница, Люба! Ничего от тебя не скроешь. Готов во всё тебе признаться, но с одним условием.

– Каким? – заинтригованная слушательница даже перешла на шепот.

– Пусть всё останется между нами. Больше никто в этом доме ничего не должен знать.

«В этом доме» означало как мать, так и Мокриных.

Любе польстила откровенность и доверчивость брата. Еще больше ее разжигало любопытство:

– Могила! – сдвинув брови, наигранно пробасила она.

– Мне помогает сшивать бумаги одна чудесная барышня, в которую я отчаянно влюблен.

– Неужели Лиза Савельева? – невольно вырвалось у Любы.

– Да, Лиза Савельева. (Ну и длинный же у матушки язык! Впрочем, информатор мог поделиться и с сестрой.)

– Как же она там оказалась?

– Тут скрыта какая-то тайна, – теперь уже шепотом говорил Михаил. – Мне ее только предстоит разгадать. Но старый граф явно неспроста опекает Лизу с матерью.

– Может, он ее настоящий отец? – фантазии Любы устремились по самому банальному руслу.

– Наверное не знаю. Но не исключаю.

Угрин в душе ликовал. Даже если сестра проговорится, то этой струей домыслов легко загасить самую сильную вспышку гнева со стороны родительницы. Пока такая интрига будет сохраняться, его спокойствию ничего не грозит. А там, глядишь, они и обвенчаться успеют.

Но Люба распускать язык не стала, и Капитолина Александровна продолжала оставаться в полном неведении об истинной причине интереса сына к чужим документам. Считая подходящей порой для амурных проявлений лишь сумерки, она не допускала и малейшей мысли о свиданиях своего любимца на стороне. Более того, ей начал мерещиться его голос в комнате Лиды – дочери хозяина дома, и она неизменно кончала день просьбой к Пресвятой Богородице объединить их в супружескую пару.

До разговора с сестрой Миша действительно позволял себе приятный для глаза матери камуфляж. Пока Лидины братья упражнялись на крокетной площадке, он составлял ей и Любаше компанию в серсо, хотя больше любил бить молоточком по шару, чем пускать и ловить кольца. Случалось им оставаться наедине и после игры, когда слегка темнело. Открывшись сестре, Угрин лишил себя, как он считал, морального права и дальше морочить голову этой вполне милой барышне. Отныне по лужайке для серсо носились лишь девицы, а

молодые люди состязались в крокет и городки, где Мишины ловкость и глазомер непременно становились главным аргументом. Соединялась же молодежь воедино на гигантских шагах, устроенных как раз между земляной площадкой для мужских забав и травяной – для женских.

Сложнее приходилось в воскресные дни. Тут уж не сорвешься в Затишье под предлогом работы! В первый раз отговорился приглашением на именины. Знала бы мать, что Евдокия, выдаваемая за племянницу графа почтенных лет, есть та самая особа, ведущая «двусмысленную жизнь»! На следующий – напелл про обещание старику, окруженному одними дамами, составить пару в винт против двух его гостей. Уезжать из дома третье воскресенье подряд он не решался.

На помощь пришла сама Лиза:

– В лесу черника поспела. Особенно много ее у опушки, как раз на границе двух имений. Встаем с петухами, берем лукошки и идем искать друг друга.

Пришлось впервые прибегать к помощи сестры:

– Любаша, у меня к тебе необычная просьба: скажи сегодня за ужином по моему сигналу, что лучшее средство для глаз – это черника.

– Говори сразу: что задумал?

– Обязательно объясню, если всё получится. У меня от тебя секретов нет. Пока же боюсь сглазить.

Вечером Михаил легко спровоцировал мать посетовать на зрение и незаметно подмигнул Любе. Та, едва сдерживая улыбку, выпалила:

– Как сказал дедушка Крылов, это зло – еще не так большой руки. Лишь стоит... скушать чер-ни-ки.

– Чего-чего? – переспросила Капитолина Александровна.

– Черники, мамочка. Лесных плодов, – пояснила дочь, подмигнув в ответ брату.

Свидание на опушке оказалось самым сладким во всех отношениях. Ягод было – море. Они мгновенно наполнили лукошко в четыре руки. А потом эти руки, лилово-фиолетовые и вспотевшие, стали творить невообразимое...

Вернулся домой Михаил лишь к обеду.

– Где же ты пропадал? – строго спросила мать, не скрывая своего негодования.

– Для тебя старался, – ответил сын и протянул ей целебные дары леса.

Следующий день – почитания Марии Магдалены – очень подхо-

дил для замаливания свежего греха. На сей раз они снова встретились в церкви.

– В воскресенье мы съезжаем, – грустно поведала Лиза.

– Почему так рано? – удивился Михаил.

– Пора и честь знать. Как раз месяц будет. Мы ведь не дома, и даже не у родственников.

Конечно, причина была иной. Евдокия Васильевна следила за дочерью еще более зорко, чем Капитолина Александровна за сыном. «Хождение за черникой» вынудило ее пойти на крайние меры.

Но впереди была еще целая неделя. Уже во вторник Миша напомнил Лизе о своем предложении и услышал в ответ желанное «да». Это маленькое звонкое словечко вознесло его на седьмое небо. Ритуальным благословениям обеих матерей он не придавал никакого значения, а согласие самой невесты означало, что всё теперь зависит только от него.

Венчание, разумеется, предстояло тайное (невольнo в его голове родился новый каламбур – тайное таинство). Однако без разрешения университетского начальства ни один священник, даже самый корыстный попик, не взялся бы их соединить.

Матвей Кузьмич Любавский, тоже отдохавший в летние месяцы, принял Угрина лишь в начале сентября. Усадил по правую руку. Это считалось хорошим знаком, поскольку ректор, имевший только один глаз, нежелательным посетителям предлагал стул с левой стороны.

Разговорились. Выяснилось, что земляки – родом из одной губернии, а отцы – так и вовсе из одного уезда. Профессор подробно расспросил о Мишиной родословной. Оказывается, первой научной работой его было кандидатское сочинение о дворянах и детях боярских, и к генеалогии старинных родов у него с тех пор неостывающий интерес. Особенно Любавского заинтересовала женская линия, соединявшая Угриных с Рюриковичами: пращур Михаила был женат на правнучке Великого князя Рязанского.

Расстались едва ли не друзьями. А ведь поначалу Угрин неохотно шел к человеку, о котором после завершения студенческих волнений одиннадцатого года судачили, будто он махровый реакционер и лакей министра просвещения.

Теперь требовалось найти подходящего священника. Выбор Михаила остановился на отце Иоанне – широко известном в образованных кругах профессоре богословия. Отцу Иоанну выпала непростая миссия заведовать кафедрой богословия при Петровской сельскохозяйственной академии, где учились преимущественно атеисты. Однако он блестяще с ней справлялся, что признавали даже неисправимые

дарвинисты. Служил он также настоятелем домового академического храма святых апостолов Петра и Павла в Петровском-Разумовском, где и венчал студентов, скептически относившихся к самому таинству, но вынужденных прибегать к нему из-за требований российских законов.

Угрин особой религиозностью не отличался, но и безбожником никогда не был. Воспользоваться услугами отца Иоанна его вынуждало нежелание не только приглашать членов обоих семейств – своего и Лизиного – на церемонию венчания, но даже извещать их о предстоящем бракосочетании. Положение осложнялось тем, что Капитолина Александровна, жившая до этого в Губернске, вдруг решила поселиться на время у сына в Москве.

Так уж случилось, что впервые порог Мишиного дома Лиза переступила лишь через несколько дней после того, как перед Богом и людьми была объявлена его женой.

Она пришла как гостя и была сдержанно, но любезно принята строгой вдовой. Однако, воспользовавшись моментом, когда они на некоторое время остались в комнате одни, ничего не подозревающая свекровь высокомерно заявила невестке:

– Только не надейтесь, милочка, что мой Миша на вас женится. Этого не случится никогда.

Лиза сдержалась, но потом передала дрожащими от обиды губами слова матери мужу, готовая тут же разрыдаться.

Тогда Угрин, зная любопытство родительницы, умышленно оставил на видном месте сложенный пополам листок – свидетельство о бракосочетании.

Ответом стал внезапный – без предупреждения и объяснений – отъезд Капитолины Александровны назад в Губернск.

К Рождеству молодожены уже жили своим домом. По всем признакам, Лизу больше нельзя было волновать, даже колкостями и бестактностью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Разумеется, вечно занятая делами именина Зинаида быстро забыла и о своем обещании, и вообще о ночном разговоре с мужем. Капитану Крапивникову, напротив, он запомнился надолго, но в душе остался от него такой тяжелый осадок, что и после возвращения в полк он долго места себе не находил.

– Что с тобой, Шура? – испуганно спросил его кузен Кирилл, когда субботним вечером Александр по привычке нанес визит на Чеботарскую.

Дом этот принадлежал отцу Кирилла, Петру Сергеевичу Тикоцкому, крестнику императора Николая Первого, отставному дей-

ствительному статскому советнику, еще недавно служившему чиновником особых поручений в министерстве земледелия и государственных имуществ. Сам Петр Сергеевич с супругой Ларисой Андреевной, дочерью покойного генерал-майора Ростовцева, директора Ижевского оружейного завода, обитал то в столице, то в Миловке, имении Ростовцевых в Новороссии, в Екатеринославской губернии. Это был писанный красавец, похожий на двух других мужчин, отличавшихся яркой внешностью – отца и деда.

Отец его, генерал-майор Сергей Георгиевич Тикоцкий, отличился еще в войну с турками в 1828–29 годах, а двадцать лет спустя побывал и в другом заграничном походе – по случаю войны с Венгрией, добавившем доброй славы ему и дурной славы в глазах остальной Европы самой России.

Дед Петра Сергеевича по материнской линии и вовсе считался человеком-легендой. Адмирал Петр Иванович Рикор, сын офицера французского происхождения, уроженца Ниццы, завербовавшегося в австрийскую армию и перешедшего затем в русскую службу, и его немецкой жены из портового Данцига, родился в самой глубинке России, в холодной Псковской губернии, и был крещен в православии за неимением поблизости ни костела, ни кирхи. Десяти лет его отдали в Морской кадетский корпус, где тогда, наряду с различными науками, изучали английский, немецкий, французский, итальянский, датский и шведский языки, а также латынь. Там он вступил в службу гардемарином в 1794 году, еще при Екатерине Великой и при диктатуре безумного Робеспьера на родине предков. Боевое крещение принял в составе эскадры вице-адмирала Ханыкова в Северном море. В августе 1797 года показал себя отменным храбрецом при высадке десанта у голландского города Гельдер, за что получил «клюкву на шпагу»: удостоился своего первого ордена Святой Анны. Затем в числе двенадцати лучших русских офицеров стажировался в английском флоте, состоял в эскorte герцога Кентского. Англия тогда воевала с Испанией и республиканской Францией. Однажды ее офицер был захвачен у берегов Португалии. Лейтенант Рикор отправился вызволять пленника и успешно справился с первой своей дипломатической миссией.

Перед Трафальгарской битвой волонтер возвратился на родину, где они с его старинным другом Василием Головинным стали готовиться к первому кругосветному плаванию на отечественном судне (только что вернувшиеся из подобной экспедиции капитаны Крузенштерн и Лисянский использовали корабли, построенные за рубежом). Шлюп «Диана» вышел из Кронштадта в 1807 году. Но путь в Камчатку продлился на год дольше намеченного мореплавателями

срока: у Мыса Доброй Надежды их взяли в плен англичане, весьма своеобразно истолковав смысл недолгого состояния войны между Великобританией и Россией после заключенного Александром и Наполеоном Тильзитского мира. Никаких добрых надежд нахождения в Капштадте пленникам не сулило, поэтому они отважились на побег.

Однако главные испытания их ждали впереди.

После благополучного прибытия в Камчатку экипажу «Дианы» поручили исследовать Курильские острова, толком не принадлежавшие тогда никому, но местами заселенные японцами. О злобном нраве восточных соседей мореходам было известно, однако действительность превзошла самые худшие ожидания. В июле 1811 года капитана шлюпа Василия Головнина с пятью его людьми коварно заманили в крепость на острове Кунашир. Будучи его помощником, Рикор взял командование «Дианой» на себя и повел ее в Охотск в надежде организовать экспедицию по вызволению товарищей. Там он получил дружеский совет от начальника порта Миницкого, старого знакомого по совместной стажировке в Англии, ехать в Иркутск, а то и в столицу, не доверяясь письменному донесению. Однако в Иркутске его задержали, дав понять, что прогонные надо экономить, а депеша дойдет и без него. Но отвлекшая внимание правительства война с Наполеоном привела к печальному повороту событий: на план предложенной Рикором экспедиции по спасению капитана Головнина и других интернированных монаршего утверждения не последовало.

И Рикор начал действовать на свой страх и риск. Первая попытка провалилась сразу: заложник-переводчик по имени Леонзаймо сбежал, вероломно наврав перед этим, будто бы пленники убиты. Петр Иванович не отчаялся и захватил другого аманата, сразу опровергнувшего это утверждение. В отличие от предыдущего второй оказался вполне разумным человеком. Звали его Такагай-Кахи. Был он крупным судовладельцем, весьма влиятельным среди своих соплеменников. Перезимовав с Рикором в Камчатке и выучившись русскому языку, он помог тому установить на следующий год связь с японскими властями. Но второй экспедицией дело не ограничилось: пришлось возвращаться за верительными грамотами, без которых недоверчивые самураи не захотели иметь дело с моряками из России. Лишь с третьей попытки удалось Рикору освободить капитана Головнина со товарищи и вернуть их домой. К тому времени Наполеона уже побили под Лейпцигом, и подобрешее и устыдившееся русское правительство всемилоостивейше наградило Рикора пожизненным пенсионом по 1500 рублей в год, а также расщедрилось на заказ за счет казны его

портрета и тиража записок с описанием всех злоключений. Книга открыла еще одно дарование Петра Ивановича – незаурядного литератора. За географические открытия и описания в 1818 году его избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук, чего из всех мореплавателей удостоивался до этого один лишь Иван Федорович Крузенштерн.

В то время Рикор уже проявлял себя в новом качестве – талантливого администратора. Став первым начальником Камчатки, он вернул несчастных жителей полуострова в лоно цивилизации. Раньше там не было ни школ, ни больниц. В тех краях не росли овощи и не паслись коровы. Местное население питалось преимущественно рыбой, в лучшем случае – медвежьим мясом, в худшем – древесной корой, и не знало даже муки. Люди мёрли как мухи от любых недугов, ибо не имели лекарств. Что до известной дурной болезни, то ею были поражены почти все от мала до велика. Рикор сразу же завез необходимые медикаменты; при нем Петропавловск стал чистым и опрятным городом, в нем появились оранжерея, ремесленные мастерские и библиотека. Человеколюбивое попечение о благе жителей Камчатского полуострова принесло ему орден Святой Анны второй степени с алмазными украшениями.

Ну а Анну первой степени Петр Иванович получил в марте 1829 года за очередной воинский подвиг: первую в мировой истории блокаду Дарданелл и Константинополя в зимнее время. Сия мера, принятая по прямому указанию Государя императора Николая Павловича, сделала значительно сговорчивее турецкого султана Махмуда и открыла путь к полной независимости Греции. За это благодарные эллины избрали адмирала Рикора своим почетным гражданином. К тому времени первый президент Греции Иоанн Каподистрия уже пал от рук убийц, подстрекаемых союзниками России – англичанами и французами. Тогдашний прообраз Антанты решил навязать осиротевшей колыбели мировой демократии монарха – баварского принца Оттона. Однако новоиспеченный король не спешил взойти на трон и не присылал регентов. Настало смутное время, требовавшее сильной руки. Брат убитого президента Августин, фактически унаследовавший его должность, с такой ролью не справился. После его побега из столицы в управлении молодой страной образовалась зияющая брешь, латать которую приходилось командующему русской эскадрой, посланной на помощь греческому правительству, Петру Рикору. Поскольку народное собрание предусмотрительно ввело его в греческое гражданство, пост временного президента, до приезда Оттона, сенаторы предложили именно ему. Но совершили при этом тактическую ошибку: им бы вынести сразу

постановление, как в случае с гражданством, и поставить новоизбранного перед свершившимся фактом. Но они поступили иначе: начали зондировать почву, прося принять бразды правления. Разумеется, осторожный адмирал от этой чести отказался, полагая для себя невозможным совмещать миссию начальника русской эскадры с должностью руководителя Греческой республики.

Последний свой подвиг флотоводец совершил уже на склоне лет. Ему стукнуло семьдесят восемь, шестьдесят два из которых провел он на службе Отечеству, когда недавние союзники Англия и Франция объявили войну России. На Черном море она закончилась для русских плачевно: падением Севастополя. А вот на Балтийском всё оказалось наоборот: незваных гостей быстро отогнали. Командовал обороной Кронштадта – морскими и сухопутными силами – адмирал Петр Иванович Рикор, впервые в мире поставивший минные заграждения (в том числе и шведского изобретателя Нобеля) и не позволивший неприятелю приблизиться к острову Котлин и Петербургу.

Вот каким был дед Петра Сергеевича и прадед Кирилла Тикоцкого и Александра Крапивникова. Кстати, оба они унаследовали цвет волос прославленного предка и оказались единственными в роду блондинами, чем особенно гордились их родители.

– Что с тобой, Шура? – еще раз повторил свой вопрос Тикоцкий, не дождавшийся быстрого ответа кузена. – Чем ты расстроен?

Крапивников интригующе улыбнулся и загадочно произнес:

– Пора и мне мир повидать. Негоже отставать от старшего брата.

Кирилл считался в семье самым заядлым путешественником. Правда, совершал он дальние переезды не по своей воле. Сначала его, выпускника Института инженеров путей сообщения Императора Александра Первого, через полтора года после начала нового века, отправили служить на далекую железнодорожную станцию Танхой, расположенную южнее Байкала, близ монгольской границы. Там, будучи начальником участка, он сделался и попечителем местной школы, где познакомился с молодой учительницей Соней Поровской. Дочь сотника Забайкальского казачьего войска выгодно отличалась в глазах Тикоцкого от его столичных знакомых статью и силой, совсем не лишней для барышни, мечтающей о семейной жизни. Вскоре они стали мужем и женой. После рождения первенца Димы Кирилл начал хлопотать о переводе из сибирской глуши поближе к родным пенатам. Но судьба распорядилась иначе: молодого инженера направили в командировку в Северо-Американские Соединенные Штаты для изучения холодильного дела на транспорте. До Бремена семья доби-

ралась поездом, а затем пересела на «Кайзера Вильгельма Великого» и отчалила в Новый Свет.

Два года продолжалась стажировка. Овладев заморскими премудростями, инженер Тикоцкий вернулся в Россию полный радужных надежд. Однако железнодорожное начальство особого интереса к приобретенным им познаниям не проявило, и он вынужден был заняться проектированием холодильных камер по частным заказам.

– Службу оставить решил? – робко предположил Кирилл, услышав о планах кузена.

– Нет, что ты: типун тебе на язык! Хочу перевестись куда-нибудь подальше. Например, на Дальний Восток. Очень уж мне природа уссурийская по душе.

У Александра трудно было понять: серьезно он говорит или шутит. Конечно же, тот экзотический край может манить к себе человека, уставшего от однообразия европейской цивилизации. Но таков ли он на самом деле? И не навеют ли тамошние пейзажи грустные воспоминания о маньчжурской кампании, ранении под Ляояном и тяжелом пути домой? Да и как к тому отнесется домоседка Зинаида?

– Уж не завел ли кого себе в тех местах? – игриво поинтересовался Тикоцкий, зная об охлаждении чувств между супругами Крапивниковыми.

– Кого там можно завести? – в прежнем, слегка насмешливом тоне ответил Александр. – Разве тигрицу какую-нибудь? Так они и здесь водятся.

«Ох, и несладко, видать, Шуре, раз он к таким аллегориям прибегает», – подумал про себя Кирилл, а вслух сказал:

– Здешние все в зоосадах. А там – на воле.

То ли упрямство собеседника толкнуло Крапивникова на откровение, то ли сам решил вскрыть свой душевный нарыв, мучивший его не первый день, только он резко сменил тон и выпалил почти скороговоркой:

– Лопнуло мое терпение! Не могу больше соломенным вдовцом оставаться. К сыну лишь по праздникам на свидания ездить. Увезу их в тайгу и баста. Подальше от соблазнов здешних и пустой суеты. Нике наверняка там понравится. А подрастет – вернемся. Нам, Крапивниковым, на роду теперь написано в Павловском учиться. Но разве ж он захочет туда идти, если возле материнской юбки всё детство проведет?

Чувствуя, как нелегко дается кузену этот разговор, Тикоцкий решил перевести его на другую тему:

– Не боишься не у дел остаться? Эти безумные балканцы, похоже, скоро втянут нас в свою третью войну.

– Нет, не думаю: в их дела Россия вмешиваться не станет. Пока кто-нибудь чужой туда не полезет. Если такое случится – жди беды. Но тогда и тайга никакая от нее не спасет, – спокойно ответил капитан.

– Ты кого подозреваешь? – Кирилл стремился подальше увести кузена от воспоминаний о семейных невзгодах.

– Прежде всего англичан.

– Почему не австрийцев?

– Куда этому старому Габсбургу с молодыми тягаться?! Ему бы остаток империи своей удержать. А Георг, сам знаешь, большой любитель воду помутить. Особенно у чужих берегов.

– И всё-таки мы теперь с англичанами в одной Антанте, хоть Персию никак поделить не можем. Болгары же совсем непредсказуемы. Весной дипломаты большой европейской шестерки подписали решение о передаче Силистрии румынам. Болгария же ни в какую: не пустим, мол, этих романцев в славянский город. Город, между прочим, еще древние римляне закладывали. Вот тебе и *causa bellum*. А у нас только скажи кому-нибудь, что славян обижают. Даже отуреченных, неправославных. Мигом толпа защитников набегит. Вспомни, что пять лет назад творилось, когда австрияки Боснию с Герцеговиной аннексировали?

– И всё же война из-за боснийцев не началась, – заметил Крапивников.

– Нет, с этим Францем Иосифом у нас всё равно добром дело не кончится, – не унимался Тикоцкий. – Не сегодня так завтра Галиция восстановится. Что ж мы, и тогда промолчим?

– Наши отцы ради свободы одних славян кровь свою уже проливали. И какой толк? Получили в результате потенциального противника. А где гарантия, что и самостийная Галиция бед нам не наделает?

– Разве я за самостийность ратую? Я хочу России все ее земли законные вернуть.

– Неужели у нас земли мало?!

– Земли-то хватает, да всё больше не своя. Много ль тебе радости от Бухары или Коканда?

– Не могу сказать: не был. Вот от тайги уссурийской радость испытываю немалую, хотя она тоже для нас не исконная и раза в два дальше, чем Бухара. Что до Галиции, то меня туда совсем не тянет.

– Это ты сейчас так говоришь. Поживешь годок-другой со своими любезными нанайцами, как я почти десять лет пожил среди бурят, по-другому запоешь.

Споры Кирилла и Александра всегда кончались ничем, и если кто и побеждал, то только дух противоречия, проявляемый обычно с обеих сторон.

По-иному складывались отношения Крапивникова с другим харьковским кузеном Евгением. Они были не только двоюродными, но и молочными братьями: Женина мать Юлия Петровна умерла родами, и его отец Сергей Сергеевич уговорил сестру Веру, не испытывавшую недостатка в молоке после своей первой беременности, не оставить в беде несчастного сиротку, пока он не найдет здоровую и чистоплотную кормилицу. С тех пор и повелось: Шура во всем – старший, хотя разница между ними составляла всего полтора месяца. Шура окончил знаменитое Павловское военное училище в Петербурге, а Женя – Ставропольское казачье юнкерское. Шура досрочно до капитана, Женя оставался поддесаулом.

Жил он на Вознесенской, но дома бывал нечасто, предпочитая проводить время в полку. Когда же приезжал в город, обязательно зазывал к себе Крапивникова и мог часами внимать его рассказам, благо рассказчиком Шура слыл отменным.

Поначалу Евгений обрадовался за кузена, решившего проявить настоящий мужской характер. Но потом, когда в воздухе отчетливо запахло долгой разлукой, сильно огорчился:

– Когда же мы теперь увидимся, Шура?

– Боюсь, не скоро. Даже и не скажешь сразу – когда. И уж совсем не ясно где.

– Разве ты не будешь приезжать в Харьков?

– Едва ли. Родители в Сибири. Имение жены в Курской губернии. «Младший» брат чуть не расплакался:

– Неужели расстанемся навсегда?

Крапивников сам немного расстроился, но быстро взял себя в руки:

– Не бывать такому, чтобы судьба нас ни разу не свела. Пока молоды. А если доживем до старости – часто видеться будем.

В тридцать два года старость кажется чем-то бесконечно далеким, поэтому слова брата мало утешили Евгения Тикоцкого.

Зинаида сообщение мужа о переводе на Дальний Восток встретила недоброй ухмылкой:

– Неужели ты мог подумать, что мы с Никой отправимся следом? Неужели тебе не жалко везти единственного сына к дикарям? Кем он там сможет вырасти?

– Хорошим мальчиком, – мгновенно возразил Александр. – В Уссурийске есть свой кадетский корпус. Начнет учиться там. Потом пойдет по стопам отца и деда – в столичное Павловское училище.

– Ты уверен, что ребенок захочет стать офицером? И вообще захочет служить? – с раздражением, почти с презрением спросила

жена. – Вдруг он сумеет оценить мои старания избавить его от такой необходимости хорошим ведением имения?

– Это зависит от понимания своего долга, которое воспитывается в семье. (Крапивников сделал ударение на последнем слове.) Семья же состоит как из матери, так и из отца.

– Даже не мечтай о нашем переезде. Мы останемся дома. Блюсти свой дом – не такая уж плохая участь. А блюсти целое имение – не самое худшее исполнение упомянутого тобой долга. Служить можно и не покидая родового гнезда, как это делал мой отец. Ты возразишь, что твой отец исполнял его по-другому. И чем ему отплатили? Дослужившись почти до высшего чина, он вынужден квартировать у чужих людей, не имея собственного угла. Я не желаю такой участи своему единственному наследнику.

Сын генерала, внук генерала и правнук адмирала счел унижительным для себя начинать спор с собственной женой о разнице между самоотверженной и изнурительной службой Отечеству и добровольным служением в земских учреждениях. Он только заметил ей:

– Между прочим, ты ведь тоже на службе. Случись вдовой остаться, пенсию будешь получать и за меня, и за себя. Как жена офицера.

Зинаида, резко прервав мужа, не дала ему закончить назидательную лекцию об эмеритуре:

– Как жена офицера я воспитываю ему сына. Сама учу его. Языкам, наукам. Чем не работа? Или прикажешь гувернантку нанять?

Александру внезапно стало ясно, насколько разные они люди. Он понимал это и раньше и даже радовался такому расхождению: ведь известно из физики, какие частицы сильнее притягиваются друг к другу. Но тут явно наблюдался обратный эффект, и надежды поправить отношения таяли с неотвратимостью, обрекающей снежный сугроб с наступлением весны.

Именно в этот момент он твердо решил ехать. Один. Без семьи. Без надежды часто видеть сына. Без возможности влиять на его вкусы и интересы. Бывают же многолетние походы, затяжные кампании? Отец, несущий службу на дальних рубежах, не должен проиграть в глазах взрослеющего ребенка отцу, привозящему каждый праздник подарки. Разлука заставит мальчика задуматься о жизни, невольно возмужать и, как знать, самостоятельно проявить силу характера. Если же Ника пожелает остаться просто помещиком, как дед, или стать мировым судьей, как дядя, значит, такова судьба. А она у всех разная. И всем определена свыше.

Заныло, заныло в груди у капитана, но он приказал самому себе

не терзаться больше сомнениями и держать свое слово наперекор душевной боли. Иначе ее не преодолеть.

— Ничего я тебе приказывать не стану, — сухо ответил он жене и отправился прощаться с сыном.

Тот, распластавшись на полу в своей комнате, самозабвенно играл в солдатики.

— Кто с кем воюет? — поинтересовался Александр.

— Русские с японцами, — тут же последовал вполне ожидаемый ответ.

— Очень хорошо. Я как раз пришел рассказать тебе, как это было на самом деле, — обрадовался капитан, решивший поведать Нике самое сокровенное, ибо его охватило недоброе предчувствие, что видит ребенка в последний раз.

— Наконец-то! Я хочу знать всё-всё про твой подвиг, папа, — решительно потребовал мальчик, тщетно пытавшийся до этого выяснить у своего скромного отца, за что тому дали такой красивый орден с мечами и бантом. Он моментально бросил игру и забрался к отцу на колени.

Капитан пропустил мимо ушей сильно резавшее слово «подвиг» (да простится детям привычка всё преувеличивать) и начал повествование издалека:

— Начало войны застало наш полк в походе в Маньчжурии, очень красивой стране на Дальнем Востоке. В мае меня назначили начальником охотничьей команды, а уже в июле мы приняли первый серьезный бой у станции Ташичао. Нам удалось отбить все атаки японцев, но потом нас отвели назад.

— Почему? — мгновенно прозвучал вполне логичный вопрос сына.

Как объяснить ребенку, что высшее командование оказалось в руках трусливых и малоопытных генералов, постоянно недооценивавших собственные силы?!

— Поступил приказ сосредоточить все войска на Хайченских позициях и затем всем отойти к Аньшаньджанским укреплениям. А приказы в армии не обсуждаются. Особенно во время кампании.

Крапивников умышленно привел труднопроизносимые китайские названия. Детская память их обязательно удержит. Если Ника проявит любопытство и заглянет в географический атлас, то он быстро поймет, что русская армия, победив при Ташичао, двинулась не вперед, на Ляодунский полуостров, на выручку осажденному Порт-Артуру, а в противоположном направлении. Почему? Этого боевой офицер не знал ни тогда, ни теперь.

— Наверное, такой приказ отдали для того, чтобы вы смогли немного отдохнуть? — предположил смысленный мальчик.

– Да, там мы слегка перевели дух. Целый месяц не было никаких новых сражений. Потом меня назначили полковым адъютантом, и уже на следующий день нашему полку предстоял тяжелый бой у деревни Таампинь.

Под проливным дождем, увязая в топкой грязи, мы выполнили свою задачу и выиграли борьбу за фланг, потеряв лишь четыреста человек, тогда как противник – больше тысячи. А через два дня грянула большая Ляоянская битва. Мой полк оказался на левом фланге. Японцы же поначалу попытались обойти наши позиции на правом. Они подкрались незаметно, прячась в зарослях гаоляна, который мы не догадались выкосить.

– Что такое гаолян? – перебил Ника.

– Это растение, похожее на знакомую тебе пшеницу. Только еще выше. В гаоляновом поле низкорослые японцы издалека не видны, что помогло им внезапно ворваться в русские окопы. Но их оттуда быстро выбили. Тем временем на нашем фланге шла перестрелка. В целом в первый день противник потерял пять тысяч человек, а мы – лишь три.

Наутро планировалось зайти к неприятелю в тыл, для чего ночью полк переправился через реку Тайцзыхэ, на ее правый берег. Там-то всё и началось.

Мы занимали две очень важные позиции: высоту 131 и Нежинскую сопку. Перед ней тоже рос высокий гаолян. Пехота стала пробираться сквозь него, а в это время их артиллерия ударила сразу из тридцати орудий, чтобы мы не слышали шелеста колосьев. С наступлением темноты нам показалось, что никаких действий больше не будет, и мы начали спускаться к подножью сопки. В это время противник захватил ее с другой стороны. Пришлось идти в штыковую атаку. К ночи позицию свою мы вернули. Но рядом японцы заняли важную для нас деревню Сыквантунь.

Утром двадцатого августа нам приказали вернуть и ее. Наша артиллерия провела подготовку из почти ста орудий. Мы же, переняв японскую хитрость, тоже воспользовались густым гаоляном и к полудню потеснили неприятеля. Весь день пытались выбить его из Сыквантуни. Тогда-то меня и ранило навывлет в правое плечо. Что было дальше, я уже не помню. И в боях больше не участвовал.

Повисла долгая пауза. Только сейчас до капитана дошло, что он говорил с ребенком, своим собственным ребенком, как с каким-нибудь газетным репортером, языком военных донесений. Ему стало невероятно стыдно.

– И это всё? – разочарованно спросил Ника. – Весь рассказ? А где же подвиг?

– Как видишь, сыночка, никакого подвига я не совершил. Просто честно воевал, не прячась от пули. За это и получил свою награду. Самый скромный из всех орденов. Но и его давали не всем. Почему мне, а не другому? Командирам виднее. Тот же, кто отличался особо, совершил, как ты называешь, подвиг, получал не Станислава, а Георгия. Однако таких оказалось еще меньше. Наверное, поэтому и кампания закончилась не в нашу пользу.

Так и расстались сын с отцом на этой грустной ноте. Видно, поиному и не могло быть в тот недобрый день. Но Александр всё же остался доволен тем, что главную свою задачу выполнил: что бы дальше ни случилось, Ника будет знать об отце самое главное и наверняка постарается быть достойным его, если ему придется когда-нибудь исполнять свой воинский долг.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В самом конце весны четырнадцатого года, когда яблоневые сады ослепили снежной белизной свежераспустившихся цветов, в село Прут пожаловала свекровь хозяйки имения – Вера Сергеевна, давно не видевшая внука и пожелавшая провести с ним начало предстоящего лета.

Ника любил всех. Единственная бабушка исключения не составляла. Нескрываемая поначалу и не проходящая впоследствии радость охватила мальчика, уставшего от однообразия зимней жизни, впервые на его веку не скрашенной приездами любимого папы, по которому он сильно скучал и от имени которого, в качестве очень слабого утешения, получил добрую половину привезенных подарков. Большинство из них составляли книги. Среди новых, с красивыми обложками и замечательными картинками, оказалась и неказистая, потрепанная, в простеньком самодельном переплете и совсем без иллюстраций. Бабушка сразу заметила кислый взгляд внука и поспешила пояснить:

– Эта книжка должна быть тебе особенно дорога. Она написана моим дедом, твоим прапрадедом. Ей скоро будет сто лет. Я сама прочту тебе ее вслух.

– Нет-нет, бабуля, – запротестовал мальчик. – Я уже большой. Справлюсь и без тебя.

– Не упрямься, – одернула его Вера Сергеевна. – Она написана для взрослых. Там много непонятных тебе слов. Всё равно будешь бегать ко мне с вопросами.

Конечно же, птица делала некоторые купюры, стараясь больше оттенить приключенческий характер записок капитана флота Рикора о плавании его к японским берегам и о сношениях с японцами. Из ее уст Ника познавал историю и географию. Потом они придумали

игру: на старой карте мальчику предстояло вычертить маршрут своего пращура и по морям, и по суше, когда капитан шлюпа «Диана» метался по Сибири и Дальнему Востоку в попытках уговорить черствых чиновников вызволить из японского плена коварно захваченных русских моряков.

Не опускала она, однако, те места, которые должны были без лишней дидактики воспитать во внуке достойного потомка великого предка. Даже если они были не совсем для детского уха.

«...обстоятельства не позволили обременить посланного бумагами, и потому мне самому на имя министра писать нельзя; но знайте, где честь государя и польза Отечества требуют, там я жизнь свою в копейку не ставлю, а потому и вы в таком случае меня не должны щадить; умереть всё равно – теперь или лет через десять или двадцать после...»

Разумеется, научил бабушку преподавать такой необычный урок внуку не кто иной, как сам отец ребенка, капитан Крапивников.

Но миссия Веры Сергеевны состояла не только в наставлении Ники. Она – и это были уже ее собственные желания и задумки – собиралась направить на путь истинный и невестку.

Зинаида относилась к свекрови с должным уважением, но без особой любви. Во всяком случае, рано потерянную мать она ей никак не заменила. До отъезда генерала Крапивникова к новому месту службы в Сибирь они жили зимой вместе, не докучая одна другой, но и не душа в душу. Конечно, Вера Сергеевна сильно помогла во время первой и очень тяжелой беременности невестки советами и участием, много хлопотала по дому и после появления на свет близнецов. Смерть младенцев так сильно потрясла обеих, что общее горе, переживаемое ими по-разному, не сблизило, а скорее отдалило. Вскоре свекра назначили начальником Омской местной бригады, и до рождения Ники Зинаида ни разу не виделась со свекровью. Да и потом свидания были не очень частыми, приблизительно раз в год, когда Николай Ксенофонтович отправлялся лечить застарелую язву на кавказские воды.

Достоинства, коими обладала Вера Сергеевна, утрачивались в глазах невестки по мере того, как медленно, но неотвратимо надвигающаяся старость изменяла ее внешний облик. Они принадлежали к разному типу женщин, и только грубый простолудин, для которого все господа одним миром мазаны, не заметил бы весьма существенных, почти антагонистических различий.

Вера Тикоцкая родилась на Васильевском острове, в богатом и гостеприимном доме своих деда и бабки, в тот самый момент, когда

карьера адмирала Рикора достигла апогея: шутка ли сказать – особа при самом государе. Правда, дед вскоре умер, но тут же стал генералом отец: в другом чине она его и не помнила. И хотя семье через несколько лет пришлось покинуть столицу, поскольку Сергея Георгиевича Тикоцкого назначили директором Петровского Полтавского кадетского корпуса, маленькая Верочка часто гостила у бабушки, оставшейся после смерти мужа в Петербурге, на ее чудесной даче в Петергофе, где обычно резвились дети из высшего общества.

Бабушка Людмила Ивановна была не просто адмиральской вдовой. Эта видная дама считалась незаурядной писательницей. В далеком 1821 году ее, третьей из женщин после Анны Волковой и Анны Буниной, избрали почетным членом Вольного общества любителей российской словесности. За ее мемуарами охотились лучшие журналы. И было с чего: она жила яркой, насыщенной жизнью, полной необычных приключений. Начала свои путешествия Людмила Ивановна, как водится, со свадебного и отправилась не куда-нибудь, а на Камчатку, место совершенно экзотическое для эпохи Александра Первого. Разумеется, пересекла при этом всю Россию, умудрившись побывать даже в Кяхте.

Потом была поездка в только что обретшую независимость Грецию, где ее любезно принимал президент республики Иоанн Каподистрия. По дороге Людмиле Рикор пришлось сделать остановку в Константинополе и прямо с корабля попасть... нет, не на бал – в Османской империи их не давали, – на первые открытые для иностранцев манёвры турецкой армии. Пригласил ее сам султан Махмуд, который почел за честь лично приветствовать русскую гостью, отсалютовал ей саблей на глазах у изумленных дипломатов.

После таких знаков внимания Людмила Ивановна не побоялась посетить древние Афины, остававшиеся еще под игом Турции. В те времена редко кому удавалось совершить подобную экскурсию. Однако бо́льшая опасность поджидала супругу адмирала Рикора в Греции. Во время внутренних распрей, сопровождавших недолгий век республики и достигших апогея после убийства графа Каподистрии, ей пришлось, рискуя собственной жизнью, прятать на своей квартире членов правительства и даже ключи от крепости во временной столице Навплии. Несколько раз на эту смелую женщину совершались покушения, а однажды ее целых шесть недель удерживали в заложницах. Но судьба была милостива к ней, причем очень долго.

После смерти мужа Людмила Ивановна по зову своего сердца занялась благотворительной деятельностью. Для начала учредила премию имени адмирала Рикора лучшим выпускникам Морского

военного училища. Затем основала Прибалтийское православное братство во имя Христа Спасителя, в семьдесят пять лет возглавила его комитет и еще целое десятилетие пребывала в этом звании, занимаясь постройкой церквей, учреждением русских школ и обучением жителей балтийских губерний языку Пушкина, которого знала лично. Умерла она на девяностом году жизни, вскоре после окончания очередной главы мемуаров.

Неудивительно, что к такой бабушке тянулись все ее двенадцать внуков и внучек. Верочке, одной из самых младших, внимания уделялось больше, чем взрослеющим братьям и старшим сестрам. Людмиле Ивановне довелось дожить до ее свадьбы и даже полюбоваться первенцем. Светленький правнук Шура особенно полюбился адмиральше: она находила в нем несомненное сходство с покойным супругом.

С замужеством и особенно после кончины любимой бабушки светская жизнь Веры Сергеевны полностью угасла. Хотя муж добился перевода по службе из глухой Полтавы в университетский Воронеж, где молодожены и провели медовый месяц, с прежним, петербургским блеском было покончено. Став матерью семейства, Вера Крапивникова вовсе перестала наезжать в столицу и постепенно превратилась в типичную гарнизонную жену, довольствующуюся условиями провинциального быта.

У ее невестки светскость была не врожденная, а благоприобретенная, в годы учебы в институте. И всё же она смотрела свысока на высокородную свекровь, не получившую такого образования. Еще больше поддерживала в ней осознание собственного превосходства та высшая эмансипация, которая дается женщине вместе с собственными имущественными правами. Где до нее вздорным героиням романов, высвободившимся из-под родительской опеки с помощью фиктивного брака и подвизающимся в журналах и университетах! Ведь главная зависимость — отнюдь не семейная, а материальная: только владение собственностью делает человека свободным. Поэтому Зинаиду и рассердило упоминание мужем об эмеритуре. Пусть такие пустяки тревожат его мать, а ей ничего не надо из казны: она сама себя прокормит.

Вера Сергеевна прекрасно знала свою невестку и понимала: подход к ней нужен особый. Ахиллесова пята ее — гипертрофированный материнский инстинкт: к тому, что дается от природы, прибавился еще и свойственный лишь тем, кто переносит самое сильное чувство с супруга на единственного сына.

От своей знаменитой бабки генеральша твердо знала: одни женщины в большей степени жены, другие — матери. Сама Людмила

Рикор относилась к числу первых. Имея единственную дочь, она без малейших сомнений оставила ее на попечение родных и отправилась в опасное путешествие вслед за супругом. Сама же дочь, родив и вырастив двенадцать детей, тоже больше тяготела к мужу. Имея перед глазами такие примеры, Вера уготовила себе ту же участь. Тем более, что ее жених из капитанов довольно быстро превратился в полковника, потом и в генерала, а быть генеральской женой – это уже не судьба, а самостоятельная профессия. Да и могла ли она позволить себе стать рабой сына, как Зинаида, когда их у нее было трое? Чуть подрос первый – родился второй. Подняла его – глядь, третий на походе. Пока возилась с младшим – старший уже кадет. Не успела оглянуться – средний тоже отправился учиться. Следом за ним – и младший. Так же быстро перешли они друг за другом из кадет в юнкера. Потом возникла новая забота: женить всех троих. Один, слава Богу, устроился, других еще нужно подталкивать. Дело не очень простое, а тут у старшего нелады с женой. Да, с такой горячкой ужиться трудно. Но что поделаешь: надо. Как же по-другому?

В первые две недели Вера Сергеевна решила никаких разговоров на болезненную тему не начинать: присмотреться, прислушаться, прощупать как следует внука. Впрочем, и двух дней хватило, чтобы понять, как мальчик любит отца и как тоскует по нему. На приманку с книгой ее деда клюнул быстро и крепко сел на этот крючок: каждый день просит рассказать что-нибудь новенькое о подвигах адмирала Рикора. А их и в самом деле тьма. Заодно и про отца своего поведала. Генерал Тикоцкий тоже не раз отличился: и в турецком походе побывал, и в венгерском, и в Восточной войне вместе с тестем Петербург защищал.

Несколько раз, как бы невзначай, но непременно при матери, заметила бабушка внуку:

– Как же ты всё-таки на деда моего похож! Такой же беленький. Весь в нашу породу.

Ничего не ответила на это Зинаида свекрови, всегда гордившейся тем, что ее старший сын походил внешнеюстью на блондина адмирала. Поняв, как далеко заходит дело, она решила отвлечь мальчика новыми впечатлениями и срочно вызвала к себе гостей.

Впрочем, едва ли можно назвать гостями семейство ее старшей сестры Агнии, также владевшей частью имения. Ника очень любил братьев Колю и Володю, бывших чуть старше, и всегда ждал их приезда на лето в Прут. Но на сей раз Венёвцевы появились не одни: коварная Зинаида пригласила и деверя сестры – знаменитого депутата Государственной Думы.

Интуитивно почувствовав подвох, Вера Сергеевна начала непри-

ятный разговор накануне пополнения круга обитателей усадьбы. Причем без обиняков.

– Жалко мне тебя, Зина, – тяжело вздохнув, сказала она, сидя на веранде, невестке, глядя не на нее, а вслед убегающему с сачком Нике, спешившему не оставить на долю кузенов диких бабочек, замеченных им с утра.

– Почему? – естественным образом вырвалось в ответ у Зинаиды.

– Тяжелая судьба тебя ждет, – интригуяще продолжила Вера Сергеевна, по-прежнему не оборачиваясь в сторону собеседницы.

– Самое тяжелое у меня позади, – спокойно возразила та. – Ранее сиротство, потеря детей – что может быть страшнее?

– В молодости перенести такие несчастья человеку еще под силу, а в старости и меньшие куда больней, – продолжала пророчествовать свекровь. – В старости опора надежная необходима.

– Главная опора – это дети. Господь милостив ко мне: сохранил одного. Теперь моя забота – его оберегать, – умело парировала Зинаида и тут же перешла в контратаку: – Поэтому и не хочу я военным его видеть. Вы же только и настраиваете мальчика на продолжение героических подвигов предков. Зачем? Ведь его как единственного сына всё равно в армию не возьмут.

Вера Сергеевна, предвидевшая такой поворот, и не думала сдаваться:

– Дети – не главные помощники в старости. Гораздо больше пользы от мужа. Он ближе. Он всегда рядом. Сын же в первую очередь о своей семье заботиться станет.

– Много ли вы видели в жизни вдовцов? А вот вдов – не пересчитать. Вспомните свою мать, свою бабу. На кого им пришлось в старости опираться?

– Мои мать и бабу были намного моложе мужей, – не замедлила укусь генеральша невестку, родившуюся на год раньше супруга. – Поэтому не стоит тревожить их тени.

Зинаида поняла, что допустила промах, даже бестактность: ведь и Николай Ксенофонтович был старше жены на девять лет.

– Простите великодушно, – извинилась она.

– Тебе муж еще пригодится, – воспользовавшись промашкой собеседницы, пошла в наступление свекровь. – Любые отношения надо ценить смолоду. А уж с отцом собственных детей – тем более. Я не такая ретроградка, как ты думаешь. По мне и развод – дело вполне допустимое, житейское. Что ж, если один опротивел, а другой стал мил? Всякое случается. Недаром мой свойственник граф Толстой «Анну Каренину» написал в назидание всем нам. Только нехорошо жизнь друг другу в каторгу превращать. Ты теперь сама мать, знаешь,

как за сына больно бывает. Думаешь, мне легко смотреть на страдания Шуры? Он ведь тебя по-прежнему любит. И Нику любит. А без вас совсем чахнет. За что ему такие муки?

Тирана оказалась отточенной по всем законам риторики. Но ответ последовал вполне предсказуемый:

– Если без нас чахнет – пусть возвращается домой. Хоть он и на службе – ему обязательно пойдут навстречу. В крайнем случае, могу через Владимира Николаевича похлопотать. Он как раз завтра к нам приезжает.

– Какого Владимира Николаевича? – не сразу догадалась Вера Сергеевна.

– Это деверь Агнии. С недавних пор депутат Государственной Думы. Состоит членом комиссии по военным и морским делам. К самому Сухомлинову обратиться может.

Так генеральша Крапивникова впервые узнала о новых возможностях Владимира Николаевича Венёвцева.

А утром он уже сам витийствовал в том же кресле на веранде:

– Бестолково у нас расходуются бюджет, ох, бестолково! Вооружаться лучше надо. Этого за державу никто не сделает. Сопли же сиротам и попы подотрут, а дороги железные и купцы построят.

Венёвцев начинал карьеру в земстве, будучи простым помещиком, ограничившим свое образование реальным училищем, но обладавшим несомненными ораторскими способностями. Правда, оценили их не сразу: долгие пятнадцать лет добивался он должностей председателя управы и предводителя дворянства в родном Тимском уезде. Зато в 1912 году, в канун собственного сорокапятилетия, с первой же попытки выиграл выборы в Государственную Думу, где тут же вошел в фракцию правых – одну из трех самых крупных. Лишь у октябристов и кадетов было больше членов, причем у последних – всего на одного.

Уже будучи депутатом, Венёвцев стал товарищем председателя уездного отдела Союза русского народа, осчастливил своим присутствием Русское Собрание и даже выступил одним из учредителей Всероссийского Филаретовского общества народного образования. Иными словами, сделался рьяным монархистом.

Вот только личной жизни такая успешная карьера никак не помогла: в сорок шесть лет крупный общественный деятель, известный всей России, оставался бобылем. Как закоренелый холостяк, общения с барышнями избегал, зато с дамами вел себя бесцеремонно, не особенно считаясь даже с присутствием их мужей. В отсутствии же оных бесцеремонность начинала граничить с развязностью.

– Зинурка, ты у нас слишком грустная, – заявил он хозяйке дома прямо при ее свекрови. – Такую диспозицию нужно срочно исправлять. Не дожидаясь твоего капитана.

Павел Венёвцев был на десять с лишним лет младше брата и никогда не решался делать ему замечания публично. Однако наедине попенял:

– Ты бы не вгонял в краску мою свояченицу. Во-первых, всё равно не удастся – скала. Во-вторых, пощадил бы уши генеральши.

Но бравый депутат не считал нужным прислушаться к разумным доводам брата. На следующий день он снова не преминул подтрунить над соломенной вдовой в присутствии ее сестры и свекрови:

– Зинура, по-моему, ты украдкой от нас каждое утро съедаешь на завтрак по десять лимонов. Поделись, пожалуйста, в другой раз.

– Теперь я понимаю, почему женщин не выбирают в Государственную Думу, – спокойно ответила на выпад Зинаида.

– И почему же? – спросил Владимир Николаевич.

– Они не смогут оценить депутатский юмор.

Венёвцев примолк. После недолгих раздумий он решил взять крепость осадой. Для этого собрался вползти троянским конем в сердце юного Ники. Заметив это, мать ребенка сама стала подталкивать его ближе к сыну, имея, правда, совсем другую корысть.

– Вы бы, Владимир Николаевич, поведали детям о новом служении отечеству в высоком ранге народного избранника. Они ведь слышат от старших только о службе военной или гражданской, а вдруг рано или поздно кому-нибудь из них тоже доведется стать членом Государственной Думы?

Честолюбивому депутату такая идея пришлась по душе. Особенно усердствовал он при сепаратных разговорах с Никой.

– Такой умный мальчик, как ты, должен с юных лет думать о политической карьере, мечтать о самом высоком предназначении: облегчать бремя государю заботой о написании законов и надзором за лукавыми министрами.

Работу в правительстве Владимир Николаевич почему-то «высоким предназначением» не считал, подозревая членов кабинета в постоянных тайных интригах против устоев самодержавия и желании занять положение, сопоставимое со статусом их английских коллег.

«Умный мальчик» сначала не хотел понимать смысл слов человека, потеснившего в их доме и незримо присутствовавшего отца, и реально властвовавшую в нем мать. Но поклонение перед важным гостем всех соседей, наезжавших от случая к случаю родственников и даже специально вернувшегося в отчий дом ради общения с депу-

татом любимого дяди Саши заставило Нику более взросло подойти к оценке навязчивого собеседника. Тем более, что он старался говорить с ребенком на равных, не отпуская в его адрес никаких шуток, и нарочито выделял из четверки кузенов (к старшим прибавился и младший, Жоржик, сын дяди Саши).

– Понимаешь, Ника, – с озабоченным видом, нахмутив брови, вещал ему Венёвцев, – в депутаты иногда пролезают совершенно безнравственные люди. Например, кадеты.

– У меня папа был кадетом, – обиженно отозвался мальчик.

– Э, ты не путай: я говорю совершенно о других кадетях. Так называют по первым буквам их партии конституционных демократов: ка-дэ. Они не имеют никакого отношения к военным. Скорее даже, в душе их ненавидят. И царя ненавидят. И Россию. Им хочется, чтобы у нас всё было, как в их любимых Франции и Америке. Чтобы вместо Государя императора правил президент, чтобы министров назначал парламент. Вот почему необходимо иметь хороших депутатов больше, чем плохих.

– А откуда берутся плохие?

– Их выбирает темный народ. Ему дано право голосовать, но он легко поддается на агитацию пустословов. Пока настоящие мужчины, подобно твоему папе, служат в армии, на флоте, различных учреждениях, всякие болтуны обманывают избирателей, стараясь проскочить в Думу. Поэтому не всем надо идти в офицеры. Одним придется защищать державу от врага внешнего, в боях и сражениях, а другим – от врага внутреннего: на выборах и думских занятиях. Это тоже очень важно и очень почетно. Посмотри, сколько в лесу падает деревьев не от того, что их поддел кабан или повалил медведь, а от маленького жучка-короеда, заведшегося внутри дупла и подточившего ствол изнутри! Среди людей тоже немало таких незаметных жучков. Нельзя позволить им свести наш огромный, наш великий лес, именуемый Россией.

Известный монархист подбивал клинья не только к ребенку, но и к его матери. Ее мужской характер, сочетание приятной женственной внешности с твердостью поведения очень привлекали Венёвцева. Через Агнию и Павла он знал обо всех семейных неурядицах Крапивниковых и вдохновился перспективой отбить у капитана жену.

Зинаида быстро раскусила намерения именитого гостя. Уж если она научилась обходиться без красавца-мужа, которого когда-то полюбила со всей страстью своей суровой натуры, то что было говорить о не очень опрятном, заметно стареющем и не слишком симпатичном холостяке-эгоисте, влюбленном больше всего в собственную известность! Ей показалась невероятно смешной сама иллюзия,

питавшая этого неглупого человека. Как он мог даже дерзнуть подумать о таком?!

– Я хочу еще раз серьезно поговорить с Шурой, – сказала она однажды свекрови, единственному человеку в доме, не подавшемуся чарам депутата. – Нужно, чтобы он взял отпуск и приехал хотя бы на неделю.

Обрадованная Вера Сергеевна тут же написала сыну. Тот начал хлопотать перед начальством.

Но неожиданно нагрянули непредвиденные, чрезвычайные события, отодвинувшие на долгие годы встречи многих разлученных супружеских пар. А некоторых и навсегда.

Лето, обещавшее быть таким жарким, таким обильным на радости и удовольствия, стало рубежом, разделившим всю историю человечества на ДО и ПОСЛЕ. На прекрасное, лишь иногда мрачное ДО и ужасное, временами беспощадное и только изредка щадящее ПОСЛЕ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Новорожденную крестили в самой середине лета, в Губернске, где она издала свой первый крик. Впрочем, нет: радостное для Угриных событие произошло в нескольких верстах от города, в имении Ольгиного мужа Павла Ивановича. Головинны сразу же и безоговорочно признали невестку, выбравив, однако, Михаила за скрытность, и в пику чопорной Капитолине Александровне, не особенно вхожей в их дом, приютили у себя на лето молодую чету, всеми силами стремившуюся в последние недели перед рождением первенца обосноваться на природе.

Ольга Георгиевна взяла на себя все заботы об устройстве крестин, давая понять мачехе, кто на самом деле является старшим в их роду. Конечно же, ждали наследника. Но и девочке все были рады, видя в ее появлении на свет знак свыше, что брак продолжателя фамилии замечен, подкреплен потомством и может принести плоды еще не однажды.

В честь великомученицы, прославленной в день крещения, ребенка нарекли Мариной. Против всеобщего ожидания сама Ольга крестной матерью не стала, хотя с мужской стороны поручила роль восприемника мужу, уступив это право сводной сестре Вере, специально приехавшей из белорусской глуши ради такого события.

Но главный из приготовленных ею сюрпризов состоял в другом.

Когда всё семейство, включая четырехлетнего Костика, собралось за праздничным столом, а малышка посапывала неподалеку в колыбели, на торжество прибыла необычная гостья. О ее существо-

вании знали все, но никто и никогда не удостоивался чести долгого общения. Она приходилась кузиной деду Ольги и Михаила и принадлежала к тому колену рода Угриных, от которого давно уже никого больше не осталось в живых.

Величественного вида старуха сама, без посторонней помощи, приблизилась к детской кроватке и сухощавой, но твердой рукой перекрестила младенца:

— Благословляю тебя, дитя мое.

Потом она обратилась к застывшим от изумления родственникам, чаявшим увидеть ее лишь в лучшем из миров:

— Вот так же и меня без малого восемьдесят лет назад благословила моя прабабка. А была она, да будет вам известно, побочной дочерью императора Петра Третьего, родоначальника правящей ветви Дома Романовых. Конечно, вы подумаете, что это легенда. Однако у меня есть подтверждение. Не бумажное, которое легко подделать, а более весомое доказательство. Оно передается из поколения в поколение по женской линии, и сегодня я дарю его нашей новорожденной, поскольку у самой в семье одни мальчики.

Старуха достала из ридикюля маленькую бархатную коробочку и царственным жестом поманила к себе Лизу:

— Наденешь на свою дочь, когда она достаточно повзрослеет, чтобы оценить величие подарка.

Подстрекаемая любопытными взглядами окружающих, Лиза открыла коробочку.

В ней лежал золотой медальон с портретом Государыни императрицы Елизаветы Петровны.

В этой семье дети не рождались уже ровно десять лет.

Последним стал слабенький мальчик, унаследовавший от матери страшный недуг — гемофилию. Такой диагноз сродни приговору: с ним долго не живут.

Мутантный ген болезни, возможно, укоренился и в организме его четырех сестер, но женщины от нее не страдают и лишь передают роковую заразу сыновьям.

Впрочем, девочек из этого рода обрекала на страдания не сама гемофилия, а невозможность устроить из-за нее свою судьбу. Трагедию их семейства скрывать было невозможно: она стала известна всему миру и навсегда закрыла им дорогу к брачному алтарю, поскольку главное их предназначение заключалось в производстве на свет именно сыновей. Появись в доме еще один мальчик и окажись он здоровым, проклятие, возможно бы, и пало. Но Господь новых детей несчастным родителям не посылал.

От этого страдала уже вся Россия, ибо семья была не простой, а Августейшей.

Продлить жизнь наследнику могла лишь сверхъестественная сила. Именно такую и почувствовали отец с матерью в простом и грубом мужике, явившемся из далекой Сибири. Однако с тех пор, как он начал опекать наследника, в доме не стало покоя: вся страна норовила позлословить о зависимости Николая и Александры от шарлатана, которым умело манипулировали авантюристы разного сорта и калибра.

Неотесанного простолюдина пришлось срочно выдавать за старца. Но старчество – издавна почитаемая на Руси форма прижизненной святости – никак не сочеталось с необузданной похотью, чревоугодием и властолюбием, одновременно угнездившимися в пришельце. Тысячи людей невольно становились свидетелями вакханалий в ресторанах и трактирах, слышали о непристойных приставаниях от их жертв и знали из вполне надежных источников о наглом вмешательстве в государственные дела. Пока статс-секретарем оставался человек железной воли и гипертрофированной бескомпромиссности, последнее не носило угрожающего характера. Однако бездарность охранки не только не воспрепятствовала, но и поспособствовала убийству этого Богом посланного России заступника. Новый премьер, при всех прочих достоинствах, оказался не столь непримиримым к сибирскому «чудодею». Правда, и это его не спасло: в январе четырнадцатого года он был отставлен. Его сменил очень старый и очень слабый духом господин, заискивавший перед псевдостарцем.

Страна катилась в пропасть.

Неожиданное спасение подоспело как раз вовремя.

За месяц до рождения маленькой Марины сараевский гимназист Гаврила Принцип затесался в толпу, встречавшую кортеж наследника австрийского престола у поворота с набережной Дрины на Латинский мост. Когда открытый автомобиль с четой Габсбургов, не сопровождаемый охраной, поравнялся с ним, Принцип выхватил револьвер и двумя точными выстрелами уложил наповал и эрцгерцога и его супругу Софи. Схваченный на месте злоумышленник признался, что действовал по заданию подполья. Его организация ответила террором на аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгерской империей и добивалась этим воссоединения своей родины с независимой Сербией.

Назревал нешуточный конфликт. Австрия, которой и так не везло с наследниками, кипела законным негодованием. За ее спиной к тому же стояла воинственная Германия. Сербию поддерживала мощная славянская сестра – Россия. Локальной войной тут было не обойтись.

Мир замер в ожидании, надеясь на благоразумие Берлина и Петербурга.

Но произошло прямо противоположное.

В день, когда Марина Угриня появилась на свет, Австро-Венгрия предъявила южному соседу заведомо невыполнимый ультиматум, унижающий его суверенитет. Именно в тот же день французский президент Раймон Пуанкаре покидал Петербург. Милитаристский настрой гостя, заверившего в непременном исполнении союзнических обязательств, случись России втянуться в любую войну, демонически повлиял на Государя императора Николая Александровича, и без того подстрекаемого своими сановниками на решительные действия. Уже назавтра царь распорядился мобилизовать на случай нападения Австрии на братскую Сербию четыре военных округа – Московский, Харьковский, Одесский, Казанский – и два флота: Балтийский и Черноморский.

Реалистически настроенная Сербия, как это ни было для нее тяжело, приняла австрийский ультиматум, согласившись выполнить девять из десяти его требований. Даже поспешно казнила организатора сараевского покушения полковника Дмитриевича. Отказалась лишь допустить на свою территорию войска Габсбургской империи.

На третий день после такого ответа Австрия начала боевые действия. Ближайшие союзники воюющих сторон – Германия и Россия – не могли больше оставаться в стороне.

Следующим утром русский император Николай обратился к своему кузену Вильгельму:

«В этот особенно серьезный момент я прибегаю к твоей помощи. Позорная война была объявлена слабой стране. Возмущение в России, вполне разделяемое мною, безмерно. Предвижу, что очень скоро, уступая производящемуся на меня давлению, я буду вынужден принять крепкие меры, которые поведут к войне. Стремясь предотвратить такое бедствие, как европейская война, я умоляю тебя во имя нашей старой дружбы сделать всё возможное, дабы не допустить твоих союзников зайти слишком далеко.»

Кайзер к вечеру прислал ответ:

«Разделяю твое желание сохранить мир, но, как я уже говорил тебе в своей первой телеграмме, я не могу рассматривать выступление Австрии против Сербии как ‘позорную войну’. Австрия по опыту знает, что сербские обещания на бумаге абсолютно не заслуживают доверия. По моему мнению, действия Австрии должны рассматриваться как желание иметь полную гарантию в том, что сербские обещания претворятся в реальные факты. Поэтому я считаю вполне возможным для России остаться только зрителем австро-сербского

конфликта и не вовлекать Европу в самую ужасную войну, какую ей когда-либо приходилось видеть».

Только глухой не услышал бы в последних словах неприкрытую угрозу! Однако Николай не стал хвататься за брошенный ему спасательный круг. Подождав вечер, ночь и утро, Вильгельм следующим днем решил выразить свою позицию более определенно:

«Австрия мобилизовала только часть своей армии и только против Сербии. Если, как видно из сообщения твоего и твоего правительства, Россия мобилизуется против Австрии, то моя деятельность в роли посредника, которую ты мне любезно доверил и которую я принял на себя по твоей усиленной просьбе, будет затруднена, если не станет совершенно невозможной. Вопрос о принятии того или иного решения ложится теперь со всей своей тяжестью исключительно на тебя, и ты несешь ответственность за войну или мир».

Ответ пришел через двадцать минут, в тот самый момент, когда в Губернске крестили маленькую Марину:

«Военные приготовления, вошедшие теперь в силу, были решены пять дней тому назад как мера защиты ввиду приготовлений Австрии. От всего сердца надеюсь, что эти наши приготовления ни с какой стороны не помешают твоему посредничеству, которое я высоко ценю. Необходимо сильное давление с твоей стороны на Австрию для того, чтобы она пришла к соглашению с нами».

В считанные часы прирожденный пацифист Николай, поборник идеи всеобщего разоружения, неожиданно для своего кузена Вильгельма превратился в непримиримого воителя. И уж никак не под влиянием сибирского провидца. Тот второй месяц был отрезан от Петербурга. Едва ли не в тот же день, когда был сражен эрцгерцог Франц Фердинанд, «старец» тоже пережил покушение. В родном селе Покровское, куда он отправился погостить на лето, старая приятельница Хиония Гусева из ревности проткнула ему пузо тесаком. Находясь между жизнью и смертью, «Божий человек» нисколько не мог влиять на политику. А если б и мог, то наверняка уговаривал бы царя замириться с австрияками и немцами, что он потом и делал.

В тот день советы давали другие люди. Николай колебался как никогда. Он то отдавал приказ о всеобщей мобилизации, то его отменял. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов, неповоротливый из-за почтенного возраста, не знал, как и реагировать на высочайшие метания туда-сюда. Тут недюжинную сообразительность на горе матерям всего мира проявил его товарищ. Он просто отключил все служебные телефоны, полагая это более простым, чем рассылать по войскам депеши об отмене уже отправленных распоряжений и поворачивать назад эшелоны.

У Николая же начали проявляться явные симптомы раздвоения личности. Утверждая одной рукой указ о всеобщей мобилизации, другой он писал в Берлин:

«Сердечно благодарен тебе за твое посредничество, которое начинает подавать надежду на мирный исход кризиса. По техническим условиям невозможно приостановить наши военные приготовления, которые явились неизбежным последствием мобилизации Австрии. Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не примут никаких вызывающих действий. Даю тебе в этом мое слово».

(«Техническими условиями», похоже, были отключенные телефоны.)

Ответ на этот лепет пришел, когда уже начался последний день июля. Он же последний день мира:

«Вследствие твоего обращения к моей дружбе и твоей просьбы о помощи я выступил в роли посредника между твоим и австро-венгерским правительством. В то время, когда еще шли переговоры, твои войска были мобилизованы против Австро-Венгрии, моей союзницы, благодаря чему, как я уже тебе указал, мое посредничество стало почти призрачным. Тем не менее, я продолжал действовать, а теперь получил достоверные известия о серьезных приготовлениях к войне на моей восточной границе. Ответственность за безопасность моей империи вынуждает меня принять предварительные меры защиты.

В моих усилиях сохранить всеобщий мир я дошел до возможных пределов, и ответственность за бедствие, угрожающее всему цивилизованному миру, падает не на меня. В настоящий момент всё еще в твоей власти предотвратить его... Европейский мир всё еще может быть сохранен тобой, если только Россия согласится приостановить военные приготовления, угрожающие Германии и Австро-Венгрии».

Вот и спала маска миротворца! Последняя фраза — чем не ультиматум?

Николай не мог ее не понять. Возможно, он и предпринял бы предупредительные меры, но быстро этого делать не умел, а кузен Вилли, как вскоре выяснилось, дал ему на раздумья всего лишь одну ночь. Уже в полдень графу Фридриху Пурталесу, германскому послу в Петербурге, была направлена такая инструкция от рейхсканцлера Теобальда Бетмана-Гольвега:

«Поскольку русское правительство не дало удовлетворяющего нас ответа на наше требование, прошу Ваше превосходительство сегодня в пять часов пополудни вручить следующую декларацию:

‘Императорское правительство с самого начала кризиса старалось найти мирное его разрешение. Отвечая на выраженное со сто-

роны Его Величества Императора Всероссийского желание, Его Величество Кайзер Германский в согласии с Англией принял на себя исполнение миссии посредника между петербургским и венским кабинетами. Когда Россия, не дожидаясь результатов его посредничества, приступила к мобилизации всех своих вооруженных сил на суше и на море, вследствие этой, полной угрозы меры, не вызванной никакими военными приготовлениями со стороны Германии, Германская Империя оказалась перед лицом серьезной и непосредственной опасности. Коль скоро императорское правительство упустило бы возможность предупредить эту угрозу, оно поставило бы под вопрос безопасность, да и самое существование Германии. Соответственно этому германское правительство нашло себя вынужденным обратиться к правительству Его Величества Императора Всероссийского, настаивая на прекращении упомянутых военных мер. Ввиду того, что Россия отказалась удовлетворить это пожелание и этим отказом воочию продемонстрировала, что ее действия направлены против Германии, я имею честь по указанию моего правительства сообщить Вашему превосходительству следующее:

Его Величество Кайзер, мой августейший повелитель, принимая от имени Империи этот вызов, считает себя в состоянии войны с Россией».

Когда, следуя предписанию канцлера, граф Пурталес запросил аудиенцию у министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова, маховик германской военной машины был уже невозвратно запущен самим Вильгельмом, участником любезной переписки двух родственников. Поводом для визита посла стало получение официального ответа на требование отменить всеобщую мобилизацию. Формально Сазонов еще мог предотвратить войну. Но вся беда в том, что именно этот сановник страстно ее желал и всячески подталкивал к ней Государя императора.

Россия узнала обо всём на следующее утро из уст самого самодержца, когда Николай, собрав в Зимнем дворце своих приближенных, торжественно возвестил о неудаче собственной дипломатии.

Увы, исторические романы лишены даже самой незначительной интриги: любой энциклопедический словарь мгновенно подскажет читателю ее развязку.

Но автор избрал другой жанр. По его законам судьба новорожденной девочки Марины гораздо важнее судеб августейших особ: ведь о них уже достаточно написано другими – как художниками слова, так и беспристрастными, а иногда пристрастными учеными мужами, вооруженными фактами, документами и свидетельствами

очевидцев. Поэтому наша интрига только начинается, и развязка ее до конца не известна даже автору. Да-да, автор пока сам не знает многого. Давно замечено: не всегда собака виляет хвостом, иногда хвост виляет собакой.

И всё же нельзя обойти вниманием поведение реальных персон.

В описанном случае оно не имеет никаких объяснений и ни малейших оправданий, а по вопиющей безответственности не сравнимо ни с чем из истории человеческого рода со времен Адама и Евы. К такому выводу толкает не только знание самоуничтожительных последствий, перечеркнувших благополучие одних и жизнь других безумцев. Обрекая миллионы людей на смерть, кузены Вилли и Ники попрали клятвы, данные при совершении великого таинства помазания, ставившего их выше своих соотечественников, но и делавшего ответственными на этой брэнной земле за другие жизни, зачатые и рожденные по воле Того, Кто вручил им сей крест. Вот почему из четырех престолов, изначально вовлеченных в войну, – австрийского, германского, русского и сербского – устоял лишь последний, самый, казалось бы, слабый: ведь единственно Сербия стала невинной жертвой чужой алчности. Остальные искали ту или иную корысть, лукавя друг перед другом и собственными народами. Конечно, Франц Иосиф ринулся за Дунай вовсе не мстить за племянника. Он мечтал укрепить свою разноязыкую лоскутную империю пресловутой «маленькой победоносной войной» и, разумеется, взять то, что плохо лежит. Конечно, Вильгельм подготовился к схватке с Россией не за одну ночь и поводом к ней считал вовсе не скопление русских войск в районе абсолютно ненужной ему Галиции. Да и Николаю, по большому счету, плевать было на несчастных сербов, что и показали первые же месяцы боевых действий. Безусловно, он нацелился на Станислав и Львов, а в дальнейшем – на вождельный для всех русских царей Константинополь.

Судьба отплатила всем трем венценосцам падением их империй, и без того невообразимо огромных.

Но самая безумная авантюра в истории человечества наиболее болезненным образом затронула не столько судьбы государств, сколько судьбы всех без изъятия подданных главных виновников несправедливого кровопролития. Даже появившихся на свет в ее канун. Более того, проклятие перешло и на следующие поколения. Едва ли найдется хотя бы один человек в Петербурге и Берлине, Вене и Будапеште, Москве и Белграде, Праге и Братиславе, Загребе и Любляне, Варшаве и Вильнюсе, Хельсинки и Таллине, Риге и Сараеве, а также Киеве, Харькове, Дрездене, Мюнхене, Кракове, Гданьске и тысяче других городов на просторах Европы, чья жизнь не изменилась бы, поведи

себя кузены Вилли и Ники в хороший летний субботний день первого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года от Рождества Христова как подобает истинным помазанникам Божиим.

Никаких интересов их государств, повторяю это еще раз, конфликт между Австро-Венгрией и Сербией из-за убийства эрцгерцога Франца Фердинанда не затрагивал.

Пройдет восемьдесят пять лет, и уже другие правители, имея на то гораздо меньше оснований, чем Франц Иосиф, захотят наказать Сербию огнем и мечом. Россия не только не вяжется в войну, но даже не замолвит и полслова за братьев-славян.

Народ же... народ будет благодарен за это своим правителям, уже не освященным к тому времени таинством помазания, обладающим, мягко говоря, сомнительной легитимностью. На них и так уже была невинная кровь собственных граждан. Однако им хватило ума не рисковать больше чужими жизнями.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Если в первой Отечественной войне события развивались с ошеломляющей стремительностью, и уже через три месяца после ее начала произошло всё главное – Смоленское сражение, Бородинская битва, сдача и пожар Москвы, а войска проделали колоссальный путь, – то начальные месяцы второй Отечественной особой подвижностью противоборствующих армий не отличались. Нападавшая и имевшая поэтому некоторое преимущество сторона поначалу двинулась вперед, затем разжавшаяся русская пружина отбросила ее назад, после чего фронты на время стабилизировались, и каждый из противников мог считать себя в выигрыше, хотя и относительном.

Весьма показательными стали перемещения на главном фронте – Русско-германском.

Педантично выполнявший указания Ставки генерал Павел Карлович Ренненкамф начал кампанию с победы в Гумбиненском сражении. Возглавляемая им 1-я армия, несмотря на превосходство неприятеля в живой силе (восемь дивизий против шести), вынудила того отступить. Тут бы преследовать его, развивая успех. Однако распоряжений на сей счет не поступило, Ренненкамф остался на месте и простоял целых три дня, допустив роковой для выдвинувшейся к границе Восточной Пруссии 2-й армии разрыв километров в шестьдесят.

В него-то и устремился его тезка Пауль фон Гинденбург, возвращенный кайзером Вильгельмом из отставки, чтобы сменить осрамившегося под Гумбином генерала фон Притвица.

В первый же день приезда в свой штаб Гинденбург долго изучал карту. Ему показалась странной позиция русских войск.

– Ваши люди точно нанесли расположение противника? – спросил он начальника штаба.

– Совершенно точно, excellence! Мы вели разведку с аэроплана, – мгновенно отрапортовал тот.

– Тогда я совершенно не понимаю этих русских, – усмехнулся Гинденбург и приступил к окружению армии генерала Самсонова.

Он уже считал законченной свою карьеру и собирался вести тихий, неприметный образ жизни не слишком удачливого отставника. Но тут подвернулись один за другим за неполный месяц три судьбоносных события: началась весьма непонятная война, непостижимым образом оскандалился фон Притвиц, и абсолютно нелепо повел себя достаточно сильный и разумный неприятель.

Всё это давало отменный шанс шестидесятилетнему генералу.

Да, воистину механизм Истории приводят в действие мелкие шестеренки, цепляющие одна другую! Вторую мировую войну, как известно, развязал Гитлер. Его приход к власти в Германии шестью годами раньше предопределила политическая и человеческая слабость престарелого, тогда уже восьмидесятилетнего Пауля фон Гинденбурга. Президентом страны этот никудышный политик стал лишь благодаря взлету своей военной карьеры, вознесшему его на должность начальника Генерального штаба, фактического главнокомандующего во время Первой мировой войны. Генштаб он возглавил за победы на Восточном фронте, начавшиеся с возвращения в действующую армию после поражения немцев в Гумбиненском сражении, хотя генерал фон Притвиц, формально его проигравший, немало поспособствовал своей неудачей последующему окружению и разгрому войск генерала Самсонова.

Вот и получается, что самой первой шестеренкой, запустившей маховик Второй мировой, стал единичный успех бездарного Ренненкампа: именно он в конечном итоге привел мир к событиям 1939-45 годов.

Угрюмый фабричный город Лодзь – одна из западных окраин Российской империи, – талантливо обрисованный Владиславом Реймонтом, не единожды за осень четырнадцатого переходил из рук в руки.

В середине октября 2-я армия генерала Сергея Михайловича Шейдемана, возглавившего ее после самоубийства предшественника, отбила Лодзь у неприятеля и продвинулась на запад до реки Варты. Чуть севернее наступала 1-я армия всё того же Павла Карловича Ренненкампа, свалившего все свои неудачи на покойного Самсонова

и получившего еще в августе орден святого Владимира второй степени с мечами.

Оба командующих – два бравых кавалериста – уже видели в мечтах, как пересекают границу Германии и берут курс на Берлин.

Иначе думал битый Шейдеманом Пауль фон Гинденбург. Поставленный во главе войск Восточного фронта, он тут же начал искать слабинку у своего недавнего обидчика.

Но что это? Неужели дежавю?

Между 1-й и 2-й русскими армиями, действовавшими абсолютно несогласованно, образовался точно такой же разрыв, как и два месяца назад в Восточной Пруссии: километров шестьдесят-семьдесят. Недолго думая, мстительный Гинденбург приказал сменившему его во главе IX армии генералу Августу Макензену вклиниться между ними и окружить Шейдемана.

На ту беду как всегда недальновидный Ренненкампф, стоявший на правом берегу Вислы, выдвинул составлявший его левый фланг 5-й Сибирский корпус на противоположный берег. На него-то и напал тридцатого октября в районе Влоцлавска генерал Макензен.

Неделю шли бои. Сибирякам из двух корпусов (на помощь Пятому пришел и Шестой) пришлось отступить вниз по Висле до Печиски.

Но не их избрал главной мишенью Гинденбург. Основные силы IX армии он бросил на обнажившийся фланг Шейдемана. Изрядно потрепав русские войска к северу от Лодзи в сражениях у Кутно, Ленчицы, Озоркова и Стрыкова, Макензен стал всерьез угрожать полным окружением 2-й армии, оторванной теперь от 1-й.

Не сразу понял такую опасность только что назначенный командующим Северо-Западным фронтом генерал Николай Владимирович Рузский. А когда понял, схватился за голову. Совсем недавно взявший Львов, он уверовал в свою счастливую звезду и не собирался попадаться в ту же ловушку, что его предшественник. Но никаких резервов в своем распоряжении при этом не имел, поэтому вынужден был наспеш сформировать специальный отряд для ответного удара в тыл германцам.

Наряду с 25-м Донским казачьим полком, двумя туркестанскими стрелковыми полками и двумя другими подразделениями в Ловичский отряд вошла выхваченная из 10-й армии 6-я Сибирская стрелковая дивизия, в которой служил капитан Крапивников.

Созданному впопыхах отряду, равному по количеству штыков полуторам корпусам, забыли дать тяжелую артиллерию. Он к тому же не имел собственного штаба и прочих корпусных учреждений. Поэтому снабжение его не только снарядами и патронами, но фуражом и продовольствием налажено не было. Не имел он и своей сани-

тарной части. Однако тяжелее всего сказывалось отсутствие вспомогательных войск: связистов, авиаторов, имевшихся в достатке у противника. Немцы могли совершенно безнаказанно совершать облеты и с наглой ухмылкой вести разведку с воздуха.

Насколько неудачным оказался экспромт экстравагантного генерала Рузского, стало ясно уже в первые дни нелегких испытаний, уготованных отряду.

В ночь на шестое ноября 6-я Сибирская стрелковая дивизия начала высаживаться из эшелонов, доставивших ее по железной дороге из Восточной Пруссии в небольшой польский городок Лович (в честь него отряд и окрестили Ловичским). Переброска войск затягивалась, но в ту же ночь командир отряда генерал Слюсаренко получает приказ о наступлении на Стрыков.

Наступать, когда основные силы еще в пути?

Естественно, маневр срывается. Ренненкампф в бешенстве. Он заменяет Слюсаренко другим генералом, Шуваловым. Мало того, отдает Ловичский отряд под начало командира 2-го корпуса генерала Чурина.

Утром восьмого ноября следует новая директива: двигаться на Брезины. Но Брезины гораздо южнее Стрыкова. Пока читают этот приказ, выходит еще один: наступать четыремя колоннами на немецкие тылы между Стрыковым и Брезинами. Одной из бригад 6-й Сибирской стрелковой дивизии при этом ставится задача занять Брезины.

Если первый пришел от того же Ренненкампфа, то второй — непосредственно от командующего фронтом, передавшего его лично начальнику отряда Шувалову по телеграфу. Генерал Рузский вовремя спохватился: бестолковый командарм целил в пустоту, указанное им пространство было уже свободно от переместившегося неприятеля.

Возникшая из-за чехарды приказов неразбериха привела к явно ошибочному выдвижению в авангард не 24-го, а 23-го полка, вынужденного спешно возвращаться с занятых позиций. Два часа ушло на совсем не обязательную рокировку. Да к тому же, когда уже перестроились и двинулись на Брезины, впопыхах спутали дорогу. Пришлось возвращаться. Потеряли еще три часа.

В результате к городу подошли лишь в темноте. И, не имея никаких сведений о расположении противника (он же провел, как всегда, разведку с помощью аэроплана), отправили вперед два батальона. Те стали на ощупь растекаться по узким улочкам и наткнулись на бешеный пулеметный огонь. Лишь немногие унесли ноги: сто двадцать человек погибли сразу, более двухсот получили ранения, остальные в

панике ринулись назад, неся стоявшим позади резервистам весть о полном разгроме полка.

Новую атаку решили отложить до утра. Однако ночью разведку не провели и лишь по грохоту на мостовой догадались о перемещениях неприятеля.

В восемь часов утра девятого ноября сибиряки снова пошли в атаку. Остаткам 23-го полка досталась западная часть города, 24-му полку – восточная, 21-й полк послали в обход с юго-востока, а 22-й оставили в резерве и расположили у селения Шиманишки.

За несколько минут до начала наступления германцы открыли упреждающий артиллерийский огонь. Ответная стрельба русских началась лишь через полчаса, но подавить огневые точки противника не удалось, и он продолжал обстреливать наступающих. Потеряв из-за этого более полусотни стрелков, 24-й полк сумел всё же ворваться в город с востока одним батальоном и с севера – другим. Важным стратегическим объектом неожиданно стал кирпичный завод на юго-восточной окраине. После его захвата одной из сибирских рот немцы поспешили оставить город, двинувшись в юго-западном направлении, в сторону Малчева. От рукопашного боя они предпочли уклониться, видя храбрость и решительность русских воинов.

Наиболее отчаянные храбрецы из 24-го полка начали было преследовать отступающего неприятеля, однако их командир полковник Зенкович зачем-то приказал остановиться и вернуться.

При зачистке города было обнаружено около сотни германских солдат и несколько офицеров, не считая раненых. Все они попрятались в подвалах и на чердаках. В качестве трофеев победителям достались немецкие пулеметы, а также захваченные несколькими днями раньше у самих русских повозки со снарядами. В брошенном противником штабе остались к тому же важные документы и карты.

Всё бы хорошо, но потери наступавших составили шестьсот человек. На порядок больше, чем у защищавшихся, судя по нескольким десяткам погибших в уличных боях.

В два часа пополудни всю бригаду построили, чтобы поздравить с победой.

За время этой церемонии германцы ушли настолько далеко, что, выражаясь военным языком, можно было говорить об очередном нарушении соприкосновения с противником.

Итак, разбитый неприятель отступил на юго-запад, а бригада генерала Сулевича двинулась двумя колоннами на юг: правая – на Галков, левая – на Борово. Штаб и 22-й полк остались в Брезинах, а остальные расположились на ночлег в окрестных селах. Отряд гене-

рала Максимовича – во взятом без боя Стрыкове. Разведку снова не выслали.

Так и встретили утро десятого ноября.

Если русские легли спать победителями, то генералу Макензену предстояла бессонная ночь. В результате успеха Ловичского отряда положение группы подчиненного ему генерала Шеффера становилось просто критическим. Ей нужно было срочно пробиваться на север. Но на пути стояли те же Брезины и Стрыков.

Делать нечего: Шеффер отдает команду незамедлительно двинуть с юго-запада на Брезины два корпуса: один – через Хрусты-Старе, другой – в параллельном направлении, но чуть западнее, – через Воля Ракова и Борово.

На войне как на войне. Проснувшись, можешь оказаться совсем не в том положении, в котором ложился.

Так случилось и с 6-й Сибирской стрелковой дивизией, растянувшейся аж на семь километров по направлению удара группы генерала Шеффера.

На правом фланге оказался 24-й полк. В половине десятого утра он принял бой в лесу у села Галкова. Русская артиллерия оказалась по другую сторону перелеска и помочь пехоте не могла. Немецкая же выбрала правильную позицию и вела непрерывный фланкирующий огонь по батареям сибиряков.

Это и предопределило трагическую развязку. К пяти часам пополудни после жестоких сражений и отчаянного сопротивления 3-й и 4-й батальоны 24-го полка были окружены, смяты и практически уничтожены. Потери достигли почти половины рядового и трех четвертей офицерского состава. Остальные угодили в плен.

Главный удар на левом фланге принял 21-й полк. На рассвете его встретила германская пехота. До полудня перестрелка шла с переменным успехом, но потом к немцам прибыло подкрепление, и они стали теснить сибиряков. Завязалась рукопашная.

Когда неприятель начал угрожать охватом всему левому флангу, подполковник Самохвалов повел два батальона 22-го полка, стоявшего в резерве, на село Жаковице, однако достиг его северных окраин только с началом сумерек. Тут же был атакован с трех сторон, погиб сам и положил большинство своих подчиненных. Лишь немногим уцелевшим удалось избежать плена и отступить на северо-восток, вдоль железной дороги, в сторону Скерневице.

Среди них посчастливилось оказаться и капитану Крапивникову, чья рота хоть и заметно поредела, но, благодаря разумным действиям своего командира, продолжала сохранять боеспособность.

Если девятого ноября 6-я Сибирская стрелковая дивизия устраивалась на ночлег победительницей, имея четыре полноценных полка, то уже в следующую ночь, с десятого на одиннадцатое, у нее не осталось ни одной сколько-нибудь пригодной для дальнейших действий части, а общая численность штыков с трудом дотягивала до одного полка.

Тут уже было не до сна. Тем более, что командир 3-й резервной дивизии немцев генерал Литцман принял авантюрное решение совершить ночной бросок на Брезины с запада, через Адамов.

Впрочем, ничего другого ему не оставалось.

К трем часам пополудни германские войска уже входили в опустевший город, за который еще полтора дня назад шли кровопролитные бои. Штаб Ловичского отряда во главе с его новым начальником (генерала Шувалова сменил генерал Васильев) успел удрать на автомобилях в самый последний момент.

Покинул расположение дивизии и ее командир. Генерал Геннингс, узнав о неудачах на обоих флангах, впал в глубокую депрессию и отправился вместе со штабом из села Гай в более безопасное место, выбрав один из фольварков. Однако так туда и не прибыл.

Комдив исчез бесследно. Как в воду канул.

Перед лицом самой серьезной опасности за всё время своего существования 6-я Сибирская стрелковая дивизия оказалась без всякого управления.

Командование вызвался принять на себя генерал Зелинский, возглавлявший 6-ю артиллерийскую бригаду. Еще ночью он устроил импровизированный военный совет, созвав командиров разгромленных полков, а также бригад и артиллерийских дивизионов. Собравшиеся быстро выяснили, что штаба у них больше нет, приказы от высшего командования к ним не поступают, связь с соседними частями отсутствует, данными о расположении неприятеля, его силе и планах они не располагают.

И всё же Зелинский дал указание продолжить с утра наступление в южном направлении.

Почему с утра? Ночью противника легче было бы застать врасплох, что по инициативе своего командира и сделала одна из рот 21-го полка. Всего в пятистах метрах от себя она захватила большое количество спящих немцев, не понеся никаких потерь.

К рассвету же германцы выспались, отдохнули и сразу же начали поливать русских огнем из легких и тяжелых орудий. Ни о каком наступлении не могло быть и речи!

В полдень неприятелю удалось обезвредить последнюю угро-

жавшую ему артиллерийскую батарею, подбив пять орудий из восьми. Ее командир подполковник Егоров пал смертью храбрых.

Проявивший ночью инициативу генерал Зелинский, узнав лишь утром о потере Брезины, усомнился в этом, а чтобы удостовериться, выслал артиллерийский разезд. Но не поверил и ему. Под угрозой расстрела он запретил распространять ставшие уже достоверными сведения о падении города. Затем фактически бросил командовать войсками. Так же быстро и легко, как начал всего несколько часов назад.

Более того, взяв с собой командира 1-й бригады генерала Быкова, он отправился напрямик... в Брезины. Так, видимо, и не смирившись с донесением разведки.

На подступах к городу, в районе фольварка святой Анны, оба генерала попали в плен.

Оставался командир 2-й бригады генерал Сулевич. Однако его еще ночью Зелинский отстранил от должности за высказанное вслух сомнение в возможности утреннего наступления.

В результате к двум часам пополудни одиннадцатого ноября управление дивизией полностью и окончательно прекратилось. Командиры полков отныне были предоставлены самим себе, о чем, впрочем, едва ли догадывались.

В два часа передовые отряды немецкой пехоты прорвались к селу Гай, откуда предусмотрительно сбежали командующий дивизией со штабом, и попытались захватить орудия 2-го артиллерийского дивизиона. Однако 4-й и 5-й батареям удалось уйти на запад, оставив противника вообще без трофеев; к ним присоединились уцелевшие в утреннем бою три орудия 1-й батареи и пять – 2-й батареи. Полностью разгромленной оказалась лишь 6-я батарея, попавшая под сильнейший огонь немцев у села Витковице (3-я батарея осталась в резерве, в Ловиче, и никакого участия в боях не принимала).

К вечеру противник окружил остатки 6-й дивизии с севера, востока и юга.

Оставалась лишь дорога на запад, в сторону Лодзи.

Командиры полков уже не могли ориентироваться в обстановке из-за наступившей темноты и разрешили всем ротам выходить из окружения самостоятельно, кто как сумеет.

Ротные же в начавшейся кампании показывали себя ничуть не хуже среднего и высшего командования, совершавшего одну ошибку за другой, что проявилось и теперь.

Находившийся на левом фланге 21-й полк, полностью дезориентированный к концу дня, не рассредоточился и начал отходить к Брезинам. Раненого командира, полковника Веселовского, солдаты несли на руках. Вскоре колонна наткнулась на наступавшего врага,

численно ее превосходившего. Лишь немногие прорвались на северо-восток, к станции Рогов.

Занимавший более удачное исходное положение правофланговый 23-й полк, точнее, то, что от него осталось, сумел лесами пробраться на запад, к селу Милешки. Группу около тысячи человек вывел сам командир – полковник Георгий Акимович Мандрыка, внук героя первой Отечественной войны, потерявшего правую ногу на Бородинском поле, и кровный родственник Александра Крапивникова.

Больше всего досталось 24-му полку, стоявшему днем в центре, а после ухода 21-го полка сместившемуся на левый фланг. С юга и востока наседали неприятель. Комполка полковник Зенкович с одной группой решил уйти на северо-восток, другая же присоединилась к 23-му полку и вышла с ним в район расположения 2-й армии Шейдемана.

Все, кому удалось вырваться из окружения в северо-восточном направлении и не угодить по дороге в немецкие лапы, собрались в районе станции Рогов. Таких набралось около полутора тысяч человек. Образовавшуюся группу возглавил опальный командир 2-й бригады генерал Сулевич.

Сама же 6-я Сибирская стрелковая дивизия практически перестала существовать.

Кому была она обязана таким бесславным концом?

Пока сибиряки вели неравный бой с противником, стоявшие километрах в пяти от места события другие части Ловичского отряда попросту бездействовали, не выказывая ни малейшего желания помочь попавшим в беду товарищам. Не пришли на помощь и авангарды 2-й армии генерала Шейдемана, находившиеся километрах в восьми, ближе к Лодзи.

В день рокового сражения с востока и севера от станции Колошки располагались также две крупные кавалерийские части: Кавказская дивизия и Сводная казачья дивизия. Однако первая и пальцем не пошевелила, а вторая с утра зачем-то двинулась на Гловню, где никаких событий одиннадцатого ноября не происходило.

В тылу у немцев, южнее Хрусте-Стары, действовал и кавалерийский корпус генерала Новикова, который попросту уклонился от участия в боях.

В итоге за три дня 6-я Сибирская стрелковая дивизия потеряла убитыми и ранеными около половины солдат и почти две трети офицеров. Три с половиной тысячи человек, включая сорока четырех офицеров, попали в плен.

Немало полегло и германцев. Однако генералу Шефферу удалось вывести свою группу из, казалось бы, безвыходного положения.

Судя по донесению на имя командарма Ренненкампа новоиспеченного начальника Ловичского отряда генерала Васильева, посланному вечером одиннадцатого ноября, во всём виноватой оказалась 5-я кавалерийская дивизия генерала Шарпантье, бывшая дальше других от полей сражений. Впрочем, и сам генерал Васильев появился лишь к развязке трагедии и непонятно откуда ее наблюдал.

Изрядно потрепав друг друга в ходе трехдневных боев, ни русские, ни немцы никаких стратегических задач не решили. Каждая из сторон показала свое головоуныение (у первых на сей раз его было больше) и полное небрежение живыми людьми.

Десятки тысяч вдов и сирот – вот единственный итог столкновения 6-й Сибирской стрелковой дивизии с группой генерала Шеффера.

Среди них могли оказаться и наши герои – Зинаида Крапивникова с маленьким Никой. Но Господь уберег. Да и сам капитан проявил мужество и смекалку, позволившие вовремя уйти в Скерневице в безнадёжной ситуации и спасти своих солдат.

Там его ждала непредвиденная и очень приятная встреча. Оказалось, что к их фронтовой авиации прикомандирован Саша Тикоцкий, единоутробный брат Евгения, еще один кузен. Саша, несмотря на свою молодость, еще до войны успел сделаться настоящим асом, известным всей России.

– Какими судьбами? Ты же служил в Тифлисе, – поинтересовался у него Крапивников.

– Великий князь Александр Михайлович поспособствовал. Я-то постоянно на передовую просился, но меня не хотели из Кавказской армии отпустить.

– Давно на нашем фронте?

– С ноября, с начала боев на Лодзинском направлении.

«Значит, летчики у нас были, – подумал про себя капитан, – но не там, где нужно.» Кузену же он не стал ничего об этом говорить, лишь похлопал его по плечу и добавил:

– Отлично. Выходит, вместе воевать будем. Нам авиаторы позарез нужны. Не то германцы полностью небом завладеют.

Так и случилось через три дня, когда Тикоцкий улетел куда-то на задание, а над расположением 22-го Сибирского полка снова появился одинокий вражеский аэроплан. При его обстреле Крапивников получил пулевое ранение в левое предплечье.

Рана оказалась нетяжелой. Александра отправили в госпиталь, где он провел всего полдня и вернулся назад в роту. Теперь уже не 14-ю, а 1-ю, – четырнадцати в полку больше не набиралось.

В Скерневицком госпитале капитан Крапивников обнаружил

пропавшего командира дивизии генерала Геннингса. Тот лежал в отделении для нервнорасстроенных и никого не узнавал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Капитолина Александровна не была бы сама собой, если бы не сумела хотя бы разочек по-змеиному больно ужалить невестку. Вопреки желаниям Лизы она настояла на том, чтобы ребенка не увозили в Москву и оставили на зиму на ее попечении в Губернске, дабы дать молодому отцу возможность спокойно окончить университет.

Такое предложение диктовалось житейской логикой и опытом поколений, поэтому Михаилу трудно было возражать матери, хотя он совсем не собирался расставаться с женой и дочерью.

Однако же Лиза пыталась протестовать:

– Люди для того и женятся, чтобы всегда находиться вместе, – робко напомнила она свекрови известный трюизм.

– Иногда, милочка, нужно и потерпеть. Сейчас именно такой момент, – с обидной двусмысленностью возразила Капитолина Александровна. – Между прочим, – зачем-то добавила она, – роди я вместо трех девочек хотя бы одного мальчика, вам всё равно пришлось бы сейчас проститься.

Выходило, что от более печальной и, возможно, более долгой разлуки молодых супругов спасла именно мать мужа, не произведя в свое время на свет его братьев. Иначе ему предстояло бы отправиться на войну. Однако как единственного сына Угрина забрать на фронт не могли. Грозил ему лишь участь вольноопределяющегося. Но это – после окончания университета, почти через год, а за долгие двенадцать месяцев, глядишь, и кампания закончится.

Пришлось Михаилу возвращаться в Москву одному.

Учебе раздельная жизнь молодой пары ничуть не помогла. Скорее наоборот: теперь на лекциях прежде прилежный студент чаще писал письма жене, чем конспекты. Во внеучебное время он никогда не поддавался на призывы холостых однокурсников пользоваться последней возможностью свободы. Жил от одной поездки в Губернск до другой. Поводы находились достаточно часто: сначала именины сестер, потом годовщина свадьбы, затем день ангела Лизы, в ноябре – годовщина свадьбы, потом свое тезоименитство, ну а в декабре, само собой разумеется, любимое всеми Рождество. Но за короткими визитами к жене следовали приступы меланхолии, самобичевание и страшные подозрения.

«Милая и дорогая детка моя Лизонька!

Как ты поживаешь, моя славная, милая мордочка, всё ли у вас благополучно?

После возвращения у меня такая тоска, что товарищи удивляются перемене со мной. Мне почему-то кажется, что ты мною очень недовольна. Я тебе даю честное слово: до следующего нашего свидания буду сидеть безвыходно дома и тосковать. Мне всё время хочется твоих ласк, хочется тихо заплакать на твоём плече. Жизнь идет однообразно, тускло и бесцветно, такая грусть, как у приговоренного к смерти. Ты на меня, верно, обижена и не думаешь обо мне, как прежде. Меня убивает мысль, что я в чем-то перед тобой виноват, у меня нервы так же расстроены, как было до нашей свадьбы, когда я постоянно чувствовал свою вину перед тобой.

Дорогая Лиза, ради счастья нашей милой маленькой дочери, скажи мне откровенно: сердита ты на меня или нет? Прошу тебя всей силой своего сердца, всеми лучшими порывами своей души, скажи мне, умоляю тебя, дорогой мой, светлый ангел: разлюбила меня или нет? Я чувствую, и мое сердце говорит: ты в душе меня отвергла, ты разлюбила меня, я тебе уже не нужен больше.

Лиза, дорогая Лиза, я плачу о дорогой лучезарной мечте, о волшебной музыке наших ласк, о наших разбитых грез. Лиза, где то счастье, что было в Москве, когда мы гуляли с тобой в Петровском парке, где те милые, тихие вечера, что проводили с тобой вдвоем, где ты, прежняя милая Лиза, где ты? Отзовись!

Дорогая Лиза, давай вернем то счастье, какое было прежде, давай думать, что мы переписываемся с тобой как жених и невеста, как тогда, в прежние ясные дни нашей весны, давай забудем всё, станем жить как в сказке, как во сне, давай создадим красивую жизнь без семейных драг, без неприятностей, будем с тобой, как прежде, в лучшие годы нашей жизни! Я клянусь тебе всеми дорогами для меня, всеми святыми, что вернусь к тем теплым дням, вернусь к тебе, и ты увидишь твоего прежнего Мишу, горячо тебя любящего и преданного тебе. Целуй Адю, бабушку. Будь моя прежняя Лиза!»

— сумбурно писал в порыве охватившего его отчаяния Михаил жене в Губернск.

Тысяча девятьсот пятнадцатый год Угрыны встретили в узком семейном кругу. И Михаилу, и Лизе, привыкшим к шумным компаниям, была непривычна такая обстановка. На какое-то мгновенье оба они в душе пожалели, что поспешили загнать бурный поток своей жизни из широкого русла молодости в маленький прудик семейного быта, грозивший со временем подёрнуться ряской мещанства и окончательно заболотиться. Но крохотное сопящее и пищущее существо в колыбельке, прозванное родителями Адей, уже

вполне осмысленно водило лукавыми зелеными глазенками и могло очень быстро отогнать такие мысли.

После унылой новогодней ночи Угрин сильно изменился. Он заметно успокоился, его перестали мучить сомнения и подозрения, и не так сильно угнетала необходимость покинуть жену, чтобы вернуться к учебе. Девочке действительно нужны лишь покой и материнские руки, а участие отца в обретении ребенком первых естественных навыков вовсе не требуется. Ему же тем временем надо закончить учение в университете, и очень хорошо, что он успевает сделать это, пока Адя не начнет ходить и говорить.

Увлеченный семейными заботами, Михаил не очень следил за положением на фронтах, полагая, как и большинство его сверстников, что война не продлится больше года. Поначалу всё к тому и шло: на Юго-Западном фронте наши войска теснили австрийцев, отбирая у них один за другим древние русские города. За первый месяц боев они взяли Галич, Львов и Томашов, осадили Перемышль. Подобными темпами можно было до зимы вернуть себе всю Галицию. Что касается Западного фронта, то большинство сходилось в таком мнении: начавшееся там «перетягивание каната» оправдано выжидательным характером действий с обеих сторон, и после разгрома Австро-Венгрии Россия с Германией в очередной раз поделят Польшу (теперь уже на двоих), после чего мирно разойдутся каждый со своей добычей.

Однако уже вскоре нашла коса на камень. Русская армия не только не вошла в Германию, что планировала сделать еще до зимних холодов, но и стала терять позицию за позицией в Царстве Польском. А в декабре обнаглевшие к тому времени австрийцы тоже пошли в наступление и даже имели кое-какие успехи в боях местного значения.

Дальнейшее освобождение Галиции приостановилось, русские войска откатились назад, а война приобрела окопный, затяжной характер, грозивший призывом на нее и тех, кто пока еще продолжал сидеть на студенческой скамье.

Разумеется, университетская молодежь моментально сменила свои ура-патриотические настроения на антивоенные.

Точно такие же пытались возбудить эсдеки у рабочих — своей основной классовой опоры.

Крестьянство тоже медленно шло к ним, но собственными путями: через страдания солдаток, особенно овдовевших, через несобранные яровые и недосеянные озимые в отсутствии глав семейств.

Обида на германца, яростно вспыхнувшая в июле, к январю начала понемногу проходить у незлобивого русского народа, давно забывшего об утрате галицийских и прочих земель. Еще вчера готовые ринуться в самое пекло вселенского побоища мужики, пролета-

рии, студенты и даже интеллигенты теперь стали задумываться, как бы уклониться от жалкой участи кормить вшей в окопах.

Если в июле Угрин, вдохновленный появлением на свет дочери, еще позволял себе мечтать об участии в победоносном движении на запад, продлился оно до окончания им университета, то к зиме мечты эти улетучились, как предрассветная дымка. Познав постоянно ноющую душевную боль расставания с любимой женщиной, он отныне стремился лишь к одному: устранению источника этого невыносимого страдания. В окончании университета ему виделось теперь не только обретение заветного диплома, но и прекращение сердечных мук. Вот почему он выбросил из головы всякую мысль о возможном героизме на полях сражений. К тому же, судя по фронтовым сводкам и рассказам демобилизованных по ранению очевидцев, весь героизм младших офицеров сводился к уменьшению вреда от распоряжений высшего командования, постоянно ставившего солдат в положение жертвенных агнцев. Стать пушечным мясом никак не входило в жизненные планы отца семейства, последнего продолжателя славного рода.

Впрочем, существовал еще и кузен Всеволод, также учившийся в Московском университете, только на химическом факультете и двумя курсами ниже. В ту зиму братья стали видаться достаточно часто. Михаил, будучи старшим, не просто оказывал покровительство Севе, но и старался сделать как можно естественнее и безболезненнее вхождение юноши-провинциала в жестокую столичную жизнь, детально изученную им самим за годы студенчества.

Если в вопросах житейских, сугубо практических, Всеволод еще прислушивался к Михаилу, видя его несомненную опытность, то в остальном спорил до хрипоты, причем по любому поводу.

— Что ты мне каждый раз цитируешь своего любимого Пушкина? — возмущался младший брат. — Он безнадежно устарел. Посмотри, какие вокруг нас замечательные поэты появились, живые, молодые, оригинальные. Тот же Хлебников, тот же Бурлюк, а теперь еще и Маяковский, нас с тобой моложе:

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.
Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Любям страшно — у меня изо рта

шевелит ногами непрожеванный крик.
Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я – ваш поэт.
Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут Богу в свое оправдание.
И Бог заплачет над моею книжкой!
Не слова – судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами подмышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

– Пустой набор ничего не значащих слов! Да и размер в конце дважды нарушен: не четыре стопы, а пять. Но это еще полбеда: где ты видишь достойные великой русской поэзии образы? Выжженный квартал, как рыжий парик? Что он хочет этим сказать? Сады у него обнажаются в июне. Причем – похабно. Очень красивый эпитет! Потом еще того чище: изо рта шевелит ногами непрожеванный крик. Даже повторять противно: тошнить тянет от таких стихов. Зато самомнения – хоть отбавляй: «как пророку, цветами устелят мне след». Но кто? Оказывается, проститутки. Дальше – прямое кощунство. Одна лишь строка правдивая: «Не слова – судороги, слипшиеся комом». И этот ком судорог ты смеешь противопоставлять Пушкину? Значит, у тебя, Сева, самого что-то с головой не в порядке.

– Ничегошеньки ты, Миша, не понимаешь. Человек кричит о наболевшем: у него, у меня, у тебя. Тебе же подавай эти «слиюни сладострастия»:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

– но, согласишься, нет больше в природе никакой «чистой красоты». Даже барышня становится красивой не тогда, когда пудрит носик, надевает шляпку и идет гулять по Тверской, а когда она в белом фартуке сестры милосердия обмывает обгадившего постель раненого в полевом лазарете. И такой работы не гнушаются сегодня даже царские дочери. Тебе нечем возражать, потому что мир за сто лет сильно переменялся, даже не за сто, а за последние пять-десять:

грязь жизни прёт на нас из всех щелей, меняя старые представления. Еще недавно трон русского святого занимал праведный Иоанн Кронштадтский, а сейчас на него взгромоздился пьяный мужик из Сибири, задирающий юбки фрейлинам и княгиням. И раз уж всё пошло вспять, надо не закрывать на это глаза, а пытаться разглядеть прекрасное даже в безобразном с первого виду, как делали это Бодлер и Рембо еще в прошлом веке. Тебе же по-прежнему подавай неземные образы. Это смешно. Даже Александр Блок, начинавший с Прекрасной Дамы, теперь видит «берег очарованный и очарованную даль» в обычной ресторанной проститутке.

Еще ожесточенней спорили братья о политике.

— Вам, юристам, подавай на блюдечке с голубой каемочкой законы, конституцию, ответственное министерство, а мужикам и бабам, коих в России девять из десяти, нужна только земля: на законы ваши им плевать. И рабочим плевать. Думаешь, пролетарию важно, спросит ли царь депутатов, кого ему начальником над полицейскими поставить? Пролетарию лишь бы день рабочий был покороче да жалование побольше. Он даже вашего знаменитого, в муках рожденного государственного страхования понять не в состоянии.

— Нет, Сева, решительно не доведет тебя до добра твоя химия! Всё-то ты хочешь на атомы разложить да на молекулы и во всём видишь лишь вещественное, осязаемое. Простому человеку, конечно же, нет дела до правовых процедур. Но ему небезразличны собственные взаимоотношения с чиновниками. Да, он не знает теории разделения властей и потому не видит в депутатах своих защитников от их произвола. Но стоит подчинить исполнительную власть представительной, каковой и является законодательная, больше всего от этого выиграют именно мужик и пролетарий. Будет хотя бы где на взяточника управу найти. Не твой ли любимый Маяковский вопиет об этом в другом стихотворении?*

— Ерунда всё это, типичная интеллигентская мерехлюндия! Революцию делать надо, революцию! И не так, как в девятьсот пятом. Добивать гидру нужно до конца, все до единой пасти ее отсекать. Царя же привезти в Москву, посадить в Кремле, и пусть он целыми днями за народ свой православный молится, а в государственные дела носа не суёт.

— Тут ты сильно перегибаешь палку. Конечно, время абсолютной монархии безвозвратно миновало, а наше самодержавие, увы, ближе к ней, чем к конституционной модели. Но превращать императора в

* Автор допускает небольшой анахронизм: «Внимательное отношение к взяточникам» увидело свет несколькими месяцами позже, но того же 1915 года. (Прим. автора)

монаха, квазипатриарха тоже неумно. Раз он помазанник Божий, то именно через него любая власть получает сакральную легитимность. Пускай его утверждает главу правительства, но лишь из парламентского большинства. Пускай его назначает половину Государственного Совета. Пускай его титулы сенаторов раздает. Лишь бы между различными ветвями установилась пресловутая система сдержек и противовесов. Иначе будет у нас царство чиновников, наглых, алчных и неповоротливых.

– Всё, что ты говоришь, Миша, может быть, и правильно. Но само ничего не делается, и царь просто так нынешние порядки менять не станет. Толчок хороший нужен, а у нас в России подтолкнуть можно лишь вилами да топором. Как ни крути – без революции никак не обойтись.

Михаил давно понял: спорить с Всеволодом бесполезно. Однако такие беседы помогали ему оттачивать ораторское мастерство, которое вот-вот должно пригодиться. Это раз. И коротать время, не вызывая подозрений у жены. Это два. Вот почему он частенько стал приглашать к себе кузена, получавшего как удовольствие от общения со старшим братом, так и существенную экономию на ужинах.

Наконец настало время экзаменов. Сдал их Угрин на отлично и с долгожданным дипломом правоведа поспешил в Губернск, к своей семье.

– Адя, папа вернулся! Насовсем вернулся! – радостным и слегка дрогнувшим голосом воскликнула Лиза, хотя и готовая к приезду мужа, но всё же застигнутая врасплох. – Покажи папе, что ты умеешь.

Малышка, опущенная с рук на пол, постояла, покачалась на своих пухленьких ножках и, к изумлению матери, уверенно направилась в сторону отца.

– Господи, она пошла! Вы посмотрите: она уже может ходить! – возвестила счастливая Лиза всем домочадцам, тут же сбежавшимся засвидетельствовать первые шаги ребенка.

Так в семье Угриных совпали два знаменательных события: возвращение Михаила и очередное достижение маленькой Марины.

Роль Ади оказалась даже большей, чем могли предположить ее родители, поскольку отношения супругов налаживались небыстро и нелегко. С одной стороны, она их разобщала: Лиза успела отвыкнуть от Михаила, по ночам постоянно прислушивалась к сопению дочери в соседней комнате, а днем подчиняла всё свое время режиму девочки, измеряя его отрезками от одной кормежки до другой (свекровь присматривала за внучкой лишь тогда, когда невестка уходила на кухню, чтобы самой, не доверяя прислуге, приготовить овощи на

пару или какое-нибудь пюре). С другой стороны, существование в доме малютки исключало какое-либо внешнее проявление раздражения и помогало разрядить любую напряженность, если она ненароком и возникала.

— Когда мы вернемся в Москву? — робко спросила Лиза у мужа на второй день после его приезда.

— А тебе очень хочется? — с заметной издевкой в голосе осадил ее Михаил.

— Конечно. Там же мама, — сразу прибегла к главному аргументу готовая заплакать от обиды Лиза.

— Видишь ли, Медя, — поспешил укрыться Угрин за обращение, применявшееся им по отношению к жене только в самые интимные моменты, — я с детства мечтал о карьере адвоката. Но начинать ее в столичном городе вчерашнему студенту очень сложно, в чем знающие люди убедили меня в последние месяцы моего студенчества. Мне хотелось бы попробовать поработать здесь. Но в любом случае лето мы проведем у Головинных.

Село Гавриловское в этот раз встретило гостей неприветливо: затяжным дождем, пасмурными и прохладными днями. Немногие радости сельской жизни из-за скверной погоды сводились к нечастому приему гостей да купаниям в реке в те редкие дни, когда ненадолго проглядывало солнце, не способное даже высушить узкую песчаную полосу для еще одного удовольствия: праздного возлегания под его лучами. И всё же Михаил чувствовал себя на самом верху блаженства.

В дождливые дни он тоже не терял времени даром: изучал насыщенную трудовую жизнь местного населения. В селе было больше десятка промышленных заведений: три салотопенных, два овчинных, а также две синильни, сукновальня, две шерстобитки и целых пять мельниц. Кроме того, многие сельчане со сноровкой и успехом занимались бондарным промыслом. В свободное время мужики подрабатывали извозом лесных материалов не только к расположенным поблизости пристаням Оки, но в уездный город и даже Губернск. Разумеется, не обходилось без различных конфликтов с властями и друг с другом. Для многих молодой «аблакат» подвернулся очень кстати. Еще более кстати была неожиданная клиентура для самого начинающего правоведа, ставившего перед собой более скромную цель: познать изнутри природу тех отношений, которые двигали промышленность и торговлю.

Лиза радостей мужа, естественно, разделять не могла. Она скучала по Москве, скучала по матери, но больше всего страдала от

неосуществленного до сих пор желания стать самостоятельной хозяйкой в доме, где ее общество будут разделять только муж и дочь. Угрин же, напротив, старался оградить ее от повседневных бытовых занятий, чтобы «драгоценная Медя» не знала никаких забот.

Узнав от Ольги Георгиевны страшную семейную тайну, что ее Миша в детстве, подобно девочкам, любил играть в куклы, Лиза с напускным хмурым видом заявила мужу:

– Знаешь, дорогой, я тебе не кукла. Твоя наивная юношеская любовь начинает меня всё больше раздражать. Мы уже вполне взрослые люди, и я хочу иметь собственный угол с большущим засовом, на который можно было бы закрыться ото всех, кроме тебя и Ади. На каждый день мне вполне достаточно вас двоих. С остальными я готова видеться лишь при очень хорошем настроении, бываемым далеко не всегда.

Этот достаточно неприятный разговор опустил Михаила на землю с небес его недолгого счастья. Оставив жену и дочь на мать и сестру с зятем, он отправился в Губернск для обустройства их дальнейшей семейной жизни.

Сразу после Воздвижения, еще до именин младшей из сестер, Угрин перевез Лизу с Адей на снятую им квартиру, лишь частично исполнив тем самым пожелание супруги, мечтавшей не только о собственном хозяйстве, но и о Москве.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Проснулся Александр от пронзительных криков, раздававшихся под самым ухом. И понял, что лежит в дивизионном лазарете с каким-то тяжелым ранением.

Трижды за последнюю неделю капитану Крапивникову удавалось уклониться от сомнительного для любого офицера удовольствия угодить в самый неподходящий момент на больничную койку. Пятнадцатого ноября пуля попала в левое предплечье. Произошло это в Скерневице, в присутствии командира полка полковника Иванова, полкового адъютанта штабс-капитана Мартина и старшего врача полка, коллежского советника Ракитина, который по указанию комполка тут же отвел раненого в Скерневицкий госпиталь, где сам извлек пулю и велел лежать. Но лежать Александру не хотелось, и он вернулся назад к себе в роту.

Четырьмя днями позднее в бою у деревни Осины рядом с Крапивниковым разорвался тяжелый снаряд. Дальнейшее происходило, как в кинематографе: всё видно, но ничего не слышно. Началась рвота. На сей раз доктора рядом не оказалось, зато были растерявшиеся солдаты, которых нельзя оставить ни на минуту. Поэтому ни о каком лазарете и думать не приходилось.

Однако девятнадцатого ноября одним эпизодом неприятности не исчерпались.

К вечеру пришлось заняться разбивкой новых окопов на завоеванных позициях. В момент, когда Александр подошел к взводному командиру, чтобы дать очередное разъяснение, снова прямо перед ним плюхнулся тяжелый снаряд. Крапивникова отбросило в одну сторону, унтер-офицера – в другую. Поднялся капитан с огромным трудом: правая нога отказывалась повиноваться. Но он мужественно стерпел боль и остался в строю. Лишь поздним вечером, поскольку рвота не прекращалась, а ушибленная нога продолжала болеть, с разрешения батальонного командира, капитана Свидерского, отправился на перевязочный пункт в сопровождении одного из нижних чинов, помогавших ему передвигаться. И, надо ж такому случиться, по дороге им попался старший полковой врач Ракитин. Тот заохал-заахал и тут же приказал прислать носилки. Затем пошел за ними следом и строго наказал не разрешать контуженному вставать. Однако, отлежавшись и успокоив рвоту, Александр наутро снова сбежал в свою часть.

В тот день обошлось без новых неприятностей. Впрочем, и боевых действий двадцатого ноября не велось. А вот что случилось двадцать первого, Крапивников пытался припомнить уже в лазарете.

Их батальон прорвался к Гловно. Бой вели у медноплавильного завода. Память сохранила лишь отдельные эпизоды. Последний – разрыв шрапнели.

Стал ощупывать себя. Бинтов вроде бы нет. Правая нога хоть и болит, но шевелится. А вот левая... Цела ли она? И есть ли вообще? Попросить кого-нибудь посмотреть? Нет, не стоит ставить людей в такое положение. Надо попытаться самому.

Сел. Откинул одеяло. От колена и ниже всё туго перевязано. В районе ступни (Александр соотнес это место с более здоровой правой ногой) бинты в крови. Осталась ли у него левая ступня? Или только культия от нее? Вроде бы кровоподтеки на том месте, где правая нога уже кончается. Значит, левая не стала короче.

У кого бы спросить?

Тут он заметил Ракитина, пришедшего, как выяснилось, проводить раненого по заданию самого полковника Иванова.

– Как самочувствие, герой? – расплывшись в доброй улыбке, поинтересовался старший полковой врач.

– Сложный вопрос, – задумавшись, ответил Крапивников. – Самочувствие, очевидно, должно состоять из разных чувств. А у меня не осталось никаких.

– Отчего же. По крайней мере с одним у вас всё в порядке: с чувством юмора, – успокоил его Ракитин.

После такой реплики можно продолжать без обиняков.

– Скажите, доктор, что же со мной всё-таки стряслось?

– Вот именно: стряслось. О-очень неприятная, должен вам признаться, история. Не столько с вами, сколько с вашей стопой.

– Шрапнель?

– Она самая. С весьма богатой начинкой. Самое неприятное: одна из ее пулек задела кость.

– Почему я ничего не помню?

– Старших слушаться надо, голубчик, – не удержался, наконец врач. – Не сбежали бы тогда после перевязки, лежали бы в более приятном месте и с менее тяжелыми последствиями.

– Я серьезно.

– И я с вами вовсе не шучу. Какая ж тут может быть память, если следом за одной контузией через день вторая? Или вы и первую запаматовали?

– Отчего же, помню.

– Ну, слава Богу.

И всё-таки о главном разговор так и не заходил. Александр набрался мужества и спросил в лоб:

– Ступня цела?

– Пока да, – немного сморщившись, ответил Ракитин. – Но если не будете меня слушать – останетесь без нее. Впрочем, на этот раз сбежать вам не удастся.

Немного отлегло. И мгновенно в голове мелькнуло: придется повиноваться, оставаться калекой совсем не хочется.

– Я весь внимание.

– Отправляйтесь-ка вы лечиться в тыл. Полевые хирурги, знаете, народ горячий, решительный, скальпелями машут, как самые лихие кавалеристы шашкой. По их меркам, оставлять такие конечности ни к чему. Оттяпают за милую душу.

– А вы как считаете? – упавшим голосом спросил капитан.

– Я категорически против необязательных ампутаций.

– Разве ампутация может быть необязательной? – удивился Александр.

– Еще как может. Ваша стопа – классический пример. Толку от нее никакого: вряд ли она когда-нибудь восстановит подвижность. Но наступать на нее можно. И гангреной она не грозит. Зачем же ее отнимать? Пусть болтается на здоровье.

– Что значит «болтается»?

Ракитин пристально посмотрел на Крапивникова и как можно мягче произнес:

– Сгибать вы ее не сможете, голубчик. У вас парез мышц левой

стопы. Бог даст, в тылу годами упорных занятий, различных гимнастических упражнений вы ее и разработаете. Может, к тому времени и медицина что-нибудь придумает. Пока она цела – надежда остается. Но здесь и сейчас вам никто помочь не сможет. Для действующей армии вы с такой ногой не годитесь.

– Из-за какой-то ступни?! – в сердцах воскликнул Александр.

– Не вздумайте повторить эту фразу при наших хирургах. Они вмиг склонят вас к ампутации. Мол, с деревяшкой, в ортопедическом ботинке воевать куда сподручней, чем хромать с висячей стопой. Впрочем, дело хозяйское. Но я и пяди своей плоти просто так не отдал бы. Даже мизинца. Даже ногтя от мизинца.

Дело принимало скверный оборот. Главное – не принимать решений сгоряча. Так его учили с детства. Поэтому хватит мусолить тему раненой ноги.

– Скажите, доктор, а как там на фронте?

– Новостей у нас немало, – похоже, Ракитин тоже обрадовался перемене темы. – Самая главная – отставка Павла Карловича.

– Генерал Ренненкампф уволен? – не поверил услышанному Крапивников.

– Да, и, судя по всему, окончательно.

– За что?

– Прямо не сказано, но молва утверждает: за гибель нашей дивизии.

– Кто же вместо него?

– Александр Иванович Литвинов.

– Опять кавалерист, – невольно вырвалось у капитана.

Генерал от кавалерии Литвинов с начала войны командовал 5-м армейским корпусом, входившим в состав 5-й армии генерала Плеве. Той самой, что не захотела прийти на помощь истекающей кровью 6-й Сибирской стрелковой дивизии. Впрочем, в самом начале кампании Литвинову удалось выиграть Томашовское сражение на австрийском фронте. Хотя и Ренненкампф начинал с победы под Гумбиненом.

Ракитин дипломатично уклонился от комментария к услышанной реплике и продолжил свою сводку новостей:

– Германцы продолжают наступать. В день, когда вас ранило, Макензен прорвал фронт под Иловом. Что касается 2-й и 5-й армий, то они вчера начали отходить от Лодзи за Равку.

– Вчера – это когда? – Александр поймал себя на мысли, что потерял счет времени.

– Двадцать третьего ноября. Сегодня двадцать четвертое.

Значит, день своего ангела он провел не только без молитв, но и вообще без сознания.

Вспомнилось, как обычно отмечали его именины до войны. Благоверный Великий князь Александр Невский был небесным покровителем не только у него, но и у многих его тезок. Еще бы – наиболее почитаемый русский святой! И дома, и в полку двадцать третье ноября всегда праздновалось с размахом.

А тут!

Оказаться в собственный день тезоименитства – свой самый любимый праздник – без сознания!

Крапивникову такое совпадение сразу показалось зловещим знаком судьбы. Как его разгадать? Для этого нужно время и полное одиночество.

– Спасибо вам за совет, доктор, – обратился он к Ракитину. – Обязательно подумаю над вашими словами.

– Думать на войне некогда, – усмехнулся старший полковой врач. – Сегодня мы есть, а завтра нас уже нет. Я ведь тоже под Богом хожу, как и вы. Шрапнель чинов не почитает и штатских от военных не отличает. Решайте быстрее, пока мы с полковником Ивановым можем вам помочь. И ни за что не соглашайтесь на ампутацию. Обещаете?

– Обещаю.

– Ну-ну. Слово офицера. Завтра непременно вас навещу, если с самым ничего не случится.

Оставшись один, Александр попытался, что называется, разложить услышанное по полочкам. Их набралось четыре.

Первая относилась к собственному здоровью, возможности сохранить ногу и вернуться в строй.

Вторая касалась смещения непотопляемого Ренненкампа.

Третья предполагала размышления об общей стратегии этой странной войны.

Наконец, четвертая, самая большая, вмещала мучившую его больше всего загадку судьбы: почему ангел-хранитель отвернулся от него именно в день своего прославления?

Навести порядок на первой полочке оказалось проще всего. Ракитин прав: лучше хромать до конца жизни на собственной ноге, чем ковылять на деревянной. Ведь служить не обязательно нужно на передовой, раз уж такое приключилось. Никто никогда не сможет упрекнуть его ни в трусости, ни в поисках легкой жизни. Ранение под Ляояном плюс два ранения и две контузии сейчас, в германскую кампанию, останутся неизгладимыми из памяти свидетельствами его бесстрашия и верности долгу. Чины не прекратят расти и в штабе, и где угодно. Стал же отец генералом в мирное время! А там видно

будет: командовать батальоном и даже полком можно и на негнущейся ступне.

Иными словами, решено: на операцию не соглашаться и ехать на излечение в тыл. Его боевая биография, подкрепленная отменной родословной и неплохими связями, всегда позволит вернуться в строй.

На второй полочке царил сумбур. Конечно, шестидесятилетний Ренненкампф давно заслуживал отставки. Но Литвинов старше его на год. Что же получается? Опять шило на мыло променяли? Как в случае с командующим фронтом, когда убрали старую штабную крысу Жилинского и назначили на его место такого же шестидесятилетнего Рузского. Ладно, тот хоть обе последние войны прошел – и турецкую, и японскую – да и генералом стал не от кавалерии, а всё-таки от инфантерии. Остальные же только шашкой махали или пером. Но пока они живы – близко никого из молодежи к командным должностям не подпустят. А ведь еще недавно в его, Александра, возрасте – возрасте Иисуса Христа и Ильи Муромца – офицерам доверяли целые дивизии! Тот же Михаил Дмитриевич Скобелев на тридцать третьем году, будучи уже генералом, взял Коканд и немало расширил границы империи. Впрочем, такие, как он, раз в сто лет рождаются – неудачный пример. Но взять двух отцовских друзей, двух баронов, двух вчерашних именинников: его бывшего корпусного командира Александра Александровича Бильдерлинга и Александра Васильевича Каульбарса. Первый к тридцати трем тоже успел стать генералом, отличившись в войне с турками, где командовал бригадой. И второй сделал свою карьеру в той же кампании и тоже в тридцать три командовал большей частью. И хоть начинал кавалеристом, от жизни не отстал, увлекся аэропланами и до сих пор находится в действующей армии: руководит авиацией их фронта.

Разве сейчас в молодые годы можно пробиться? Как заводить в окружение и бросать на произвол судьбы – так генералы на седьмом десятке, толком не нюхавшие пороха. Как выходить из него – так тридцатилетние ротные. Такое вот «разделение обязанностей» наметилось!

От второй полочки недалеко и до третьей. Зачем эти бесконечные артобстрелы и авианалеты, зачем многокилометровые окопы и полуслепые перестрелки, зачем безжалостные рукопашные бои и страдания мирных жителей, если за четыре месяца армии трех крупнейших империй Европы топчутся вокруг собственных границ, не имея никакой разумной стратегии?!

Как хорошо всё начиналось! Взяли Гумбинен, вышли на границу с Восточной Пруссией. Тут бы двигаться дальше, на Берлин. Нет,

завязли в каких-то болотах. Танцуем с немцами кадрили вокруг Лодзи. Так ведь она и до войны была нашей! Галич и Львов заняли еще в августе, но с тех пор никаких продвижений в сторону Вены. За что воюем? Если за Галицию, то она уже захвачена. Братьям-сербам, из-за которых возник весь этот сыр-бор, совсем не помогаем: они кровью истекают без ощутимой русской поддержки. Неужели Польшу в очередной раз делим? К столетию Венского конгресса карту Европы заново перекроить хотим? Так бы и сказали сразу. Цель любой войны должна быть понятна каждому неграмотному солдату, не говоря уж о командирах. И не меняться каждую неделю. Тут же: кого ни спросишь – никто толком объяснить не может, куда и зачем движемся. Сегодня мы окружаем германца, завтра в этой суматошной неразберихе выясняется, что уже он нас окружил. Куда такое годится?!

От третьей полочки теперь рукой подать и до четвертой, самой загруженной.

Здесь смешалось всё: и сомнения, и обиды; и личное, и карьерное.

За что отвернулся от него небесный покровитель?

За отступление в бою под Жаковице? Но не гнать же людей на заведомую смерть?! Их явно, хотя и не сознательно, завели во вражескую ловушку. А из ловушки только один выход – побег. Капкан – не место для честного боя. Капитан Кальницкий не понял этого, и где он теперь? В немецком плену. А где его рота?

Нет, спасти солдат – это не грех. Святой благоверный князь тоже ратников берег.

За то, что понимает бессмысленность действий командования и молчит? Но кому говорить? Полковнику Иванову? Он и сам зубами скрипит, когда полученные приказы читает. Командиру дивизии Геннингсу? Тот окончательно в уме повредился. Обсуждать с батальонными и другими ротными? Или с нижними чинами? Нет, действующая армия не терпит сомнений. Коль они возникают – снимай погоны и отправляйся в тыл.

Как же поступить?

Может быть, государю написать? Мол, теряется летний энтузиазм (ох, как тогда вся Россия на германца ополчилась!), ошибки командующих приводят к невосполнимым утратам, как материальным, так и моральным... Боже, какая каша в голове! Нет, последнее решительно указывать нельзя. Не ябеда должна получиться, а разумная записка, с дельными предложениями. Например, обеспечить каждому полку сопровождение авиацией. И уделить больше внимания связи. Манкирующих техническими новшествами командиров отстранять. Вот так будет лучше. Мысль прежняя – о замене стари-

ков молодежью, — однако обоснование куда дипломатичней: дело ведь не в возрасте, а в умении применять последние новинки. Конечно же, младшее поколение здесь на голову превосходит старших. Идея та же, зато звучит не так нарочито.

И тут внутренний голос заговорил на разные партии, как в дуэте:

— И без тебя государь про всё знает.

— Может и не знать. Самому ему не видно, а старые генералы вокруг него стеной стоят.

— Не ты один такой умный. Наверняка нашлись уже писари попроворней.

— А если каждый будет так рассуждать? Один на другого полагаться. Лучше повториться лишний раз, чем промолчать. Кашу маслом не испортишь.

— И не надейся. Письма твоего всё равно не передадут.

— Еще как передадут! Не посмеют в сторону отложить. Пишет боевой офицер, ротный командир, дважды раненный и дважды контуженный, представленный ему после Ляояна. Правнук того, к кому прислушивался в предыдущей (турецкая и японская кампании не в счет) серьезной войне его тезка-прадед.

Воспоминание об адмирале Рикоре положили конец внутренней разногласице. Словно поднялся кто-то третий и решительно произнес: «Довольно! Не о письме надо думать, а о высочайшей аудиенции. Лицом к лицу объясняться проще. Сразу догадаешься: что он знает, а о чем и не догадывается. Потомок спасителя русской столицы, к тому же израненный в последних сражениях, имеет право обратиться к своему государю не только письменно, но и лично».

Нет, не отвернулся, видать, от него ангел-хранитель. Заставил истерзать душу сомнениями, чтобы прийти к очень важному решению.

Только он сделал такой приятный, такой успокоительный вывод, как откуда-то сзади подъехала к его постели каталка, ведомая вполне миленькой сестрой милосердия.

— Капитан Крапивников, я за вами. Велено доставить на перевязку. Сумеете перебраться?

Вот и первая неприятность! На глазах у хорошенькой девицы нужно откидывать одеяло, представая перед ней в весьма неприглядном виде, и перекатываться с койки в каталку, подобно спеленатому младенцу.

Манипуляцию пришлось к тому же совершать, стиснув зубы: нога-то отзывается острой болью на любое движение. Но стона не издал.

Поехали.

Усталый хирург, отрезавший в тот день не одну конечность, брезгливо посмотрел на кровоточащую рану.

– Много отнимать не стану. Чуть выше лодыжки. Подберем хороший протез. Бегать через месяц на нем будете. А так еле плестись придется.

– Вы так добры, доктор, что я решил слегка облегчить вам работу, – последовал неожиданный ответ.

– Чем же?

– Отказом от операции.

– Вы же офицер! – вспыхнул хирург. – А рассуждаете, как кисейная барышня. Вам предлагают самый лучший выход.

– Давайте не будем тратить время на этот разговор. У вас ведь так много больных.

– Вот именно. И мне недосуг каждый день перевязывать эту полумертвую стопу.

– Это как посмотреть: для вас она полумертвая, а для меня полуживая, – с улыбкой возразил больной. – Но я и от этой участи вас скоро избавлю. Завтра же попрошу старшего врача полка отправить меня в тыловой госпиталь.

– Сделайте одолжение, – с ноткой презрения в голосе произнес хирург. – Небось, он же вас и надоумил. Чтоб за полком меньше тяжелых числилось.

Александр решил не продолжать словесную перепалку. Зачем, если вопрос уже исчерпан.

Он еще спал, когда утром его снова посетил Ракитин.

– Отсыпайтесь, капитан, отсыпайтесь: нескоро такой случай опять представится. Сон, знаете, лучшее лекарство от всех хворей и всех ран, – добродушно проворчал старший полковой врач и после долгой паузы добавил: – Как видите, я пока цел и невредим. Пользуйтесь счастливой возможностью перебраться в более человеческие условия.

– Я еще вчера имел решительный разговор с хирургом, – поведал Крапивников. – Наотрез отказался от операции.

– Наотрез отказались... Это у вас славный каламбур получился. Надо запомнить: на отрез отказался. Молодчага! Тогда я сегодня выправлю все бумаги, и ждите отправки с первым же эшеленом.

– Что нового на фронте? – поинтересовался капитан.

– Больших событий пока нет, но 2-й Кавказский корпус Павла Ивановича Мищенко успешно противостоит неприятелю. Похоже, наступление германцев будет отражено. Соседи же наши из 2-й и 5-й армий продолжают отходить за Равку. В общем, всё как обычно: в

одном месте густо, в другом – пусто. Поговаривают, генерал Иванов сильно негодует. Его Юго-Западный фронт якобы важную операцию против австрийцев разработал, на Краков нацелился, но при условии, что наш фронт удержит прежние позиции и не даст немцам прийти им на помощь. Рузский же отступает назад, к Висле, срывая тем самым замыслы Николая Иудовича. Похоже, не видать нам теперь древней польской столицы как своих ушей, – вздыхая, заключил Ракитин.

После его ухода пришлось заново наводить порядок на третьей полочке.

Выходит, единства мнений нет даже среди командующих фронтами. Рак-Рузский пятится назад, а Лебедь-Иванов рвется на Краков. И первый, судя по всему, берет верх над вторым. Но такое вряд ли возможно без ведома самого государя.

Сплошные загадки.

Решение их, по здравому размышлению, Александр отложил до прибытия в тыл.

Пока же он поспешил написать последние фронтовые письма. Первое, разумеется, отцу. Чтобы обмануть лютовавшую в последнее время военную цензуру, воспользовался заранее условленной аллегорией. Получилась вот такая сказочка: «В здешних местах не только за противником надо следить, но и звериные тропы знать. Пошли мы тут как-то на ночь глядя без провожатого погулять и на волчье логово наткнулись. Еле убежали. Мне же особенно на местную фауну не везет: два раза за неделю осы жалили. Одна в предплечье, другая – в стопу. Если от первого укуса оправился быстро, то от второго вся нога распухла. Слава Богу, с боями пока затишье, и это ни на что не влияет».

Сыну черкнул коротенько: «У твоего папы очень болит нога». Он-то, конечно, не поймет, а вот Зина догадается. Должна догадаться.

Братьям, также находившимся в действующей армии, отписал без обиняков: мол, угодил в лазарет с раной пустяковой, но в очень уж неподходящем месте и теперь надолго выбыл из числа ходячих.

На Андрея Первозванного Крапивников уже обосновался в тыловом госпитале в Вильно.

И в этот же день 1-я армия генерала Литвинова перешла в наступление. Но уже назавтра неприятель разгромил 6-й Сибирский корпус, а третьего декабря наступление превратилось в свою противоположность, то есть отступление. Теперь уже за реку Бзуру.

К концу четырнадцатого года стало ясно: война приобретает затяжной, позиционный характер, ждать серьезных прорывов, особенно зимой, не приходится. Чертыхаясь и даже матерясь, войска стали закапываться в мерзлую землю.

Если предыдущий Новый год Россия встречала на небывалом подъеме после грандиозного торжества в честь трехсотлетия Дома Романовых, то теперь праздник оказался как никогда тоскливым, украшенным не рождественскими гирляндами и хлопушками, а кровавыми бинтами раненых и траурными лентами вдов. Мало кто верил, что счастливые времена могут вернуться.

И не ошибся. По крайней мере, на добрых сто лет вперед.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Александру дважды повезло с новым местом лечения. Во-первых, в Вильно жил брат отца – отставной генерал Константин Ксенофонтович. Во-вторых, в госпитале работала дальняя родственница матери Ольга Михайловна Иванченко, незадолго до войны вышедшая замуж за какого-то поручика из остзейских баронов.

Дядюшка частенько посещал раненого племянника и оказался чрезмерно словоохотливым. Из его красочных рассказов Александр впервые узнал подробности о злоключениях этого добрейшего старика, о которых раньше слышал от отца только основные детали: мол, дядя Костя сначала стал жертвой какой-то несправедливости, а потом на него излилась монаршая милость, и всё встало на свои места. Акцент при этом делался на простой морали: люди могут ошибаться, но на то есть государь, чтобы их промахи исправить.

Теперь история предстала во всей полноте.

В конце предыдущего правления Константин Ксенофонтович служил уездным воинским начальником в Брест-Литовске. В подчинении у него находился писарь старшего разряда Андрушкевич, из местных поляков. Лиц католического вероисповедания, выслуживших срок действительной службы, ни под каким видом не позволялось держать при управлении для письменных занятий. Однако добряк полковник внял слезной просьбе Андрушкевича и не уволил его по окончании обязательной службы по призыву, а напротив, оставил у себя до приискания частного места. Где ему было знать о коварстве подчиненного, оказавшегося самым обычным шпионом! Тот не только делал выписки из секретных документов, но и снимал с них копии. А при гектографировании маршрутов по мобилизационному расписанию вообще умудрился похитить десяток экземпляров оттисков, однако был разоблачен при попытке передать их немецкому агенту. Под суд пошли все. Крапивникова с позором уволили из армии, не дав осуществиться честолюбивым планам стать генералом.

Но вскоре после этого Государь император Александр Александрович скоропостижно скончался. И сведущие люди надо-

умили отчаявшегося отставника подать прошение на Высочайшее имя, взывая к милосердию юного монарха.

И тот ее проявил. Константина Ксенофонтовича ненадолго вернули на прежнюю должность в далекий от границы Оршанский уезд и следом уволили с награждением чином генерал-майора и пенсией в 1989 рублей вместо полковничьих тысячи трехсот тридцати, хотя армейское начальство против таких подарков осужденному за преступную халатность Крапивникову энергично возражало.

Ольга Михайловна, дочь камергера и фрейлина вдовствующей императрицы, приходилась четвероюродной сестрой Вере Сергеевне, но при этом годилась ей по возрасту в дочери. В самом начале войны она, оставив троих детей, включая семимесячную Наташу, на попечение нянек, отправилась за супругом в действующую армию оправдывать в тягостную для отечества годину свое медицинское образование, полученное еще до замужества, и стала второй вслед за Верой Игнатьевной Гедройц женщиной – военным врачом.

Ольга Михайловна сразу взяла поступившего в ее госпиталь родственника под особую опеку. Постоянно следила за ходом лечения и каждый день сама осматривала его ногу. Однажды пришла вместе с высоченным ротмистром, грудь которого наряду с двумя Аннами и Станиславами украшал и Георгий четвертой степени:

– Знакомся, Шура, это мой муж.

Пришедший представился Петром Николаевичем. Выяснилось, что служил он командиром эскадрона конного полка, находившегося неподалеку, поэтому нередко навещал жену. Георгия же получил совсем недавно за успешную атаку на батарею неприятеля, в которой под ним была убита лошадь.

Несмотря на сугубое внимание врачей и повседневные заботы родственницы-баронессы, боль в ноге не проходила. Крапивников уже начинал сомневаться, стоило ли слушаться доктора Ракитина, отговорившего от ампутации. Правда, такие чувства охватывали его лишь в минуты горького отчаяния. По трезвому разумению вывод неизменно оказывался прямо противоположным: с безногим никто из врачей не стал бы столько возиться, хотя жалели бы, может быть, и больше. Другое важное преимущество человека, сохраняющего свой первозданный облик: отношение к нему окружающих как к больному, а не как к калеке. Незаживающая рана вызывает уважение, а увечье – лишь сострадание. Не говоря уж о прописной истине, что надежда умирает последней.

Первым вербально сформулировал эту разницу – несколько цинично, но вполне образно, – Владимир Николаевич Венёвцев: «Правильно, что не дал отрезать: импотент всегда смотрится лучше кастрата». Думский депутат оказался единственным из родственников, навестившим Александра в тыловом госпитале. (Впрочем, сам капитан брата свояка родственником не считал.) Он давно искал офицера из своего избирательного округа, побывавшего в самом горниле сражений, с кем можно доверительно обсудить положение на фронте и у кого выведать какие-нибудь компрометирующие высшее командование подробности. Дело в том, что Венёвцев дружил с отставным товарищем военного министра Поливановым, а тот всячески пытался подсадить своего бывшего начальника Сухомлинова, используя многочисленные связи в различных кругах думцев и газетчиков. Узнав от Агнии, где лежит Крапивников, он тут же помчался навестить раненого. Разумеется, пригласил с собой и Зинаиду, надеясь тем самым снискать ее большее к себе расположение. Однако та отказалась, не пожелав оставлять ребенка на предлагавшую свои услуги сестру. Везти же шестилетнего Нику в гнездилище боли и смерти означало подвергать трепетную детскую душу суровому и немилосердному испытанию.

Поначалу Александр обрадовался появлению Венёвцева, чья слава ширилась и укреплялась. О политическом весе, набранном членом Государственной Думы от дворянства Курской губернии, в армии знали достаточно хорошо и относились к нему с вполне искренним уважением, заслуженным частыми выступлениями в поддержку заказов для фронта и направления больших средств на нужды сражающегося воинства. Кроме того, депутат входил в комиссию по военным и морским делам, а думская кухня, как известно, творится именно в комиссиях.

Быстро сообразив, что незванный визитер намеревается использовать его знания фронтовой подноготной для какой-то интриги, Крапивников решительно запротестовал:

– Знаешь, Володя, мои наблюдения настолько серьезны и глубоки, что человеку невоенному их не понять. А если и поймет с помощью богатого воображения и интуиции, то другому пересказать уже не сумеет.

– Как же ты хочешь обратить на них внимание высшего командования, если даже мне не доверяешь? Через меня бы это вмиг самому Сухомлинову стало известно.

– Пусть станет известно через меня. Чем это хуже? Честь открытия ценного источника всё равно достанется тебе, однако пользы делу принесет куда больше.

Так Венёвцев и уехал несолоно хлебавши, обещав на прощание хорошенько подумать над несколько неожиданным и даже наглым предложением. Александр, не уверенный до конца в способности свойственника так легко входить в министерский кабинет, как тот пытался представить это сам, вскоре забыл о разговоре и решил самостоятельно искать способ воплотить задуманное. Мечтал он, разумеется, не о встрече с Сухомлиновым, а о высочайшей аудиенции.

Тормозила дело задержка с обещанной полковником Ивановым при их расставании Анной. Лучшего повода предстать перед государем, чем в связи с получением нового ордена за ратные дела, для офицера не придумаешь. Но еще в январе капитан был отчислен от занимаемой должности ротного командира как отсутствующий из полка за ранением более шести недель. Так требовали неумолимые законы, приводившие в действие канцелярскую машину – единственный исправно работавший механизм во всей армии. Но та же машина могла и заволокитить приказ о награждении, коль скоро человек выплюнут ею из своего чрева.

И ведь самому наводить справки неудобно. А Венёвцев уже далеко.

Пришлось пересилить себя и написать ему не самое приятное письмо, скрашенное компромиссным для адресата предложением: если попасть к министру не получится, готов, мол, подготовить обширную записку и запустить ее через *дорогого депутата*.

Перед врачами же раненый поставил категорическое условие: Пасху он должен встретить дома, с маленьким сынишкой, которого не видел полтора года.

Но желание капитана исполнилось лишь наполовину.

Пришла телеграмма из Омска, от матери: отцу совсем плохо, поторопись с приездом, если можешь.

Тут уж поневоле поедешь. Даже если и не можешь.

Так и пришлось выписываться из госпиталя с недолеченной ногой. Но отправляться при этом не на юг, к жене и сыну, а на восток.

Николай Ксенофонтович встретил своего первенца в полном сознании, хотя и в лежачем положении. Вставать не велели доктора.

И тут возникла сложная дилемма: скрывать от больного способные сильно взволновать его подробности, на чем настаивала мать, или поведать правду?

Взвесив все про и contra на тех единственно возможных весах, о коих женщинам и знать не дано, Александр принял волевое решение не утаивать от старика ни крохи. В надежде на его совет, полезный

для серьезного, во многом, как ему казалось, спасительного для всей армии дела. Ведь даже на смертном одре офицер должен прежде всего думать о защите царя и отечества и способствовать ему хотя бы словом, если уже не в силах делом. Нельзя лишать боевого генерала возможности принять участия в последней для него войне, пусть даже косвенным образом.

Выложив всё как на духу, сын отправился отсыпаться с дороги. Утром на него еще до завтрака накинута мать:

– Негодник ты! Зачем отца терзаешь? Его твои откровения убить могут. Спросил бы лучше меня. Я тебя бы научила, как поступить в таком случае. Всё равно отец ко мне за помощью обратился.

В дальнейшем разговоре выяснилось, что у Веры Сергеевны еще от ее покойной бабки оставались связи в Царском Селе. И не с второстепенными персонами, а с самим графом Владимиром Борисовичем Фредериксом, многолетним и всесильным министром Двора, правда, сильно одряхлевшим в последнее время, мучимым болезнями и расстройством памяти. В тот же день в Царское отправилось письмо с просьбой принять для важного сообщения пострадавшего за Россию в недавних сражениях правнука адмирала Рикора.

Александр с ужасом думал о том трагическом, почти кориолановском положении, в котором он неминуемо окажется, если ответ придет положительный, а родителю станет хуже, и оставить его будет невозможно. Он целыми днями не отходил от отцовской постели, теща старика рассказами о боях и пытаясь запомнить каждую ответную реплику, каждое слово, ценимое теперь на вес золота: день ото дня Николай Ксенофонтович становился на них всё скупее. Особенно внимательно прислушивался к оценкам деловых качеств военачальников:

– С Русским будь осторожен, – наставлял сына бывалый генерал, словно тому неизбежно выходило служить под началом этого полководца. – Карьерист до мозга костей. И отъявленный трус. Упивается взятием Львова! А зачем он туда полез? Я внимательно изучил оперативную обстановку на Юго-Западном фронте. Ему надо было наступление на запад развивать, а не к Львову отклоняться. Тем более, что сами австрияки и не думали его оборонять.

В день тезоименитства Государя императора, накануне Троицы, как никогда ранней, в Омск неожиданно нагрянул Владимир Николаевич Венёвцев. Якобы в командировку от комиссии по военным и морским делам. Крапивников сразу догадался, что главным образом по его душу.

– Отыскал я твой наградной лист, – с ходу порадовал приехав-

ший капитана. — Конечно, у этих штабных крыс заваялся. Теперь ему дан ход. Считай, твой Станислав уже обручен со своей Анной. Скоро будем свадьбу играть.

— Спасибо тебе, Володя. Но меня больше встреча с министром беспокоит.

— Ты же обещал записку ему через меня передать, — мгновенно отреагировал депутат.

— Обещал. Но лишь в том случае, если лично побеседовать не удастся, — напомнил Александр.

Венёвцев нахмурился:

— По-моему, ты хочешь поставить телегу впереди лошади. Начинать полагается с записки. Толково напишешь — тогда двери министерского кабинета могут перед тобой и распахнуться.

— Если толково напишу, в чем же твое участие проявится?

— Э, брат, наивно рассуждаешь. Толково написать мало. Надо еще толково подсунуть.

Крапивников не стал рассказывать про обращение к графу Фредериксу. Поначалу он хотел было совсем отказаться давать что-либо хитроватому думцу. Но потом усовестился (тот всё-таки похлопотал за него) и составил обещанную записку. Впрочем, главные мысли приберег для возможной беседы с государем. Но на критические отзывы о бездарных командирах и их несогласованных действиях не поспешил. Излил душу сполна, понимая, что наушничать царю он всё равно не станет.

Венёвцев уехал из Омска очень довольный.

Вскоре случилось то, чего так боялся Александр. По телеграфу пришло приглашение в Царское, и в тот же день Николаю Ксенофонтовичу стало заметно хуже. Старый генерал даже попросил, чтобы его соборовали. Но тут же перекрестил плохо послушной рукой старшего сына и не без усилия прошептал благословение.

Нога, и без того болевшая, сделалась совсем ватной. Пришлось брать в дорогу костыли.

Граф Владимир Борисович Фредерикс принял капитана с предельным радушием, на которое был способен в своем положении и весьма преклонном возрасте. Поинтересовался о здоровье матери, назвав ее именем старшей сестры. С той он, очевидно, был знаком лучше. А может быть и флиртовал, подумал про себя Крапивников, представив и сейчас красивую тетюшку Серафиму Сергеевну эдак полвека назад, в пору ее девичьего расцвета. Впрочем, замуж она, несмотря на свою привлекательную внешность, так и не вышла, что всегда считалось неразрешимой загадкой для всей большой семьи Тикоцких.

Вопросы со стороны министра Двора сыпались самые неожиданные и подчас нелепые. «Что же ему матушка такого про меня написала?» – недоумевал Александр. Выходило, будто бы он владел едва ли не самыми сокровенными секретами высшего командования и даже знал об интригах Верховного главнокомандующего против Августейших особ Государя и Государыни. Постепенно до Крапивникова дошло, что собеседник его настолько стар и забывчив, настолько путается в именах и армейских званиях, что вполне может принимать его одновременно и за потомка прославленного адмирала Рикора, и за самого покойного Петра Ивановича, которого, по неоднократному уверению, не раз видел лично, хорошо помнит и всегда почитает как умнейшего и честнейшего человека.

Немалых трудов стоило заставить склеротичного министра усвоить главное: у посетителя есть спасительные для армии предложения, предназначенные только для ушей императора.

И всё же последняя фраза графа Фредерикса перечеркнула все усилия капитана: «Да-да, я непременно устрою вам встречу с Его величеством, чтобы вы предупредили его сами о кознях Великого князя».

Уходя, Александр заметил подъехавший автомобиль с нелепо выглядевшим для строгой и чопорной обстановки Царского Села пассажиром: вид у того казался не просто мужицким, а к тому же дремуче-диким. Не сразу до него дошло, кто это мог быть.

Надежды на высочайшую аудиенцию после посещения министра Двора не только не укрепились, но и совсем покинули Крапивникова. И он решил поспешить назад в Омск.

Перед самым отъездом к дому Петра Сергеевича Тикоцкого на Сергиевской улице, где он остановился, подрулил на моторе возбужденный Венёвцев:

– Шура, поздравляю! Ты – как та мышка, помогшая вытянуть репку. Представляешь, ты стал последним виновником падения Сухомлинова.

– Не понимаю. Объясни, – попросил капитан, мыслями уже далекий от столицы.

– Сегодня царь отправил его в отставку. Среди прочих доводов в пользу высочайшего решения были и твои, изложенные в переданной мне записке.

– Но я же Сухомлинову и писал, – удивился Александр.

– Ну и что из этого? – невозмутимо ответил депутат.

Только тут дошло до Крапивникова, в какую адскую игру его втянули.

– Не вижу радости на твоём лице, – с напускным недовольством заметил Венёвцев.

– И не увидишь. Терпеть не могу интриг и интриганов.

– Ну, знаешь, я могу и обидеться. Вы, господа офицеры, слишком простодушны и прямолинейны. Политика так не делается. И потому: разве сам ты не того же добивался? Изложил грамотно, толково, разоблачил всю армейскую верхушку, и кто же, по-твоему, должен за все эти безобразия, если не сказать преступления, отвечать, как не сам министр? Вот он и отвечает. И еще, может быть, перед судом ответит. Ликовать нужно, господин капитан, шампанское по такому поводу разливать. А ты, как салонный чистоплюй: интрига, интриганы...

– Извини, Владимир, но мне сейчас в Омск торопиться надо. Отцу очень худо, – прибег к последнему доводу Крапивников.

– Неужели наш славный старик не доживет до победы? Ай-ай-ай! – запричитал депутат. – Но ты обязательно скажи ему, что победа теперь непременно будет и очень скоро.

Венёвцев отвез Александра на вокзал и по дороге цветисто расписывал несомненные достоинства Алексея Андреевича Поливанова, своего большого друга, который почти наверняка займет освободившуюся вакансию.

Капитан не стал высказывать мгновенно возникшие у него сомнения. В армии хорошо знали шестидесятилетнего Поливанова. И как редактора «Военного сборника», и как квартирмейстера, и как штабиста, и как товарища министра. Но только не как боевого генерала.

На омском вокзале капитана встретил средний брат Владимир, вызванный телеграммой из Кавказской армии, что само по себе ничего хорошего не предвещало: отпуск в военное время полагался лишь при чрезвычайных обстоятельствах.

– Как отец? – первым делом спросил Александр.

– Хуже некуда, – покачал головой Владимир, – держится на одном желании дожидаться тебя.

– Выходит, мне лучше не показываться ему на глаза?

– В чем-то лучше, – согласился брат, – а в чем-то хуже. Судьбу не перехитришь. Поэтому поступай как знаешь.

– Иван тоже приехал?

– Да, еще вчера.

Увидев первенца, больной просиял доброй улыбкой. Лицу его вернулась привычная для окружающих красота библейского пророка, увядшая в последние месяцы.

– Рассказывай. Был у государя?

– Нет, батюшка: в том не возникло надобности. Меня принял министр двора граф Фредерикс. Он передал мою записку на высо-

чайшее имя. Прочтя ее, царь тут же уволил Сухомлинова, – скомпилировав из правды и полуправды более или менее сносную легенду, успокоил отца Александр.

– Слава Богу, – прошептал Николай Ксенофонтович. Он попытался осенить себя крестным знамением, но смог лишь чуть-чуть приподнять лежавшую поверх одеяла руку.

Однако к вечеру ему стало намного лучше. Он призвал к себе сыновей. Выслушал прогнозы каждого на дальнейший ход кампании. Все трое обрушили на него потоки оптимизма, не боясь быть заподозренными в утешающей неискренности.

– Вашими устами только мед пить, – трезво заключил старый генерал. – Помяните мое слово: не один еще год на месте протопчетесь. От замены министра дело быстрее не пойдет. Нет у нас полководцев, чтобы войны выигрывать. И у них тоже нет. Тут как в английском боксе. Если оба на удар не горазды, рожи друг другу раскроют, а оземь никто никого не бросит.

Собравшееся впервые за долгие годы воедино семейство Крапивниковых ложилось в тот день спать в приподнятом настроении.

Утром же проснулись не все. Ночью Николай Ксенофонтович тихо и спокойно отошел от мира сего.

Так совпало, что через сорок дней, когда душа усопшего предстала перед Господом, старший сын получил, наконец, долгожданную аудиенцию у Его помазанника.

Неделей раньше Крапивникову за ратные дела в ходе Лодзинской операции пожаловали орден Святой Анны третьей степени с мечами и бантом. В Царское Село он явился, как того и хотел, свежим кавалером.

Капитан не первый раз встречался с императором. Познакомились они еще в прошлом веке, когда тридцатилетний Николай почтил своим участием церемонию прибавки знамени, жалуемого Павловскому военному училищу в связи со столетием со дня его основания.

Александру, попавшему в число юнкеров, приглашенных в Концертный зал Зимнего дворца (по два от каждой роты), события этого дня, двадцать второго декабря 1898 года, запомнились в мельчайших подробностях. Таким счастливым он еще никогда не был: всего четыре месяца в столице и уже удостоился чести лицом к лицу увидеть самого царя! Учившийся с ним вместе Жорж Крапивников, бывший на год старше, не скрывал зависти к младшему кузену.

На столе, покрытом багряным сукном, в ложбине лежало новое знамя с изображением святых Елены и Константина, небесных

покровителей училища, на лицевой стороне и вензеля государя Николая Александровича с шелковыми государственными гербами по углам бортов – на оборотной. Красный борт был вышит серебром в переплет. Древко венчал золоченый орел. Справа от знамени ждали своего часа голубые андреевские ленты, а слева стояли два серебряных блюда: одно, побольше, с серебряным же молотком и другое, поменьше, с золочеными гвоздями.

На церемонию прибыл назначенный недавно военным министром генерал-лейтенант Алексей Николаевич Куропаткин. Был в зале и его предшественник генерал от инфантерии Петр Семенович Ванновский. Собрались также начальники военных училищ и директора кадетских корпусов. И, разумеется, все офицеры самого Павловского училища. Приехала даже делегация из Франции – Сен-Сирской военной школы.

Последними в зал вошли Великие князья и свитские генералы.

Ровно в два часа дня появился Николай в мундире училища. Он обошел построившихся в два фаса генералов и офицеров. Поздоровался и с юнкерами, стоявшими отдельной шеренгой. У Александра при приближении императора в одно мгновение вспотела ладонь. Доставать из кармана платок не было уже времени. Он неловко чиркнул ею о штанину и подал царю повлажневшую руку.

Завершив обход, государь приблизился к столу, осенил себя крестным знаменем, взял молоток и вбил гвоздь в приложенный у древка край полотнища. Затем то же действие совершили Великие князья. Сначала старший из них, двоюродный дед царя Михаил Николаевич, генерал-фельдмаршал и председатель Государственного Совета. Затем его племянники – Алексей Александрович, Павел Александрович, Константин Константинович (президент Петербургской академии наук и известный поэт К.Р.), Дмитрий Константинович, Николай Николаевич и сын Георгий Михайлович. После них за дело взялись генералы, предводительствуемые Куропаткиным, потом офицеры, а следом и юнкера.

Последний гвоздь вбил самый младший из них – семнадцатилетний Александр Крапивников, переименованный в юнкера унтер-офицерского звания лишь за полмесяца до церемонии.

По завершении прибавки император привязал к знамени андреевские ленты. Начальник училища генерал-майор Драке поднес ему составленный к столетию учебного заведения очерк, а также юбилейный жетон и нагрудный знак.

Николай обменялся несколькими фразами кое с кем из присутствовавших и, откланявшись находившимся в зале, удалился в свои покои.

Вся церемония заняла тридцать пять минут, но Крапивникову они показались вечностью и навсегда запечатлелись в сознании, а царь запомнился своей веселостью, общительностью и простотой в общении. Таким же он нашел его и семь лет спустя, представляясь по случаю получения первого ордена.

На этот раз государь выглядел усталым, ко всему безразличным и не очень внимательным. Он выразил Александру соболезнование в связи с кончиной «достойного отца» и попросил обрисовать обстановку в войсках «со всей солдатской прямотой». Не останавливал, не прерывал, однако слушал с отсутствующим видом, словно думал в этот момент о чем-то другом, о своем, к делу не относящемся. Вопросов не задал. В конце торопливо заключил:

– Спасибо, капитан. Всё это я уже слышал, но вы лишний раз убедили меня предпринять решительные меры.

На другой же день Великий князь Николай Николаевич, двоюродный дядя императора, почти двухметровый гигант, любимый в армии и ненавидимый в Царском Селе, был уволен от должности Верховного главнокомандующего.

– Боюсь, мы с вами переусердствовали, – сокрушался граф Фредерикс, которому Крапивников нанес визит вежливости после устроенной тем высочайшей аудиенции. – Теперь его величество сам пожелает возглавить наше воинство, а ему делать этого никак нельзя. Но я уже не в силах его отговорить.

И действительно, Николай Второй возложил верховное главнокомандование на самого себя, перенес ставку из Барановичей в Могилев, отдалив ее на добрых триста километров от фронта, и двадцать третьего августа пятнадцатого года самолично пожаловал в этот губернский город, ставший на время фактически второй столицей империи.

– Ну ты и герой! – восхищенно приветствовал Александра привезший ему последнюю весть Венёвцев. – Сначала Сухомлинова свалил, а теперь и эту версту коломенскую. За такое уже не Анну – Андрея Первозванного давать надо.

Депутат Государственной Думы и личный друг нового военного министра Поливанова посодействовал Крапивникову в дальнейшем устройстве по службе. Капитана 22-го Сибирского стрелкового полка, после свидетельства особой врачебной комиссии о функциональном парезе мышц левой стопы и невозможности ее пронации, прикомандировали к контрразведывательному отделению штаба 6-й армии, защищавшей Петроград. Но до этого дали возможность съездить в отпуск к семье, которую он не видел два с лишним года.

* * *

Тридцатого августа, в последнее летнее воскресенье, Александр, одетый в штатское, с отцовской тростью, помогавшей ему при ходьбе, приехал в село Прут.

Он долго готовился к этой поездке, тщательно продумывал все детали и твердо решил сменить образ щеголеватого офицера, каким он представал перед женой и сыном прежде, на преуспевающего столичного деятеля, каковым невольно сделался после своих демаршей. Наверняка о них уже известно Зинаиде, а той такая метаморфоза должна непременно прийтись по душе. Нике же отец дорог в любой ипостаси, явись он даже в кандалах с бубновым тузом на спине. К тому же к штатскому платью так или иначе придется привыкать, поскольку на новой службе оно понадобится не меньше, чем военный мундир.

Конечно, мальчик сразу узнал папу, но немного смутился, увидев не капитана с двумя орденами, а вполне партикулярного человека. Да и кидаться с разбегу на шею он теперь считал не очень приличным для своего возраста.

Зина бросила испуганный взгляд на больную ногу, еле уловимый со стороны, но поздоровалась с мужем нежнее обычного, ответив поцелуем на поцелуй, и даже позволила весьма фривольные в присутствии ребенка объятия.

Усадьба оказалась полна людей. Основной владелец, шурин Александр, приехал с семейством по случаю своих именин. Крапивников и Щербачёв не только носили одно имя, но и были крещены в честь одного святого. Однако день тезоименитства у первого приходился на ноябрь, а у второго на август.

— Мы собираемся в церковь по случаю прославления Сашиного и, кстати, твоего небесного покровителя, — сразу поставила в известность Зинаида, — а потом, если ты не против, отметим именины как общие для обоих: ведь в ноябре мы вряд ли сможем поздравить тебя лично.

Вспомнив, где и как он провел свой любимый праздник, гость возражать не стал, но всё же уточнил:

— Согласен, хотя в нынешнем году вы имеете счастливую возможность провести этот день в компании со мной: я буду теперь служить в Выборге.

Судя по реакции, весть о новом назначении еще не успела долесть до Прута. Ника сразу же закричал: «Ура!» Однако Зина, не готовая к такому повороту, дипломатично промолчала.

Разумеется, Крапивников стал главным виновником торжества, к чему шурин отнесся с великодушным пониманием. Да и его самого

интересовали мельчайшие подробности событий, в водовороте которых неожиданно оказался зять, причем не на самых последних ролях. Никино же любопытство больше касалось военных подвигов отца, хотя аудиенция у самого императора взволновала и его воображение.

Удивление собравшихся за праздничным столом не знало предела, когда вскрылась подноготная. Они считали, что лоцию в высочайшую гавань проложил капитану их свойственник Владимир Николаевич Венёвцев. О связях скромной Веры Сергеевны никто и не догадывался. Приятней всего обоим Крапивниковым, особенно юному, стало напоминание о почитаемом до сих пор в России имени их великого пращура, способного, как выяснилось, открыть любые двери.

Гость не стал выдавать хвастливого думца, прослывшего среди обитателей имения едва ли не главным ниспровергателем Великого князя Николая Николаевича с поста Верховного главнокомандующего. Пускай его красуется где может! В конце концов, хорошие отношения с влиятельным депутатом могли и ему самому еще не раз пригодиться.

Однако Зина быстро раскусила Венёвцева. Наедине с мужем она прямо спросила:

– Не привирает ли наш вездесущий Владимир Николаевич, рассказывая о своем влиянии на царя через нового военного министра?

– Конечно, привирает. Его любимый Поливанов чуть ли не на коленях умолял Николая не брать на себя роль Верховного. Но они там наверху так все перегрызлись, что государю не оставалось ничего другого, как взвалить эту неблагодарную ношу на себя.

– Что же теперь будет?

– Боюсь, бацилла беспорядка переберется из армейской действительности в гражданскую. За всем уследить сложно даже венцесцам, а Горемыкин слишком стар.

Александр угадал: жене его новый образ понравился больше прежнего. Особенно Зинаиду радовало, как муж утер нос деверю сестры. О причинах такой радости она, конечно же, умолчала.

Ника, не слишком еще хорошо разбиравшийся в особенностях военной службы, спросил у отца без обиняков:

– Папа, чем ты будешь теперь заниматься?

– Шпионов ловить, сыночка. Уж больно много их развелось в последнее время.

– Это не страшно?

– На войне всё страшно. Но быстро привыкаешь. Иначе нужно сидеть дома. Правда, война может прийти и к тебе домой. Тогда будет страшнее всего.

Слышавшая этот диалог Зина лишь покачала головой: да, ее

Шура неисправим. И всё же два чисто женских чувства проснулись в ней в тот день: жалость и тщеславие. Она не могла не жалеть отца своего ребенка, претерпевшего столько физических страданий и оставшегося на всю жизнь увечным, пусть и едва заметно постороннему глазу. Ее самолюбию не могла не польстить причастность супруга к событиям государственной, даже исторической важности. В конце концов многие успешные карьеры вытекали из военной службы. Граф Фредерикс тоже сперва был офицером.

Появление новых чувств возродило еще одно, давно забытое, с которого всё так замечательно начиналось ровно десять лет назад. Да, именно в такой же августовский день состоялось их решительное объяснение. И тоже после возвращения с фронта. И тоже после ранения.

Круг судьбы замкнулся. Усмотрев в этом знак свыше, капитанша решила повторить прежний путь к вящей радости истосковавшегося по ней мужа.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Жизнь Угриных в Губернске с каждым годом обретала зримые черты постоянства. Лиза больше не рвалась в Москву, находя в родном провинциальном быте больше защиты для семейной идиллии: в Белокаменной ее бы давно замучила ревность. Михаил, летами не вышедший в присяжные поверенные, решил начать карьеру с частного поверенного и вскоре имел такую практику, о которой в столицах начинающий адвокат не мог и мечтать: купцы и промышленники, вечно спорящие между собой и вечно притесняемые властями, ни на день не оставляли молодого юриста без каких-либо прошений, иногда мелких, а подчас и вполне серьезных. Угрин не брезговал и малым, снискав себе популярность безотказного защитника всех обиженных.

А где прошения, там и подношения. Семья зажила в хорошем достатке и стала позволять себе любые расходы, необходимые для поддержания репутации современной и обеспеченной. Старое родительское гнездо никак не устраивало молодоженов. Там, на Приклонской, где прошло Мишино детство, им казалось не только тесновато, но и немного конфузно для приема богатых клиентов. Архитектурный стиль, выбранный полвека назад Георгием Гавриловичем, тогда еще коллежским асессором, безнадежно устарел и мог их только отпугнуть. Кто же теперь оценит фронтон с полуциркульным окном, пропиленной подзор карниза и шипцовые бровки над окнами? Вот уж типичное смешение «французского с нижегородским»: завозного классицизма с украшением русской избы! Да и жить под одним кро-

вом со свекровью Лиза явно не хотела. Они сняли неподалеку от нее (чтоб было меньше обид) целый дом, с просторной и хорошо обставленной приемной в первом этаже, где в считанные месяцы побывала добрая половина деловых людей Губернска. Этим апартаментам Михаил придавал особое значение: по ним посетители судили о пресупевании их владельца. Интерьер копировал уголок пресыщенной всякими новшествами Москвы, что вызывало особое уважение у кондовых провинциалов. За глаза клиенты начали называть Угрина «москвичом».

Первый после возвращения в родной город визит семейство Угриных в полном составе нанесло дедушке Михаила – отцу Капитолины Александровны.

Александрю Владиславовичу Владиславу шел девяносто четвертый год. Родился он еще при своем августейшем тезке – победителе самого Наполеона. Но благословенного государя в их роду не очень почитали. За обиду, нанесенную им другому Александрю Владиславовичу, деду нашего героя. Тот, привеченный всевидящим Павлом Первым, при котором начал службу с коллежских регистраторов, быстро рос в чинах и за неполных десять лет шагнул из четырнадцатого класса в девятый. У купеческого сына оставалась последняя ступень, чтобы из личного дворянина превратиться в потомственно-го, но тут государю взбрело в голову упразднить министерство коммерции, где Владислав состоял помощником столоначальника. Штатская карьера на том и закончилась.

Правда, винить в этом следовало не столько императора, сколько самого министра – графа Николая Петровича Румянцева, не слишком дорожившего своей должностью, поскольку совмещал ее с другими, более важными постами – министра иностранных дел, а также председателя Государственного Совета и Комитета министров. Последние две он, став девятым в истории Российской Империи канцлером (после него этого высшего чина и вовсе удостоится лишь трое за сто с лишним лет), занял в самом начале того рокового для Владислава восьмьсот десятого, в середине которого наиболее титулованный сановник государства попросил государя раскассировать одно из возглавляемых им министерств. Ему, конечно, было тогда не до коммерции: за неполные три года предстояло заключить четыре важнейших международных договора, после чего утомленный сложными переговорами и недовольный заграничным походом русской армии Николай Петрович отправился в отставку и занялся подбором коллекции книг, коими мы все пользуемся по сей день. Во всеобщей памяти он так и остался меценатом, основателем главной библиотеки страны, а не государственным мужем, верно служившим

России, но при этом по непонятной причине жалевшим Наполеона даже после Бородинского сражения.

Также трудно понять, почему Александр Владиславович не держал обиды на забывшего о нем министра и винил в своих горестях одного царя. Но он был уверен, что невинно убиенный император Павел не оставил бы его своим вниманием и, если бы даже уволил, то непременно ассессором.

Вернувшись в родной Губернск, Владиславов продолжил дело отца, причем весьма успешно, чему способствовали обретенные в столице знания и связи. Затем передал его сыну. Но лишь собственное дело – не дворянство, ибо детям титулярного советника оно не полагалось. Потомству чиновников девятого класса предстояло стяжать его самостоятельно.

Александр Владиславович-второй встал на верный путь, ведущий в высшее сословие: поступил в университет, вышел из него кандидатом. Пойди он дальше на штатскую службу, глядишь, скоро можно и прошение в герольдию подавать. Но, подобно прадеду, деду и отцу, предпочел заняться делом, и так всю свою долгую жизнь писался в документах кандидатом. Сказалось ли тут унаследованное самолюбие, проявилось свободомыслие или своя рубашка оказалась ближе к телу, понять трудно. Сам он на эти темы не распространялся. Но пять своих дочерей выдал замуж за потомственных дворян и предоставил двоим сыновьям все возможности пробиваться в высшее общество.

От семерых детей родилось у Владиславова столько внуков, что с годами он терял им счет и никак не мог упомянуть все имена. Девтора любила потешаться над старым вдовцом:

– Дедушка, а дедушка, я твой внук, – гордо заявлял какой-нибудь шутник.

– Да? – удивлялся тот. – А от кого?

Михаил Угрин в гимназические годы тоже участвовал в не всегда безобидных розыгрышах. Однажды на святках они с кузенами пробрались в дедову спальню, привязали веревки к ножкам стульев, стола и даже шкафа, а затем ночью принялись медленно двигать мебель по комнате. От скрипа старик проснулся, чуть не сошел с ума и непрерывно крестился. А наутро рассказывал всем, как за ним пришли черти, но он отогнал их крестным знаменем.

На самом деле деда Александра все очень любили. За образованность, справедливость, доброту, тороватость. Он всегда носил в кармане леденцы и раздавал их младшим внукам. А старшим при встрече обязательно перепадало по монетке.

Разум его на склоне лет не угасал, да и двигался он довольно проворно для почти столетнего старца. Подводила только память.

– Ты чей? – встретил он привычным вопросом молодого отца семейства.

– Капин.

– Помню-помню. На инженера учился.

– На правоведа, дедушка.

– Ах да, правильно, на правоведа. Чем теперь промышляешь?

Напомнить, как зовут, дед даже не просил: всё равно запомнил бы через минуту. Доктора утверждали, что у него ослаб участок мозга, ответственный за имена собственные, поэтому людей он различал по их занятиям.

– У меня своя адвокатская практика.

– Славное дело. Прибыльное. И служить не надо.

Врожденная нелюбовь к службе, видать, оставалась неистребимой.

Михаил познакомил деда с Лизой, позволил сделать козу маленькой Маре – далеко не первой правнучке вечного кандидата. Старику понравился ее звонкий смех, и он, сунув по привычке червонец великовозрастному внуку, одарил такой же золотой монетой крошечную девочку. Не выхвати Лиза вовремя подарок, дочь употребила бы его так же, как полагавшийся ей по возрасту леденец.

Конечно, такие вынужденные визиты (а еще пришлось объехать для представления супруги и ребенка с полдюжины других родственников), веселья и радости молодой чете не прибавляли. И всё же долго грустить молодой чете не пришлось: подходящая компания нашлась сразу же.

Двумя курсами старше Угрина на том же юридическом факультете учились старинные знакомые по Губернску – Владимир Гульчицкий и Николай Чиняков, сын тамошнего прокурора. Последний вообще считался другом детства, а Владимир теперь и вовсе оказался свойственником, ибо его овдовевший отец женился на старшей сестре Евдокии Васильевны – Варваре Печаткиной, тоже похоронившей мужа.

Трудно себе представить более странную пару.

Он с детства погрузил себя в мир античности и в молодые годы, служа обычным гимназическим учителем в Костроме, выпустил в Москве обширный труд с длинным названием «Практический курс элементарной стилистики латинского языка, в соединении с изучением синонимии». Автора ждала блестящая научная карьера, однако он не встал за университетскую кафедру и продолжил послужной список должностями на ниве народного просвещения, преимущественно директора гимназии – то провинциальной, то московской, то опять провинциальной. Постепенно мундир украсили ордена: от

Анны третьей степени до Станислава первой, включая и Владимира. Одновременно росли чины, дойдя до генеральского четвертого класса. И в Рождество двенадцатого года еще вполне бодрый старик стал предводителем сначала уездного, а незадолго до войны и губернского дворянства. Большинству голосовавших он помнился добрым школьным наставником, походившим больше на сердобольную матушку, чем на строгого отца.

Супруга же являла полную противоположность. Унаследовав от первого мужа винокуренный завод, она взялась руководить им сама и неизменно демонстрировала твердый мужской характер. Благодаря ему и была сестра Евдокия отправлена с дочерью в Москву подальше от грязных слухов, несмотря на свои колебания до самой последней минуты. Терпеть его приходилось не только домашним. «Странно, что у нее еще борода не выросла», – удивлялись подчиненные.

Обвенчались они в весьма солидном возрасте, поэтому род Гульчицких продолжали только двое сыновей и три дочери Льва Станиславовича от первого брака. Строго говоря, одни сыновья: у Владимира был старший брат Константин, служивший офицером. Дочери, как повелось испокон веков, могли продолжить лишь чужой род.

Молодой юрист в ранней юности, еще до поступления в университет, женился на сестре Чинякова Вере, и у них уже подрастала семилетняя дочь Надежда. Константин, увлеченный военной карьерой, с семейным устройством не спешил.

Гульчицкие жили большим домом, три поколения под одной крышей, и славились своим гостеприимством. Был тут и прямой расчет: сестры Владимира явно засиделись в девицах, и постоянный наплыв гостей мог бы поспособствовать обретению женихов.

Коля Чиняков в этом смысле надежд не оправдал, хотя из Москвы вернулся холостым, не польстившись ни на одну из столичных барышень. Родовитостью и богатством он не блистал, зато внешность его могла ошеломить даже княжну. Сам же он жил исключительно по законам красоты и неожиданно для всех выбрал спутницей жизни юную выпускницу женского епархиального училища по имени Зинаида, писаную красавицу из простой крестьянской семьи. Но Гульчицкие приняли это без досады, напротив, с восторгом от такой нарочитой демократичности брата своей невестки. Тогда подобные поступки становились модными у той части высшего общества, которая начала примеривать на себя чудноватое словечко «интеллигенция», никак не замеченное у Пушкина и появившееся лишь в середине девятнадцатого века. Словечко очень быстро укоренилось, и даже сам Владимир Иванович Даль, не признававший его

поначалу, вынужден был во втором издании своего знаменитого словаря сделать добавление.

Дворянство и не стремилось узурпировать новое понятие. Оно приняло его со снисходительной иронией, как моральную компенсацию для тех, кто после решительных преобразований Николая Павловича не мог влиться в их сословие из-за незначительности чина. Если прежде хватало выслужить коллежского асессора (дело в общем-то нехитрое, требовавшее не способности, а лишь усидчивости), то теперь мало было и статского советника. Однако возникал парадокс: люди с университетским образованием, превосходившие знаниями и культурой многих отпрысков родовитых семейств, попадали в когорту разночинцев, сословно никак не определенную. Они-то и стали первыми называть себя интеллигентами.

Называют – и ладно. Экая беда! Аристократия даже морщилась поначалу от непривычного словечка. Но постепенно стала с ним свыкаться и даже распространять его на себя, намекая на природные манеры и особую воспитанность. Тут-то и подоспел новый словарь Даля, ясно дававший понять: главное здесь не осанка и походка, а разум, образованность и умственное развитие. Только наличие этих качеств делало человека интеллигентом. Заслуги предков и собственные чины были тут ни при чем.

Аристократичность и интеллигентность становились понятиями конкурирующими, оспаривающими право быть предметом наивысшей гордости. Подливала масла в огонь и литература, всегда бывшая в России высшим нравственным судьей. Она незаметно, но настойчиво начала прививать мысль, что аристократизмом можно только кичиться, тогда как интеллигентностью надо гордиться. Первое постепенно уходит в прошлое, а за вторым – будущее.

Если истинные аристократы такую логику, естественно, не принимали, то нетитулованное дворянство разделилось на два лагеря. Недавние выходцы из третьего сословия чаще всего защищали прогрессивную точку зрения, а внесенные в шестую часть родословных книг – консервативную.

Чиняков находился в числе первых, Угрин – последних; Гульчицкий оказался посередине. Не из-за происхождения, а во имя мира между друзьями.

– Разве не царство разума – наш идеал, – заводил дискуссию Николай. – А разум – это ум, преумноженный знаниями. Недаром мудрые предки поучали: где ума не хватит, спроси разума. Поэтому высшей кастой сегодня может считаться лишь сообщество высокообразованных людей. Окажись они у мирового руля, исчезнут и войны, и нищета, и несправедливость, ибо все эти несчастья от неразумения происходят.

– По мне, – мгновенно заводился Михаил, – богу богово, а кесарю кесарево. Да, для науки нужно образование. А вот для искусства важнее талант: тут ни умом, ни разумом не возьмешь. Что до дел государственных, то их пусть вершат не умники-разумники, а верные слуги отечества, подготовленные к тому не только академически, но и генетически.

– Э, куда махнул! – подключался к спору Владимир. – Хватит с нас генетики при престолонаследовании.

Угрин, понимая, что действительно «махнул» слишком резко и, похоже, промахнулся, начинал обходной маневр:

– Боюсь я этой беспардонной интеллигенции, ничего за душой кроме университетского диплома не имеющей. Насмотрелись мы на нее за годы учебы. Когда нет глубоких корней, перекасти-поле получается, ни цветов, ни плодов не дающее. Может у него быть и ум, и разум, а человек всё равно не государственный: не о благе страны мыслящий, а лишь о своем успехе в выбранной профессии. Таких к державному рулю близко нельзя подпускать. Политика – наука особая, не столько на разуме и знания, сколько на опыте и интуиции построенная. А опыт и интуиция чаще всего по наследству передаются. Тут своим разумом не обойдешься – нужен живущий в тебе разум твоих предков. Твоих, а не соседа.

– Меня другое тревожит, – пытался уравновесить свою позицию Гульчицкий, переводя заодно диспут в другую, чреватую меньшей конфликтностью плоскость. – Уж больно наша новоиспеченная интеллигенция космополитична. Казалось, это свойство больше должно у аристократов проявляться: там почти в каждом много разных кровей понамешано. Ан нет: война показала примерный патриотизм нашего высшего общества. Зато интеллигенты частью стали социалистами, постоянно бубнящими о каком-то интернационале, частью их защитниками.

– Разум и не должен знать никаких государственных границ, – не унимался Чиняков. – И промышленности они ни к чему. Нуждается в них лишь доблестное воинство, чтобы своей смертоубийственной пальбой давать повод политикам их передвигать. Проиграем мы сейчас войну, останемся без Польши. Выиграем – заберем остальные ее части: одну у немцев, другую у австрияков. А какая радость от того полякам? У них всё равно не будет своей страны. И как прикажешь польской интеллигенции к этому относиться? Тому же Генрику Сенкевичу, признанному при жизни мировым классиком и увенчанному высшими литературными лаврами? Он сейчас в Швейцарии, создал комитет помощи всем своим соплеменникам, от мирового побоища пострадавшим.

– Нашел кого об этом спрашивать! – возмущался Гульчицкий. – Во мне польской крови больше половины. Остальная немецкая. Русской вообще ни капли. Но я родился в России и собираюсь служить ей, а не какому-то абсолютному разуму, ибо никакой разум не смог пока убедить людей отказаться от своей народности в пользу людской всеобщности, существовавшей до вавилонского столпотворения. И неизвестно, сумеет ли. А жить нам здесь и сейчас. Так кто кем должен управлять: мы разумом или разум нами?

Споры такие велись часами, вращались вокруг одного и того же, и никаких сдвигов в сознании молодых людей не создавали. Просто им подобная форма единоборства казалась интересней английского бокса или греко-римской борьбы. Во всех случаях проигрывал не тот, кто слабее или глупее, а тот, кто раньше уставал, физически или морально. В словесных поединках, как на ринге и в цирке, заранее угадать этого было нельзя, что придавало умственным баталиям особый интерес, невзирая на повторение старых истин.

Но ведь и в шахматах соперничающие игроки повторяют до поры до времени одни и те же ходы. А там, глядишь, кто-то собьется с проторенной дорожки и либо озадачит тем противника, либо попадет в давно известную ловушку. Сегодня им буду я, завтра – мой конкурент. Отсюда и неизвестность, отсюда и интерес к новой партии.

Однако спорили на эти темы не только трое наших друзей. Вся мыслящая Россия, разочаровавшаяся в войне, царе, правительстве, прежних ценностях, задавалась такими же вопросами и тоже не могла прийти к единому ответу.

Плохо, когда спор кончается кулаками, а потом переходит и в поножовщину. Увы, такое давно в русской традиции.

Ужасно другое: орудие смертоубийства постоянно совершенствуется. Раньше на венценосцев и государственных мужей бросались с кинжалами, и зачастую разящую руку успевала отвести сама намеченная жертва или стоящий рядом. Теперь покушающиеся действуют наверняка: кидают бомбы, а иногда коварно подкладывают их в нужном месте, оставаясь незамеченными.

Прежде бунтовщики вооружались топорами да вилами. Нынче восставшие грозили тем же оружием, каким действовали и власти.

Только народ всегда превосходит числом своих правителей. Если они оснащены одинаково, исход схватки предрешен заранее.

Не все еще в России понимали, к краю какой бездны они подталкивают ее своими заумными спорами.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Крапивников гостил в имении жены до конца сентября. Двадцать третьего торжественно, с большим наплывом родственников отпраздновали семилетие маленького Ники. Приехала из Омска и овдовевшая Вера Сергеевна, чьим единственным светом в окошке оставалась теперь наладившаяся ее молитвами и усилиями семейная жизнь старшего сына.

В октябре Александр приступил к новой службе в контрразведывательном отделении штаба 6-й армии, а уже в ноябре произошло событие, снова обратившее внимание к его персоне сильных мира сего.

Объездными путями, через столицы Германии, Дании и Швеции, приехала в Россию из Вены жившая там на своей загородной вилле великовозрастная и весьма корпулентная Мария Александровна Васильчикова, старая дева, бывшая фрейлиной двора еще со времен своей полной тезки, супруги императора Александра Второго. В военное время поездка по такому маршруту не могла не привлечь взора специалистов по отлову шпионов, поэтому незадачливая путешественница прямо на границе, при переходе из Хапаранды в Торнио, угодила в сети, расставленные капитаном контрразведки Крапивниковым.

— Не желает бумаги свои предъявить, — с порога доложил дежурный офицер, вводя в его кабинет задержанную.

Александр, испугавшись, что кто-то окажется свидетелем любимой шутки богатырского сложения особы: обнять и поднять вверх понравившегося ей мужчину, попросил оставить их одних, вызвав тем самым расположение к себе фрейлины.

— Вы, я вижу, человек благородный. Помогите мне осуществить мою миссию, способную спасти миллионы жизней, — обратилась она к нему с мольбой в голосе.

— В чем же состоит ваша миссия, кто и к кому вас направил? — суровым тоном поинтересовался капитан.

— При мне очень важные письма самим государю и государыне. Теперь вы понимаете, что я не могла удовлетворить любознательность того офицера.

— Он проявил не любознательность, а бдительность, проистекающую из долга службы. Настоятельно прошу передать мне все находящиеся у вас бумаги.

— Но это невозможно. Письма личные.

— Вы только что говорили о спасительной миссии для миллионов. Причем здесь личная переписка? — удивился Крапивников.

— Всё дело в авторе посланий. Их написал брат императрицы, великий герцог Эрнест Людвиг. Разве он не имеет право обратиться по-семейному к сестре и зятю?

– Великий герцог Гессенский, как вы должны знать, принадлежит к воюющей против нас державе. Поэтому любые попытки установить его сношения с царствующими особами приравняются к государственной измене, по обвинению в которой я тотчас же велю вас арестовать.

– Хорошо, капитан, – взмолилась гигантша. – Я дам вам эти письма. Они не запечатаны. Убедитесь сами в моих благородных намерениях.

Александр внимательно прочитал оба послания, не без труда преодолевая внутренний запрет на проникновение в тайну чужой переписки, заложенный в него с детства. Герцог Эрнест убеждал Николая, что кайзер Вильгельм готов заключить сепаратный мир с Россией на очень выгодных для нее условиях. Такое же предложение якобы адресовано и Англии, поскольку немецкая корона не испытывает ни малейшей вражды к родственным русской и британской. Для спасения будущих династических связей и монархий как таковых необходимо прекратить войну между этими тремя странами.

Адресуясь к сестре, герцог повторял те же доводы, а также взывал к ее национальным чувствам природной немки.

– Простите, Мария Александровна, но я обязан изъять у вас эти письма и передать их своему начальству. А уж оно решит, куда их отправить дальше: в Царское Село или следователю по вашему делу о государственной измене, – решительно заявил Крапивников.

– Вы же дворянин! – возмутилась фрейлина. – Разве позволительно вам так поступать?

– Именно потому так и поступаю, что дворянин на службе царю и отечеству. Как, впрочем, и вы. Неужели вам непонятно, что всё это – невиданная провокация, бросающая тень на самого государя? А о государыне вы подумали? Петроград и без того полон слухов о ее сношениях с врагами.

– О, как я жестоко ошиблась! – неожиданно пустила слезу Васильчикова, имевшая устойчивую репутацию толстушки-хохотушки. – Вы показали мне похожим на д'Артаньяна, и я легкомысленно доверилась вам.

– Если помните, д'Артаньян спасал честь августейшей особы. Поверьте, я делаю то же самое. Ваша же роль, если проводить параллели с известным романом, сродни роли миледи.

– Вы ошибаетесь, капитан: д'Артаньян не побоялся доставить письмо королевы близкому ей человеку, оказавшемуся волею судеб в стане врагов ее государства. В таком же положении сейчас и несчастная Александра Федоровна. Больше года не может она общаться с родным братом, даже по телеграфу. Помогите ей, и вы будете вознаграждены.

Намек на подкуп окончательно вывел Крапивникова из себя. Он ничего не ответил фрейлине.

Армейский устав требовал неукоснительного соблюдения субординации. Поэтому задержанная была доставлена в штаб армии к его начальнику, генерал-лейтенанту Михаилу Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, а тот незамедлительно телеграфировал о происшествии в Ставку.

Дальше случилось необъяснимое: из Могилева пришло указание начальника штаба, генерала Михаила Васильевича Алексеева: Васильчикову отпустить, не унижать ее досмотром и дать возможность продолжать путь в столицу.

Пришлось вернуть ей и письма, перед чем по просьбе Бонч-Бруевича Крапивников снял с них фотографические копии.

Однако Васильчикову обременили курьерскими обязанностями не только в Дармштадте. Будучи в Берлине, она получила также послание обер-гофмаршала германского двора графа Эйленбурга, адресованное его коллеге – министру русского двора графу Фредериксу. Этот пакет был запечатан, содержание его фрейлина не знала, поэтому упоминать о нем при допросе не решилась. Уже в Петрограде, куда она благополучно добралась в начале декабря, Васильчикова не стала искушать судьбу, помня о неприятностях на границе, наклеила на конверт обычную марку и отправила его по городской почте.

Осторожный Фредерикс, друживший с Эйленбургом с незапамятных времен, лет эдак тридцать, с полуслова понял призыв к восстановлению былых отношений между двумя государями, дабы положить конец ужасам войны. Он тут же отнес письмо царю, который незамедлительно вызвал министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова и попросил опытного дипломата прокомментировать прочитанное.

– Зная Эйленбурга и немецкую дисциплину, могу утверждать: за посланием стоит сам Вильгельм. Но из содержания следует, что кайзер хочет не завершения войны, а лишь сепаратного мира, чтобы, насколько я понимаю, сконцентрировать все свои силы на одном фронте и сломить сопротивление Франции.

– Этот Эйленбург предлагает мне нравственное и политическое самоубийство, – усмехнувшись, заметил Николай и добавил: – Унижение России и мое собственное бесчестие. – Он зачеркнул упоминание о прежней дружбе между кузенами Вилли и Ники и написал на полях: «Эта дружба умерла. Пусть никогда о ней не вспоминают».

Император поручил Сазонову подготовить ответ. Однако на следующий день, когда министр привез ему проект, призывавший

обергофмаршала убедить кайзера предложить мир всем воюющим сторонам, даже не стал его смотреть:

– Я передумал. Всякая реакция, какой бы она ни была, грозит быть истолкована как согласие войти в переписку. Поэтому пусть письмо Эйленбурга остается без ответа.

Следом за Фредериксом аналогичное послание получил и председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко. Уж он-то церемониться не стал и заявил во всеуслышание в Таврическом, что за спиной у союзников начались тайные переговоры с Германией.

Не зная ничего этого, Васильчикова попросилась на прием к министру иностранных дел, которому помимо писем государю и государыне вручила и адресованный лично ему меморандум руководителя германского дипломатического ведомства фон Ягова, также утаенный ею от контрразведчиков.

Сазонов, не нашедший ничего нового в меморандуме и уже слышавший гнев царя на подобные предложения, обрушился на ничего не подозревавшую фрейлину с такими же обвинениями в государственной измене, что и капитан Крапивников. И, разумеется, в тот же день доложил обо всем императору.

Письма Николай читать не стал, а в меморандум заглянул. Он сразу догадался о неслучайном появлении в одно и то же время двух практически одинаковых посланий разных авторов.

– Эта Васильчикова либо негодяйка, либо сумасшедшая! В любом случае ей не место во фрейлинах. Что она собиралась делать дальше? – строго спросил царь у Сазонова.

– Очевидно, переправить ответ, ваше величество, – предположил тот.

– Так я ее и отпущу! Один лишь выезд ее, пусть даже с пустыми руками, может сильно скомпрометировать и императрицу, и меня.

Вместо уютного и по-европейски ухоженного Земмеринга под Веной пришлось недальновидной посланнице отправиться в ссылку на патриархально обустроенную Черниговщину в имение родной сестры Александры, увлеченной переводами с французского поэзии нобелиатов Сюлли-Прюдома и Метерлинка.

Но до этого в гостинице «Астория», где она остановилась, ей предстояло новое свидание с капитаном Крапивниковым, посланным учинить допрос, поскольку несанкционированный полицейский досмотр в номере бывшей фрейлины двора обнаружил еще несколько неотправленных посланий самым разным лицам, нелегально перевезенных через границу.

Александр, приунывший было после обескураживающей телеграммы генерала Алексева, приободрился, узнав о дальнейшем раз-

витии интриги, и сам вызвался провести дознание. Вел он себя подчеркнуто вежливо, даже галантно, вернув тем самым расположение богатырши, которая честно призналась в многочисленных контактах с высокопоставленными германскими политиками, в том числе министром иностранных дел фон Яговом, причем с последним — дважды. Как утверждала Васильчикова, по их наущению она, начиная с февраля, трижды посылала письма в Царское Село, но ни на одно не получила ответа. Поэтому и решила четвертое послание доставить лично.

Крапивников понял, что имеет дело с безнадежно отставшей от жизни представительницей той прекрасной эпохи, когда цари и короли одним взмахом руки могли изменить ход истории, когда генеральные сражения крупнейших армий велись чуть ли не по дуэльным правилам, а зеваки могли наблюдать их, словно разводы на плацу. Великовозрастная особа, никогда не читавшая Золя и Мопассана, жила в мире героев Дюма и действительно воображала себя спасительницей Европы. Объявленное ей наказание она считала несправедливым, невероятно тяжелым, как будто ее ждали кандалы и рудники.

В какой-то момент капитану стало даже жаль эту наивную женщину, годившуюся ему в матери, но так и не ставшую ничьей матерью, недавно осиротевшую и вынужденную теперь из-за собственной глупости проводить остаток дней без единого близкого человека. По наводящим вопросам он понял, что она знала его прабабку, но открывать свое родство с адмиральшей Людмилой Ивановной не стал.

История с разоблачением Васильчиковой явилась поводом для очередной встречи Александра с графом Фредериксом, теперь уже официальной. Министр двора с удивлением выяснил, что опасные письма были изъяты еще по дороге курьерши в Петроград и, если бы не странное поведение высшего армейского командования, не попали бы ни к нему самому, ни к Сазонову, ни к государю. И самое главное — не породили бы слухов, бросавших тень на августейших особ.

Крапивников поведал ему историю от начала до конца, не умолчав и о решительности генерала Бонч-Бруевича, и о странности поведения генерала Алексева. Узнав о решении последнего, Фредерикс лишь махнул рукой:

— Труслив. Как заяц труслив. Точнее, как плебей. В бою, может быть, и храбр, а перед людьми благородного происхождения пасует. Услышал имя *Васильчикова* — фамилия-то родовитая, даже титулованную ветвь имеет, да к тому же *фрейлина* — и растерялся. До сих пор Великого князя Николая Николаевича побаивается. Оперативные планы составлять он еще годится, а для остального — совсем не подходит.

Реакция на участие в деле генерала Бонч-Бруевича оказалась и вовсе непредсказуемой: министр Двора именно его обвинил в случившемся:

– Нашел кем прикрыться! Сам должен был во всем разобраться и принять подходящие случаю меры. Спасибо, что рассказали. Обязательно доведу до сведения их величеств, кому они обязаны нелепыми слухами.

Чему же на самом деле радовался капитан Крапивников и другие патриотически настроенные подданные империи?! Да, государь проявил твердость, верность союзникам и решимость вести войну до победного конца. Вместе с тем был упущен едва ли не последний шанс остановить ничем не оправданное кровопролитие, уберечь миллионы от гибели и страданий.

Едва ли не первой жертвой высочайшей несговорчивости и упрямства пал младший кузен Саша Тикоцкий. Двадцать седьмого декабря он погиб в небе под Проскуровым, на австрийском фронте.

За год, прошедший после памятной встречи братьев, Саша успел стать штабс-капитаном, начальником корпусного авиационного отряда и не раз отличиться в боях, за что получил ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а также Святой Анны 4-й и 2-й степеней.

Его называли надеждой русской авиации. Но надежды так и остались несбыточными.

Военный летчик Тикоцкий не дожил даже до тридцати. Не успел обзавестись собственной семьей, продлить свой славный род.

По желанию безутешной матери, не имевшей других детей, Сашины останки переправили в Москву, где предали земле в братской могиле погибших во Вторую Отечественную войну героев*.

Дело Васильчиковой сблизило Крапивникова с начальником армейского штаба. Генерал-лейтенант Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич понравился ему с самого начала их знакомства. Он принадлежал к сравнительно молодому поколению командиров (сорок пять всё-таки не шестьдесят), отличавшемуся от старого совсем другой школой, приучившей держать в поле зрения даже мельчайшие детали быта, а не только карту боевых действий. Бонч-Бруевич не считал контрразведку второстепенным подразделением штаба. Напротив, уделял ее работе самое пристальное внимание.

*Сегодня это кладбище, уничтоженное и закатанное под асфальт, стало местом увеселений неблагодарных потомков. (Прим. автора)

Борьбу с германскими агентами начальник штаба старался вести, невзирая на титулы, звания и известность. Не пощадил даже знаменитую на весь мир компанию по производству швейных машинок «Зингер», занимавшуюся шпионской деятельностью.

Особенно ярко это проявилось в истории с двумя камер-юнкерами немецкого происхождения.

Армейские контрразведчики заметили, что уполномоченные Красного Креста Брюмер и Вульф при посещении частей под предлогом устройства полевых бань и прачечных фотографируют секретные фортификационные сооружения, тщательно замаскированные от любопытного ока. Затем отправляются ночевать на мызы остзейских немцев.

Такие совпадения показались подозрительными. Собрав показания шоферов, возивших Брюмера и Вульфа, Крапивников отправился прямо к начальнику штаба.

— Предполагаю, Михаил Дмитриевич, что поборники чистоты тел и исподнего во время передачи донесений не такие уж чистюли. Действуют они грязно и оставляют следы, уверенные в неприкосновенности своих персон из-за придворного чина.

— По мне, капитан, шпион и есть шпион, будь он хоть фрейлиной, хоть камер-юнкером, хоть самым обер-камергером. Готовьте материалы, и я сумею воздать им по заслугам.

Уполномоченных Красного Креста задержали, допросили, приперли, что называется, к стене, и те признались в своих преступлениях, выдав заодно разветвленную германскую агентуру, угнездившуюся в баронских имениях Прибалтийского края еще задолго до войны.

Военно-полевому суду «чистюли» не подлежали, ибо в армии не числились, однако выслать их по этапу в Сибирь Бонч-Бруевич был вправе. Что он незамедлительно и сделал, не советуясь ни с каким армейским начальством, не говоря уж о гражданских властях.

Но не тут-то было! В дело вмешалась сама императрица. Из канцелярии Александры Федоровны пришел запрос командующему Северным фронтом генералу Рузскому. Тот вызвал начальника штаба, потребовал у него материалы следствия, ознакомился со всеми документами и развел руками:

— Вынужден признать вашу правоту, Михаил Дмитриевич. Нет никаких сомнений в причастности этих субъектов к шпионской деятельности. И всё же не считается с их придворным положением мы не можем.

— Если бы я не считался, то уж, верно, показательно расстрелял бы обоих, а не спровадил в Сибирь, — усмехнулся в ответ Бонч-Бруевич.

– В тот момент вы поступили абсолютно правильно. А сейчас нужно уважить просьбу государыни и изменить им маршрут. Пускай отправляются не в Сибирь, а на Юго-Западный фронт. И без конвоя. Там их соплеменников нет, да и шпионить в пользу Австро-Венгрии они вряд ли станут. А бани и прачечные одинаково нужны везде.

Конечно же, эти лжесанитары ни в какую Галицию не поехали, а двинулись прямо к графу Фредериксу жаловаться на Бонч-Бруевича. Не промолвившись ни словом о собственных признаниях, они наплели всякую несусветицу о чрезмерной бдительности генерала, видящего германского шпиона во всяком человеке, носящем немецкую фамилию.

Министр Двора, хотя и происходил из обрусевших шведов, воспринял это сообщение близко к сердцу, посочувствовал честным юношам, претерпевшим незаслуженные притеснения только лишь из-за своего происхождения, и обратился за помощью к государю. Николай немедленно повелел провести тщательное расследование «сего прискорбного факта».

Так капитан Крапивников снова оказался втянутым в придворные интриги.

– Опять этот несносный Бонч-Бруевич строит козни против ее величества. Сначала облыжно обвиняет ее протезе, а затем выдвигает чудовищно нелепую версию об участии всех природных немцев в шпионаже в пользу Германии. Да у нас каждый неграмотный мужик знает, откуда родом императрица. Хотя бы об этом подумал! – возмущался престарелый министр Двора.

– Смею вас уверить, любезный Владимир Борисович, генерал Бонч-Бруевич таких слов публично не произносил, – заступился за начальника штаба Крапивников. – Что касается этих двоих молодчиков, то я имел удовольствие допрашивать их сам, и они оба признались в передаче фотографий секретных объектов вражеским агентам.

Граф Фредерикс покачал головой:

– Зачем вы позволяете вмешивать себя в политику? Разумеется, я не стану называть вашего имени их величествам, а вы пообещайте впредь быть осмотрительнее и не потакать генералу Бонч-Бруевичу в поисках лазутчиков среди камер-юнкеров и фрейлин. Я ведь не забыл о его неприглядной роли в деле Васильчиковой.

Через месяц начальника штаба уволили без объяснения причин. Заодно сняли со своего поста и главнокомандующего Северным фронтом Павла Адамовича Плеве. Возможно, 65-летний генерал от кавалерии действительно заслуживал отставки, но лицо, сменившее его, еще менее годилось для исполнения этой должности. Им оказался бывший военный министр Куропаткин, навеки покрывший себя позором во

время бесславной Русско-японской войны и, казалось бы, навсегда удаленный из действующей армии. К тому же он был старше Плеве.

Возмущение в войсках не знало предела. Настроения в армии возымели действие, и новый главнокомандующий продержался недолго. Старый же от огорчения скончался спустя полтора месяца после отставки.

До своего смещения Бонч-Бруевич, всякий раз проявляя решительность, не однажды помог контрразведчикам разоблачить германских шпионов. Почти у всех в жилах текла немецкая кровь, большинство из них действовало расчетливо и осторожно. Особенно запомнился Александру студент Иогансон, с кантовской пунктуальностью выходявший каждое утро в одно и то же время гулять на приморский бульвар в Гельсингфорсе. Но вот незадача: на прогулку молодой человек неизменно шагал с книгами под мышкой, а возвращался с пустыми руками.

Посланные Крапивниковым тайные осведомители пронаблюдали: Иогансон делает в книгах какие-то пометки, а потом уходит с одним и тем же человеком в сторону берега.

Даже такие скудные подозрения показались Бонч-Бруевичу вполне убедительными. Он разрешил задержать и допросить обоих.

Студент отпираться не стал. Он признался, что посылает сообщения о передислокации войск с помощью самого примитивного шифра, подчеркивая по разработанной системе отдельные буквы в книге. Тот, кому он их передавал, оказался переодетым немецким моряком, мгновенно доставлявшим на катере донесения сотрудникам германской разведки, ждавшим его на шведском берегу.

Прощаясь перед отъездом в Псков, куда его назначили начальником гарнизона, Бонч-Бруевич сказал Александру:

— Мне было очень приятно работать с вами, капитан. Пути Господни неисповедимы: как знать, может быть еще и встретимся.

— Я тоже благодарен судьбе за знакомство с вами, Михаил Дмитриевич. Наши дороги пересеклись в минуту моего полного отчаяния и неверия в способности высшего армейского руководства. Ваш пример положил конец всем сомнениям, — откровенно ответил ему Крапивников.

Впрочем, сомнения у него остались, но совсем другого рода. Его теперь волновала судьба самой империи, руководимой такими людьми, как граф Фредерикс. Старый, больной, недалекий от природы, он продолжал оказывать влияние, причем самое пагубное, на государя и государыню. А тут еще этот «старец», герой скабрезных анекдотов, ставший притчей во языцех на всех петроградских перекрестках!

Новый военный министр Поливанов за полгода ничего для продвижения войск не предпринял. Самое ужасное, что этого же не сумел добиться даже сам царь. Хуже того, сразу после смещения Великого князя Николая Николаевича русская армия оставила Белосток и Гродно, а после приезда императора в Ставку – к тому же и Вильно. И с тех пор их не вернула. Новых же городов не брала целый год, со времен Перемышля.

Впервые столкнувшись так близко с пресловутой государственной машиной и рассмотрев пристально, почти в упор, состояние ее механизмов, Крапивников испытал чувство, близкое к ужасу, словно летел на неисправном аэроплане и заметил, что у того отваливается крыло, только в полете, оторвавшись от земли, когда исправить уже ничего нельзя и нужно лишь уповать на благосклонность судьбы. Отечественная война, начавшаяся с невиданного сплочения всего русского общества, теперь обнажала одно противоречие за другим: так и не стала единой и патриотичной Государственная Дума; генералы не ладили между собой и открыто подсиживали друг друга; в Совете министров началась беспорядочная замена не только отдельных его членов, но и председателей; Великие князья женились на ком попало и отпадали от правящего Дома; неправославное дворянство на западных окраинах не просто желало поражения России, но и всячески помогало германской и австрийской армиям; даже мастеровые нет-нет да и начинали бастовать, а кое-где и бунтовать.

Спасительным выходом Александру представлялось лишь победоносное завершение кампании. Однако война становилась не состязанием стратегий, умов, как на доске шахматной, а взаимным и беспорядочным сокращением сил, как на доске шашечной, где после разменов у каждого остается по одинокой дамке и только усталость и невнимательность одного из соперников может привести к ее поимке.

Жить от таких мыслей делалось скверно. Правда, от них спасала новая служба, постоянно требовавшая выдумки и ежедневно ставившая хитроумные задачи.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Время, прошедшее после поездки Александра в село Прут, мало изменило его отношения с женой: хуже они не стали, но и улучшились лишь тем, что Зинаида свозила сына к отцу в Выборг, где сначала отметили именины Крапивникова-старшего, а спустя несколько дней – и Крапивникова-младшего. Затем вместе отпраздновали Рождество, причем дважды: сначала с местными финскими весельчаками по григорианскому календарю, а потом в офицерском кругу – по юлиан-

скому. Встретили всей семьей и новый, тысяча девятьсот шестнадцатый год. Однако после святок Зинаида решительно заявила мужу:

— Погостили, пора и честь знать.

Впрочем, возражать на сей раз Александр не стал. Еще раньше он уговорил жену провести зиму в Петрограде, у своего дядюшки Петра Сергеевича, обитавшего на Сергиевской. Туда же приехала и сестра его, Вера Сергеевна, не привыкшая к одиночеству и старавшаяся после смерти Николая Ксенофонтовича проводить время не в чуждой ее душе Сибири, а у родственников в столице (в Петрограде жил также младший брат Александр) или других крупных городах.

Зинаида согласилась, что ребенку пора познакомиться с достопримечательностями северной Пальмиры и не отказалась от гостеприимства родственников мужа. Вальжный Петр Сергеевич Тикоцкий, крестник самого Государя императора Николая Павловича, нравился ей не только внешностью и манерами, но и послужным списком, достойным подражания. Обучение свое он начал в привилегированном Императорском училище правоведения, куда принимали детей только потомственных дворян. Затем учился в Киевском университете святого Владимира, по окончании юридического факультета которого был командирован во Второй департамент правительствующего Сената, ведавший земельными спорами. Впоследствии перешел в Пятый департамент, занимавшийся уголовными делами. Окончил службу чиновником особых поручений в Министерстве земледелия и государственных имуществ и вышел в отставку в шестьдесят лет действительным статским советником.

Теперь ему исполнилось шестьдесят пять, но он оставался человеком живого ума, интереснейшим рассказчиком и блестящим знатоком новейшей российской истории, творившейся на его глазах. Застал он и своего знаменитого деда-адмирала Рикора, воспоминаниями о котором существенно дополнил прежние рассказы Веры Сергеевны маленькому Нике. Единственный внук Петра Сергеевича (при трех сыновьях и дочери) Вадим Тикоцкий жил далеко от деда, в Харькове, поэтому вся неизрасходованная любовь старика к детям досталась в ту зиму внучатому племяннику.

И Ника, лишившийся родного деда, всем сердцем тянулся теперь к двоюродному, знавшему так много интересного и умевшему увлекательно преподнести содержимое неистощимых запасов кладовой своей памяти.

Такое умирительное единения старого и малого возродило в Зинаиде надежду привить интерес сыну к гражданской службе. Причем не к сомнительной и скандальной, как у брата ее зятя, а к вполне респектабельной и традиционной. Жаль, конечно, что Петр

Сергеевич так и не стал сенатором, но почему бы не взять со временем такую вершину Николаю Крапивникову?

Зимовка семьи в доме дядюшки радовала и отца мальчика, поскольку Александру частенько приходилось ездить в столицу по служебным делам. Да и без того от Выборга до Петрограда рукой подать. Виделись они теперь достаточно часто. Что касается гражданского уклона в воспитании сына, то капитана это не смущало, хотя он и продолжал желать своему единственному ребенку только военной карьеры.

После Пасхи Зинаида с Никой вернулись в Прут, захватив с собой и Веру Сергеевну. Жизнь потекла привычным чередом: муж самоотверженно служит в действующей армии (в начале мая получил очередной орден – Святого Станислава второй степени), жена управляет имением, бабушка с внуком прилежно занимаются французским и немецким.

Какая же славная пора – лето! Люди становятся мягче, общительней, радушней. Легкость в одежде словно порождает легкость в отношениях: уходит чопорность, свойственная зимним месяцам, когда на городских квартирах гость в редкость, уж коль и заглянет, то ненадолго, при полном параде и чаще всего по торжественному случаю. А перед тем приходится долго телефонировать друг другу, уточняя время, повод и круг сопровождающих, хотя ночлега никому из них не надо.

В сельской местности всё куда проще! Утром получаешь телеграмму: мол, будем проезжать мимо и к вам завернем, а к вечеру уже выгружаются не только гости, порой незваные, но в придачу и их багаж. Длиться такое гостевание может не день и не два. Да и хорошо: хозяевам веселей, места же в доме всегда хватает. На такой случай даже в самых крохотных усадьбах наготове отдельные апартаменты с полным комфортом, и прислуга знает, что за прием гостей дополнительной платы не положено: дело вполне обычное.

Первой накануне Вселенской родительской субботы пожаловала двоюродная племянница Шура, ставшая за год до войны княгиней после венчания с прямым потомком легендарного Рюрика. У нее оставались живы не только отец с матерью, но и бабушка, и ей каждый раз приходилось выбирать для посещения могилу кого-нибудь из более древних предков. На сей раз очередь выпала прадеду Акиму Николаевичу и прабабке Анне Алексеевне, приходившимся дедом и бабкой также Зинаиде.

Аким Щербачёв родился еще в восемнадцатом веке, при Павле,

а служил уже его сыновьям. В чине капитана Тираспольского конноегерского полка вышел в отставку и осел в имении жены, с которым та не боялась проделывать смелые манипуляции. В самом начале семейной жизни Анна Алексеевна, владея тогда всего шестьюдесятью тремя душами (семья отца, губернского предводителя, была многодетной, и на долю малолетней наследницы досталось не слишком много), лихо заложила их по восемьдесят рублей за каждую. Сорок целковых понадобились на текущие нужды, а остальные пять тысяч она с помощью мужа ловко обернула, выкупила назад имение, и они принялись обустривать его заново на вырученную лихву. В дальнейшем Аким Николаевич в хозяйственные дела не вступал, зато важно восседал на дворянских собраниях. Парадокс российского законодательства заключался в том, что получившая поместье девица и в замужестве продолжала владеть им самостоятельно (тут мы перегнали всю Европу), но правом голоса при том не обладала, и играть в баллотировочные шары на уездных и губернских съездах за нее приходилось отставному уланскому капитану.

Поначалу у них рождались одни дочери. Старшую, Анну, рано выдали за соседнего помещика Галицкого. И ей Бог послал трех девиц. Все кузины, бывшие значительно старше Зинаиды, по примеру матери, произвели на свет хорошеньких малышей. Так она еще в институтские годы обрела сразу нескольких племянниц, трогательно опекаемых бабушкой Анной, превратившейся в негласную главу всего клана. Пока отцы входивших в него семейств несли бремя служебных, земских и прочих забот, Анна Акимовна с замужними дочерьми и племянницами, а также повзрослевшими внуками всячески старались превратить щербачёвское потомство в единое целое. Они устраивали общие праздники, постоянно навещали друг друга, благо, имения располагались в трех соседних уездах одной губернии, и даже дни ангела тезок отмечали совместно. Имена же там повторялись в каждом поколении и большим разнообразием не отличались: почти все Анны, Александры или Марии. Лишь Александр Акимович нарушил традицию и назвал своих дочек Агнией и Зинаидой.

Понятно, что осью, вокруг которой вращалась вся эта малая планета, стала Анна Акимовна Галицкая, пережившая брата и младших сестер, полная энергии, фантазии и излучавшая то особое родственное тепло, которого в новом веке все почему-то стремились избегать, словно несло оно не издревле свойственное человеческому племени добро, а бациллу ветхозаветности, вызывавшей брезгливость у новых поколений, испорченных послеоктябрьскими новшествами и вольностями. Однако на щербачёвской малой планете явно царил матриархат, что предопределялось не только количественным большинством

представительниц прекрасного пола, но и объединяющим всех родством исключительно по женским линиям. Мужья либо совсем не имели братьев, либо не поддерживали с ними достаточно тесных отношений, а сыновья в этом клане появлялись редко. Впрочем, до недавней поры, когда за дело взялись Агния с Зинаидой. Их почин подхватила и Шурочка.

Появление у юной княгини очаровательного мальчугана сделало Анну Акимовну прабабкой, чем она сильно возгордилась. Коля стал объектом ее новых забот, что не вызвало большого восторга ни у отца, ни у деда мальчика, но даже прямые Рюриковичи вынуждены были считаться с непререкаемым авторитетом старейшины клана, которой старый князь по возрасту годился едва ли не в сыновья.

Шура отправилась в Прут одна, оставив ребенка на мужа и нянек. И хотя материнство ее немало не тяготило, ностальгия по утраченной стране детства иногда возникала. Впрочем, Кочановка, где находилось их родовое имение, располагалась всего в двух-трех часах езды, и молодая мама рассчитывала на следующий день еще засветло поспеть домой, чтобы затем наутро отправиться на праздничную службу вместе с мужем и свекром.

Загодя оповещенная о ее приезде самой Анной Акимовной, Зинаида велела задержать завтрак, хотя режим в доме обычно не нарушался. Нику это ужасно обрадовало: ему разрешили поспать на час больше.

Поздний майский день оказался совсем летним: и по погоде, и по утренней трапезе, впервые в новом сезоне устроенной в саду. Великовозрастная кузина, годившаяся мальчику в матери, проворно распаковала свой нехитрый багаж, и застолье началось. Привычный хлеб на столе заменили поминальные блины.

Длилось оно недолго. Зинаида попросила отца Иоанна отслужить панихиду не в церкви, а на самой могиле, ибо имена дедушки и бабушки могли вызвать у старожилов недобрую память об эпохе крепостничества.

— Неужели крестьяне настолько злопамятны? — удивилась гостя.

— Не думаю, — уверенно прозвучало в ответ. — Я никогда за ними подобного не замечала. Будет тем более досадно задеть умолкнувшую струну. Вдруг на какую-нибудь старушку нахлынет воспоминание о былой обиде, и она поделится им с несмышленищем внуком? А он поймет всё превратно и, повзрослев, вздумает отплатить за бабушкины слезы. Нет, в затихший муравейник не стоит бросать даже соломинку.

Крепостное право в селе застали единицы из живущих. Да и

половина из них была совсем еще детьми. И всё же оставались и такие, кто мог бы припомнить какое-нибудь унижение и разбередить давно затянувшуюся душевную рану. Этого Зинаиде тоже не хотелось.

После визита на кладбище наломали по дороге березовых веток и отправились в церковь. Оттуда домой, к обеденному столу. А потом гостья попросила сводить ее в лес послушать соловьев:

– Ваши, тетя, во всей округе самые певучие.

– Возможно, но и они живут по общим природным часам с остальными и раньше пяти петь не станут.

Скоротав время за многочисленными и сентиментальными воспоминаниями об умерших, как того требовала традиция, двинулись в лес. Неспешно, дабы не спугнуть высиживающих птенцов самок и не разгневать их охранников. Молчать самцы не будут, но репертуар свой заметно сократят.

Почтенные дамы на цыпочках, подобно шкодливой детворе, подкрались к опушке и притаились.

Какое-то время стояла полная тишина. И вдруг раздалась первая позывка. Сначала очень высокий, но короткий посвист: «фью-фью-фью», а за ним щелканье: «так-так-так». И началось... Щебет сменился флейтовыми коленами: то лешева дудка, да и к тому же с раскатом, то юлиная стукотня, а то и кукушкин перелет – кульминация всего концерта.

Воистину таких голосистых певцов даже в курском крае не везде можно было отыскать.

– Так бы и слушала до утра, – шепнула Шура Зине на ухо после очередной раскатистой трели. – Но обещала своим поспеть к ужину домой.

Возвращались по цветущей аллее поздней сирени с крупными лиловыми гроздьями.

– Соловьи самые певучие у вас, а вот сирень лучше у нас, – не преминула заметить племянница.

– Чем же?

– Ароматней и светлей. Эта уж слишком мрачная. И запаха почти нет.

– Душистая есть и у нас, – усмехнулась Зинаида. – Но только в саду. И уже увяла. Каждому сорту свое время. Сейчас цветет декоративная. Но она предназначена для красивых глазок, а не для пухленьких носиков.

Шурочка рассмеялась. Ее пухленький носик был притчей во

языцах с раннего детства. Материнство кое-что изменило в ее внешности, прежде всего, фигуре, но только не эту деталь.

– Что у вас еще хорошего, кроме сирени? – спросила хозяйка имения, когда они вернулись домой и расположились на веранде для прощального чая.

– Самое хорошее, что мужа на фронт снова не забрали. Как шутит он сам, был драгуном – стал гусаром. Их, земских начальников, снабжающих армию, остряки зовут земгусарами.

– Слышала-слышала, – мигом отозвалась Зина. – Но ведь это презрительное прозвище.

– Простите, тетя, за откровенность, но я не хочу на четвертом году своего счастливого брака остаться вдовой. Меня не утешит, что буду такая не одна, разделю судьбу тысяч, может быть, и миллионов. Пусть презирают! Коля сделал свой выбор еще до войны, уйдя из полка всего лишь поручиком. Ему лишних звезд не надо. У него на роду так написано – в земстве служить. Отец был депутатом от дворянства, дед – уездным предводителем. И в нем нет ничегошеньки воинственного, никакой военной косточки, какая есть у вашего мужа. Другие у него достоинства. Он честен и неподкупен. Именно такие сегодня нужны в губернских управах. Знаете, как его все любят? Постоянно в попечитель избирают. От пожарного общества до женской гимназии.

– Ты права, Шурочка, – успокоила ее тетя. – Без хорошего снабжения никакая армия существовать не сможет. Да и не могут все мужчины разом взяться за оружие; кто-то должен его им поставлять. Если у твоего Коли такое призвание, нужно этим гусарством гордиться.

Искренне это говорилось или нет – понять было невозможно. Но гостя, преисполненная любви к своему суженому, никакого подтекста не заметила, никакого подвоха не почувствовала. Приняла прозвучавшее за чистую монету.

– А как поживают твои родители? – спросила Зинаида. Она и сама всё знала о семье кузины, но ей был любопытен взгляд со стороны.

– У них всё хорошо. Папа продолжает служить. И нотариусом, как прежде, и директором в губернском попечительском комитете о тюрьмах, а заодно и попечителем исправительного арестантского отделения. Однако управляется ладно, хотя ему уже шестой десяток. Мама мечется между ним и бабушкой, но пока, слава Богу, здорова.

– Как ты запомнила все эти отцовские должности? Язык от них можно сломать.

– У меня, тетя, и так хорошая память, а на всё юридическое – особенная. Я сама могла бы быть правоведом.

– Упаси тебя Боже быть кем-нибудь кроме того, чем ты уже есть, –

напутствовала ее хозяйка на прощание. – Кланяйся от нас маме и папе. А бабушке передай, что ее ждет ответный подарок от Ники.

В декабре Анна Акимовна преподнесла внучатому племяннику серебряный подстаканник с памятной гравировкой, и теперь очередь была за ним. Равноценным ответом мог стать только рукописный, ярко разрисованный альбом, к тому же с гербарием, над которым семилетний мальчуган должен был трудиться всё лето и всю осень, чтобы преподнести его в день ангела своей двоюродной бабушке.

Шура уехала в канун Троицы, престольного праздника в селе, а сразу после Духова дня, в последнее весеннее утро заглянула к Зинаиде самая младшая из кузин – Женечка Вискребцева, чтобы поведать необычную новость: ее родная сестра Соня, ухаживающая за ранеными в одном из эвакуационных госпиталей, на Пасху награждена серебряной медалью на аннинской ленте. Когда в самом начале войны погиб на фронте их старший брат Константин, Соня решительно заявила, что негоже никому из потомков героя первой отечественной не участвовать во второй, чем довела до слез младшего брата Мишу, которому воевать было еще не по годам. С этими словами она пошла на курсы сестер милосердия. Не ради награды, а ради семейной чести. И вот – такая неожиданная радость.

Езды кузине – чуть больше часа: до ее Волоконска рукой подать. Могла бы каждый день навещаться, если бы умела одноколкой управлять – дорога-то довольно ровная. Но стоит ли лишний раз запрягать, распрягать? Осталась на ночь, потом на следующую... В общей сложности погостила почти неделю. Зина и рада: семнадцатилетняя Женечка только что перешла в старший класс ее родного института. Расспросам не было конца. Причем с обеих сторон. Одну интересовали новшества, введенные в новом веке, другую – прежние традиции. Затаив дыхание, слушала гостя рассказы старшей кузины о своих преподавателях, в число которых входили недавно умерший композитор Александр Николаевич Скрябин, обучавший игре на фортепиано, да учитель физики Сергей Алексеевич Чаплыгин, ныне университетский профессор и действительный статский советник (стало быть, новоиспеченный потомственный дворянин). Оба были совсем молоды, годились воспитанницам в женихи, и это делало их уроки особенно привлекательными.

– Эх, Зиночка, дорогая, как вам повезло, – вздыхала Вискребцева. – Чаплыгин, Скрябин... Потом музыку вел сам Рахманинов, но его я тоже не застала. А сейчас у нас – ни одной знаменитости.

– Подожди, – утешала ее хозяйка дома, – со временем может обнаружиться, что и тебя учили великие люди. Скрябин в мою быт-

ность еще не сочинил ничего, кроме маленьких пьесок, а Чаплыгина и вовсе никто не знал. Пусть они сегодня безвестные, лишь бы предмет свой любили и отметок ниже десяти вам не ставили.

Но Женечка, склонная к меланхолии, лишь качала головой:

– Нет, век нынче не тот. Теперь учителей хороших меньше, да и те с девицами заниматься не желают: им гимназистов или сразу студентов подавай.

Спорить Зинаида не стала. Ей тоже ближе было столетие, в котором она родилась, а не то, в каком предстояло умереть.

Нике юная тетушка казалась совсем взрослой. В детских глазах барышни – что в семнадцать, что в двадцать семь – смотрятся одинаково. Они уже не девочки, их не позовешь играть в горелки, они носят длинные платья и относятся к разряду *старших*, объединяющему и стариков, и институток первых трех отделений. И всё же одно исключение из правил общения со старшими он сделал: обращался к Женечке на «ты», за что не последовало возражений ни с ее, ни с маминой стороны. Бабушка же поступила дипломатично: замечаний внуку высказывать не стала, но, оставшись наедине с невесткой, выразила сомнение в допустимости такого амикошонства. К ее удивлению, строгой Зинаида тут же возразила:

– Между ними всего девять лет. Со временем разница эта делается совсем незаметной. Обращение Ники к Жене на «вы» может старить ее в глазах посторонних, тех же будущих женихов.

И действительно: не пройдет и десяти зим, кузина Выхребцева выйдет замуж за красавца-инженера моложе себя на пять лет, а у Ники разница в возрасте с ее супругом окажется и вовсе мизерной. Но произойдет это уже в другую эпоху и в другой стране, когда придется скрывать всё, включая хорошее воспитание, ибо за нарочитую демонстрацию вежливости можно безвозвратно загреть в подвалы к блюстителям нового порядка.

Пока же в разгаре последнее безмятежное лето России.

После отъезда соседки назад в Волоконск дом недолго оставался без гостей.

Дней через десять в тишину Прута вторгся какой-то необычный звук, издаваемый приближающимся, но пока невидимым объектом. Им оказался автомобиль.

О существовании такого изобретения недавних лет все уже успели забыть. За год до войны это техническое новшество перестало быть диковинкой: его можно было приобрести даже в губернском городе, в магазине купца Скрижеева. Но вскоре все частные авто попали под неумолимые жернова всеобщей мобилизации вместе со своими шофе-

рами. Однако уже через несколько месяцев потребовалось приобрести новые, для перевозки раненых. Под шумок некоторые состоятельные и высокопоставленные господа совершили покупку и для личных нужд. Прямого запрета на сей счет не существовало, наказаний за это не полагалось, но выглядело всё очень вызывающе и непатриотично.

Вот и у Зинаиды вид подъезжающего прямо к дому автомобиля вызвал внутренний протест. Она было собралась высказать его вслух, но в этот момент из новенького «Паккарда», бесшумно затормозившего в метре от крыльца, выпорхнула дочь другой ее кузины, самой старшей по возрасту и по положению, ибо была замужем за действительным статским советником, избранным к тому же головой их губернского города. Звали племянницу тоже Евгенией.

– Тетечка, как я по вас соскучилась! – радостно поведала гостя. – Вы, конечно же, получили мамочкину телеграмму?

Хозяйка дома от ответа уклонилась. Никто никаких телеграмм ей давно не приносил. Да и к чему они, если человек дома, уезжать никуда не собирается и всегда рад приезду своих близких.

– Ты, как я вижу, сильно повзрослела. И похорошела.

Произнося дежурные любезности, Зинаида одним глазом рассматривала приехавшую, а другим косила в сторону автомобиля, за рулем которого восседал щеголеватый юнец, вовсе не похожий на настоящего шофера.

Женя ее взгляд мгновенно уловила и поспешила представить своего спутника:

– Знакомьтесь: это Жорж – внук папочкиного предшественника.

Молодой человек вышел и поклонился хозяйке. Та не стала протягивать ему руку и ответила легким кивком.

До Николая Васильевича Тулубьева должность городского головы исправлял купец первой гильдии Петр Петрович Зипунов. Появление в ее усадьбе отпрыска купеческого рода сильно насторожило Зинаиду.

– Однако ж *знатный* у тебя кучер, нечего сказать, – усмехнулась она.

– Он у меня еще и носильщик, – нисколько не смутилась племянница. – Куда прикажете отнести мой саквояж?

На такой случай полагалось иметь своего человека, но в тот несчастливый год доходы от имения упали настолько, что из прислуги пришлось оставить только кухарку, горничную да приходящего садовника. Будь он в тот момент под рукой, капитанша поручила бы заботу о багаже ему. Теперь же приходилось впускать в дом купчика, впрочем, выглядевшего вполне презентабельно.

– Проводи его в голубую спальню. Она сейчас свободна, – распорядилась Зинаида.

Голубая спальня располагалась рядом с хозяйской. Ее старались занимать в последнюю очередь. Но *тетечке* показалось, что в этот раз повзрослевшую племянницу безопасней держать подле себя, а не на другом этаже.

Юная пара, весело перемигнувшись, отправилась в дом.

До блюстительницы приличий не сразу дошла ее оплошность: зачем позволила племяннице уединиться с молодым человеком? К тому же из третьего сословия. Она мгновенно ринулась следом, но на подступах к комнате внезапно осознала бестактность своего порыва.

Однако было уже поздно. Доносившиеся из комнаты звуки явно подтверждали недобрые опасения.

– Жень, тебе не нужна вторая подушка? – не растерялась капитанша. – А то там только одна.

Мгновенно из двери показалась зардевшаяся племянница:

– Что вы, тетечка? Я уже не маленькая: мне и одной хватит.

Зинаида сочла унизительным разглядывать гостью. Убедившись, что упредила возможное грехопадение, она тут же отправилась обратно, бросив через плечо:

– Как скажешь.

Но потом всё же остановилась, развернулась и добавила:

– Быть изнеженной в твои годы вовсе не дурно. Грешным делом, я и сама предпочитаю спать на двух.

Сцена длилась достаточно долго, а носильщик так и не выходил.

– Где же твой шофер? – не удержалась от вопроса грозная хозяйка.

– Замок у саквояжа заело. Он его пытается открыть. Перочинным ножом, – испуганно пролепетала Жень.

– Идем я тебе шило дам. Им сподручней будет.

В этот момент дверь распахнулась, и показался радостный кавалер:

– Готово!

– Спасибо, Жорж! – было бросилась ему на шею обрадованная владелица саквояжа, но в последний момент порыв свой сдержала.

Зинаиде вспомнилось главное увлечение племянницы. Та буквально бредила театром и стремилась на профессиональную сцену, что вызывало естественный протест в обществе, к которому принадлежала она и ее родители.

– Тебе, я смотрю, хорошо удаются этюды. Даже экспромтом, – заметила капитанша, вогнав еще больше в краску юную барышню.

– Ну, я поехал, – быстро сообразил Зипунов, что после такой реплики ему лучше ретироваться.

– Подожди. Ты же забыл главное, – притопнув изящной ножкой, остановила его Женя. – Вспоминай, что нам надо спросить у тетечки.

– А, да... про гостью из Вены.

– Какая еще гостья из Вены? – всполошилась Зинаида. Из столицы враждебной империи она никого не ждала.

– Дело в том, – сбивчиво затараторила племянница, – что к нам приехала Верочка Федорова. Конечно, они с мужем уже давно не в Вене, а в Швейцарии. Она хочет вас навестить. Когда ей можно сюда наведаться? Назовите Жоржу время, и он ее привезет.

Новый этюд начинающей театралке удался куда лучше. Она поставила *тетечку* практически перед фактом: мол, прием родственницы – дело решенное, нужно лишь уточнить день и час.

Вера приходилась Зинаиде даже не троюродной, а четвероюродной сестрой. Седьмая вода на киселе, как говорят в народе. Но у народа всё село в бесчисленных родственниках, а люди благородные вынуждены даже с дальними кузенами и кузинами считаться. И дело тут не в колене, не в месте на ветвях родового древа, а в общественном положении, сложившихся отношениях и прочих не поддающихся разумному объяснению причинах.

В свое время братья Выскребцевы получили общий герб от государя. Не герб – загляденье. Являл он собой четырехчастный щит, увенчанный шлемом и короной. Намёт с одной стороны лазуревый, с серебром, а с другой – червлёный, с золотом. Нашлемник в виде трех серебряных страусовых перьев. Что касается щита, то верхние части были золотой и лазуревой. В первой – две червлёные звезды о шести лучах, в перевязь, во второй – серебряный журавль с червлёными клювом и когтями, держащий золотой камень. Под золотой частью – зеленая, с золотой стеной и круглой башней над ней. Под лазуревой – серебряная, с зеленым лавровым венком, через который положен, в перевязь, влево, черный с золотой рукоятью меч.

Это истинное произведение искусства удивительным образом сплотило очень разных братьев. Старший – Александр, прадед Зинаиды, офицер Лейб-гренадерского полка, отличился в Отечественной войне 1812 года и последовавшем за ней заграничном походе русской армии. В Бородинском сражении был ранен пулей навывлет в правую ногу, что послужило поводом к награждению орденом Святой Анны, а много лет спустя – к высечению его имени на мраморной доске галереи воинской славы в храме Христа Спасителя. В генеральном сражении при Лютцене французская пуля также прошла навывлет, но уже через левую ногу. Бальзамом на рану стал Святой Владимир с бантом. Помимо орденов пожаловали ему и золотую

шпагу с надписью «За храбрость» после отличия под стенами Парижа при занятии форштадта Пантен, где, к счастью, обошлось без ранений. Уволившись с военной службы, Александр Илларионович десять лет сидел городничим в крупном уездном городе, а потом – три года полицмейстером в губернском.

Младший – Владимир, прадед Веры, на войну по малолетству не попал и прослужил четверть века в Седьмом департаменте Сената – высшем апелляционном суде по гражданским делам, где сумел украсить свою грудь орденами Станислава, Анны и Владимира. Поскольку его присутствие располагалось не в Петербурге, а в Москве, Владимир Илларионович приобрел имение Брыковы Горы неподалеку от Александрова. Со старшим братом их разделяли сотни верст.

И не только расстояние, но и разный темперамент, жизненный опыт, взгляды на прошлое и настоящее. Однако они до конца дней любили друг друга, ездили один к другому в гости семьями и поощряли дружбу детей. Но когда Владимир заметил, что его дочь Варвара не на шутку влюбилась в кузена Аркадия, то поспешил сосватать ее, еще семнадцатилетнюю, не юному клинскому помещику Филиппу Александровичу Федорову. Хоть и рановато, но, как говорится, от греха подальше. Был ли там какой-нибудь грех, судить не нам, только Варенька и Аркаша традиции отцов продолжили, часто встречались, перезнакомили детей, уже троюродных братьев и сестер.

Общение представителей следующего поколения велось исключительно по взаимным интересам или при каких-либо okazиях. Последнее случилось с Зинаидой, учившейся в Москве. Поначалу она попала под опеку Федоровых-театралов, как называли среди своих семью старшего сына Варвары Владимировны. Александр Филиппович слыл настоящей московской знаменитостью. Его пьесы гремели на подмостках императорского Малого театра (еще при жизни великого Островского), где сам он выступал в роли режиссера и актера. К тому же возглавлял Общество взаимного вспоможения русских артистов, преподавал драматическое искусство, занимался антрепризой. Неистощимый на выдумки, он постоянно что-то организовывал: то народный театр, то общество искусства и литературы, то школу для актеров.

Еще больше прославилась его супруга, считавшаяся лучшей русской драматической актрисой конца девятнадцатого века. Никто кроме нее на сцене императорских театров, а может быть, и всех театров мира, не выходил в спектаклях по каждой второй пьесе Шекспира и большинству из пьес, написанных Островским, причем именно она стала первой исполнительницей ролей Василисы Мелентьевой, Снегурочки и Ларисы Огудаловой.

Вместе с родителями входил в труппу Малого театра и их сын Саша, но Зине он по возрасту чуть ли не в отцы годился.

Не успела она перейти в старший класс, как знаменитый дядюшка перебрался в Петербург, где через два года умер. Забота о провинциальных родственниках (вместе с Зинаидой училась и старшая сестра Агния) досталась его младшему брату Сергею, весьма успешному архитектору. Успешному настолько, что приходилось постоянно бывать в разъездах, удовлетворяя вкусы заказчиков по всей стране. Времени на племянниц, разумеется, не оставалось. Но их это обстоятельство нисколько не смущало, ибо самое сердечное участие в них принимала жена Сергея Филипповича Эмилия Максимовна, внучка известного композитора и дирижера театра, где служило семейство ее деверя. Были у Федоровых и свои дочери, целых три. Старшая из них, Верочка, тремя годами младше Зинаиды, жадно тянулась к знаниям, обнаруживая неплохие успехи по всем предметам домашнего обучения. Невольно встал вопрос о ее дальнейшем воспитании. Эмилия Максимовна, посещая в приемные дни родственников мужа, настолько прониклась любовью к их суровому учебному заведению, что определила в него и свою дочь. Избалованной кузине туго бы пришлось в этой, как она ее называла, «тюрьме», если бы не покровительство старшеклассниц Щербачёвых, ибо новеньким всегда доставалось от других институток.

Постепенно барышни перестали замечать разницу в возрасте, особенно после того, как Верочка придумала выпускать «Институтский вестник» и стала его первым редактором. Замуж она вышла одновременно с Агнией и раньше Зины. Выбор оказался невероятно экстравагантен: пошла под венец с отпрыском известнейшего рода, но не дворянского, а купеческого. Избалованный миллионщик был на десять лет старше невесты, беспробудно кутил, сорил деньгами направо и налево, а в конце века насмешил всю Москву (впрочем, кого-то и разгневал) нелепым дворцом в мавританском стиле снаружи и во всех известных стилях внутри. Жене достался будуар а la багоссо рядом с готической столовой и ампирной гостиной. Однако жить в этой роскоши ей довелось недолго: не выдержав необузданности супруга, она ушла от него вместе с крохотной дочкой, которую отец-Крёз даже не считал нужным содержать. Дело обернулось громким скандалом на радость газетчикам: Вера через суд заставила его выполнять родительские обязанности. Но тот очень быстро от них устранился, покинув сей бренный мир при весьма загадочных обстоятельствах. Вскоре выяснилось, что двадцатипятилетнюю вдову ждал еще один судебный скандал. Беспутный муж отказал всё имущество, включая дворец на Воздвиженке, своей сожительнице, бросившей ради него законного

супруга, весьма уважаемого фабриканта почтенных лет. И никакая сила, включая опытных адвокатов, не помогла доказать невинность безнадёжного повесы. Так венчанная жена с маленьким ребенком остались на улице и без копейки. Благо, Сергей Филиппович к тому моменту уже дослужился до действительного статского советника и мог содержать вернувшуюся дочь с осиротевшей внучкой.

Но красавицы двадцати пяти лет долго вдовами не остаются. Особенно не сильно горящие об усопшем муже. Верочка еще при жизни супруга познакомилась в Берлине с обладателем божественного лирического тенора Францем Погачником, годившемся ей в отцы. Внезапная кончина удалого купца открыла им возможность сочетаться законным браком, что произошло в Вене, где певец словенского происхождения удостоился чести стать солистом знаменитого оперного театра. Перед рождением сына супруги уединились в Ницце, и там их застала весть о начале мировой войны. На всякий случай они перебрались в нейтральную Швейцарию. И вот теперь Вера пожаловала, наконец, на родину, стонущую от ран телесных ее бойцов и ран душевных их вдов и матерей. Конечно, отказать ей в приеме было бы нетактично и жестоко.

— Жорж может привезти ее уже завтра. В это же время. Я прямо сейчас распоряжусь о комнате. Она будет одна? — поинтересовалась Зинаида.

— Да, конечно. Дети остались с мужем в Монтрё.

Вопрос был, разумеется, из разряда риторических, хотя дочь, рожденная в России, где жили все ее родственники, вполне могла сопровождать мать в свои двенадцать лет.

— Тогда, молодой человек, поторопитесь: возможно, Вере Сергеевне нужно время на сборы, — не слишком гостеприимно по отношению к купеческому сыну предложила ему хозяйка усадьбы.

Досталось после его отъезда и легкомысленной Жене:

— Могла бы, дорогая племянница, найти себе шофера постарше. С таким юнцом ездить по нашим дорогам опасно. Это тебе не Европа.

— Что вы, тетечка! Он очень осторожен и нетороплив. Иные извозчики лихачат куда прытче.

— И всё же приезд на извозчике не выглядел бы двусмысленно. А так не избежать всяких пересудов.

— Каких? — удивилась гостя.

— Самых неслепых. Ты должна понимать, что в твои годы появление на виду у всех с кавалером не останется незамеченным.

— Да кто тут мог нас разглядеть? — наивно вырвалось у племянницы.

— Вы же не по воздуху сюда летели. Полгубернии глазело на вас

по дороге. И не потому, что вы такие юные и бесшабашные, а просто от вида авто все уже отвыкли.

«Боже мой, – подумала про себя Женя, – неужели и я через двадцать лет стану такой же занудой? Буду теперь просить в молитвах Господа, чтобы избежать сей участи как можно дольше».

Но *тетечка* развивать неприятную тему не стала. Долгие словесные нравоучения не входили в ее правила: ей это крепко привили ещё в институте. Не могла она позволить себе и нетактичные вопросы, хотя неплохо было бы знать цель и срок посещения племянницей.

– Это хорошо, что ты приехала предупредить меня насчет Веры Сергеевны. У нас почтальон, верно, захворал: уже несколько дней не заходит.

Женя намек поняла, слегка смутилась и поспешила перевести беседу в безопасное для себя русло:

– Я очень соскучилась. Мы ведь так давно не виделись. А где Ника? Он, верно, подросток?

Ну как не удовлетворить желание гостьи видеть юного кузена? Мальчика тут же позвали, и он, прервав игру в солдатики, прибежал по первому зову матери.

Нику всегда удивляло, почему одна Женя ему тетя, а ее тезка и ровесница – сестра. К тому же первая выглядела хоть и взрослой, но девочкой, а вторая – зрелой барышней.

– Здравствуй, братик!

Услышав приветствие, ребенок вздрогнул. Говорившая на мгновение показалась ему Лисой Патрикеевной из любимой книги. Он молча кивнул головой, прежде чем попал в объятия кузины, обдавшей его запахом дорогих духов, привезенных ей в подарок из Швейцарии.

– Что сейчас читаешь? – следом за поцелуем в щечку последовал вопрос, на который он не раздумывая ответил:

– Русские сказки.

– И какая тебе больше всего понравилась?

– Про Петуха и Собаку.

– А я больше всего любила про Белоснежку и гномов.

– Но это не русская сказка! – энергично возразил мальчуган.

– Ах, да, – согласилась Женя. – Европейская. Я, вообще, предпочитаю всё европейское.

Тут Зинаида сочла необходимым вмешаться:

– Россия, между прочим, тоже Европа.

– Нет, тетечка, Азия. Сушая Азия, – манерно вздохнула племянница.

– Неправда! – воскликнул умный мальчик. – Россия это Россия. Она в сто раз лучше Азии и в десять раз лучше Европы!

– Чем же она лучше Европы? – не унималась кокетливая кузина.

– Своими лесами. В Европе таких нет.

– Попроси завтра, чтобы тетя Вера рассказала тебе про Wienerwald, – рассмеялась Женя.

Матери эта словесная дуэль сына и племянницы начинала казаться опасной, и она строго сказала:

– Нельзя судить о том, чего не видел собственными глазами. Ты же не бывал в Европе.

– Я читал, – с достоинством возразил Ника.

– Мало ли что в книжках написано, – усмехнулась игривая барышня.

Нет, Зинаиде решительно не нравился такой спор, но как хозяйка дома она не могла сделать госте замечание. Приходилось окольными путями выходить из неловкого положения.

– Кстати, что ты сейчас сама читаешь, моя дорогая?

– Стихи, тетечка. Исключительно стихи.

– Чьи?

– Своей любимой Анны Ахматовой.

И она начала декламировать нараспев:

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, –
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.
И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

Имя поэтессы Зинаиде ничего не говорило, но она не стала задавать никаких вопросов. Заметив, что сына тяготит навязанное ему общество, отпустила его возобновить прерванную игру и продолжила расспрашивать племянницу. Теперь о делах земных: здоровье родных, городских новостях, ее собственных жизненных планах.

– Тетечка, я мечтаю только о сцене. Во снах вижу себя актрисой.

– Офелией? Дездемоной?

– Нет, – нахмурила лобик Женя. – Трагедии мне не по душе. Я

обожаю веселые спектакли, где много музыки и танцев. Сейчас столько новых театров, не похожих на строгие императорские.

Конечно, желание взрослеющих детей лицедействовать в хороших семьях не поощрялось. Но одна из ветвей их общего рода настолько прославила его на театральных подмостках, что отговаривать семнадцатилетнюю барышню от сомнительной профессии представлялось делом абсолютно безнадежным. Правда, все родственники служили именно в Императорском театре и отличились именно в классических ролях, а наиболее знаменитая из них, одна из первых десяти заслуженных артистов, играла как раз трагических героинь. Зинаиде довелось наблюдать ее во всем блеске, а вот Женя, по причине юных лет, не застала на сцене свою свойственницу.

— Не ты одна предпочитаешь театральные новшества. Но другие обожатели ограничиваются созерцанием зрелищ и вовсе не стремятся в профессиональные артисты. Я, к слову, очень люблю романы, читаю их запоем, однако мне и в голову не приходит их писать.

— Тетечка, как вы не понимаете: настоящий актер на самом деле не играет — он проживает со своим героем другую жизнь. Что дурного в желании быть не только собой, но и кем-то еще, иметь не одну судьбу, а несколько. Поэтому и хочется оказаться совсем не в той шкуре, которую могут продырявить. Ведь умирать страшно даже на сцене.

«Какой же она, в сущности, ребенок! И весьма симпатичный», — подумала про себя Зинаида, а вслух сказала:

— Желаю, милая, чтобы радостей и веселья у тебя хватало в жизни настоящей, и не надо было бы искать их в чужом облике.

Гостья из Швейцарии пожаловала точно в названное ей время. Ради такой пунктуальности она требовала от юного Жоржа Зипунова ехать не слишком быстро, дабы не обогнать неторопливую часовую стрелку.

— Зинурка, завидую тебе: ты по-прежнему стройна, как лань, — шепнула приехавшая во время родственного поцелуя в щечку. — Как тебе это удается? Рожала ведь не меньше моего.

— Трудами, Верушек, только трудами, — пыталась отшутиться хозяйка, обидно намекая на полную праздность жизни кухни, хотя и не утратившей своего девичьего обаяния, но слегка располневшей в талии.

Они не виделись целую вечность. За то время одна пережила настоящую трагедию, другая же становилась героиней исключительно мелодрам. И сейчас намеревалась разыграть очередную, ради чего и выбралась в родные края. Но общение пошло не по ее канве.

— Поведай, путешественница, как выглядит Европа после всего

случившегося, — сразу же за чаем попросила ее Зинаида, не полюбопытствовав, подобно другим, о делах семейных.

— Лучше не спрашивай! Как самоубийца, болтающийся в не затянувшейся до конца петле. Рад бы бедолага выпутаться, да опоры нет. Помучается, помучается и всё равно удавится.

— А что ждет нас?

— Куда худший жребий. Меня один сведущий человек предупреждал еще десять лет назад: Россию искромсают свои же мужики, предводительствуемые интеллигентами-авантюристами. Между прочим, таких русских авантюристов по всему свету полно. Сидят в сытости и тепле и лишь мечтают, как своему отечеству нагадить. Даже у нас в Швейцарии гнездятся, кукушата проклятые. Одного очень хорошо знаю: живет на другом берегу озера, Валерианом зовется, хотя крещен Павлом. Статейки о литературе пописывает. А на уме только революция. Жируют бестии в чужой уютной стране и заговор в собственной необустроенной готовят! Ну не иуды?

— Тебя-то саму каким ветром в Швейцарию занесло?

— Всё тем же. Не оставаться же в государстве, которое воюет с твоей родиной! Я, в отличие от этих социалистов-демократистов, патриотка. Сразу мужу сказала: ни дня в Вене не останусь.

— И он тебя послушал?

— Как видишь. Да ведь он и никакой не австриец. Словенец по национальности. В их дыре петь негде, вот и пошел работать в имперскую оперу. Но как война началась — тут же уволился, и мы уехали.

— Он намного тебя старше?

— На восемнадцать лет. Однако выглядит прекрасно, хотя ему уже шестой десяток пошел.

«Только с ее экстравагантностью можно жить со стариком и чувствовать себя счастливой», — подумалось Зинаиде.

— В Россию переезжать не думали? — робко поинтересовалась она.

— О России забудь. Никакой России скоро не станет, — безапелляционно выдала Вера. — Мне это еще десять лет назад было известно.

— Ах да, сведущий человек сказал. Кто это, если не секрет?

— Там секрет на секрете, — рассмеялась гостя. — Он сам человек секретный, и отношения наши держались в полном секрете, пока не умер мой муж. Звали его Василием Ивановичем. Служил начальником московской сыскной полиции. Мы с ним встречались как раз во время нестроений девятьсот пятого года. Простой, из крестьян, но головастый. Я, говорил, и устройство государства хорошо изучил, и мужика изнутри знаю. Не ужиться им теперь. Первое перед последним ни за что не устоит. А когда пустится рассвирепевший народ во

все тяжкие, без крови и разрушений великих не обойтись. Смерчем пройдет, всё сокрушая. Никому его не удержать, даже вековой имперской государственной машине. Не потому, что слаба, а потому, что со стихией справиться невозможно. Помнишь Пушкина: «С Божией стихией царям не совладать».

Зинаиде мрачные пророчества какого-то служилого выскочки показались мелочью в сравнении с откровенным признанием Веры. Она, конечно, слышала о противоестественной (с социальной точки зрения) связи кузины с простолудином, но никак не думала, что та сама начнет вспоминать этот позорный эпизод с таким энтузиазмом. Женское любопытство требовало подробностей, но разум и такт заставляли держаться менее опасной темы.

— Но ведь тогда, в девятьсот пятом, совладали, — резонно заметила она.

— И с каким трудом. Бедный Василий Иванович еле на ночь до дома доползал, и то не всегда. Я даже его поначалу ревновала. Спасибо Столыпину. Но Петра Аркадьевича больше нет, а второй такой не скоро родится. Бунтари же, кого он перевешать не успел, частью сбежали в дальние края, частью затаились. Василий Иванович меня сразу предупредил: не конец это безобразиям, а лишь передышка. Пройдет лет десять — те же псы из своих щелей повылезут, только кусаться больней станут, а то и вовсе загрызут.

Разговоры о политике Зинаида обычно не поддерживала, считая их бессмысленными и сугубо мужскими. Частота, с которой проносились одно и то же имя, навела ее на размышления, что гостья хочет высказаться совсем по другому поводу. И она, поборов внутреннюю стыдливость, неожиданно для самой себя решилась задать неделикатный вопрос:

— Скажи, ты действительно любила этого Василия Ивановича? Или жила с ним ради выслушивания мрачных предсказаний?

— Я любила всех своих мужчин, — удивительно спокойно отреагировала Вера. — Любовь — ужасная злодейка. Мне всегда не доставало сил придумать свои чувства в зародыше, как поступают некоторые и с самой любовью, и с ее нежеланными плодами. Сначала я полюбила Арсения. Пылко и искренне, что всегда случается в ранней юности. «Ты будешь жить в самом необычном, самом красивом дворце», — шептал он мне на ухо в нашу первую ночь. И действительно, после свадьбы я оказалась в чертогах шамаханской царицы. Все ругали его за архитектурную эклектику, от родной матери до Льва Толстого. Одна я понимала тонкую эстетствующую душу своего мужа. Он ненавидел собственную среду, эту вечную купеческую чопорность и жадность. Ему всегда хотелось громко хохотать. И на

пустых заседаниях акционеро́в, и на семейных сборищах, и на балах, и на театре – везде. Наш дом стал его архитектурным хохотом во всю глотку. Так определил его папа, а он не из последних зодчих в России. «На Воздвиженке надо не строить, а воздвигать», – любил повторять мой первый муж. В такие моменты он был просто очарователен.

– И почему же ты ушла от него?

– Карнавал не может длиться вечно. Лицо устает от постоянного ношения маски. После появления Ирочки, даже еще до родов, когда я превратилась в пингвинообразного увальня, он привел в дом другую. Потом третью. Всё открыто. Всё с хохотом. Если поначалу слова «их водой не разольешь» были точно про нас, то потом не нашлось такой жидкости, чтобы слить нас заново.

Зинаида, затевая разговор, никак не рассчитывала услышать интимные подробности. Понимая, что такого случая больше никогда не представится, она осмелилась подбросить еще немного дровишек в разгоревшийся костер откровений, ибо хороши они лишь своим пламенем, а не тленьем.

– Я слышала, твой муж скончался вовсе не от той болезни, о которой писали в газетах.

– Жил грешно и умер смешно. Бился о заклад, будто бы сможет силой воли отвести от себя любую боль. Незаметно для спорщиков прострелил в соседней комнате ногу и, скрипя зубами, терпел адские мучения, не подавая виду. Рана не была смертельной, но, скрывая ее, он напаялил на ногу грязный сапог. Она тут же загноилась. Через два дня Арсения не стало. Видать, не судьба таким повесам доживать до седины, потом лысины и утраты мужской силы.

– Говорят, он и наследства тебе не оставил.

– Мне-то ладно: дочь родную обделил. Единственного своего ребенка. Эта фурия, которой он всё отписал, так никого ему и не родила.

– Какая фурия?

– Разве ты ничего не знаешь? – удивилась Вера. – Ну, конечно: в твоей глуши только из газет новости узнают. Об этом вся Москва говорила. Мне даже уехать из нее пришлось, подальше от пересуд, гремевших на каждом перекрестке.

Она тяжело вздохнула и продолжила:

– Нашлась одна аферистка. С восточной кровью и азиатскими повадками. Настоящая шамаханская царица, не то что я, русская дурочка. А моему олуху, как оказалось, только таких и подавай. Добро бы просто жил с ней, предаваясь мавританским страстям, в тон своему особняку. Так ведь завещание, негодяй, на нее составил. На три миллиона денег и бумаг ценных. И недвижимость в придачу.

Теперь эта бесстыдница не только живет в нашем доме на Воздвиженке, но и управляет паями мужа в мануфактурах.

— Оспаривать не пытались? Послушать нашего Сашу, у них такие дела часто в пользу законных жен решаются, — проявила Зина осведомленность, вспоминая рассказы брата, служившего мировым.

— Хватит с меня позора, когда на содержание Ирины с него в суде взыскивать пришлось. А тут даже обширные связи моей свекрови не помогли. Уж она-то, дочь и жена купеческая, не побрезговала иск подать. Ведь знаешь, у буржуазии свои понятия о чести. Им важно не имя, а добро свое защитить. И что же? Не один год дело волокитили, из одного присутствия в другое перекидывали, а в конце концов всю дурь Арсениеву в силе оставили. Мне это тогда было всё равно: мы с Францем уже жили в Вене, городе, который меня очаровал еще в раннем детстве, когда я с родителями ездила в Европу. Он стал местом нашей первой остановки. Я так любовалась его красотами, что чуть из окна отеля не вывалилась.

— Ты и Франца своего любишь?

— Еще как! Это вообще моя первая любовь. Не веришь? Сейчас объясню. Лет в десять, еще до института, я впервые попала в оперу и с ходу втюрилась в красавца-солиста. Уж не помню, как его звали, помню только: все четыре сестры у него бомбистки. Так Франц на сцене — копия он. Конечно, это грим театральный их близнецами делает да голос. Только как увидела я Франца в Берлине, сразу самое первое чувство на меня и нахлынуло. Из потаенной глубины поднялось. Ты меня о возрасте его спросила. Какое он имеет значение? Это ведь чистая, чистейшая любовь маленькой девочки к взрослому мужчине. Конечно, между ними всегда будет большая разница. Но истинной любви она нипочем.

Еще никогда слово «любовь» так часто и открыто здесь не произносилось. Зинаида постоянно косилась на дверь: не войдет ли случайно Ника — это же не для его ушей.

— Малютка Жоржик ужасно похож на своего папу, — продолжала верещать Вера. — Я зову его Жоржиком, чтобы не путать их с отцом. Его полное имя Франц Жорж. Он такой прелестный.

И пошло обычное женское сюсюканье на тему умилительных проказ маленького человечка. Даже не склонная к таким сентиментальным разговорам Зина сочла за благо перейти от политики и семейных раздоров к вполне нейтральной теме. Она тоже вспомнила несколько событий из Никиного младенчества. Но невольно нахлынула и вечно ноющая боль по умершим близнецам.

Верочка осталась ночевать и уехала только на следующий день, после обеда, успев совершить прогулку по имению. Проходя мимо церкви, остановилась, широко перекрестилась и отвесила поясной поклон.

– Прощаюсь я, Зинурка, навсегда. И с храмом этим, и с природой русской. Может быть, даже и с тобой, если тебе не хватит решительности уехать отсюда до тех ужасных дней, когда всё вокруг будет изгажено, разрушено и попорно.

– Кем же? – удивилась Зинаида.

– Нашим замечательным мужиком, самым набожным и законопослушным во всей Европе. Сорвется он с цепи. Ой, сорвется! И очень скоро. Сжали мы пружиночку, обвязали пенькой, да только подгнила веревочка, лопнет скоро, а пружинка во всю мощь распрямится и больно всех ударит.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тем временем на передовой случились радостные перемены. Войска генерала Алексея Алексеевича Брусилова наконец-то пошли в наступление. За два месяца они полностью изменили карту Юго-Западного фронта и нанесли неприятелю урон в живой силе, исчислявшийся полутора миллионами убитых и раненых. Впрочем, из крупных городов по дороге им попались лишь Черновцы, но не одна пядь буковинской, галицкой и волынской земель вернулась России. Главным же последствием прорыва стало объявление Румынией войны Австро-Венгрии. Полку союзников, тем самым, прибыло, хотя спокойствия это не добавило, а только увеличило заботы. Пришлось образовывать новый фронт – Румынский. Реорганизация управления войсками вынудила к переброске 6-й армии на южное направление, а прикрывать Петроград предстояло отныне 42-му армейскому корпусу, начальником контрразведывательного отделения которого назначили капитана Крапивникова.

Работы сделалось невпроворот. Об отпуске не приходилось и мечтать. Съездить в Курскую губернию на восьмой день рождения сына он не смог. Оставалось надежда, что если гора не идет к Магомету, то Магомет сам придет к горе. Однако мальчика к нему в этот раз не привезли. Зимовать Зинаида с ребенком отправилась в Губернск, где с недавних пор служил мировым судьей Александр Щербачёв.

Но мир всё-таки удивительно тесен! Именно в Губернске обосновался и брат Веры Сергеевны – Сергей Сергеевич – после гибели сына Саши. Героическая смерть военного летчика Тикоцкого не сблизила его родителей, а наоборот – послужила толчком к краху

их семейной жизни. Убитый горем отец признался матери, что прижил еще одного ребенка на стороне и намерен теперь дать ему свое имя.

В роду Тикоцких Сергея Сергеевича все любили и жалели. Они были погодками с Петром Сергеевичем, оба приходились крестниками самому Николаю Первому, но жизнь их сложилась по-разному: если у Петра, бывшего годом старше, она не знала бед, то на долю Сергея выпадало одно несчастье за другим. Сначала умерла родами любимая жена Юлия (оставшегося сироту Евгения, как мы помним, помогала выкармливать Вера Сергеевна Крапивникова). Потом нелепо погиб их первенец Сережа. Как все радовались в семье его назначению в конвой Государя императора! Однако до места службы он так и не доехал: по дороге, в станице Псебайской, его убили местные черкесы. Теперь не стало и младшего сына, признанного летчика-аса. Оставался только средний, Евгений, но он находился на фронте, где вел себя совершенно безрассудно. В первые же дни войны, буквально в первом бою близ деревни Джурин направил свою казачью сотню прямо на батарею неприятеля, первым ворвался на нее, перебил всех, кто попал под горячую руку, и захватил четыре орудия со снарядами. Этот подвиг принес ему славу героя и орден Святого Георгия, а отцу – непроходящую тревогу, усилившуюся после того, как храбрец ротмистр остался его единственным живым сыном. Вот почему никто не осудил шестидесятипятилетнего старика, когда он бросил вторую жену и перебрался к матери своего незаконнорожденного ребенка, которому, как выяснилось, шел уже семнадцатый год.

Сергей Сергеевич умолял в письме овдовевшую сестру приехать к нему, чтобы они могли утешить друг друга.

Вера Сергеевна с радостью согласилась. Благодаря такому приглашению она могла теперь часто видиться с внуком, не докучая совместным проживанием невестке.

Капитан Крапивников не стал расстраивать мать, написавшую ему о столь счастливом стечении обстоятельств: он-то, конечно, хотел снова заманить жену с сыном в Петроград. Хотел всем сердцем, однако умом понимал: у Щербачёвых, под одним кровом с кузиной Ирочкой и кузеном Жоржиком, мальчику будет интересней, чем со стариками Тикоцкими. К тому же ребенку пора готовиться к поступлению в кадетский корпус, а трое учеников – это всё-таки хоть какое-то подобие класса, пусть и домашнего.

После приема у себя в имении любвеобильной кузины и ветреной племянницы Зинаида постоянно размышляла над непривычными

ее уху и миропониманию словами незваных посетительниц. Раздумья неизменно вели к мысли о неслучайном совпадении обоих визитов. Она даже запомнила продекламированное Женей стихотворение, отыскала его в журнале и переписала в свой альбом. Всё ведь про нее, хотя она с автором не знакома, да и та почти на десять лет моложе. Неужели ей дано лишь в середине четвертого десятка понять то, что другим ясно уже в двадцать пять? Или действительно истинный поэт может читать чужую судьбу?

Запали в душу и рассказы Веры. Сменить троих мужчин за неполные десять лет, любить каждого из них, открыто говорить о своих чувствах не самому близкому человеку... Нет, определенно что-то в мире меняется.

Конечно, Зинаида не собиралась идти по дорожке, протоптанной кузиной, но и осуждать ее язык не поворачивался. Она не стала пересказывать услышанное даже мужу. И стихотворение Анны Ахматовой ему не прочитала. Но сделала для себя важный вывод: в делах сердечных нет и не может быть одной правды, а утверждать обратное – беспробудное ханжество.

Дом на Дворянской стал для Марины ее первым адресом, сохранившимся в детских воспоминаниях. Здесь она научилась ходить, говорить и даже командовать прислугой. Девочка росла не по годам развитой: уже к своему второму дню рождения правильно произносила все звуки, могла свободно называть как предметы домашнего обихода, так и всё, попадавшееся на глаза на улице, и довольно легко складывала слова во фразы. С каждым днем ее детское лепетание становилось осмысленнее, и к Рождеству она вполне созрела декламировать стихи на детском празднике.

В том году устраивалось несколько елок в домах, где воспитывалось не по одному ребенку. Угрины решили нанести визит своим новым знакомым Щербачёвым. Купеческого общества Михаил сознательно избегал: ему хватало его и по делам службы. С чванным губернским начальством общаться накоротке тоже не желал. Предпочитал компанию судейских, отдавая предпочтение тем, кто помоложе. Ближе всех по возрасту был к нему недавно поселившийся в Губернске Александр Александрович Щербачёв, мировой судья третьего участка, имевший красивую жену и аристократичную старшую сестру, учившуюся, как говорили, в московском Екатерининском институте благородных девиц. Поговаривали также, что муж ее, хоть и военная косточка, пользуется связями при дворе.

Впрочем, Угрин привлекало не это. От их дома за версту веяло Европой. Мещанские темы, местные сплетни в нем не приживались

и вообще не воспринимались его обитателями, словно жившими совсем в другом измерении (так было и в буквальном смысле слова: аршинов и фунтов у Щербачёвых не знали и мерили всё на метры и килограммы). Поэтому Лиза могла спокойно ехать туда, уверенная, что пересуды, касавшиеся ее самой и Евдокии Васильевны, если и достигли тех стен, то отскочили от них в то же мгновение.

Поскольку маленькая Мара самым серьезным образом готовилась к своему публичному дебюту, решено было начать именно с елки – обычно самого запоминающего детям праздника. Ну а из всех приглашений, неизменно следовавших за сообщением о чудо-девочке двух с половиной лет, наизусть читающей стихи, предпочтение отдали щербачёвскому.

И не ошиблись. Карнавал превзошел все ожидания: нарядные дети в маскарадных костюмах (конечно, родители заранее договорились их не повторять) представили героев известных сказок. Ника Крапивников вырядился Котом в сапогах, Ирочка Щербачёва – Снежной Королевой, Жоржик Щербачёв – Маленьким Муком. Братья Венёвцевы, специально приехавшие погостить на Рождество, приняли облик Щелкунчика (некрасивый Вова) и Ивана-Царевича (симпатичный Коля). Марине Угриной, как нетрудно догадаться, досталась роль Дюймовочки.

Сначала водили хоровод вокруг огромной свежесрубленной елки, наполнившей ароматом хвои жарко протопленную гостиную. Потом стали представлять своих героев. Когда настала очередь крошечки Мары, она выразительно произнесла одну-единственную заученную дома фразу: «А я самая маленькая – меньше не бывает». Остальные дети дружно проскандировали в ответ: Дюй-мо-воч-ка.

Не обошлось и без игры в фанты. Вот тут-то и проявились таланты девочки двух с половиной лет. Забравшись на специальную подставку, она уверенно, без запинки продекламировала:

Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей и теперь его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!
Там из-за старой, нахмуренной ели
Красные грозды калины глядели,
Там поднимался дубок молодой.
Птицы царили в вершине лесной,
Понизу всяки звери таились.
Вдруг мужики с топорами явились –
Лес зазвенел, застонал, затрещал.
Заяц послушал – и вон побежал.

Предусмотрительный отец расчетливо выбрал некрасовские стихи на случай вполне возможного в таком возрасте провала: смутится, забудет слова, расплачется, но после первой или второй строчки это будет выглядеть не конфузом, а вхождением в роль. Однако Мара успешно довела дело до конца, сорвав долгие аплодисменты.

Напоследок играли в ручейки. Высокая Ирочка Щербачёва не смогла бы пролезть под ручонкой «Дюймовочки», поэтому выбрала стоявшего с ней в паре Нику Крапивникова. Марина Угрина нисколько не смутилась и тут же вернула своего кавалера назад. Этот решительный и быстрый ответ рассмешил всех, даже взрослых.

Перед отъездом каждый из маленьких гостей получил подарок. Кукла, доставшаяся Маре, была немногим меньше ее самой. Восторг ребенка не знал предела. Радость продолжилась и дома, сделав девочку самой счастливой в городе еще на несколько дней.

Родители переглянулись и поняли, что пора осчастливить своего первенца живым «подарком».

Новый год встречали уже без детей, у губернского предводителя Гульчицкого.

Молодежь обсуждала свои планы, строила прогнозы перед назначенными на февраль, на масленицу, выборами первой губернской красавицы. Старшее поколение судачило о бывшем городском голове Родкевиче, окончательно потерявшем голову. Многие еще не забыли, как он, любителей женщин и лошадей, бросил мать четверых своих детей ради француженки-гувернантки. Тогда ему было сорок два. Сейчас же, на семидесятом году жизни, он умудрился обвенчаться в третий раз! При живой второй жене, которой отлились наконец слезки ее предшественницы. Произошло это не где-нибудь, а на фронте, куда член Государственной Думы Родкевич повез санитарный отряд Красного Креста, взяв в него под видом сестры милосердия и свою возлюбленную, вовсе не медичку, а столичную актрису. Год назад весь Губернск смеялся, когда он устроил ей бенефис в местном театре, сам скупил все билеты, восседал один-одинешенек в зале, а на сцену несли купленные им же корзины роз.

Теперь было не до смеха. Особенно после ужасного происшествия перед самым сочельником, когда зять Родкевича застрелился из-за банкротства. Тесть при этом только что закончил строительство шикарного дома для своей новой супруги. И половины вбуханных в него средств с лихвой хватило бы для спасения внука и внучки любвеобильного деда от раннего сиротства.

И как все вместе, старые и молодые, радовались, что настал конец шестнадцатому, тяжелому, подобно всем високосным, и всё же

подарившему кое-какие надежды на скорейшее окончание чрезмерно затянувшейся войны и на отпадение угроз существующему веками порядку после устранения проклятого «старца»! Спорили только о допустимости метода устранения. Одни, преимущественно дамы, считали его излишне жестоким, другие, напротив, аплодировали решительности истинных патриотов, среди которых, по слухам, оказался и член императорской фамилии.

Обсуждали и очередную замену председателя совета министров (в уходящем году, чередуясь по воле государя, в этом кресле побывали четверо). Одним отставка Александра Федоровича Трепова казалась абсолютно оправданной и необходимой для укрепления правительства. Другие видели в ней лишь бессильную месть за убийство юрдовикового развратника, не благоволившего к смещенному премьеру. Кто-то радовался назначению родовитого Николая Дмитриевича Голицына, а кто-то считал, что острое шило бюрократии поменяли на скользкое мыло, что немолодой князь едва ли продержится долго и вряд ли окажется более удачливым главой кабинета, стегаемого по щекам и справа, и слева думскими острословами.

Однако все сходились в едином мнении: наступающий семнадцатый год должен окончательно очистить Россию от всякой скверны и принести ей новые победы.

Да, сегодня легко рассуждать о наивности тех людей, легко иронизировать об их недалекости, неподготовленности к роковым испытаниям. Но разве вправе мы так относиться к своим любимым бабушкам и дедушкам лишь за проявление естественности в чувствах и мыслях, за святую веру в непреходящие ценности, генетически укрепляющуюся веками?! Сколько раз Россия страдала, голодала, терпела неудачи на полях сражений, переживала внутренние нестроения, мучилась от неумелых вождей и окружавших их интриганов! Но даже в такие годы она оставалась Россией, православной державой, где все, от последнего смерда до самого знатного князя, готовы отдать живот за ее единство и самостояние, где в самом страшном сне не могло никому предвидеться апокалипсическое братоубийство, угодливая покорность степенного большинства взбесившемуся меньшинству и безжалостное истребление худшими лучших. Да и разве мыслимо, чтобы кривой и кургузый Щелкунчик, сбросив маску, оказался не прекрасным принцем, а еще более уродливым и злобным карликом, жаждущим уничтожения миллионов, и благородные Иван-Царевич, Кот в сапогах с другими яркими персонажами будут сначала заискивать перед ним, а потом покорно положить свою голову на возведенную им плаху?

Великое преимущество разбойников, как верно заметил Александр Крапивников, заключалось и донныне заключается в том, что они могут всю жизнь караулить под дверью, ожидая удобной минуты, неожиданно вломиться и, застав врасплох, маленькой шайкой терроризировать несравнимо большее число порядочных людей. Так же и любой негодяй одной спичкой может спалить многолетний труд сотен строителей. Не велика доблесть подбросить ночью, исподтишка, дохлую кошку в колодец и отравить всю округу. Но не надо обвинять тех, кто спокойно при этом ложится спать и не думает о такой угрозе. Не надо смеяться над столярами и плотниками, кровельщиками и стекольщиками, спешащими возводить новое здание вместо того, чтобы оберегать от поджигателей уже построенное.

Русское общество, мирно и весело встречавшее семнадцатый год, и не должно было тревожиться, и не должно было предчувствовать близкой опасности, поскольку никаких предпосылок для нагрянувших вскоре потрясений тысячелетняя история государства не создала.

И даже отбросы этого общества, разбросанные по всему белому свету, в их временных европейских и американских пристанищах тоже не ощущали близости свершения своих геростратовых подвигов. Их вполне устраивала в меру сытая и достаточно безмятежная жизнь вдалеке от фронтов и окопов, филёров и жандармов, а главное — без всякой ответственности за пылкие речи в собственном кругу и невразумительные прогнозы в малоуважаемых и малочитаемых газетенках.

Мир жил по своим вековым законам, где есть гнездышко для каждой твари, где все они в чем-то полезны, иначе не стал бы Создатель плодить во множестве комаров, клопов, тараканов, вшей и прочих паразитов.

Конечно, ужасно, когда внезапно налетевшая саранча вмиг выедаёт труды честных земледельцев, оставляя без пропитания огромные массы людей. Но царства саранчи, где бы она не только уничтожала посевы, но и властвовала над целым народом, не описано даже в самой грустной сказке.

Как же тут предвидеть, что действительность может оказаться куда страшнее!

2016, Москва

Александр Радашкевич

«На меже непроявленной яви»

ЗАПИСКА

Небу было семнадцать лет, и ветра обнимали за робкие плечи. Мы совсем не умели прощаться, потому что всё было навеки, как меж пальцев живая вода, как родное окно в тополях и желаний соленые речи, но сорвались с мостов поезда, побелели глаза фотографий и пустыня сожгла шелкоструйные реки.

Мы стоим за погасшим экраном и обратное смотрим кино пространных снов необратимых, пока на росстанях разлук необитаемые души ведут недвижный хоровод, пока раскрутится пластинка и вылетит в закрытое окно, пока сжимаем в кулаке любовь нечитанной записки, забитой в щель дверного косяка стократ обрушенного дома, пока нас помнят, пока мы робко ждем себя на пороге последнего неба.

УШЕДШИМ

Ни обнять, ни прижать, ни позвать — я могу за вас только молиться, только слушать безмолвия глас, лепеча перечеркнутый список, только верить в пустые слова, наводящие бережный ужас, только чаять Лапландию душ на меже непроявленной яви. Вечереет мерцание утр, и кипят за бортами бураны. На мосту через море небес, опоясавших ломкие дали, ни позвать, ни прижать, ни проститься, — ретируясь сугробами детства, я могу за вас только стареть.

НАД МАЛЫМ ИНЗЕРОМ

Кровохлёбка розоцветная и окопник-живокост,
кремоватый лабазник, придорожная пижма и
Шурале единорожье над зеленым межлиственным
взглядом, за коим спеет кроткое хотенье —
защекотать до смерти.

Кто не был никогда у Ямантау, тот не слетал с обрыва
Караташ за своевольем жеребячьим, чтоб посрамить
наринувших волков.

Урала гордого слоистые отвесы и резцы Орлиных скал
на сером дне отливших океанов, где хвойных снов
заманчивая мга и мхов седое оторочье, где ты
с Айгулю, ты с Айгиром окаменеешь безоглядно
немой волной оплаканной любви.

Айгир, Башкирия

ПЛАСТИНКИ

О мечты золотая игла, —
А безумье прославят поэты.

И. Анненский

За мной кружили вы по были, мои пластинки,
из городов, которых нету, и стран, которым
не бывать. О, вы спасали от Америк и возносили
в Ленинград. Вас упаковывала юность и волокла
на главпочтамт: развесив уши, расправив крылья,
себе я сам вас отсылал. Сквозь шип отыгранных
времен, царяпины отпетых судеб вы охранили голоса
миров, которые погасли за краем раненых мелодий
и непростившихся стихов, где всласть по впадинкам
скользила ты, мечты золотая игла. Я не могу
вас больше слушать,
не слышать вас я не могу. Ни обожать, ни ненавидеть,
ни отписать в заветный хлам, что в пятом высится
углу, где пирамида поминаний и мавзолеей молодой
любви. Как кольца стертые Сатурна, как дыры
черные вселенных, как рысаки в машинном смраде,
вы даром не потребны никому. Когда наш след,
как бред, простынет на той, виниловой дорожке,

мой ангел вас во снах покрутит, и за меня он
улыбнется, и за меня поплачет он. Пусть перевяжет,
упакует и вдоль Невы вас пронесет на главпочтамт,
за Исаакий, и отошлет в немую вечность
мне заказную бандероль.

* * *

Мне любитесь ветер разлуки
в напрасных кристальных дверях
и небо заплечное встреч, мне нравится
помнить: сквозь млечные годы измен
и скитаний меня ты ревнуешь ко мне.
О, в этих брэнностях безлюбых
мы не устанем, как впервые, играть
в последнюю любовь, в еще одну
весну земную и в воркованье сизарей
на облупившемся карнизе, и в крови
зуд неуголимый, и в блажь
шампанскую души.

Париж

Вячеслав Шаповалов

«Где вера вернее надежды»

EXEGI MONUMENTUM

Памяти переводчиков эпоса

Мы – памятник. Вокруг – эпох слепая плоть,
гранит чумной гордыни, гений грубой бронзы.
Сквозь камнепад времён – поэзии и прозы
мгновенный вечен вздох. И ведает Господь:

не ранее, чем голос книжного значка
всё скажет со страниц про власть, и брань, и славу,
страстей неисчислимых огненную лаву,
не раньше мы умрем. И секретарь ЦК

с дельфийской службой обозначат гонорар
безродным иммигрантам местного Востока.
Где прокатился вал взбешенного потока,
где кочевал Манас, растрчивая дар,

мы спели первыми силлабы дымных Трой –
но эолийским слогом русского домена.
Арчовой веточкой горящей, Мельпомена,
нас, вечных, помяни, беспамятством укрой...

СУМЕРКИ

Гора, перегораживающая закат и рассвет,
съеживается под восходящей луною.
Дремлют собаки, измученные тишиною.
Шумит река. У времени имени нет.
Местная живность, о четырех ногах,
дарит двуногим зренье всего на свете.
На сосцы матерей притязают дети – и те, и эти.
Млечный шелковый путь, в небесах начавшись, зачах.
Осел, откликающийся на имя Ишак,
повелевает судьбой, т. е. хвостом и ушами.

Ветер ущелья свистит в человеческих ушах,
нескромно липнет к оконной раме
чабанского домика, чей фасад
остановился взором вниз по течению,
как бы не придавая значенья значенью
будущего. То бишь – не оглядываясь назад.
У девочки, замершей за оконным стеклом,
недоброе солнце заглол недобрый румянец
на монгольских скулах. Платя ситцевый глянец
оттеняет взрослеющих губ нежный и злой излом.
Безмерные ели на той стороне реки
в упор не видят отар, рассыпавшихся на склонах,
и всадников, к изученью пейзажа не склонных,
хотя оглядывающих всё сущее из-под руки.
Равнодушной кобыле железный кляп вдвая в уста,
путник думает о далекой и вздорной подруге,
хотя больше о потнике и надоевшей подпруге,
ибо ехать придется через глухие места.
Ехать, в сущности, некуда. В никуда
устремляется вслед за рекой свет звезды. А звезда
сквозь ночь уставилась навсегда
на большие и малые исчезнувшие города.
Свет меняет свой цвет. Вечер озяб на ветру.
О поездке, как видно, не может быть и речи.
Варится мясо. Текут слова человечьи.
Девочка выходит из дома и молча идет к костру.

ВСТРЕЧА

вслед за скорбной молвой
ни о чем не расспрашивая
темным ликом светлея в распаде годов
сокровенною поступью ксения некрасова
минует заставы больших городов
мы встречали во тьме эти тени заснеженные
на изломах проспектов в просветах полей
их слепые глаза с отрешенною нежностью
проводжали года как толпу журавлей
одинокое небо начертано начерно
звонкий возглас обломит сосульку – и звон
серебристой утратой час обозначивая

ксения! – молча кричит перекресткам времен
сколько слов виноватых об этом ни сказано
виноватыми кажутся только – слова
среди горькой изночницы ксения некрасова
все читает рассветы света и слаба
неуслышанной – ей не ютиться над осенью
но продлится над осенью ласковый вздох
под родимой брусчаткой историей тесанной
оскорбленно-обугленный жив скоморох
серый ветер и дождь
а над ними всесильная
и вселюбящая – светит странствий звезда
и с усталой улыбкой некрасова ксения
видит солнечный сон уносясь в никуда

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

От девочки во тьме, от вымокшего сада
остался легкий вдох, нет, выдох – но туда,
где не дрожат огни в утратах листопада,
не плачут поезда, не падает звезда.
Не жаль, что губы стянуты морозом алым
в железной седине и копоты снегов,
что снилось, что швыряло щепкой по вокзалам,
подвалам, чердакам загаженных годов.
За неким городом, среди зимы и зноя
стоит село Степное, зона – у села.
Здесь оглянулась ты и назвалась собою,
но девочки в саду, конечно, не нашла.
Здесь, в зазеркалье дней, так съеживает тело
прозренья: ты одна и короток твой век,
а за колючкой лет у крайнего предела
дичает яблоня и меркнет человек.
Три ангела в цвету с наколкой кабаньей
вломились в жизнь твою под сенью диких нег:
под куполом небес, под вышкою кабаньей
томится автомат, слюну роняя в снег,
и щерится закат, где псы захлеб рыдали,
и строевая вошь вползает в рупор сна,
и Зона вдаль летит, дыша над городами
бессонницей вакханок, вечная страна.

И в потной тишине над скрюченной планетой
счастливый дремлет дождь и реет мокрый сад,
оплачены на миг все тою же монетой,
что лодочник сгребет, пуская душу в ад.
И ты лежишь в углу, прикрывшись мешковиной,
три твари над тобой творят смурной дележ,
и гавкает с высот – проснись! – призыв целинный,
и слышит все судьба, ржавея, словно нож.

ВЕЧЕРНИЙ ПЕЙЗАЖ

Щекочет ноздри прах веками прежними,
отар на склонах гаснет пентаграмма,
кружась, ткнут облака над побережьями
свой млечный холст – для парусов адама.

И правда сумеречна здесь, и кривда,
в ущельях скалы рушатся упруго:
конец пути, парк тюркского периода,
тьма, перекрестье мелового круга.

Где колыхалась песенка пастушья,
за ветер зацепившись покрывалом,
рвет дёрн людская молвь дикорастущая
своим адреналиновым оралом.

И рвется прочь от этой грязи вверх, куда
ей путь заказан с тысячного года,
душа – и плавает в зрачке у беркута
горнило золотого небосвода.

И там, где вновь расцвел костер кочевника,
где тих туман, в лощинах оседая,
прикурит от горящего учебника
вечерняя зарница молодая.

Бишкек

Елена Дудукина

* * *

Мир состоит из джинсов, мужчин и ветра,
гор и колдобин, водохранилищ, танков,
музыки ретро и разноцветного фетра,
растаманов, свингеров, пьяниц, панков.
Мир состоит из поленьев и птичьих перьев,
из гравитации, атомов и нейронов,
ила на дне океана, травы, деревьев,
баранов, банок, бабушек и баронов.
Мир состоит из выборов президента,
из ухи и хлеба, песен, древесных срубов,
из рассказа о Шерлоке Холмсе «Пестрая лента»,
парков, газет, фонарей и английских клубов.
Мир состоит из айсбергов и тайфунов,
из актерских премий, бисера, слез младенца,
архетипов, сугробов, марок, рублей и фунтов,
гостиничного свежего полотенца.
Мир состоит из лезвия и нажима,
койки больничной, запаха скипидара,
школьных тетрадей, того, что недостижимо,
горшка ночного, полуночного кошмара.
Мир состоит из луж на асфальте летнем,
сломанной лыжи, троек по физкультуре,
стихотворений, платьев, глаз, касс билетных,
скульптуры, фигуры, фуры, фиоритуры.
Мир состоит из шелеста листопада,
водки и гроба, церкви и балаклавы,
того, чего хочется, и того, что надо,
святого Грааля, буйной посмертной славы.
Мир состоит из обмана капиталистов,
леса и зелени, бедности, лжи и веры,
совести, женщин, парковок, велосипедистов,
религий и страха смерти, любви без меры.

Мир состоял из мансарды и книжных полок,
веток ирги, лимонника, облепихи,
всякий не то что слог – всякий звук был дорог.
Они и теперь не стихли.

24 мая 2016

* * *

Дмитрию Зорникову

Натуся вспоминает свой первый раз:
платье в горошинку, бусики, каблучки
по деревяшкам танцпола пустились в пляс...
– Ба, ты как себя чувствуешь? – спрашивают внучки.
Ба отложила вязанье, пропускает кормить kota –
тот наглotalся с голоду из подвала мышей.
В ушах у нее музыкальное «тра-та-та»,
вкус газировки на языке...
– Мамочка, ты уже
пятые сутки странно себя ведешь! –
голос дочери тонет в ритме сердечных па.
Вот он губы свои прижимает к ее губам,
вот забирает на память, с груди отцепляя, брошь...
Целая жизнь, объемная, как спектакль,
будто Наталье заново предстоит.
Вальс, холодок под платьем от ветерка,
на месте новых многоэтажек – прежние пустыри.
И ладони, теперь шершавые, как наждак,
гладит мальчик, не выпуская из теплых рук,
и не сломан дом, над которым пустой чердак
подставляет щель и ломает ее каблук.

8-9 ноября 2017

* * *

Художница Марья искусно стегает шов
и аппликацию накладывает шутя;
она работает удивительно хорошо,
пока при родах не гибнет ее дитя.

Бухгалтер Мария дотошна в своих ехеl,
она аккуратнее всех проверяет сальдо,
пока небезопасная карусель
не бросает ребенка ее на разлом асфальта.

У Маши – ученики, и она горда,
что часть ее прорастает в каждом ученике.
Но она оставила школу свою, когда
сын ее повесился на чердаке.

У бесцельной этой повести нет конца,
нет особой морали о прочности древних тем.
Мы ее выводим здесь не затем,
чтоб поразить читателя количеством мертвых тел.

Мы хотели внятный, простой сюжет
про банальный жизненный поворот.
Оказалось, за поворотом «от»
ясности больше нет,
ничего не известно о дне за ним.
Каждый волен сам дописать канву.
Что, Мари, дорогая, закончен фильм,
поживем наяву?

30 января, 23 февраля 2017, 27 июня 2018

* * *

Юрию Зернюкову

Волшебнику тоже нужны забота, покой и отдых,
и – не побоимся этого слова – отпуск,
иначе он очень скоро дойдет до ручки,
и магия в нем иссякнет, как тот источник.

1

Вот возвращается Мерлин, а в замке пусто:
ни еды тебе, ни напитка, очаг потушен.
Мерлин не просит много: так, полвилка тушеной капусты
подать на ужин.
Но того, кто для приготовления ужина нужен,
нет в помине.
Мерлин способен воспламенить ползамка,
но ведь хочется, чтобы огонь разожгли в камине
не заклинание пламени, не служанка,
а родные руки.
Мерлин вздыхает:
– Ну и ради какого Артура такие муки?..

2

Вот возвращается Гэндальф к себе в жилище
после тяжелого боя, дорог всего Средиземья.
Дверь открывает, тапки на ощупь ищет...

– Хоть месяцок, – мечтает, – без приключений,
хоббитов, подземелий, эльфийских стрел,
и пускай тут Саурон всех обратит в труху!..
Я слежу за миром круглые сутки веками без продыху!
Мне б давно отойти от дел.

3

Бабушке Василисе, пожалуй, всех тяжелее,
хотя всё-то хозяйство – избушка да садик ветхий
с яблоньками в три ветки.
Она, как мы помним, вообще-то древнее прочих
и носит в себе миллионный объем одиночеств.
Тридцать девять семей своих схоронила, не нажила добра.
В перерывах от помощи очередному Ванятке она бормочет:
– А как я была прекрасна! Да вот беда – не мудра...

4

Как они собираются вместе, и прежних буйных
нравов в их затуманенных взорах с огнем не сыщешь.
Они при лучине жалуются друг дружке,
отложив на время подстилки, соломку, подушки.
(В мире без их внимания стонут горы,
иссыхают реки,
убиваются человеки.)
– Да что говорить обо мне, – изрекает Гэндальф. –
Вон Хозяйка Медной Горы – и та устала. –
Гэндальф кутается в походное одеяло.

5

Волшебник смиренно просит о самой малости:
отвлечься хотя бы изредка от магической круговерти.
Но куда уж!
При кромешной такой усталости,
доводящей порой до злости
даже фей добрейших,
уже не боишься смерти.
Смерти – жаждешь.

Август, 27-29, 2015

* * *

Я живу одна.
Практикую фэншуй.
Никакому гостю не откажу.
У диванчика – стол невысокий для чая, вина, сластей.
У меня тепло.
И, кроме живых людей,
здесь бывает много иных гостей.
...Ольга Васильевна просит, чтобы в кофе был апельсин;
бабушке Наде без разницы, что заварю,
лишь посиди с ней да о чем-нибудь расспроси;
Герман Владимирович пьет воду:
мне, говорит, – успокоиться
пятнадцати лет не хватило,
я вымотан, я без сил.
В уголку прикорнет, нам споет и белёсо растает.
Тамара икону трогает.
Что-то в иконе ее удивляет.
Смерть ненамного страшнее, чем жизнь, – говорит мне. –
Всё тот же Путь.
Но страшно было тонуть.
Деды поочередно ведут беседы
о деревне, скотине, кладбище, картофельном урожае
и спрашивают, когда же я к ним, наконец, приеду.
А бабка Тамара им за меня отвечает:
мол, и при жизни-то редко когда приезжала...
Роджер хватает книжку,
а Бурундук шу-пуэр и – к меду!
Андрей не любит, когда квартира полна народу.
Братья О. вспоминают детство:
станцию лодок, речки Содышки мутную воду...
Есть и такие, кому пока что не доводилось,
адрес мой сжав в кулаке,
оказать мне визита милость.
Но я расставляю цветы, навожу уют.
Так или иначе, все побывают тут.

10 января 2015, Воронеж

ЛЮДИ В БЕЛОМ

Белый мне не к лицу:
не учусь на врача и не стремлюсь к венцу.
Я хожу в разноцветных одежках.
И хотя читаю черные буквы
в белой бумаги книжках,
от столкновения с белым
спешат по спине мурашки.

Подруга звонила бабушке
и огурцов предлагала,
а та отвечала:
«Какие ж теперь огурцы, моя дорогая?
Я умираю».

Бабушка умирала
интереснее, чем у Аркана;
у него с экрана
жизнелюбивый профессор,
тяжело заболев, просил друзей не печалиться,
а признательно (с ним) попрощаться.

Бабушку хоронили,
как хоронят старообрядцев:
саван белейший пошили,
вперед головой выносили...

Прощание с телом
произвело фурор у друзей и соседей:
крышку гроба открыли,
а она лежала вся в белом,
точь-в-точь привидение Каспер,
киногерой девяностых.
Стоит признаться: фокус
вполне себе в духе бабки,
чудачки, неврастенички,
угощавшей творогом с чесноком,
не спалить не умевшей блинчики...

Бабушка умирала,
передавая новому

помощнику управдома
телефоны жильцов, их Ф.И.О.
«Как жаль, – она говорила, –
я начала салфетку
и уже не успею закончить...»
«Врачи, – она повторяла, –
стариков нормально не лечат...»

Мне стало легче,
когда превратились
белёлые образы умирания
в цветные воспоминания.

28 июня – 2 июля 2013, Дивногорье

ВЕНЕЦИЯ

Льву Лазаренко

Откуда колокол и муравьи –
туристы и куда спешит эстет –
спиралькой всё стекается к Сан-Марко.
Здесь вид собора, арки и скамьи
и запах итальянских сигарет –
одна немногословная ремарка.
И ты в ней оказался на чуток,
на красного дешевого глоток,
кратчайший миг, моргнуть при ярком свете.
Моргнуть, слезу смахнуть и дальше плыть
на свой материковый «остров смерти».
Помогут те, с кем вовсе не знаком,
сыр горгонзола можно есть куском,
глаза и ноги трудятся по-рабски.
Цвет ставней подсмотрели у воды.
Не знаешь многого – но это полбеды:
страшнее тот, что узнаваем в маске.

9 февраля, 20 марта 2018, Венеция

Андрей Грицман

Межсезонье

КЕМЕРОВО

Мы сегодня спросили у Бога:
если нету на нас управы,
кто же смотрит в упор и в оба
сверху, слева, снизу и справа?
Но ответом нам есть молчание.
Так и нам залепить бы горло!
Чтобы слышен был клик отчаяния,
чтоб отчаяние не заглохло.
Чтоб, когда и ни зги не видимо,
увидать за пределом жизни
те огни, что горят без имени.
Ну а мы живем, только если
эта мука до нас дотянется.
Боже, имя твое, как звать-то?!
Вот тогда эта боль останется,
если речь сжигаешь, как платье!

* * *

Вере Полозковой

Не мысль, но жест, полет руки и шепот.
Огромных залов нестерпимый ропот
Не заглушает шелест снов души.
Как будто снова мглистой ночи копать,
И строчка женская через бульвар спешит,
Прикрывшись шарфом, лайком и флэшмобом,
Она легко спешит на встречу с небом,
Не внемля клевете корыстных бонз.
В пропахших залах фимиамом, серой.
Они, ущербные, живут без веры.
А по Москве хрустит живой мороз.

* * *

Александр Кабанову

Как от самых краин – с Украины
и с Гудзона. Сквозь зону сквозь сон
мы бредем от таможи к таможе
с чемоданом бездонным
через взлетный пустой полигон
из загона в закон.

Мы идем по секретным айфонам.
Засекреченный светится код.
Мы бредем по чужим полигонам.
Никогда нас закон не найдет:

Ни ОВИР, ДНР, ни Безпека,
INS, ЦДЛ, БТР.
Но стоит до скончания века
наш заплеванный пушкинский сквер.

Мы идем до скончания века
в бесконечно глухие места.
Где нечистая селится сила
и где тлеет костер неспроста.

Там мы встретимся рано ли поздно.
В поле том обгорелом нас ждут.
Там всегда и спокойно, и грустно.
Только слышится дальняя песня,
но и та улетает в пургу.

Сумрак да обгорелые ветви,
Берег несудоходной реки.
Головни и баркасы, и сети.
Мы теперь ни за что не в ответе,
вдох и выдох как звуки легки.

Там к костру подойдут, словно в зоне
кого случай дорожный занес.
Все знакомы, родные нам вроде:
вот Степаныч и дамы в законе.
Еле слышно чего там на взводе
сам Эмильич бормочет под нос.

* * *

Мы будем вместе. Я с тобой.
И ты со мной. Даже когда погаснут за рекой
огни костров поминовенья в рощах.
Исчезнут от деревьев тени ночью.

И он пройдет по саду на зарю.
Шаги мы не услышим поутру.
Когда уснули звери и цветы.
Людьми давно уж сожжены мосты.

И только сад задумчиво стоит.
Еще темно. Одна звезда горит.
И где прошел он, ветка шевелит-
ся. И мы все ждем. Прошло уж много лет.
Река течет, и зреет плод, и стынет след.

* * *

Т. Д.

Межсезонье, — сказала Таня.
Межсезонье, — я повторю.
Предназначенное расставанье.
Возвращение к букварю.

Москва, достать планшет и плакать.
Игру словесную забыть.
Мимо любви в одно касанье,
чтоб в электронное мерцанье
разрыв пространства превратить.

Ну что же, — межсезонье, Таня?
Московский зимний нарратив.
Еще нас ждет Средиземноморье
и гниль Венеции святой.
Какие тут уж разговоры?
Пора понять: куда домой?

Не время игр — не в этой зоне.
Да и вообще — давно пора.
Но, Таня, все же иногда,
когда иду я по бульварам,
и пух летит, июнь, пурга:
кольнет московская игла.

А что подходит к изголовью?
Бульварный шум, базара гам и ГУМа гул,
патрульный вой, зов Ленинградского вокзала.
И режут глаз оскалы скул
в метро последнего разлива,
когда в вагонах никого.

Да и куда нам ехать дале.
Где мы живем теперь-то, Таня?
На чьей ничейной той земле?
Приречной, там где я. Живу я,
давно построил дом в долине.
Там и живу с тех пор поныне,
не унывая в январе.

В июле здесь, пожалуй, жарко.
Вдали Венеция цветет
заплесневелой аватаркой,
зеленой каменной баранкой,
и мертвым островом зовет.
Из-за закатного залива
последний катер отвалил
к далекой пристани вечерней.
И снова опустел залив.

А там и небо почернело,
и боль немного отпустила,
и, может, ты меня простила.
Но я не всё простил, седея,
себе, а времени в обрез.

Такая вышла Одиссея.
Аэрофлот пророчит даль.
Стихи невидимо посеешь,
они вначале голубеют,
взойдут, потом лежат как пыль.

А пальцем проведешь по полке:
Ну, скажем «межсезонье», что ли.
А смысл – как в стогу иголку,
все неразборчиво и – «боль».

Уйдешь, и в опустелом доме
Застыли наши тени немо,
графин с последним алкоголем.
По окнам — чьи-то фары мимо.
Потом судьба просыпет соль.

ТРАНЗИТ

Ю. Л.

Мы идем по тропе невозвратной.
Не хватает минуты присесть.
Не найти нам теперь тех парадных,
где теряли мы юную честь.

А теперь не в чести собираться
пожелтевшие книжки листать.
Одиночки подводного царства
на себя загляделись с моста.

На другой стороне силуэты
наших близких, ушедших давно.
Каждый день вспоминаем приметы
и далекое полотно,

где давно затерялся товарный
среди черных горелых лесов.
Да и ты вспоминаешь, наверно:
Дед Мороз нам когда-то принес —

обещанье, что где-то маячит,
нашу летнюю память навзрыд,
подмосковную хвойную дачу,
этот шаткий измайловский быт.

Слава Богу, что знать нам не надо,
где таится последний предел.
Мы далеко. Но все-таки дома,
и полбанки еще не предел!

А теперь между двух океанов
мы живем. Это, брат, не кино.

Пролетают ничейные страны –
не успеешь заметить кивок

от какой-нибудь незнакомки,
тоже вышедшей налегке,
потерявшей в поисках дома.
Лишь плывут города по реке.

Потому не найти переправы.
Да пожалуй, она ни к чему.
Берег левый становится правым,
как бывало когда-то в войну.

Ну, а нам и она не досталась.
Поколение разъятых сердец.
Но, покрыты одним покрывалом,
спят в обнимку и сын и отец.

Что осталось? Смотреть друг на друга,
так, когда и слова ни к чему.
И шумят где-то наши пороги,
и озера глядят на луну.

Помнишь – временный лагерь в чащобе,
средне-русская полоса.
И далекое низкое небо.
Все прошло, словно в мае гроза.

Но осталась, нам вместе осталась
эта странноприимная связь.
И какая конечная станция
получилась транзитом для нас?

Оказалось – одна нам дорога
по пути огласованных вех.
И какие там, к черту, итоги,
и какой начинается век?

В ожидании последнего слова,
семь десятков – последний галут.
Сердце бьется, чтоб вырваться слева,
чтоб жена ночью пала на грудь.

Мы за нашим столом не скучаем.
Может, кто-то из ближних зайдет.
На холме миражом – Ерушалаим.
Стол накрытый – на будущий год.

9 МАЯ

Я не знаю, о чем вы там помните.
Мертв слежавшийся дух катакомб.
Это памяти крохи укромные.
Те, которых Господь не сберег.

И не нам ковырять, унаваживать
Карфагена просоленный грунт,
и себя постоянно уваживать,
чтобы вовсе навек не заснуть.

Взрыв бризантный рассыпчатым крошевом
засыпает предутренний сон.
Ну, братишка, и как твое отчество,
чей ты будешь, не сукин ли сын?

Так шеренгами жгут поколения
берегами мертвеющий лес.
Так мы дышим продуктами тления,
и ужасен пустующий крест.

Нью-Йорк

Виталий Амурский

* * *

В мороз монета клеилась к стеклу,
Глазок на белом фоне образуя,
И, взгляд к нему пылливо пристегнув,
Смотрел я, помню, в эту амбразуру.

Темнели в ней знакомые дома,
Деревья и, по-зимнему суровы,
Дробились на оттенки и тона
На улице лежащие сугробы.

О, давняя зима, зачем душа подчас
К твоим снегам мерцающим влекома,
Как будто в них оставив свою часть,
Хотя порою было нелегко там.

Нет, не порою даже, а всегда,
Когда внутри всё стыло и снаружи,
А подо льдом, прозрачным, как слюда,
Уже без трещин оставались лужи.

В часы такие ветер затихал,
Но для души отыскивался повод
Припоминать о пушкинских стихах,
Где воспевался схожий с этим холод.

* * *

Ах, книги канувшего времени,
Мне позабыть о них едва ли,
Когда за хлам вручали премии,
А Белинкова шельмовали.

На черном рынке рядом с МХАТом,
В подъезде, на площадке лестничной,
Я покупал стихи Ахматовой
За треть зарплаты своей месячной.

Там были Белый и Цветаева
По ценам, скажем, сумасшедшим.

Всё – так, а всё ж порой вздыхаю я
О том – ушедшем.

О том, как в скучной веренице
Тех лет рассеивали мрак:
Ремарк, «Тарусские страницы»,
Как дождь внезапный – Пастернак...

ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ МАНДЕЛЬШТАМА

Чекистского писаря почерк
Да ваку скрипучих сапог
Средь зыбких отеческих ночек
Неужто забыть бы он мог?

Но дух его птичий и нынче
Тут с кем-то всё время вдвоем
Щебечет: о красках с Да Винчи,
А с Данте – о чем-то своем.

* * *

О, лет военных изможденный лик,
Седая быль змеящихся окопов
И тех солдат, что смерть встречали в них,
Отечество прикрыв от новых готов...

Когда ж сжимала боль слова у губ
И для кого-то замирало время, –
Живые (фотографии не лгут)
Хранили свет, в его победу веря.

Но опускали головы, когда,
Преодолев невиданные беды,
Как очереди к тюрьмам, шли года,
Украшенные флагами Победы.

Забыть ли это, вглядываясь в даль,
Где желтизна исчезнувшего солнца
Напоминает старую медаль
С надменно-гордым силуэтом горца!..

В уроки прошлого, где смерть приходит вмиг,
В свидетельства, что человек – не падаль,
Хотел не раз я вникнуть, но не вник.
Не получилось, и не знаю: было надо ль?

ТЕНЬ

Памяти Ю. Николаева¹

И дым отечества, что горек, как от «Примы»,
И голоса оставленных друзей
Он вспомнил, очутившись в новом мире,
Когда увидел в Риме Колизей.

Чужая речь поблизости гудела
И обжигала жизни новизна –
Казалось, здесь свободе нет предела,
Лишь что с ней делать, в сущности, не знал.

По незнакомым улицам бредущий,
Искал потом он долго дом один –
Тот самый, где роман о мертвых душах
Пером гусиным Гоголь выводил.

Нашел. Была пустой Виа Систина²,
Как вдруг знакомый силуэт возник...
– Вы ль, Николай Васильевич?! – Вестимо, –
Сказала тень, исчезнув в тот же миг.

1. Георгий (Юрий) Николаев (Ленинград, 1947 – Вильжюиф, 2012). Эмигрировал из СССР в 1974 году. Несколько лет провел в Италии, в конце 70-х годов переехал в Париж. Библиофил, библиотечный работник, сотрудник выходившей в Париже под редакцией И. Иловайской-Альберти газеты «Русская мысль»; до развала СССР – распространитель русских книг, изданных на Западе, основатель издательства «Голубой всадник» (Дюссельдорф).

2. Страницы «Мертвых душ» писались Гоголем в Риме, когда он жил на Виа Систина, в доме 126.

Александр Мотт

Сельский пейзаж с избранными праведниками и грешниками

Галечке Орловой

«...в России всё может быть, всё, включая даже то,
чего вроде бы в ней быть не может...»

Юз Алешковский. «Николай Николаевич»

I

Вскоре после окончания вечерней службы церковный сторож Кирилл Шавров пальцами погасил три почти догоревшие свечи, оставил одну зеленую лампадку над иконой Знамения и, заперев за собой кованую входную дверь храма, неспешно расправив на груди давно поседевшую бороду, отправился с легкостью на душе домой, в другой конец села Колесово.

Нерезкий свет октябрьского неба наполнял серые бревенчатые избы и коровники на его пути внутренним уютным сиянием, тайным смыслом чужой жизни, иной судьбы. Пахло скотом, сухой травой и печным дымком вечерних трапез. И ничто не намекало на то, что наша местность издавна чревата чудесами. Лесной нежити и полевых окашек да всяких ведьмаков-леших, домовых и русалок было тут пруд пруди.

Часто в окнах вместо живого небесного света мертвенным электрическим проклятием мигали вспышки телевизоров, тревожившие искушенных в мировых катаклизмах односельчан новыми печальями.

Тут и ударили гулко, но значительно, часовые куранты на звоннице, и поплыла наяву, растворяясь в прохладе близящейся ночи, музыка времени, которой приятно было в этот час дышать.

Оглянувшись, Кирилл увидел, как на горушке, над посеченной ветрами и снегами зим шатровой кровлей колокольни тусклой позолотой мерцает восьмиконечный крест с якорем полумесяца. Церковь была заштатная, и кроме самого Кирилла и горстки старушек-косынок никто туда и не ходил. Заезжие священники служили время от

времени, по престольным праздникам. В основном же только умерших отпевали. Крестить-то было некого. Да и тех, кто доживал свое, оставалось душ с полста, не больше. Храм был поставлен так, что на него всегда днем падал, порой пробиваясь сквозь тучи, луч солнца. Вокруг здания церкви смиренно возлежал заросший бузиной деревенский погост.

Воображением живописца Шавров мысленно внес в темнеющую синеву над куполами монументальное светлое облако и мысленно же заселил его группой упругих, как воздух, ангелов, которые тотчас стали шалить и кувыркаться в вышине, до полусмерти пугая старых кладбищенских ворон. Потом, налюбовавшись, спрятал разгравшихся малышей в невидимую глубину, перекрестился и вызвал в сиреновом сумраке тройной ряд неземных воинов с храмовой иконы «Собор Архангела Михаила», сразу занявших полнеба.

Широкий барабан главы церковки основывался на сводах, перекрывающих подкупольный крест, и покоился на синей жестяной крыше с проросшими кое-где сквозь ржавую кровлю тощими березками. Умное согласие формы и цвета храма когда-то несло в себе гармонию мира его неизвестных строителей. Как-никак – русский семнадцатый век, он даже в нашей глуши и отдаленности от столиц обязывал – хоть нарышкинское, но все-таки барокко! В юго-западном углу храма находилась похожая на пчелиный улей деревянная гробница местного подвижника Антипа-пасечника.

Само здание с годами сильно подзаросло землей и тем несколько лишилось первоначальной пропорциональности, весь храм устало расплзся по густой траве, в которой там и сям валялись толстые куски обвалившейся штукатурки и неприглядный похоронный мусор, но жизнь внутри теплилась, светом зеленых и синих лампадок отражаясь в высоких зарешеченных окнах.

Зимой, когда кладбище наглухо заметало снежными сугробами, весь этот вид мертвенно застывал, как и вся природа, считай на полгода. Другое дело – летом! Летом сердце оттаивало и тоска уходила, а на душе становилось спокойно и благостно.

А началась вся эта история в середине октября, будь она неладна! Лето, кстати сказать, в тот год выдалось необычайно богатое грозами и метеоритными дождями, во всем ощущалось ускорившееся течение времени жизни. Отдельные сенильные персонажи даже высказывали вслух тревожные предположения, что время с некоторых пор не только ускорилось, но повернулось вспять, противоположно привычному ходу. Как у твоего Эйнштейна.

Да их особенно никто и не слушал, и так своих забот хватало у крестьянского населения, а тут еще эти двинутые нострадамусы

местного разлива. Все и так знают, что Россия – это место, где мировая история по-особому преломляется и дальше течет себе по новому руслу, порой до судорог кошмаря другие народы, которым не дано природой оценивать события жизни с иронической позиции героев отечественных будней. Оно ведь сверху назначено – каждому своя задача, выполнив которую, человек исчезает вместе со своими поселениями...

Кириллу частенько приходилось принимать невольное участие в дискуссиях разных горячих голов и в храме, отстаивая, по мере своего авторитета, нелегкую способность человека терпеть и верить. Трудно быть в наше время церковным сторожем. А кому легко? Кирилл же еще и дерзал по наитию писать иконы. Он хранил мечту однажды Великим постом дойти душой до такого состояния, чтобы написать икону при свете, исходящем из глаз в полумраке, как, по преданию, творили изографы времен Андрея Рублева.

Но так повелось, что жители нашего села издавна грешили неимением надежд на милосердие Божие. Народ у нас в селе особой чистотой помыслов не отличался – откуда взяться: почти в каждой семье были свои уголовники и свои диссиденты, а то и, не приведи Господи, головорезы и разбойники. Издавна тут селились, отбыв срока, не только обычные зеки, но и важные уголовные авторитеты – с глаз начальства долой. И каждый порой был по-своему даже счастлив, до конца дней по капле изживая горечь воспоминаний о заключении. Не простое это дело – до смерти жить с таким камнем на душе. От этих переживаний каменеет душа у всей нации, что и говорить! Злодей на Руси, он, как зима, – лютый. Так нашему обществу и привилось непонятное стремление доминировать над прочими народами надменностью и превозвышением того, что у них есть дурного, при всей скудности жизни страны, а не стремлением, скажем, к скромной созерцательности и полезному любопытству.

Кирилл подумывал в последнее время заняться поучением ближних печатным словом, чтобы оставить в записках после своих походов сквозь житейские бури опыт бытия с девизом «где вера, там нет ни страха, ни печали», но руки всё не доходили до бумаги. Да и соседям из-за постоянной занятости крестьянским трудом было бы не до чтения его писаний, им всё и так по телевизору было видно. От и до, как говорят. Во всех цветах радуги.

Село Колесово, кстати сказать, считалась у нас в губернии непревзойденным по правильному отпеванию умерших. Иных покойных к нам, то есть на наш погост, привозили издалека, словно у себя дома им не хватало необходимого сильного сочувствия горю родных. А здешние вдовы бабушки как заголосят, бывало, лазаря жалобными голосками или погребальное Трисвятое, со слезой и

уместно грустной чечеткой, вот отжившему свое человеку и легче становится с душой расставаться. Жизнь-то имеет меньшее отношение ко времени, чем смерть, которая, это козе понятно, безвременна.

Наши плакальщицы с молоком матери усвоили: где оно, время, есть, а где его и нет совсем. «Несут, несут на Божий страшный суд, несут, несут, покойника несут!..» – тоскливо перекликаются дождливым осенним днем из конца в конец села голосистые старушки в туго повязанных на маленьких головах темных косынках, и тоскливым эхом вторит им голый лес.

Был пару лет назад случай, когда один очень пожилой эмигрант, ранее обитатель уездного центра, а в годы гражданской войны пехотный штабс-капитан Борис Прокофьев, аж из самой Америки сподобился прибыть в виде сильно замороженного трупа на такую процедуру, не задаром, разумеется. За все надо платить в этой жизни, но и за мытарства воздушные, в конечном итоге, тоже. А что будешь делать, если ты и Государю императору присягал, и в Красной армии воевал, и в немецком плену пришлось душой кривить перед власовским начальством, а потом и перед американцами изображать из себя жертву коммунизма. Вот такого, поди, и похорони по правилам, а наши-то божьи одуванчики одни только и знают, как это делается, чтобы никому не обидно было.

Солнышко светит, а меня уж нет,
Я лежу во гробе и не вижу свет...

– поют, заливаются. Ну и, в зависимости от того, кто да когда, да почему преставился, идет дальнейший ритуал; порой до полуночи причитают так, что и вправду – над гробом с покойником открывается столбовая дорога в космическую стихию. И такой тоской бесконечной и холодом повеет оттуда...

Всё на земле живет через таинственное касание мирам иным, как писал Федор Достоевский, но и умирает тоже не без этого. Вот у нас в Колесове, например, обычная смерть считалась продолжением жизни и своего рода путешествием в другое любопытное пространство, а не трагедией конца, и покойника принято было прославлять, как счастливого путешественника, выигравшего турпутевку в дальние страны по лотерейному билету.

А к тому же, когда выяснилось, что уважаемый Борис Борисович умер в Бостоне хоть и банкиром, но без надлежащего покаяния, хор наших божьих одуванчиков под управлением случившегося проездом отца Евлогия молитвою на время оживил его для исповеди и

причастия, чтобы потом душа покойного отправилась себе в мир загробный, как положено.

Ну, потом, довольный случившимся, Борис Борисович перекрестился с чувством, закрыл глаза и говорит: «Прошайте, родные старушки. Я всегда относился к женщинам конкретно, а теперь буду вас только жалеть. И никогда я вас больше не увижу!» – дернул в воздухе ножкою в заморском полуботиночке «бриони» раз-другой и опять умер, теперь уже навсегда.

Навек очи закрыты, а душа живет.

А над могилкой соловей поет.

Это, разумеется, был необыкновенный случай. Шесть плакальщиц – в черном – составились за околицей села в шаткую гимнастическую пирамидку из бездумных долгожительниц, подняли, поднатужась, тело бедного Бориса Борисовича на самый верх, поближе к небу, и – пошла душа на суд Божий! Только ее и видели! А тело, конечно, похоронили потом чин-чинарем.

Надо только упомянуть, что построение гимнастических пирамид за околицей для воспарения духом считалось у нас издавна верным способом разрешения сложных проблем жизни... Бывало, встанут перед посевной на плечи друг другу председатель кооператива, бухгалтер, главный агроном да приезжий из центра инструктор в чесучовом кителе, закурят и стоят так с флагом на самом верху, невзирая на непогоду, пока проблема не решится сама собой...

А иные пирамиды из прежних дней и до сих пор попадают на нас там и сям окаменевшими памятниками неразрешимым по-другому загадкам бытия. Да что пирамиды!

Вы загляните как-нибудь с позволения хозяев в горницу и увидите на стене прежде всего поминальник – монтаж из собранных под стеклом в рамку поздравительных открыток и фотографий родственников, а по центру – обязательно снимок чьих-нибудь похорон, где вокруг открытого гроба с потусторонним бликом над восковым носом покойного застыли с гримасами подлинного испуга и горечи близкие...

Был в деревне свой фотограф-энтузиаст Скаженков, без которого людей и не хоронили. Он постоянно совершенствовался в сложных композициях этого печального жанра, а по праздникам издавал сельскую малотиражную газету, о которой расскажем позже, и в уплату за свои печальные труды требовал обычно свежие яйца и, понятное дело, самогон.

У колодца в центре села Кирилл увидел группу женщин с ведрами и коромыслами, окруживших еще одного из примечательных местных жителей, а именно – старого инвалида по имени Иван-Солдатский Крест. Эта личность, известная своими рассказами о войнах и участии в разных исторических событиях, была особенно знаменита тем, что старик Иван не раз оказывался и на том свете, откуда порой приносил невеселые весточки от умерших односельчан и, более того, – их указания и советы, как дальше жить живым. Говорили люди, что и награду свою – потерявший от времени и даже несколько погнутый Георгиевский крестик – получил он не от непосредственного начальства на фронте, а прямо с груди генерала от кавалерии Келлера Федора Артуровича, когда-то первой шашки России, как раз на том свете, за особые заслуги во время одного из таких таинственных походов.

Если пересказать то приключение в двух словах – поведала там, в ином мире, покойная императрица графу Келлеру: есть-де один предмет, бросающий не очень приятную тень на их с государем подлинные чувства, – небольшая, золотая с бриллиантами сигаретница с надписью «Самому дорогому на свете существу – Николаша», подаренная императором еще до брака с Александрой своей любовнице – юной балерине Мале Кшесинской. Но это бы полбеды – да после большевистского переворота попала эта вещица к буйному моряку Федору Раскольникову – одному из вожаков восставшей толпы во время беспорядков в Петрограде в 1917-м, а он по широте душевной возьми и подари ее своей пассии – страстной комиссарше и поэтессе Ларисе Рейснер!

А с той – какой спрос, – богема! Похвалялась она дорогой безделушкой где надо и не надо. Да мало того – в спальных покоях на захваченной матросней царской яхте эта неугомонная Лариса нацарапала конфискованным у царских дочек алмазом на стекле иллюминатора свои инициалы рядом с инициалами императрицы!

– Так вот, граф, вы, надеюсь, помните, что я была в прошлом шефом вашего гусарского полка? – говорит Келлеру Александра Федоровна. – И, как это лучше сказать по-русски, мне уже будет хватит! А потому приказываю вам, невзирая ни на что, немедленно навести историческую справедливость! А то уж совсем обнаглела барышня!

Ну, граф Келлер и обратился с тем деликатно к бывшему сослуживцу – Ивану, а тот и рад стараться: Лариса Рейснер – лихая полубогиня Октябрьской революции, героиня баррикадных боев в Берлине, любовница самого Радека, комиссар карательного отряда матросов в Поволжье, – вдруг умерла, выпив прозаический стакан сырого молока, привезенного понятно откуда понятно кем.

А сигаретницу проклятую никто никогда больше и не видел, и не поминал.

Иван-Солдатский Крест на первый взгляд был корявый пожилой мужик, в полинявшем кителе и камуфляжных галифе, сгорбленный и висящий одним боком на тяжелом железном костыле, но из-под морщин лба и низкой седой челки порой при виде привлекательной женщины радугой вспыхивали голубые глаза артиллерийского наводчика августовского призыва девятьсот четырнадцатого года. Однако, когда он изредка впадал в недельный запой, мальчишки потом долго разыскивали по деревне его разбросанные в беспорядке костыли и протезы, заменявшие отстреленные в сражениях конечности.

В безветренную погоду вокруг неоднократно раненного в прошлом солдата стоял плотный дух полевого лазарета, махорки и оружейного масла, словно ты застрял в керосиновой лавке летним полднем в длинной очереди.

Женское собрание расступилось, гремя ведрами и цепляясь друг за дружку коромыслами. Иван, густо дохнув вбок своей окопной химией, ввел Кирилла в курс тревожных новостей:

– Считаю, Шавров, что теперь это по твоей части. Надо срочно искать сильного батюшку! Появился тут один мрачный покойничек! Придется похоронить по его заслугам, и со всем парадом!

– А отчего ж спешка такая? И зачем с парадом? – без особого интереса спросил Кирилл – Давно, что ли, преставился?

– Ох давно, и не спрашивай! Тут дело даже не российского, а мирового масштаба, если не сказать вообще – вселенского. Осрамиться никак нельзя! – солдат нарочно строго обвел глазами беспокойное позвякивающее помятыми цинковыми и эмалированными посудинами общество.

– И к тому же – страшная тайна! Если раньше времени дойдет слух до властей – всем нам крышка или полный абзац! Пуля дырочку найдет – не вырубилшь топором!

Надо отметить, что у Ивана то ли от завихрений в мыслях, то ли от старых ран головы все поговорки соскакивали с языка с некоторыми, порой не лишенными смысла, искажениями.

– Ладно-ладно, – спокойно, но уже почему-то волнуясь внутренне, сказал Кирилл – Да кто ж это такой будет? Из бывших наших, что-ли?

– «Кто-кто!» – понизив голос, нагнулся ближе к нему Иван и для важности звякнул в пыли ржавыми шпорами на стоптанных сапогах, – Ульянов-Ленин – вот кто! – выпрямился и поднял голову он. – Ну, типа бывший Ленин – мумия из кремлевского мавзолея!

– Иди ты! – не поверил Кирилл, – выдумываешь здесь глупую сенсацию на свою солдатскую жопу, старик! Учти – с Ульяновым-

Лениным не всё так просто! Другого мертвеца уж давно бы страна похоронила, а Ленина – всё нет и нет! Он ведь гражданам начальникам наверху всегда зачем-то нужен! И стерегут его как зеницу ока, верно, недаром! Может, хотят со временем его клонировать на основе засушенных ДНК?

Общество у колодца взволнованно загудело, зашевелилось, забрякало пустыми ведрами. Кто-то из шустрых баб даже вприпрыжку пустился было к магазину – донести до отсталых односельчан горячие столичные новости.

– А ну стой! Стой, колхоз, стрелять буду! – гаркнул по-окопному солдат.

Баба так и встала на месте, крестясь на церковную колокольню через штабель ящиков с иероглифами из-под китайской тушенки.

– А ты, Кирилл, своим умом дойди, – склонился Иван еще ближе к Шаврову, – муму эту самую еще вчера привез из Москвы Вадик Пересыпин, а зачем – он и сам не знает, не помнит, сильно подавшив был. Говорит, продал на Центральном рынке заносчивым москвичам всю прошлогоднюю квашеную капусту. И тут подходит к нему один гражданин хороший: «Абильдяев, – вежливо представляется. – Из бывшего ‘Интуриста’». Слыхали, может быть?» – и предлагает за пол-литра «Столичной» и пиво показать жителю села всю Москву из окна автомобиля. Пересыпин зыркнул – и точно: у того на бейсболке написано почти по-иностранному: «Интурист». Вадик из любопытства возьми и согласись. А бочонок из-под капусты в багажник засунули, чтобы не пропал зря, – не последняя вещь в хозяйстве, особенно ближе к зиме; бочонок-то – дубовая клепка! Понятно: своя рубашка – дальше будешь!

– Ты, Иван, короче давай! – поторопил Кирилл разболтавшегося инвалида. – Тут не квашеной капустой пахнет, а тюрьмой за одни только разговоры. Статья – хищение госимущества в особо крупных размерах и осквернение захоронений, а может быть, и того больше – разорение исторического памятника!

– Да погоди ты, прокурор хренов! Давай я, что знаю, по порядку сперва доложу, а там и решим вместе, кто луч света в темном царстве, а кто – х-р в кожаном пальто!

Бабы вяло замахали на матершинника руками, словно никогда в жизни не слыхали ничего более грубого, но и расположились теснее, как на довоенной курортной фотографии «Привет из Сочи!». Надо всё же отметить, что нецензурная лексика в наших краях, к сожалению, всегда процветала, дополняясь свежими соками тюремного фольклора. Нет бы тебе там какими-нибудь стоящими стихами, а то так всё – прах слов и суета языка!

Информированный инвалид перевесил на костыле затекшее тело посподручнее для разговора и достал из нагрудного кармана своего потертого кителя большой дюралевый портсигар с награвированной шилом военной надписью: «Убил немца – сядь покури!» Кроме того, умелец-фронтовик, делавший такие портсигары из немецких патронных коробок, как мог натурально изобразил на крышке тяжелый бой, где солдаты бросались со связками гранат под танки, а самолеты-штурмовики летели низко на бреющем полете над окопами противника, причем значительную часть батального пейзажа закрывали густые клубы дыма. С обратной же стороны к дюралю был приклепан расплющенный вермахтовский значок «За участие в пехотных атаках на Восточном фронте».

– Значит, приезжают они на Красную площадь, – задымил цигаркой Иван, – глядь, а там на виду у честного народа ряженный под Ленина комедиант какой-то куражится – то кепку свою пролетарскую о землю бросит, то руки подмышки просунет, бородой трясет, картавит, как в анекдоте: «Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась! Товарищи, будем расправляться с буржуями беспощадно! Смерть кулакам! Первым выходит Романов!» – ну, прямо вылитый «Ленин в Октябре», только уж больно тройным одеколоном от него несет... А народ-то вокруг не знает что и делать! История на глазах общества оборачивается кинокомедией! Хихикают, но, однако, смотрят на пожилого нахала с любопытством.

И то – кому рассказать – за Россию обидно! В других-то странах посреди столицы дворец с парком или колесо обозрения, или озеро с лебедями, а у нас мертвяк разлегся себе и лежит весь при параде, – энергично изобразил на публику выражение лица известного покойника Иван. – Вот такие дела, граждане, – был товарищ Ленин, а стал артист народных театров Тарakanов!

– Тише! Тише! Услышит еще кто! – боязливо одернули увлекшегося рассказчика заинтригованные услышанным бабы. – Глянь – вон опять каких-то сволочей городских сюда несет!

И действительно – из-за покосившегося лабаза на углу улицы показалась группа странных, боязливо жмущихся друг к другу существ с барсучьими рыльцами свинцового цвета. Бросались в глаза их потертые до залысин серые шкуры и рваные тряпки на полуголых тощих телах, поросших облезлым жестким волосом, короткие кривые ножонки со свалявшимися кудельками в паху. У иных из оттопыренных задниц вились свиные хвостики. Кое-кто щеголял кладбищенским пластмассовым цветком за длинным стоячим ухом, а один даже транзисторным, давно не работающим приемником ВЭФ на ремне. Еще тоскливее потянуло в воздухе скотом и серой.

Женщины принялись торопливо креститься.

– Вон они пожаловали – подшефные твои, Кирилл, полюбуйся на касатиков!– с ужасом взвизгнул кто-то из толпы у колодца. – Вчерась еще гулять начали за прудом с пьяными русалками! Весь вечер в сельпо за портвейном бегали!

Звероватые пришельцы между тем выдвинулись на середину улицы и принялись, кривляясь, делать какие-то не совсем приличные, хамские даже знаки местным дамам, аж приседавшим в ужасе на корточки от такого внимания. Да и было от чего присесть – у одного крупного чертяки висела на плече, тускло блестя чешуей, русалочья тушка.

Один глаз у Ивана профессионально полуприкрылся и стал безразличен к свету.

– Черти! Снова твои черти в деревню приперлись, Кирюха! А ну – выручай народ, брат! Гони их к иб-ной матери! – с запалом крикнул он Шаврову, взяв свой тяжелый костыль, как ружье, наизготовку.

Кирилл повернулся лицом к безобразной группе, кривлявшейся в пыли, и грозно откашлялся: «Что, сволочи хвостатые, за старое принимаетесь? Сейчас я вам всем отеческое благословение дам на дорожку!» – и распахнул на груди рубаху, где у него еще в первую тюремную ходку был наколот в воркутинском остроге образ «Спас Ярое Око».

По пыльной толпе чертей дернулась электрическая судорога, потянуло паленым. Пьяная русалка соскользнула с плеча своего хахала в дорожную пыль и вяло зашлепала по ней хвостом.

– Кеша! Ну дайте же даме пива! – томно сказала она с земли простуженным баритоном.

– На всякого мудреца – по волосам не плачут! – сухо констатировал бессистемно начитанный Иван. – Ишь как их достало!

Ссылный авва Зенон, писавший еще до революции образа для царской семьи, наколот то изображение на груди молодого Кирилла перед расстрелом – не тушью, не сажей, а своей же твореной кровью монаха, как выучил его один старинный праведник, тоже из воркутинских каторжан, сотворил с особой бесогонной молитвой, спасающей от злых сил и гарантирующей носителю образа непостыдную кончину.

Расстрельный же взвод из псковских новобранцев, в свою очередь, дважды отказывался от команды «Огонь!» тюремного палача и замполита по совместительству, справедливо опасаясь бить по человеку с таким серьезным изображением на груди, – так и проходил Шавров под смертным приговором три года до амнистии, а отказни-

ков-расстрельщиков для науки другим послали на фронт, на передовую.

Поновляя настенные росписи храма, еще в начале перестройки, Кирилл решительно сбил писанные в гоголевские времена нравоучительные когда-то реалистические картины будней ада с его гнусными обитателями, и не только сбил, но и прилежно шуганул молитвою и своей нагрудной иконой сатанинских прислужников. Да видно, не навсегда, потому что тех порой замечали по темным углам или на задворках пивных, которых было в селе аж две. Крутились они в сумерках, издеваясь над бездомными кошками, и около кладбища, наводя холодный ужас на влюбленные деревенские парочки. Не прочь они были и выпить с нашими неразборчивыми в знакомствах алкашами, случалось даже, что сами и выпивку ставили.

— Господин Кирилл, подождите один небольшой момент! У нас есть выгодное предложение: отдайте нам эту, извиняюсь за выражение, мумию господина Ульянова, и мы спокинем ваши негостеприимные места навсегда! Уж нам-то точно известно, куда такие артефакты надо пристраивать. И вам же лучше будет! — прогнусавил самый длинный черт в продавленной велюровой шляпе и, давя на жалость, протяжно высморкался в грязный кулак.

— Тут у вас в лесу есть тайный вход в преисподнюю. Но без Ленина нам туда никак нельзя!

— Ой! Мама! — вдруг закричала тревожно восьмилетняя Зочка Серова. — Глянь-ка: за меня вон тот кучерявенький бис, кажись, сватается! — и показала матери рукой на рогатого молодца с маленькими гангстерскими усами, весело проветривавшего на ветру свои фиолетовые гениталии. — Мам, мам, а кто такой Ленин?

— Мал бис да хвост исть! А нехай бис, милая, лишь бы не пьяница москаль! — степенно рассудила ее мать, Кристя, и посмотрев на Кирилла, засмущалась: — Так то шучу я, шучу я так, Кирилл Алексеевич! Плюнь на черта, донечка! А про Ленина в школе лучше спроси, а то сейчас по-разному про него люди говорят. Не знаешь, что и думать! Ну был один такой...

Но тут же никому стало не до шуток. Кирилл, взявшись обеими руками за свой нателный медный крест, поднял его перед собой в воздух и, страшно напрягшись, выкрикнул слова анафемы. Из темноты его взгляда возник ледяной луч, который насквозь пронзил толпу бродячих нелюдей, сделав ее сначала прозрачной, а потом как бы и совсем растворив в облаке пыли, похожем на то, которое оставляет за собой убывающий в город рейсовый автобус.

Кирилл много чего в жизни видел, много сам потерял, но многого и добился сам. Всего-то жизни его было, что до Финской войны

попал по уголовной статье в тюрьму, защищая на рынке от хулиганов незнакомую молодую женщину, потом из зоны прямо пошел в штрафную роту на Отечественную, а когда вернулся домой, оказалось, что односельчане растащили по дворам казенный гравий, приготовленный государством для прокладывания стратегической дороги Москва—Пекин. Накатили следаки из НКВД. А кто виноват — неважно! Всё равно кому-то сидеть надо. Вот старики деревенские и рассудили: иди, говорят, Кирилл, посиди за народ, ты все равно давно уж дома не был, тебе не привыкать! Он и пошел, а когда вернулся через три года, то стал в большом авторитете у селян. Впрочем, со временем и этот его подвиг как-то забылся, хотя в трудную минуту люди всегда на него полагались, как на последнюю надежду...

— Ну, как-то вот так! — застегнул до горла рубаху Кирилл. — Что там дальше-то, говоришь, с Пересыпиным в Москве приключилось?

— А приключилось с ним вот что, — продолжил свой рассказ не прекращавший всё это время спокойно покуривать Иван. — Этот тургайд Абиляев только было предложил всем вместе с малоизвестным артистом Таракановым сфотографироваться на фоне Кремля, как подкатывает черная машина с проблесковыми огнями, а из нее — люди в белых халатах с носилками — и шашть сбоку в подвал мавзолея в синих сумерках, спешка страшная!

А у одного «доктора» под мышкой торчал еще и веник березовый — ленинские священные мощи в бане парить! Ну и вся охрана внутрь убралась на подмогу.

— Пошли и мы! — воскликнул догадливый Абиляев, — поглядим, раз такая оказия, как знатные мощи мыться повезут. Такое не каждый день увидишь даже в интернете. У нас в Москве этим летом считай весь июль горячей воды не было, даже в Кремле. Дамам и слабонервным вход воспрещен, а вам можно — вы приезжие! Вот и фотография будет — детям посмеяться, тещу поугагать! Айда с черного хода!

Ну, значит, заходят они в мавзолей, а там темнотища, но прохладно, как на овощном складе, и никакого караула — все поголовно суетятся под стеклянным колпаком! Там у них мумия эта с портретным сходством охлаждается. А наши-то притаились в уголке, где венки от вьетнамской делегации кучей попышнее лежали, пока Абиляев свой фотоаппарат из заднего кармана штанов защитного цвета доставал. А артист от холода, по старой уличной привычке, тяпнул из своей железной фляжки дешевого одеколону — для дезинфекции, как он объяснил, — и басом вовсю заголосил:

— Смерть Антанте! Перевешать всех попов и монахов! Вырезать поголовно царских офицеров с женами и детьми! Даешь кровавый

пролетарский террор в ответ на интервенцию англичанам и французам! Покажем американам кузькину мать! – у него в закрытом помещении это особенно гулко, как-то очень даже по-ленински получилось.

Жутко! Чистый Вильям Шекспир! А тут еще Абилядьев дуэлетом полыхнул вспышкой своего «кодака» – дрясь! хрясь! Как бритвой по глазам!

От неожиданности у секретных медиков руки с носилками и перекошились – ну, и ах! – священная мумия бывшего вождя мировой революции с противным стуком и упала с высоты пьедестала прямо к ногам Вадика Пересыпина. Здравствуй, кошмарище!

Немая сцена в мавзолее длилась недолго – проворный, как кошка, Абилядьев схватил неживого Ленина в охапку – потом все удивлялся, какой он ветхий и легкий! – а на место мертвеца пихнул локтем неотличимого в полумраке от оригинала артиста, и так уже еле стоявшего на ногах.

Тараканов, устав кривляться, тяжело упал, как спиленная зеком сосна, и вся пирамида траурных венков от братских компартий разъехалась с треском поверх него, словно так и надо.

Самое время было рвать когти! Пока незадачливые мойщики трупов и охрана откапывали вдрызг пьяного артиста, Абилядьева с Вадиком и «мумой» уже и след простыл. Впрочем, какой же у мумии след – так, одно туманное воспоминание!

В машине только и сообразили, что произошло и что с таким пассажиром – весь формалином или черт его знает чем пропах – особенно далеко не уедешь. Сотрудники дорожной полиции этакий запахевиц по уставу не одобряют – им для этого даже Менделеевы таблицы, честно говоря, не очень нужны!

Пересыпин сгоряча предложил засунуть покойного Ильича с головой в дубовую кадку, чтоб тот не сильно благоухал. Абилядьев, недолго думая, согласился. Поехали прямо на вокзал к ночному поезду на Вологду.

Вадик, одурев от московских впечатлений, испуганно слушал, как в кадке стучат о дубовую клепку сухие кости верного последователя идей Маркса-Энгельса.

Стоя в пробке, Абилядьев поддал страху, рассказав, как известный скульптор Меркуров, в январе 1924 года снимавший посмертную маску с Ленина, вдруг почувствовал, что у него под руками на виске покойника отчетливо бьется пульс! В ужасе он кинулся с такой новостью к рыдавшей без усталости вдове – Надежде Крупской, но убежденная материалистка сказала ему сквозь рыдания:

– Да все понятно – Ильич умер, но разум его живет! Продолжайте ваять, милостивый государь! Пролетариат всего мира ждет портрет своего вождя!

А саму Крупскую Иосиф Виссарионович вообще припугнул капитально, стгоряча пообещав, что они найдут Ленину другую вдову, если она что-то не по-сталински в истории попробует интерпретировать.

Припомнил Абильтяев и другой случай из того времени. Прорвало на Красной площади старую канализацию, ну подзатопило ее нечистотами аж до самого мавзолея. На что тогдашний глава Церкви патриарх Тихон сурово заметил: «По мощам и елей!»

У Пересыпина от рассказов эрудированного экскурсовода в ужасе шевелились остатки волос под потрескавшейся дерматиновой кепкой.

Приехали к трем вокзалам, а там по радио комендантским злым голосом громко на всю площадь и объявляют: водитель серых «жигулей» номер такой-то срочно проследуйте в кабинет дежурного по Ярославскому вокзалу! Как раз абильтяевский номер называют.

– Ну, Вадим, раз так, давай прощаться! – говорит Абильтяев. – Дальше уж ты сам смотри, что делать, как говорится! Всё ж Москву я тебе показал – не всю, конечно, но как вижу – тут теперь большой шухер начинается! Так что, дорогой, вали-ка отсюда подобру-поздорову, пока не поздно. Да позвони мне, как доберешься до дому до хаты или открытку какую-нибудь черкни, вот мои координаты, – и вручил Пересыпину, утомленному столицей, замусоленную игральную карту с обугленным краем.

– Это ерунда! – сказал он, перехватив обиженный и недоверчивый взгляд провинциала. – Это я давеча одному гаишнику на ветру прикуривать давал, а спичка была последняя, вот и пришлось бизнес-картой пожертвовать ради свободы личности, так сказать!

На тыльной стороне бубнового туза и вправду были какие-то координаты нового знакомого.

– В общем, земля по периметру – круглая, говорят, еще увидимся! – заверил Вадима, подозрительно оглядываясь по сторонам, экскурсовод.

– Ладно, – согласился Пересыпин, – только фотку из мавзолея не забудь прислать – нашим в селе любопытно будет посмотреть, как это все у вас в столице быстро делается!

– Не бэ, погрузимся! – сопел Абильтяев, помогая неповоротливому селянину взгромоздить на верхнюю полку купе емкость с бывшим Ильичом и заодно купленные заранее городские гостинцы. –

Вы, братцы, там на природе прихороните его где-нибудь с бочкотарой вместе!

Уже сидя в вагоне и опростав с устатку четвертинку под докторскую колбасу, Вадим полюбопытствовал, что там значилось на этой визитке бойкого москвича:

*Туристическая контора «По периметру»
(бывший «Интурист» в гостинице «Метрополь»)
Ибрагим Модестович Абильдяев*

– Впечатляет! – подумал Вадим, почти засыпая под стук колес. – Ишь ты – Модестович! Солидный, выходит, дядечка, а так, по виду, и не скажешь.

Он почему-то вдруг загрустил и расстроился, надолго задумавшись о своем в общем-то рискованном походе, а когда выглянул за окно, то не поверил глазам – в темноте вровень с поездом лупила по дороге тройка вороных, запряженная в пролетку, битком набитую машущими шляпами и что-то орущими пестро одетыми людьми.

– Видать, отстали от поезда землячки, – посочувствовал незадачливым путникам Вадим.

– Стой! Погоди! Тормозь, сволочь ты эдакая! – даже сквозь стекло вагона было слышно, как они отчаянно кричали невидимому машинисту и грозили в воздухе большими волосатыми кулаками.

Поезд на минуту приостановился, с железнодорожным лязгом и душераздирающим визгом открылась дверь в вадиково купе, и на пороге появился моложавый хмельной цыган, буйно тряхнувший завитками нечесанной головы и ослепительно полыхнувший под светом купейной лампочки полированными золотыми зубами.

– Музыку ты заказывал, душа-человек? – задыхаясь, спросил неожиданный кудряш. – Как тебя звать-то? А? Вадим? Не-е-е, ты сам на цыгана похож! Я тебя лучше буду *Серегой* звать!

В руках у него ходуном ходил большой итальянский аккордеон, на малиновом перламутре которого перед глазами Вадика красовалась медная табличка с надписью курсивом:

Цыгану Жоржику Вантесову от подружек по табору.

Экзотический пассажир протяжно и брезгливо втянул в себя густо пахнувший квашеной капустой и ленинским формалином воздух, утвердительно кивнул сам себе и начал, рванув меха инструмента: «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, / Необычайным, цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг!..»

И в такт солисту-певцу из вагонного коридора с грохотом бубнов и прищелком крепких каблучков ахнул во всю глотку низкими наглыми голосами бродячий хор. Зазвенели латунные мониста, закачались, бросая по стенам волнующие тени, крупные бюсты и буйные локоны.

«Есть упоение в бою и мрачной бездны на краю!» – ни к селу ни к городу вспомнилось Вадиму из Пушкина, и он стал подпрыгивать задом на скомканной жесткой постели и хлопать в ладоши в такт ночным певцам.

Жоржик, низко приседая под тяжестью аккордеона и ухая, долго плясал впрыскаду и со знанием дела довел чувствительную песню до конца.

Потом, словно по волшебству, косооглазая проводница в помятой льняной форме принесла в графине разбавленного спирта.

– М-м-м! Royal? – авторитетно узнал по запаху теплую бурду плясун. – Угощаешь, значит? – и залпом осушил стакан, напоследок лихо выдохнув в него мутное облачко горячего алкогольного пара.

По первой и прочие выпили за знакомство, а закусили одним и тем же жженого сахара петушком на палочке, лизнув его по очереди.

– Вижу, дорогой, ты какой-то ценный груз везешь! – интимным басом сказала, благоухая спиртным, носатая старуха и, махнув в воздухе пестрым ивановским платком, обвела тяжелым взглядом купе сверху донизу. На ее высокой груди убедительно мерцали целых три ордена «Мать-героиня».

– Позолоти ручку, красивый, всю правду тебе расскажу – что было, что будет, чем дело кончится, чем тело молодое успокоится... А нет – тогда зарезу и всё! – чиркнула она по своему жилистому горлу рукой в холодно шелкнувших крученых браслетах. Все вокруг замерли.

Вадик со страшным предчувствием прижал к груди вспотевшие вдруг руки с зеленым граненым стаканом и зажмурился.

– А посмотри-ка мне в глаза, касатик! – жестко потребовала старая ведьма и вверх-вниз пошевелила мохнатыми, как усы, сросшимися бровями, отчего грозно звякнули и ее тяжелые серебряные серьги, и золотые ордена.

– А ты взгляни на меня хоть один только раз!.. – истерически задышал Жоржик аккордеон, и слаженный хор в унисон прорычал хищно: «Ррррааазззз! Рррааззз! Еще раз!..»

– Да ты не жмотничай, Серега! – подбодрил, присняв тяжелый инструмент с плеч, музыкант. – Доставай-ка свою капусту и наливай артистам по второй, мы ведь с полудня на ногах, всё тебя искали, заждались! Нам без твоей капусты – хана! А я пока покурить на минутку в коридор выйду. Жди меня, и я вернусь!

– По второй! По второй! – притворно обрадовались цыгане и, окружив Вадика, потянулись стаканами к графину: – Бравинту давай! Капусту давай! Закуску давай!

– Не дам! – твердо сказал Вадим. – Петушками своими закусывайте, чавелы!

– Э-э, злой какой! – добродушно хохотали, морщась и тряся бородами, хмельные цыгане. – Сердитый – страсть! Прямо, Гитлер натуральный!

А один проворный цыганенок, взлетев на верхнюю полку, стал там по-наглому шарить и ковырять кривым ножиком клепки бочонка, принюхиваясь, а потом гортанно крикнул в открытую дверь купе:

– Есть! Тута! Кажись, оно самое, барон! Чистая химия!

Так называемый барон – Жорж Вантесов, качаясь от спирта и вагонной тряски, вышел в тамбур, достал из-за пазухи своей ярко-желтой в муар шелковой рубаше никелевый теплый телефон и гордо отпаровывал:

– Третий на связи! Вся бригада в поезде. Преследуемый на контроле! – а выслушав ответную угрожающую тираду невидимого начальника, зычно доложил: – Кажись, нашли! Так точно! Будем брать! – и с удовольствием закурил толстую сигарету «Тройка».

– Может хотите в картишки от скуки перекинуться? В очко-с, например? – вмешался, треща колодой у Вадикиного носа профессорского вида седой цыган в синей в белый горох рубаше и дымчатых очках. Карманы его широкого брезентового пыльника заметно оттопыривались от нераспечатанных пачек крупных банкнот. – Или, скажем, в тринку или секу?

– Так у меня-то денег совсем нету! – испуганно соврал Вадик. – Лавэ да нанэ! – добавил он, что знал по-цыгански.

– Вот беда! Ну ладно, мы никого за уши в рай не тянем! А на интерес нам таборный закон вообще играть запрещает! Так не изволите ли что-нибудь из багажа на кон поставить, или, может быть, что там у вас есть... – поднял серьезный человек умные карие глаза на багажную полку. Колода карт нервно трепетала у него в руках, словно вынутая из клетки канарейка.

– У меня там ступа с бабою-ягой есть, ну и лыжи есть. Финские. Вы катаетесь на лыжах? – робко спросил Вадик, которому неизвестно почему вдруг очень захотелось рискнуть в картишки с интеллигентным цыганом.

– Катаемся, катаемся! И на лыжах катаемся, и на санках катаемся! – серьезно уверил его тот, уже небрежно-мастерски сдавая карты. – А как же? Вон она нас и катает, – указал он курчавым подбородком на недобро сверкавшую глазами из угла купе старуху.

– Давненько не брал я в руки пташек! – попытался острить, дрожа от азарта Вадим.

Через полчаса игры спирт из графина был без лишних тостов допит. Послали к проводнице цыганенка за новой порцией. Вадик, как под гипнозом, а может быть и под гипнозом не сводившей с него глаз носатой ведьмы, быстро проиграл в очко все с любовью купленные домашним в Москве подарочки. Старуха ловко открыла новую пачку папирос «Беломорканал».

Из коридора вернулся Жорж, сменил уставшего от легких побед «профессора» и небрежно предложил поставить на кон последнее – бочонок с таинственным содержанием – против его аккордеона.

Как во сне Вадик вдруг увидел, что к единственной своей выпавшей на простыню карте – трефовой десятке – цыган откровенно тянет из шелкового рукава трефowego же туза!

– Э! Любезный! – пронзительно закричал он, не ожидавший такой наглости от своего противника. – Это что же вы? Это же жульничество чистой воды! Какой же вы после этого барон? Выходит, вы мошенник, а никакой не цыганский барон!

– Что?! Да как ты смеешь меня называть мошенником, сямка дешевая! В тюрьме будешь молодых учить! Ты что, думаешь, я сам не знаю, что передергиваю? Знаю, брат, точно знаю! Но очень не люблю, когда мне такие, как ты, фраера об этом вдруг замечают! – вскочив с дивана, на котором шла игра, замахнулся на Вадика густо татуированным кулаком внезапно озверевший Жоржик.

– Ты сам, Серега, в карты играть не мастак, ты – баран в очко играть, Серега! Тебе еще учиться, учиться и учиться, как завещал великий сам знаешь кто!

– Ну да ладно тогда! Забудем! – испуганно сказал Вадим. – Мне сдавай! Поглядим, что судьба пошлет. Карту давай!

Цыган выбросил ему десятку бубей и, недобро засмеявшись, дал ценный совет знатока:

– Нэма бубей – ел-ю бей!

– Еще карту! – сухо потребовал Вадим и неожиданно понял, что ему надо делать!

Он свободной рукой нашарил в смятом вагонном белье абильдяевскую обутленную визитку и, незаметно для прочих, подменил ею сброшенную цыганом на кон рубашкой вверх шестерку пик.

– Туз!!! – гордо продемонстрировал он оборотную сторону визитки московского пройдохи сразу поникшим зрителям. – Туз Модестович! Очко! Гони аккордеон, чавела!

– Ах, ты вот как? – не поверил своим глазам посрамленный цыган. – А ну, сволочь, пойдём-ка выйдем на минутку отсюда! – и

насиленно вытащил дрожащего от азарта и испуга Пересыпина в коридор. Прочие цыгане застыли в купе в напряженных позах.

И что тут началось!

В дальнем конце вагона из темноты на свет вдруг резко вышел невысокого роста человек с жесткой белозубой, как у Бельмондо, улыбкой и густыми темными бакенбардами. Он был одет в черный полуфрак в талию, высокий цилиндр и плащ с пелериной.

– Pardon! Посторонитесь-ка, сударь! – холодно сказал наполовину по-русски столичной красоты щеголь очумевшему Вадиму. – Вы мне перекрываете директрису выстрела!

И Вадим вдруг понял, что это сам Пушкин! И что в руке у него ни что иное, как тяжелый дуэльный «Кухенрейтер». Вне себя от восторга Вадик пал на колени перед отважным поэтом.

– «Вот пистолеты уж блеснули»... Так вот, значит, почему вас в могиле нету, Александр Сергеевич? – залепетал очарованный видением пьяный Вадим, моляще протягивая к нему руки. – Вы, значит, теперь призраком в поездах дальнего следования работаете?

– Ну, вот вам и Пушкин! Без Пушкина в России уже ничего и не обходится, даже во сне! – с ревностью фыркнул Вантесов, яростно нашаривая табельное оружие в глубоких карманах своего бархатного галифе и одновременно пыжась прикрыться аккордеоном от выстрела.

– Успокойтесь, Жорж! Это вам от меня за всех русских дам! – пророкотал Александр Сергеевич и навскидку влепил прямо в лоб коварному аккордеонисту свинцовую пулю величиной с лесной орех. В воздух веером брызнули веселые цветные перламутровые осколки.

Вантесов упал бездыханным, лицом на пол. Аккордеон на полу невнятно баякнул.

– Убил, убил-таки эфиоп проклятый нашего Жориньку! – завизжали высунувшиеся из купе на звук пушкинского выстрела цыганки и, звеня браслетами, стали разгонять пороховой дым.

А когда дым рассеялся, в вагонном коридоре почему-то уже никого не оказалось.

– В шестом часу утра поезд подкатил к Вологде, и Вадим в ужасе от происшедшего ночью проснулся... – задумчиво приостановил свое сумбурное повествование Иван-Солдатский Крест, заметив, что его самокрутка погасла, и стал охлопывать карманы в поисках огня.

– Не устал фантазировать, служивый? – сочувственно поинтересовался Кирилл, протягивая инвалиду спички, которыми зажигал в храме свечи.

Иван отрицательно покрутил головой и, с новой силой затягиваясь своей махоркой, продолжал рассказ.

– Настя Пересыпина – верная подруга Вадима еще со школьной парты, истерически любившая своего выпивоху мужа и считавшая, что по сравнению с одноклассниками ей в жизни повезло, – как и обещала, приехала встречать его на мотоцикле «Урал» с коляской, чтобы везти домой подарки из Москвы, по списку, составленному длинными зимними вечерами. И чего только в это списке не было: и лаковые сапожки, и малиновые стеганные пальто на утином пуху, и кофе «Иллис», и компьютерные игры для детей, и индийское лекарство от повышенного давления, и даже лыжи!

Первыми на перрон стали выскакивать цыгане: кто с большой жестяной кофе, кто в дивных сапожках, кто – в пуховом стеганом пальто, кто – с финскими лыжами в руках! А одна бровастая старуха вышла по-детски осторожно, бочком, не отрываясь от экрана iPad!

– Кажись, кучерявые нашего Вадимчика грабанули! – ахнула догадливая Настя, заглушив мотоцикл и нарочно громко топая резиновыми ботами по лужам, побежала вслед злодеям и заорала:

– Эй вы, чавелы! Ромалы! А ну, стой на месте! Милиция, которая полиция! Лови, держи воров!

Однако представителей силовых структур в этот час на перроне почему-то не оказалось. Цыгане с чужими подарками шустро кинулись по-воровски врассыпную, а из вагона, последним, грустно улыбаясь, показался бледный Вадик в обнимку с дубовым бочонком.

– Хорошо хоть живой приехал! Заждалась тебя! – обняла его Настя и, сняв, наконец, забрызганный грязью проселочной дороги мотоциклетный шлем, крепко поцеловала мужа.

– Не умею объяснить, что это такое со мной было, – говорил ей дома, когда страсти встречи улеглись, уже пришедший в себя Вадим. – Надо бы со знающим человеком посоветоваться!

Настя и сбегала за Иваном-Солдатским Крестом, а Вадик ему, не стесняясь слов, некоторые из которых не годятся для печати, поведал свою историю торговли квашеной капустой...

Где-то за околицей тревожно гудела угодившая в глубокую колею легковая машина. Задушевно мычали после вечерней дойки довольные коровы, куры устраивались на ночлег, устало квохча после дневной любовной суеты. Кирилл глубоко призадумался...

– А пошли-ка навестим одного особенного человека, – решил вдруг Иван и кивнул в сторону темневших в отдалении на фоне неба развалин, – один ум хорошо, а счастье лучше!

Они двинулись в сторону обгорелого еще при царе Петре осинового сруба, в недрах которого находилась глубокая земляная ям-тюрьма, известная своей печальной историей.

Со времен царствия Алексея Михайловича в России повелось разного рода бунтарей и недовольных жизнью провидцев изолировать от общества в таких темницах. А тех, которые нахально писали книги о горькой судьбе России или публиковали свои писания за рубежом, без всяких судов привозили под конвоем в наше далекое от столичных проблем Колесово. Традиция пошла с тех давних времен, когда бедный горемыка протопоп Аввакум содержался здесь в XVII веке, увещевая из темноты и смрада ямы царя и патриарха Никона в отступничестве от старых религиозных обрядов.

Здесь его и сожгли тогда же вместе с единомышленниками, упокой, Господь, его душу!

В нашей местности даже закрепились с тех пор норма – регулярно, раз в три-четыре года, выбирать самого неумного критика режима и сажать в эту поганую яму.

Спустя годы его писанину с брезгливой враждебностью публиковали малым тиражом, в назидание новым поколениям патриотов. Но горячий тон запрещенной когда-то литературы уже остывал, осаждаясь на страницах бедной книги лишь паром отечественной грамматики, любопытной более для ушлых академических филологов и для тех начальников, которым по чину всегда было разрешено читать крамолу и на десерт позволявшим себе полакомиться запрещенными для прочих перлами опальных писателей, а порой и блеснуть по секрету этими перлами перед притворно восхищенной его «бесстрашием» юной любовницей-секретаршей.

В некоторых слоях нашего общества до сих пор бытует уверенность, что такое отлучение писателя от мира считается даже лучше, чем международное признание и награждение его какой-нибудь литературной денежной премией.

– Властям не угодить – дело нехитрое! А ты вот стань-ка художественным писателем по колено в собственном дерьме, тогда я тебя и почитаю! Да? – неуверенно сказал Иван Кириллу, стараясь идти с ним в ногу.

– А есть ли в яме кто-нибудь живой сейчас? – поинтересовался Кирилл. – Я давно там не был.

– А как же! Сидит один, бедолага, – хромая и задыхаясь от быстрой ходьбы, доложил Иван. – Третий год мается. На второй том собрания сочинений пошел. Глядишь – он нам и поможет!

– А по фамилии они – господин Голицын Глеб Борисович. Из бывших физиков! – раздался вдруг откуда-то сверху из темноты низкий голос. – Но сам себя любит Фомой звать. В честь Фомы Опискина, помните у Достоевского? Куда путь держите, господа хорошие?

Шавров поднял голову и в сумерках увидел, что с ним разгова-

ривает белобрысое изваяние голого человека в длинных красных трусах, до того недвижно стоявшее на постаменте бывшего памятника Ленину-малютке на краю сквера с сильно объединенными козами кустами жимолости.

– А, вот и Монтраше откуда ни возьмись появился! – приглядевшись, узнал вдруг ожившего статуя Иван. – Ну, здорово, брателла, а пошли с нами, навестим страдальца за правду!

Статуй, названный именем славного французского винца, тяжело, но ловко спрыгнул с постамента на замусоренную окурками и пивными пробками землю, звякнув при этом авоськой с пустыми бутылками.

– Я уж тут ночевать собрался, а вы идете! Давайте-ка тогда к Дозе в лавку заскочим – хоть какой гостинчик Фоме от народа снести, – горячо предложил Монтраше. – Он, бедный, перцовку очень уважает! Даже никогда не закусывает ее. Как раз сегодня завезли!

Отправились в магазин. Босой, привычно размазывающий по сизому татуированному телу шлепки осенней грязи, Монтраше широко шагал впереди в известном с юных лет направлении.

Он был деревенский философ и пламенный проповедник смеси раннего конфуцианства с поздним стоицизмом. Экзотическая каша мировоззрений, равномерно в течение многих лет и передряг судьбы подогреваемая дешевым алкоголем, дала на примере личности этого Монтраше удивительный результат: тощий голый старик, таскавший даже зимой босиком по снегу и ледяному бездорожью из деревни в деревню, слыл местным мудрецом и никогда не болел никакими болезнями, а наоборот, лечил своими знаниями травника других. Он даже рисковал иногда нарочно, задерживая дыхание, надолго застыть в глубине январской крещенской проруби с подхваченным со дна золотым крестом в зубах, чтобы потом выскочить на лед, на ужас и восхищение замерзшей во мраке толпы в тулупах и батюшки Евлогия с заиндеветшей бородой, и только жилистое сердце бродяги еще горячее колотилось в седой татуированной груди*.

А происхождение звонкой клички – Монтраше – было такое. Как-то собирая возле железнодорожного пути пустые бутылки и окурки, он подобрал одну диковинную, с длинной нерусской надписью на желтой этикетке.

– Это, месье, вам «Puligny-Montrachet» найти подфартило! Вон там на доньшке еще капля осталась. Попробуйте! – посоветовал ему старый слабоумный бомж, живший круглый год под станционным пер-

*Старинный русский обычай – в праздник Крещения Господня (19 января) в полночь нырять в ледяную прорубь за наперстным крестом, со значением брошенным туда священником. (Прим. автора)

роном и не расстававшийся в своем злосчастном положении с потрепанным томиком Пруста на французском языке. Тот попробовал, и с тех пор прозвище «Монтраше» заменило ему все прежние биографические данные. Он стал страстно интересоваться историей великих вин Франции, собирая где попало сведения об их качествах и вкусе из обрывков отечественных газет и иностранной прессы. Будучи в душе человеком сентиментальным, он долгое время, пока не потерял, даже носил в котомке с пустой посудой и целебными травами газетную фотографию Анны-Клод Лефлав – симпатичной владелицы знаменитой виноградной лозы, производящей божественный напиток.

Обширные самообразовательные познания в нюансах профессии сомелье создали Монтраше твердый авторитет в среде люто пьющих местных бродяг. Особенно полезной эта гурманская информация оказывалась, когда по бедности снабжения магазинов им приходилось даже в Рождество довольствоваться такими, с позволения сказать, напитками, как спиртовые отжимки тормозной жидкости или антифриз. А когда дело доходило до неизвестных, а тем более китайских марок денатуратов, тут уж без Монтраше пьющие авторитеты нашей деревни никак обойтись не могли. Бесстрашный дегустатор, испытывший на себе за долгую жизнь массу химических эквивалентов алкоголя, легко отличавший по запаху шатурскую водку от кольчугинской, а тем более от александровской, часто спасал неразборчивых, торопящихся опохмелиться мужчин, толково объясняя страшные последствия опрометчивых возлияний:

– Если мы возьмем пожарное ведро клея «БФ» и, круто посолив, провернем его фрезой на скорости 1500 оборотов в минуту, то, по отделении свернувшейся массы, получим спиртосодержащую эмульсию, способную на короткое время облегчить тяжелую муку похмелья. В дальнейшем препарат начинает воздействовать на обычного человека следующим образом: возникают нервные судороги, пропадает слух, растет кровяное давление, прогрессирует потеря зрения, кожный покров становится сине-фиолетовым и через полчаса – паралич сердца или инсульт, на выбор. Желаящие есть? Самое же интересное: если твой организм и выдержит такое надругательство над собой, то сознание – наоборот! Тебе такие живые картины ада в трехмерном изображении привидятся, что перед ними все фильмы ужасов будут, как мать Тереза по сравнению с саудовским террористом-смертником!

Но иногда доброжелательная мудрость Монтраше не действовала на слушателей, и тогда, для подтверждения своей правоты, он вдумчиво перефразировал размышления также высоко ценимого им Марка Аврелия: «Душа сохраняет свойственную ей шарообразную

форму, когда не тянется за чем-нибудь внешним (вроде калужского денатурата) и не стягивается вовнутрь (как перед стаканом мужского одеколona «Шипр»), но излучает свет, в котором она зрит истину как всех вещей, так и таящуюся в ней самой!»

– «Душа, свободная от страстей, есть твердыня, ибо нет у человека более надежного убежища, скрывшись в которое, он не боялся бы погони», – упрямо гнул свою линию Монтраше, беспечно позвякивая стеклопосудой по дороге к магазину.

– Это верно только наполовину, – вздыхал Кирилл. – У нас есть такой Бог, которого у Марка Аврелия еще не было и в помине! В России вообще много разных способов выживания имеется. Мы уж, считай, тысячу лет все как-то выживаем!

– Точно так, – поддакнул Иван-Солдатский Крест. – Если гора не идет к Магомету – полюбишь и козла!

Магазин, несмотря на поздние сумерки, был еще открыт. Входное крыльцо было чисто выметено и недавно помыто. Полы внутри тоже еще блестели после уборки и пахли сыростью.

Авдотья Лукина была в нашем селе не меньшей знаменитостью, чем ковылявший между тем и этим светом Иван-Солдатский Крест или беспокойный Монтраше. Унаследовав от матери место продавца в единственном на всю округу магазине и лестное прозвище «Доза», она была своеобразным очагом культуры, даже музой кружка люто пьющих сказителей, потому что перед тем, как отпустить очередному трясущемуся с похмелья покупателю дозу спасительного поутру алкоголя, она настойчиво требовала от доходяг каждый раз все нового и нового рассказа из их жизненного опыта и походов, делясь потом этими порой немыслимыми для непьющих сведениями со своими подругами. Иногда невероятные рассказы бывалых людей производили на нее такое сильное впечатление, что она отпускала сказителю четвертинку водки бесплатно, в зависимости от драматичности столкновения характеров и красочности повествования.

Это случалось, конечно, крайне редко, хотя русскому человеку всегда есть о чем волнующим рассказать в предвкушении возлияния, а также во время этого непрерывного бытового процесса. И Авдотья, похожая внешне на богомолку времен преследования староверов, строго глядящая в поведенные пьянством умоляющие глаза рассказчика, переживая психологические завихрения необыкновенных ситуаций, казалось, превращалась за магазинным прилавком в матерого литературного критика и благодарного слушателя одновременно. Особое удовольствие доставляла ей беседа с настоящими художниками устного словотворчества – у нас в селе их, честно гово-

ря, не так уж и много оставалось. Но Иван-Солдатский Крест не раз приводил Дозу в изумление от человеческой наивности и жестокости своими военными байками:

– Представьте себе на минуту, уважаемая Авдотья Сергеевна, апрель сорок пятого года. Пригород Берлина. Горящий четырехэтажный дом. По улице под нами отступают, отстреливаясь на ходу, бронемшины. На верхнем этаже – над нами — бьется насмерть взвод эсэсовцев, до зубов вооруженных фауст-патронами и штурм-геверами. А наш старшина Жмуров, полный кавалер Ордена Славы, поставил раком на балконе обезумевшую от всего этого апокалипсиса толстую, отчаянно визжащую голую немецкую фрау и, охаживая ее, одновременно одной рукой стреляет из ротного пулемета Дегтярева, а в другой дымится американская сигара, и слушает, как наш каптерщик читает ему вслух праздничную передовую статью из полковой газеты «Ни шагу назад!». До половины сигару не докурил – глядь, а немочка уже мертвая... Да-а, кажись, мы все там, каждый по-своему, умерли на той проклятой войне – и правые, и виноватые! Хотя оно, это как посмотреть еще – кто умер, а кто просто отчасти растворился во времени. У мертвых, знаете ли, другие обозначения для всего, – грустно закончил свою байку Иван, протягивая Дозе через прилавок широкую, намозоленную костылем ладонь – за четвертинкой.

В магазине в этот поздний час не было покупателей, только усталый за день пожилой грузчик Сапрыкин поил в углу молоком из дулевого блюдечка полосатую кошку Басю, и сама Доза, устало щурясь в материнских очках с неправильно подобранной диоптрией, под 40-ваттной лампочкой перебирала товарные накладные. Пахло хлебом, соевыми конфетами и еще чем-то терпким, обещающим близкую сытость и блаженство.

– «Благородный муж, совершенствуясь в самом тонком и неуловимом, доводит себя до зенита изысканности и озаренности», – издалека вкрадчивым баском начал было Монтраше из Конфуция.

– Ближе к делу! Ты что, как всегда пьяный в дымину? – грубо урезонила его Авдотья. – Мне магазин уже закрывать надо! А он тут в одних трусах свою азиатскую философию разводит! Махатма Ганди вологодского разлива!

Мужики стыдливо переминались на месте, несколько приторможенные неласковым тоном Авдотьи.

– Обижаете, гражданочка! – залебезил Монтраше. – Трезв как стеклышко!

– Ну и куда вы все прете по мытому полу, трезвенники? Чего надо?

– Нам перцовки бы! – радостно бухнул на прилавок пустую посуду непонятый философ.

– Гришка, прими стеклотару! – оторвала Доза грузчика от ухода за недовольно мякнувшей кошкой – Баська и так мышей не ловит, а он тут с ней нежности разводит, юннат друченный!

– Сколько бутылок? Две? Три? – прикинула она, опытным глазом оценивая силы сплоченной по дороге ночной компании.

– Обижаешь, Доза! Мы Фому-горемыку в позорной яме навестить собрались! – не согласился с ее расчетами Монтраше, яростно почесываясь от укусов кровососущих насекомых и освободившейся от стеклотары рукой скребя татуированный профиль Сталина на груди.

– Ну тогда – четыре и от меня вот булку ситного и колбасы «полтавской» на закуску, – подвела расчеты Доза и внимательно пересчитала протянутые деньги за перцовку. – Ну и привет ему горячий от тружеников прилавка! Если жив еще, бедолага.

– И от меня кланяйтесь, – прогудел из чулана Сапрыкин. – Скажите, что братва его семье на днях грев передаст какой-никакой – как политзаключенному!

– Благодарим вас, Авдотья Сергеевна, сердечно! – кланяясь и стараясь особо не наследить по мокрым половицам, наши ходоки попятились задом на выход. А растроганный ее неожиданной щедростью Монтраше от избытка чувств простился на латыни:

– «Si vis amari – ama!» – что значит: «Хочешь быть любимым – люби!»

В Колесове даже дети знали эту его поговорку.

В тишине наступающей ночи с особым пронзительным изумством по ушам ударил визжащий звук бензопилы.

– И откуда у людей, извиняюсь за выражение, столько недержания трудоспособности берется? – недовольно поинтересовался у спутников Шавров.

– Лучше не спрашивай, Кирилл, – откликнулся Иван Солдатский Крест. – Это Дмитрий Степанов по сыну поминки справляет.

– Пропал паренек *excellissimo flore* – в расцвете сил – только что из Афгана вернулся и нате! – поддакнул Монтраше. – Вот отцу и неймется, а ждал его целых пять лет с той войны.

– С войны? Из плена талибанского, а не с войны! – горько поправил приятеля Иван. – Какой из него воин – забрали в армию в восемнадцать и сразу в Афган! А там с маджахедами шутки плохи! В первую же неделю после учебки вырезали их мотострелковую роту в

ночной засаде почти поголовно, как волки овец, а троих в плен взяли, в горную деревню отвезли для выкупа. Он, Игорек-то Степанов, в увольнение было собрался, нарядился в парадную форму, наградные цапки – спортсмен-разрядник, отличник боевой и политической подготовки, вот духи и приняли его за важную фигуру, за которую можно большой выкуп требовать, и не порешили в ту ночь, как остальных. А он всего-то и был тебе рядовой-салага!

– А уж отец-то его как ждал, как скучал по сыну! Дом новый для его возвращения выстроил, сруб по бревнышку кедровому лично вытесал да сложил с любовью, как скрипку Страдивари. Люди за сто верст приезжали полюбоваться! – вспомнил с дрожью в голосе Монтраше.

– А велик ли выкуп басмачи требовали? – спросил Кирилл угрюмо.

– Слышал я – пятьдесят тысяч баксов! Да где их взять-то нормальному человеку? Государство с талибанами по такому поводу в торги не вступает, вот и отдали мальчишку за так через пять лет. Им там тоже лишние рты, поди, в тягость. Сами, как крысы, в нищете кувыркаются... – Тяжело дыша, рассуждал на ходу Иван, стараясь не очень греметь о булыжную мостовую своим тяжелым костылем.

– Ну отдать-то отдали, только не цельного. Отрезали ему мусульмане жопу начисто и уши! А уши-то еще зашили в ладоши да завязали накрепко колючей проволокой. Вот в таком параде и вернулся сердечный домой, весь демобилизованный. Встречай, страна, героя! С неделю Игорь так и гостил у родителей. А потом пошел в лес да руки-то на себя и наложил! То-то они, бедные, убивались, а вот теперь отец дом, для сына построенный, бензопилой на дрова рушит, глян! – показал Монтраше на черный силуэт несчастного мужика на гребне крыши полураспиленного дома. Мужик, заметив проходившую по улице тройцу, отложил инструмент, снял кепку в знак приветствия и стал долго раскуривать все гаснувшую и искрящуюся на октябрьском ветру папиросу.

Наши ходоки молча поклонились беде пыльщика и трусцой проследовали дальше в конец улицы, к скотным дворам и тому примечательному месту, о котором речь шла выше.

– Да-а Афган.., а я в Польше после войны дослуживал, в автобате, – неожиданно пустился в воспоминания Монтраше. – Помню, вызывает меня к себе ротный – поедешь, говорит, возить нашу делегацию на Конгрессе борцов за мир в Варшаве. Ну, приезжаю на виллисе, знакомлюсь с делегатами. Вот, говорят, это – товарищ Эренбург, а это – французский коммунист, художник Пабло Пикассо. Вечером в гостинице предлагаю, конечно, всем тяпнуть «выборовой» за конец

войны, за знакомство. А этот самый Пикассо видит у меня на правой груди татуху – профиль товарища Сталина с трубкой, и говорит: «А давай я тебе для симметрии с другой стороны Эренбурга с трубкой изображу! На память о конгрессе!» – «А сможешь? Не испортишь, часом, шкуру, своя ведь, не казенная?» – спрашиваю. Он даже обиделся. Эренбург говорит: «Этот еще как сможет! Всемирно известен! Звезда парижской школы». – «Ладно, говорю, давай тогда, твори, Павло!» Ну и заделал он мне по пьяни х-р знает что, без бутылки не разберешься! Круги и треугольники какие-то. Словно товарищ Сталин с бодуна в разбитое зеркало смотрится. Только подпись хорошо читается: Picasso, Warsaw 1946. А Эренбург-то все ходил тогда вокруг и причмокивал губами, и жмурился, что твой кот на сливки! «Настоящий шедевр, – говорил, – музейного качества!» Мне потом ребята в казарме накололи татуаж по тому рисунку капитально, путем. А тут весной в районной бане подходит один приезжий искусствовед и говорит: «Сколько вы хотите за произведение великого мастера? Предлагаю для начала пять тысяч зелени!» Я тогда так и сел в таз с кипятком! А он говорит, что за популяризацию французского искусства в России и в такой необычной для Пикассо технике полагается мне еще и Орден Почетного легиона и бесплатный пропуск в парижский Лувр! А лоскут кожи с редким рисунком бесплатно вырежут и дыру заштопают в гламурной больнице. «Ладно, говорю, дай подумаю! Только чур! – Сталина моего не трогать!» А пока – пишите письма на деревню дедушке! Мелким почерком!

Еще задолго до заколоченного крест-накрест входа в старинную избу с пресловутой каторжной ямой повеяло холодным кошачьим зловонием. Обычного часового солдата у места заточения проклятого литератора не было, он в ночные часы предпочитал тешиться то с одной, то с другой гулящей бабенкой, а сидящий в яме Фома и так был надежно прикован изнутри на длинную ржавую цепь и лишь порой вылезал к крошечному окошку в срубе, чтобы поздороваться с редкими посетителями да принять передачу.

– Ну вот и пришли! Эй, сердешный! Глеб Борисыч, выгляни-ка на минутку! Дело есть! – негромко позвал заключенного Шавров.

Из пахнущего нежитью мрака подземелья раздалось кряхтенье и звон кандалов.

II

– Кого там нелегкая несет? Подойдите ближе! Не укушу! – приказал неожиданно бодрый высокий голос сквозь прорезь в стене. – Согревающего хоть грамульку притаранили?

Из черноты квадратной оконной прорези на Кирилла смотрело искаженное нарочито грубым макияжем лицо клоуна-страдальца с жидкой бородашкой, дрожащего от холода близкой ночи.

– Да есть маленько! Мы ведь к вам за советом пришли, господин Голицын, – поклонился окошку Шавров.

– Ну, наливайте скорей, раз пришли! – клоун нетерпеливо протянул в окошко железную кружку, по-хозяйски привязанную пеньковой веревкой к запястью. На мятой поверхности кружки, высунутой наружу, тотчас же тускло отразилась молодая луна. Всю одежду заключенного составляла длинная грязная морская тельняшка, зияющая дырами.

Забулькала перцовка, и через четверть часа опальный господин Голицын, он же Фома, был в курсе сложной деревенской проблемы и вопроса, что дальше делать с похищенными незначай останками так называемого «дорогого товарища Ленина».

Озабоченно размазав по лбу толстый слой белого грима, Фома вдруг сморщился и, опечалившись еще больше, чем прежде, задал присевшим на корточки у его тюремного окошка мужикам неожиданный вопрос:

– Вы, граждане хорошие, задумывались ли когда-нибудь о жизни полярных белых медведей?

– Не-е-е, – отрицательно замотали головами собутыльники, – у нас и так своих проблем до хрена! Для чего нам еще белые медведи какие-то?

– То-то и оно! – повысил голос печальный клоун, протянув руку к северу. – А белые медведи рождаются и живут всю жизнь во льдах Арктики и на судьбу свою не ропщут. В теплый город Сочи, например, не мигрируют. Тянут свою медвежью лямку, где Бог привел. Тут же и пропитание свое добывают, и детей воспитывают. А вы, люди, – что? Вы даже не знаете, куда вас ваш хваленый прогресс завтра уже приведет, а туда же – все вам плохо! И жизнь, и родина! Вот, помню, после войны люди каждому лишнему кусманчику хлеба радовались, каждая новая тряпочка, рубашонка, ботинки были как праздник, а теперь – всё не то и всего мало вам! – он уныло покрутил маленькой разрисованной головой. – Эх, да что там рассуждать – наливай да пей! Технология заменила нам общение – в этом-то вся беда, и мы стали обществом поголовных идиотов! Эмейлы, эсэмсы, души, не имеющие слез! Грехи, которые не выскрести печалью! Страшно жить на этом свете, господа, когда без вашего участия все заранее предрешиено, как в греческой трагедии!

В сгустившейся донельзя темноте молча выпили еще перцовки, жадно занюхивая ее холодным пахнущим полынью воздухом и заку-

сывая жесткими яблоками, которые хозяйственный Монтраше натряс по дорожке с торчавших поверх деревенских заборов ветвей.

У него была привычка: в том месте, где ему приходилось выпивать, сажать потом в землю семечки из пошедших на закуску яблок.

Ивана вдруг забил надрывный кашель, он отшвырнул свой костыль и судорожно зацепал руками пространство вокруг. Кирилл подхватил его подмышки и согнул в поясище, а сам ногой подвинул валявшуюся тут же на земле помятую цинковую шайку. Иван, трясаясь от напряжения в горле, вдруг с усилием выхаркнул в этот таз старую немецкую пулю, застрявшую в его легких еще со времен славного Брусиловского прорыва. Пуля звонко, как от удара об армейскую каску, лязгнула о старое железо.

– Поздравляю! – участливо подал голос из своего склепа Фома. – Налейте скорей ветерану боевые сто грамм для поправки, пока он вам еще чего-нибудь со Второй мировой не выстрелил!

– Рад бы, да больше нету! – натужно прохрипел, приходя в себя, Иван-Солдатский Крест, напоследок отплеываясь кровью. – Остальное железо хирурги в госпиталях повырезали, а эта дура, видать, глубоко сидела. Я уж к ней даже привыкать стал. Даже имя ей придумал – Лили-Марлен, едрена вошь!

– Ну так что нам делать-то теперь? Чего ждать? – напомнил о деле голый Монтраше, ежась от холода и часто переступая для согрева по черной земле тощими безволосыми ногами. – Что с дорогими останками-то делать?

– История у вас, господа, преподлейшая приключилась! Правильно говорил в свое время поэт Коржавин: «Не нужно в России никого будить! Чуть какой пласт пошевелинешь – и понеслось говно по трубам!» Приходилось ли вам, господа хорошие, когда-нибудь слышать о страшном государственном проекте «Рука из гроба», в другом варианте знающие люди его называют «Периметр»?

– Я что-то читал в интернете лет десять назад, – припомнил Кирилл, – что-то про тайный ракетный пояс, про наш ответный ядерный удар на американскую ракетную атаку ...

– Почти в самую точку угодили! Но вот в чем тут главный секрет заключается, – мужики присунулись ближе к черному квадрату, из которого уверенно и гулко, как диктор из телевизора, вещал жуткий клоун. – Еще в середине прошлого века, при Хрущеве и Брежнев, старцы в Политбюро ЦК КПСС приняли решение о создании системы самозапускающихся ядерных ракет с секретных полигонов России в случае потери нами головного командного центра после атаки американцев или НАТО. Суть страшного замысла заключалась в том, что целый эшелон ракет из подземных шахт, расположенных

на территории России, стартовал в направлении Европы и Америки по особому сигналу – приложению к пусковой кнопке мертвой руки бывшего товарища Ульянова-Ленина. Тип ракеты назывался просто, но многозначительно – «Сатана».

– Точняк! – удивленно воскликнул Иван-Солдатский Крест. – У трупешника, которого Вадик привез, почему-то левой руки нету!

– Вот вы понимаете, что нормальному человеку до такого изуверства не догадаться, ведь после этого ракетного удара на Земле не оставалось бы ни одного живого существа. Кроме коммунистической партийной элиты, спасавшейся в секретном бункере в Гималаях! – тут эрудированный Фома сделал паузу, чтобы присутствующие смогли перевести дыхание.

Никто не обмолвился ни единым словом, все были, как insultом, парализованы смыслом сказанного.

– Ведь это он в 1916 году русскую империю немцам продал через Парвуса-Гельфанда за те деньги, на которые потом людоедская революция разразилась, да и по сей день от нее волны крови идут, – мрачно проговорил Кирилл. – Продал и не подавился...

– А вот любила же его наша нищая Россия до полной потери сознания! За что, люди? Кто мне может объяснить? – прохрипел со злостью Иван. – За что нам такое наказание? Ох и безрассудный же мы, братцы, народ!

– Да, такие дела, – продолжил разогревшийся от перцовки и внимания слушателей клоун в черной дыре. – Ну а потом – Горбачев, перестройка – все пошло кувырком в России – все планы и замыслы партии. Да и самой партии в прежнем понимании не осталось. Изменилась, скорее всего, и концепция применения руки из гроба нашего знаменитого мертвеца. Впрочем, кто знает наверняка? Мне лично даже приходилось слышать, что нетленную мумию Ленина кто-то из близких к Кремлю жуликов хотел продать в коммунистический мавзолей китайцам, слышал даже, что указательный ее палец купил нью-йоркский ресторатор Роман Каплан, чтобы в память подслеповатой тети Фанни сделать на ленинском пальце спиртовую настойку под названием «Контрольный выстрел».

– Так что, может, Пересыпин вообще куклу в бочке привез? – ахнули сразу отрезвевшие от нечеловеческой информации слушатели.

– Ну куклу или не куклу, а жупел нечеловеческой власти – это точно! – патетически воскликнул захмелевший клоун. – Три, не сказать – четыре поколения русских людей прожили свои скорбные жизни под эгидой образа этого, как оказалось впоследствии – безумца и каннибала в душе. А как же! У нас в России с этим строго! С юных лет ты должен перед строем себе подобных дать присягу на

верность правящему людоеду и следовать ей всю жизнь до конца. Иначе ликвидируют тебя втихую без суда и следствия. Или сгноят в Сибири.

Вообще, чтобы сознавать реальность событий, происходящих в России, надо быть откровенным мистиком, милые мои. Сказать по совести – все мы, коснувшиеся прелестей советской власти, стали проклятым народом, многомиллионной жертвой международного политического авантюризма. Кто за это будет отвечать? Кому? Мы с вами, господа, – зомби, озлобленные своей судьбой! Однако что-то все же происходит – вот и Пересыпин невольно стал винтиком истории...

– А что ж теперь с ним-то будет? – задумался вслух Монтраше. – Наверное, запыет горькую, бедолага...

– Пусть хотя бы где-нибудь спрячется на время! – размышлял Фома нервно, расхаживая по холодному земляному полу своей тюрьмы и гремя в темноте ржавой цепью кандалов.

– Ну, а схоронить привезенное им «национальное сокровище» надо бы по всем правилам. Покойник он и есть покойник, он могилы не боится! Власти за эту пропажу, конечно, виновного найдут и всыпят всем причастным – мало не покажется! Они же и без нашего участия со временем прихоронят этот символ страшного бесчеловечного социального эксперимента коммунистов где-нибудь у кремлевской стены. Им и труп настоящий не понадобится, замену ему легко найдут – возьмите хотя бы того же злосчастного Тараканова. А все приключения Пересыпина скроют от народа, как всегда! Но, значит, такая наша судьба – всегда спешить! Скажу вам одно, мужики: пока мы этого упыря, так называемого Ульянова-Ленина, конкретно не похороним в землю, вся Россия будет оставаться его могилой!

– Да у нас каждый человек, родившийся при советской власти, – ходячая могила Ленина, – горько поддакнул Иван-Солдатский Крест.

– А скажите, уважаемый Фома, что это за персонажи на нашего Пересыпина вдруг накатили в Москве? – любопытствовал странно трезвый Шавров.

– Ах, это всё объясняется просто. Тургайд Абильдяев – это, скорее всего, крымский татарин или иной национальности отчаянный народный мститель за угнетенную ленинскими декретами родину. Все мы в России немного татары, спасибо Чингисхану!

– А что цыгане? Пушкин?

– Цыгане? Ну это, господа, просто часть русской природы! Им атомный апокалипсис ни к чему! Это, так сказать, цыганский департамент охраны окружающей среды, мрак и вихрь! – загадочно пояснил размалеванный Фома, он же – Глеб Борисович Голицын. –

Отечественная стихия, милостивые государи! А Пушкин – он и есть Пушкин! Пушкин, как говорится, – наше все! «...Ум улетал за край земной!..» – вот что такое Пушкин!

– А вы, извиняюсь, то есть князя Голицыны, до 1917 года в каких войсках служить изволили? Поди, в егерях или в гусарах? – наугад прикинул неутомимый краевед Монтраше.

– Господь с вами, сударь, какие там егеря-гусары! Исключительно в конногвардейцах – всегда впереди! – резко по-кавалерийски простер в окошко полосатую руку с привязанной кружкой Фома. – «Semper ante!», – на всякий случай для понятливых подтвердил он на латыни.

Иван без лишних разговоров плеснул в посудину порядочную порцию перцовки.

– Эх! Тяжела ж ты, кружка Мономаха! – не чокаясь, махнул ее Фома.

– А скажи-ка честно, Иван, – не унимался порядочно захмелевший Монтраше, – на том свете тоже справедливости нету? Для чего мы вообще живем?

– Ну, что тебе сказать, бродяга, – сморщив в сторону лицо, пробормотал скороговоркой Иван, – там, видишь ли, своя справедливость; взять, к примеру, литературу – у них там такие сюжеты: например, в «Пиковой Даме» старуха-графиня застреливает пристаучего немчика Германа из его же пистолета, или в «Преступлении и наказании» опять же старуха-процентщица охаживает топором по куполу студента Раскольниковца, ну и так далее...

– Так значит, там все наоборот? – ахнул переставший дрожать от холода Монтраше.

– А почему бы и нет? – гордо ухмыльнулся Иван-Солдаткий Крест и важно расправил давно не стриженные усы.

– К Богородице прилежно ныне притяцем грешнии и смиреннии! – на всякий случай прочел храмовую молитву-оберег Кирилл.

– Не знаю, как на том свете, а здесь почему-то быстро забываются людьми и собственные страдания, и злодейства правителей, и уже не по справедливости толкуется вся история России – мне самому порой делается страшно это описывать в книге, потому что всё, написанное на русском языке, любой даже досужий вымысел, сбывается! Как пророчески писал друг моей юности поэт Величанский: «Что не ждали, не гадали – все случилось до конца», но я всё равно вот – пишу. И похоже, завтра непростой день будет, – осторожно предположил Фома из черной дыры.

– А что?

– Да вот перцовка что-то поперек горла стоит!

– Генерал от кавалерии Келлер нас так учил: не умеешь пить – не пей ни капли, а умеешь – дуй хоть ведро! – припомнил знаменитого однополчанина Иван.

Без лишних разговоров честная компания допила спиртное, и Монтраше аккуратно сложил пустые бутылки в свою авоську. Остальные застыли в позе неуверенности и вины.

За сараем послышался осторожный хруст черепицы, и из-за угла внезапно возникла окутанная светлой шалью и лунным светом женская фигура. Наши полуночные заговорщики вскочили с земли на ноги, сразу отрезвев от испуга. До кладбища-то отсюда было недалеко.

– Ну что, попались пьяницы несчастные! – нарочно низким голосом сказала привидение.

Это оказалась жена Шаврова – Лина, уставшая ждать его дома и вышедшая навстречу мужу.

– Бон суар, мадам! – до предела протиснул свою расписную голову в окошко сруба Фома. – Вот милый женский ум нас и наставит на путь истинный.

Лина работала фельдшером в медпункте и без ее забот деревенским старикам и старухам пришлось бы совсем плохо. Поди доберись-ка до городу – сорок шесть верст, – когда у тебя сердечный приступ или давление зашкаливает!

В отличие от Шаврова, родилась она не в Колесове, а в Петербурге, на Офицерской улице, в семье военных врачей, и ее врожденное благородство и такт каким-то непонятным образом вдруг передавалось тем, кому доводилось с ней общаться. По образованию она была специалистом по эпидемическим заболеваниям и работала в главке. А по жизненным кочкам и ее саму потрясло изрядно. В прошлой жизни, будучи замужем за директором большого продовольственного магазина, взяла она на себя вину за его финансовую растрату – ну и отмахала киркой четыре года по женским лагерям. А муж себе тем временем новую кралю – манекенщицу – нашел. Так вот, вдруг является наша Лина на свадьбу торгового мира с лакированным гламуром – вскоре после того, как с зоны откинулась, – и без реверансов хрясь по морде мужа-изменщика, хрясь кулаком в нос накрашенную манекенщицу! Гости – весь бомонд – в ужасе! А Лина выпила залпом фужер шампанского и говорит невесте: «Вот посмотри, профурсетка, на эту гнусную рожу – он мне раньше пальчики на ногах целовал, а потом продал ни за грош и любовь мою, и веру, а теперь, видать, твоя очередь пришла судьбу испытывать! Желаю счастья молодым!» – и вышла вон из ресторана, напоследок грохнув дверью так, что штукатурка с потолка посыпалась в свадебный торт.

Кирилл особенно дорожил своей Линой за сам непонятный про-

цесс переживания истории их любви и постоянное желание находиться с ней, улучшать ее нелегкую и грустную жизнь, забавлять своей любовью, самому становиться лучше рядом с ней.

– Слышала я, господа, что у вас за кручина! Уж больно громко вы для ночного времени тут страдаете, – вступила в ночной диспут она, приобняв мужа. – Я так скажу – каждый дом живет хорошо или плохо, в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает.

– Вот только не надо этой философии, мадам! Философствовать – это готовить себя к смерти! – прогудел из своей дыры Фома и веско добавил: – Цицерон!

Шавров нежно поцеловал теплого голубоватого ангела, нататуированного на шее жены, и еле слышно прошептал: «Какая же ты у меня прекрасная!» – а потом – уже погромче – спросил:

– Ты, Линушка, дай нам лучше совет, что с этими останками знаменитыми делать? Где хоронить?

– А давайте мы его похороним, как он царя с семьей в восемнадцатом году, – сбросим в старую шахту да забросаем гранатами! – вдруг выступил с брутальным предложением Иван. – У меня с прошлой войны пол-ящика противотанковых под кроватью осталось! Не жалко для хорошего дела!

Лина, светясь своей лунной ночной красотой, положила руку на его торчащее над костылем плечо. – Знаете что, Иван, давайте простим тех чурбанов и всю мерзость их низкой жизни, что сделала их нелюдьми! В конце концов, нас самих мучают не события, а представления, которые о них создают те, кому это выгодно; эти страдания порождаются нашим же рассудком. Можно думать, что мы живем этот мучительный срок ужасной жизни, чтобы заслужить смерть с ее бездумностью и покоем, чтобы впасть в бесконечный сон...

Можно, конечно, представить себе свою душу отдельно от тела, прекрасно живущей и не боящейся горьких человеческих бед, от которых страдает мечтающая о любви плоть, да вот только русская душа уж так истончала от дostoевских, мандельштамов и рахманиновых, что представить ее себе отдельно здоровой, жизнерадостной и сильной уже невозможно. Особенно такой ночью... как сегодня – Ночью Ночей – как у Борхеса, помните? – «Ночью, когда открываются небесные тайны, и, наконец, хотя и не особенно отчетливо, проявляется конструкция мироздания, его предназначение и законы, по которым оно существует...» И дальше там – «это где луна – воздушное-светлое на темном круглом или нежно-оранжевом вместо неба и где творения поэтов состоят порой из одного слова, передающего мгновенные сочетания цвета и звука, ощущения человека, когда сквозь слабое розовое свечение за закрытыми веками он чувствует близость моря...»

– Ах, как вы об этом говорите, мадам! Это музыка жизни, это музыка смерти! – болезненно простонал из своей дыры Фома. – Зачем вы нас уводите за пределы человеческого мира? Куда?

– При появлении света исчезает тьма: когда разольется в душе смирение – истребляются из нее огорчение и ярость, – глядя в черное небо со слабо светящимися голубым звездами, сказала Лина. – Но это из другой книги. А что касается нашего дела, я, господа, вот что предлагаю: есть здесь в лесу за деревней территория заброшенной атомной электростанции. Ее заключенные в пятидесятых годах построили, а поскольку рядом никаких крупных населенных пунктов не было, начальство решило все выработанное электричество прямо в землю по проводам и гнать, как в громоотвод. Пришлось и мне там покантоваться с годик... Вы, наверное, в курсе, что после развала Союза ее купили предприниматели из бывших партработников и сдавали внаем кому попало под захоронение радиоактивных отходов, пока туда еще можно было сунуться. Теперь же там такой уровень радиации, что живому человеку туда хода нет, а мертвецу – ему все равно. Предлагаю там прах этот злополучный и предать земле.

– Ну, мадам, у меня просто слов нет! – восхитился Фома из своей дыры, а остальные мужики просто сняли кепки и молча поклонились Лине.

– Придется лукавых в могильщики позвать, они туда дорогу знают и часто шастают! – неуверенно предложил Шавров.

– Ну, а я о транспорте позабочусь! – пообещал обществу Монтраше. – Есть вариант! Мне замдиректора МТС обещался трактор дать – картошку выкопать!

– Я помню, в семидесятые годы была на этой станции страшная авария, – угрюмо вспомнил Шавров. – Тогда вся Европа оцепенела от возможности страшного радиоактивного заражения. Но потом как-то другие страны не задело, а у нас в окрестных селах стали рождаться странные дети, говорящие стихами о своей прошлой жизни на Марсе, да в лесу охотники видели как-то коренастого двухголового медведя. А то вдруг пролетит ночью над лугом, махая перепончатыми крыльями, синяя корова с белой звездой на боку...

– И вот что еще, – снова встрепенулся Монтраше, – я знаю, где доски от старых лагерных бараков лежат – как раз пойдут на гроб гражданину Ульянову-Ленину, а гвозди из колючей проволоки нарублю.

– А главное, – с надрывом крикнул из своей дыры Фома, – не забудьте ему в могилу осиновый кол вколотить. Оно – наука наукой, а без осинового кола с нечистой силой не справиться!

– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, – успокоил его

Иван. – С волками жить – курицу не учат! Будет ему осиновый кол без всяких бозонов Хиггса!

– А вот без них-то как раз ничего и не выйдет, господа! – грустно констатировал сам не свой от водки и бессонницы Фома. – Наукой недавно установлено, что бозоны Хиггса – это Божья воля!

III

Жил в Колесове один давно отсидевший по обвинению в мужеложестве престарелый балетный танцор по имени Аристарх Баранов. Он у нас в клубе по праздникам, бывало, разные исторические постановки инсценировал. И вообще заботился о всякой гармонии, а будучи сам немощен телом, особенно любил организовывать физкультурные парады и футбольные матчи, а также народные демонстрации по любым поводам, заставляя народ перед трибуной с начальством обязательно переходить на гулкий строевой шаг.

Наутро после ночного диспута Кирилл застал Аристарха в его опустевшем по осени саду сжигающим сухой мусор, уютно дымивший на раннем морозце. Старый артист был одет в засаленную телогрейку, сиреневые спортивные штаны «адидаас» и сандалии на босуногу.

Войдя в курс дела, бывший деятель столичной культуры возбудился, как юный пионер перед турпоходом:

– Я представляю себе эту печальную процедуру следующим образом, – начал он, гордо стоя в третьей позиции и вороша закопченной кочергой горку тлеющей изнутри осенней листвы. – Десять часов утра. Звучит бодрящий крик петуха, усиленный динамиками с телеграфных столбов. Траурный парад начинает колонна наших тщательно загримированных под вождей пенсионеров – активных в прошлом строителей коммунизма: представьте себе марширующих рука об руку Парвуса, Троцкого и Свердлова, Шляпникова и Дзержинского, Сталина и Хрущева, Молотова и Берию, Ворошилова и Фрунзе, Кирова и Радека, Калинина и Бухарина, Брежнева и Горбачева... Из нынешних боссов для достоверности картины пригласим двойников Ельцина и Путина, Шойги и Медведева. Список можно расширить. Звучит аджиетто из пятой симфонии Малера, за дирижерским пультом – маэстро фон Караян!

– И пусть каждый несет перед собой в черной рамке портрет Ленина в разных видах, – негромко предложил Кирилл. – Ленин на трибуне, Ленин на броневике, Ленин в кепке, Ленин без кепки, Ленин в 1924 году в инвалидном кресле с безумными глазами опасного идиота...

– Сразу за карнавалом вождей идет колонна окровавленных жертв революции. Сначала царская семья, великомученики Красного

террора, Великая княгиня Елизавета, невинно убиенные князья Константиновичи и мальчишка-поэт Палей, – подняв лицо к небу, вдохновенно импровизировал Аристарх. – Всё как в жизни! Ведь настоящий театр – это живой организм, он рождается, растет, взрослеет, потом умирает! – размахивал он в воздухе своей горячей кочергой.

– А потом жертвы голода, продразверсток и крестьянских восстаний на Тамбовщине, мертвые бунтовщики-матросы Кронштадта, шайка завшивленных беспризорников. Маршируют одетые в платья расстрелянных гимназисток проститутки. Идут дети-сироты убитых кулаков. Гремят кандалами первые политзаключенные советской власти, – вторил ему Шавров. – Ну и, конечно, чекисты в хромовых куртках, тройки ревтрибунала, тюремные надзиратели, шахтеры-стахановцы, трактористы-ударники...

– Да, а на втором плане скачет рысью полк махновских тачанок с лозунгами на черном ситце «Анархия – мать порядка», и бородатые пьяные повстанцы, тыча друг в друга обрезами, кричат: «Бачь, бачь – вон там батька впереди – батька сам рубится!» И, поднимая пыль, идут под прострелянными гвардейскими знаменами израненные остатки Белой армии и части юнкеров, защищавших московский Кремль от большевиков в 1917 году, и жертвы мятежей в Ярославле и Борисоглебске, потом донские казаки в окровавленных черкесках, целой армией ликвидированные по приказу Ленина, отдельно – батальон китайцев, батальон белочехов и батальон латышских стрелков...

– А латышские-то стрелки зачем тут? – удивился было Кирилл.

– Ну, знаете ли, милый мой, некоторые вещи нельзя делать только наполовину! – возмутился возбужденный размахом будущей постановки Аристарх. – Не тот уровень! А если кого забудем? Ведь это грех какой!

– Что ж, пусть тогда за ними идут и деятели культуры, погубленные ленинской революцией: отец Павел Флоренский, расстрелянные Гумилев и Бабель, исчезнувшие в лагерях Пильняк и Клюев, Мандельштам и Мейерхольд, самоубийцы Есенин и Маяковский, Цветаева и Поплавский...

– Отдельно от всех бредут, не поднимая глаз, Ахматова и Пастернак, Зощенко и Платонов, лишенные в виде наказания своих читателей, – не унимался возбужденный Аристарх. – И пусть еще идет процессия монахов, поставленных под пулеметный огонь белых перед цепями наступающих красных...

– Да где же мы найдем столько народу? – задумался на минуту Кирилл.

– Нас выручит искусство! – воскликнул Аристарх и, подпрыгнув в голубых клубках дыма от костра, ненадолго завис в воздухе на манер Вацлава Нижинского. – Попросим фотографа Скаженова подготовить специальный выпуск своей траурной газеты – и порядок!

– Ну вот, тогда нам остается только товарищеский футбольный матч в честь похорон организовать, – успокоенно согласился Кирилл.

На том и порешили. И Кирилл пошел было к Скаженову.

– А еще мы здесь в провинции так соскучилось по балету! – вслед ему слабо выкрикнул Аристарх и тяжело раскашлялся от дыма и волны вдохновения. – Ведь балет – это как раз то, что бывает между жизнью и смертью!

– Вот пусть ему черти на гробу танец маленьких лебедей и спляшут! – вспомнил о чертах Кирилл.

Рожденный в семье музыкантов-скрипачей Леопольда и Констанции Барановых, подвизавшихся в оркестрах провинциальных театров, маленький, худой, вечно голодный Аристарх с детства воображал себя сверкающим принцем, порхающим над сценой во вдохновенном полете под мелодии Вивальди или Корелли.

В том не было ничего удивительного – семья Барановых уходила корнями в раннее итальянское Возрождение, где роднилась с кланом Бранкаччи – знаменитыми меценатами и государственными деятелями Флоренции периода Возрождения.

В балетном училище Аристарх узнал, что это искусство возникло в шестнадцатом веке как придворный ритуал французских королей, а Людовик XIII и был первой балериной, а сам балет является апофеозом государственности, в отличие от привычных деревне народных танцев, которые, как с горем признавался сам себе Аристарх, возникли, скорее всего, в русской общей бане, где впридачку в поисках выскользнувшего куска мыла, стараясь выглядеть попристойнее, корчились голые люди обоих полов.

Аристарх с малолетства пел в церковном хоре, и этот опыт, совпавший с юношеским грехопадением, сделал его натуру по-неземному артистичной – это заключалось в том, что играя на любом инструменте, он нередко вводил слушателей в сладостный гипнотический резонанс с музыкой и вызывал у них такие головокружительные ассоциации и воспоминания, от которых они долго не могли потом прийти в себя, как бы очищенные и преображенные этими переживаниями. Аристарх привык аккомпанировать себе на старых раздолбанных и расстроенных фортепьяно, каким-то чудесным образом возвращая им гармонический настрой своей виртуозной игрой.

Эти особенности его исполнения иногда приводили к странным, порой драматическим последствиям: коровы, слышавшие его игру, начинали мычать хором что-то из Моцарта, куры несли яйца полосатые, как американский флаг, а лошади отбивали копытами Чаттанугу Чу-Чу так, что невозможно было съездить на телеге в магазин за чет-вертинкой на другой конец села...

Надо признаться, что Аристарх дал Кириллу по-настоящему ценную мысль: действительно, выходила в Колесове по праздникам тиражом в сорок экземпляров местная фотогазета под заголовком «Герои жизни и смерти», над которой в одиночку по ночам трудился фотограф-энтузиаст Скаженев Виктор. С помощью старого черно-белого компьютера системы «Макинтош» он создавал целые фотосюиты из позаимствованных им из прессы снимков: знаменитые спортсмены, пожарные, полицейские, солдаты и матросы. Рыбак, поймавший сома размером с телегу. Охотники, в одиночку с топором ходившие на медведя. Местные красотки, добившиеся благодаря своей женской красоте многого в жизни, осчастливив иностранных и отечественных олигархов. Не сломленные бедностью и унижениями нищие ветераны войны, не продавшие своих боевых наград. Провинциальные врачи, смело и не без успеха лечившие запущенные онкологические опухоли. Лихие уличные бойцы, дававшие спяну отпор целому взводу ОМОНа. Отшельник-пасечник Антип, перебивший из оставшегося с войны МГ-43 бандюганов, пытавшихся отобрать у него мед, собранный для детского дома, и погибший в неравной схватке. Бесстрашные циркачи, дрессировщики львов и водолазы. Цыган Азарик, водивший в банк лошадь с золотыми зубами для доказательства своей платежеспособности перед тем, как попросить заем на иномарку. Да всех и не перечислишь...

Накануне Ерофеева дня Скаженев по просьбе Кирилла выпустил особый «ЧЕРНЫЙ ВЫПУСК» своего альманаха. В нем как на подбор шли фотографии знаменитых мафиози и проституток, воров и серийных убийц, тиранов-людоедов, проворовавшихся бюрократов-чиновников, нажившихся на голоде народа; спившихся генералов, бездарно погубивших на войне свои армии; тренеров – растлителей малолетних, трусов, бросивших женщин на поругание хулиганов, бездарных бизнесменов и директоров заводов, пустивших по миру своих рабочих; мошенников-интендантов, оставивших без боеприпасов воинские части на фронте; биржевых воротил, укравших пенсионные сбережения у стариков; эксплуататоров рабского труда детей, черных магов и колдунов. Фигурировал там и один местный банкир, скупающий за гроши души своих небогатых соотечественников. Уместным в этом

случае оказался и грустный видеоряд ленинианы с упомянутыми Аристархом персонажами из отечественной истории.

В праздничное утро возле входа в церковь Всемилоственного Спаса стояла табуретка, на которой, придавленные кирпичом, лежали все сорок экземпляров печального альманаха, доступные любопытству жителей села.

В назначенный для похорон останков вождя Ерофеев день – 17 октября – с рассвета маялась осенняя непогода. Под черным дождливым небом, отчаянно галдя, носились обезумевшие мокрые вороны. Заунывно были дворовые собаки. Голые дрожащие деревья печально шатались от сильных порывов холодного ветра. На краю деревни шайка молодых, подвыпивших с утра чертей гонялась по пашне за упитанной бледно-розовой нимфой, которая от ужаса перед насильниками не переставая визжала в диапазоне ультразвука.

Аристарх возле магазина, где с утра уже околачивалась кучка приплясывающих алкашей, играл на баяне песни советских композиторов, погрузившие слушателей в ностальгический транс по сгинувшим в прошлое бездумным временам их молодости.

Вадик Пересыпин, как и предсказывали знающие люди, после возвращения из столицы пил без просыпу четвертый день подряд. Настя же про себя решила – а пускай! Протрезвится – сам и покается, непутевый! Пока же, не в силах остановиться, он целыми днями глушил и глушил самогон и играл в карты со старым домовым по кличке Эстебан, названным так когда-то в честь Настиной турпоездки в Испанию. Этот Эстебан был полезным в хозяйстве существом, честно выполнявшим хозяйственные обязанности кота и сторожа, но своего тоже никогда не упускал. Он с удовольствием донашивал старые Вадимовы вещи и сейчас щеголял полосатой байковой пижамой китайской фабрики «Дружба». А на все Настины замечания и укоризны только устало крутил круглой шершавой головой и согласно кивал – мол, погоди немного, всё само собой устроится. А сам между тем легко выиграл у бесшабашного Вадима телевизор, швейную машинку и мумию Ленина. Настин мотоцикл Вадим пока еще боялся поставить на кон. Но дело к тому шло.

Эстебан сидел на коврикe на полу возле печки. Он придвинул к себе поближе телевизор и скрюченную мумию. Пригревшийся Ильич вдруг издал непонятный звук: «З-зз-зз!».

– Чегой-то он? – испуганно дернулся Вадим.

– А наверное, в Кремль позвонить хочет! – наугад предположил Эстебан. Из штанов мумии вылетела на избяное тепло жирная навозная муха и несмело принялась кружить в душном воздухе. Потом, сев Вадиму на голову, больно укусила его за лысину. Вадик в ужасе

ахнул. Эстебан, не вставая с места, слизнул злое насекомое длинным серым раздвоенным языком.

– Оно, говорят, Ерофеев – душу лечит! – тяпнув очередной лафитничек самогону, настоящего на травах, неуверенно просветил домового Вадим.

– Ага – лечит! – согласился Эстебан – Лечит, у кого она есть, эта самая душа! Вам сдавать, Вадим Ростиславович!

– Ишь, непогода-то как разгулялась! У бесов теперь, поди, праздник! – передернулся после глотка крепкого зелья Вадим и стал сдавать картишки.

– И не говорите, Вадим Ростиславович, – ведь Иерофеев-то день – это раз в году бывает. В этот день лешие по лесу последний раз перед холодами озоруют. Свадеб в этот день не играют – ни-ни! Потому что день этот по-другому называется «лешегон», – в свою очередь заметил Эстебан, внимательно следя за раздачей карт. – Святой Иерофей, он их, лохмудеев, под землю гонит, а с ними кончаются и грибы, и ягоды. После Иерофея в одиночку в лес не ходят! Нельзя!

– После Ерофея холода сильнее! – крикнула Настя с кухни, глядя в окошко на раскисшую под дождем деревенскую улицу. – Бросайте картами маяться, мужики! Вон Кирилл Шавров с Монтраше идут! Пора кончать всю эту хренотень с мощами-то! Ишь, всю избу формалинищем мне провоняли! Тут вам не мавзолей какой-нибудь, а люди живут! И ведь чего только в нем нашли – мужичонка был так себе, не Филипп Киркоров, а сколько лет очереди на Красной площади стояли полюбоваться на красавца, чтоб у него с фотографии зубы повыпадали и трава на могилке не росла!

– Пусть сперва отыграется! – хрипло проворчал азартный Эстебан.

– Я сказала – хватит! – замахнулась на обоих упрямцев веником всегда побеждавшая в домашних перебранках Настя. – В прежнее время господа тоже всё время в карты играли да на дуэлях стрелялись, а что из этого вышло?

В соседней с горницей прихожей, занимая ее почти целиком, стоял с вечера принесенный Монтраше гроб, сколоченный, как и было обещано, из досок от лагерных бараков. На некоторых из них явственно проступали нецензурные угрозы в адрес начальства и активистов.

Самые красочные внимательная Настя замазала мелом, которым белила печку, но местами все равно лезли в глаза слова проклятий типа: «налимоним демону чувырло», «лягавым по сосновому бушлату», «накатчиков на пику», и так далее*.

* Демон – лицо, не связанное с воровским миром, но выдающее себя за таковое. Лягавый – сотрудник уголовного розыска, оперативник. Накатчик – доносчик. (Прим. автора)

Когда Шавров и Монтраше собрались уложить останки «кремлевского мечтателя» в гроб, Эстебан опять вяло запротестовал – но не тут-то было. Настя, уже совершенно теряя терпение, откровенно торопила мужиков закругляться поскорее. А домовому на всякий случай отвесила еще и подзатыльник.

Пьяненький и оттого не в меру сентиментальный, Вадим, однако, не упустив момента, вытащил из комода свой старый фотоаппарат «ФЭД» и сделал снимок двух нелюдей – бывшего Ильича и прижавшего его к себе на прощание Эстебана. «Абильдяеву в Москву пошлю», – пояснил он недоумевающему Кириллу.

– Ну теперь уж он навсегда зажмурился! – крикнул Монтраше после того, как они с Шавровым запаковали мумию в кривовато сколоченный щелястый ящик, набитый соломой и стружками. Все замолчали и стояли какое-то время, склонив головы, каждый думая о своем.

На стене громко скрипели часы-ходики с бегающими туда-сюда кошачьими глазами. Под комодом назойливо погромыхивала сухой коркой голодная мышь. Шуршал по окнам дождь.

– Чего долго думать! Все там будем, – мрачно пробубнил Вадик. – Может, помянем бедолагу?

– Я тебе помяну! Так помяну, что навсегда пить бросишь! – пригрозила мужу кулаком Настя.

– Ну и ладно, как говорил один просвещенный иностранец: «На смерть нельзя долго смотреть в упор!» – мрачно подвел итог Монтраше.

– Смерть естественна, а бессмертие – не наше дело! – рубанул рукой воздух Кирилл. Отец Евлогий велел никак не помять покойного. Сказал, что какую надо панихидку сам отслужит, и будет для него!

С улицы послышался натужный рокот дизельного мотора, в избе запахло серой и нечистыми выхлопами горячей солярки. К самому крыльцу, дребезжа ржавыми крыльями, подкатил старый владимирского завода трактор, на радиаторе которого при определенном усилии можно было прочесть полуоблупленный лозунг «Вперед – к коммунизму!» За штурвалом трактора скалился хромированными зубами знакомый чертяка в зеленой велюровой шляпе:

– Эй, станичники! Вытаскивайте вашего покойника поскорее, а то горючки в тракторе с гулькин х... осталось! – весело крикнул он выскочившей на крыльцо Насте.

– А без мата нельзя, что ли? – зло огрызнулась она на рогатого тракториста.

– Для тебя все можно, красавица! Без – так без! – по-наглому

гуднул два раза клаксоном довольный собой черт. И издевательски прокартавил на непонятном языке: «Ленин хара! Ленин хура! Ленин ахара хура!» Дескать: Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!

Шавров укоризненно посмотрел на не в меру веселого полиглотта, но промолчал. Потом они с Вадимом без усилий вытащили гроб из дома и положили на прицепленную сзади к трактору железную тележку.

– Ну, вези его теперь, куда договорились, – и чтобы духу вашего в селе больше не было! – крикнул черту сквозь треск двигателя Шавров.

Тракторист отсалютовал провожающим, коснувшись когтистой лапой края своей продавленной шляпы, и похоронный кортеж бодро загрохотал по колдобинам разбитой сельским транспортом дороги. Из-за полуразрушенного здания клуба вывалилось несколько чертей разного возраста, на некоторых нелепо топорщились вскоре промокшие под дождем разноцветные балетные пачки.

Как положено, за гробом они несли на маленьких плюшевых подушечках награды покойного – орден Труда Хорезмской Народной республики и – отдельно – три пули, выпущенные в него при покушении Фанни Каплан, а также ржавый маузер налетчика Королькова, из которого он только чудом не убил Ленина во время уличного ограбления в 1918 году.

За околлицей деревни горючее в баке действительно кончилось, но наблюдавшим издали крестьянам было видно, как из придорожных кустов вылезло с полдюжины жилистых рогатых существ, которые энергично впряглись в буксировочные тросы, намотанные на барабан в передке трактора, и на манер бурлаков, сопя и кряхтя, потащили его по направлению к развалинам атомной станции.

С пригорка за происходящим пристально наблюдал информированный обо всем происходящем отец Евлогий, заранее обсудивший с Шавровым детали необычных похорон. Накануне ночью в овраге за кладбищем Кирилл договорился с нечистыми о том, что после того, как гроб с мумией будет погребен и осиновый кол в могилу вбит, все черти, от мала до велика, уберутся из Колесова навсегда. Старший черт предложил было составить письменный договор, подписанный кровью, но Кирилл отказался, сославшись на опыт и авторитет отца Евлогия, с которым никто в деревне не посмел бы поспорить.

Из всех крестьянских занятий отец Евлогий особенно любил косьбу, и часто летом помогал слабым и убогим женщинам заготовить на зиму сена для скота, при каждом взмахе косы он для силы удара пронзительно, как Маша Шарапова на корте, вскрикивал, не на шутку пугая оказавшихся неподалеку селян и безмятежно пасущихся на лугу коз. В остальном же он ничем не отличался от прочих сель-

ских священников, разве только тем еще, что иногда мог на миг-другой воскресить не ко времени умершего человека для соборования и причастия. Но этот подвиг отбирал у него много сил, и сам он внутренне никогда не мог решить – грех это или чудо, и каждый раз после такого случая подолгу постился и каялся местному старцу Антипу, пока тот был жив.

Можно было бы добавить к портрету аввы Евлогия его любовь к строительству ледяных часовенок в середине деревни зимой, когда дорогу к храму метели заматали так, что и на тракторе не подъехать. У нас ведь как с осени пойдут праздники, так только успевай праздновать! И отец Евлогий, бывало, летом вдруг опечалится ни с того ни с сего, померкнет лицом. Его спрашивают:

– Вы что, батюшка, плохо себя чувствуете?

– Да нет, – отвечает, – просто по зиме вдруг соскучился!

Ну и, конечно, он был горячим болельщиком местной футбольной команды и, бывало, когда команда поигрывала, до того разгорячится, что в сердцах и предаст анафеме счастливых соперников из соседней деревни.

А футбол, он у нас еще со времен прошлой Советской власти был своего рода религией. Правда, в день этих похорон из-за плохой погоды матч пришлось отменить. Да и кому, скажите, охота была гонять мокрый мяч по полю с раскисшими коровьими лепешками?

На полпути к гиблому месту, там, где лесная дорога круто сворачивала и шла под откос прямо к кратеру со ржавыми обломками атомного реактора, из чащи, прихрамывая, вышел Иван-Солдатский Крест и, на всякий случай грозно прикрикнув на хвостатых бурлаков, положил в забрызганную грязью телегу рядом с гробом несостоявшегося вождя мировой революции тяжелый осиновый кол. Понурая толпа вымокших нечестивых медленно двинулась дальше вниз.

Опершись на свой железный костыль, Иван несколько минут, зажав самокрутку в кулаке, покуривал под моросящим дождем, провожая неприязненным взглядом траурную процессию, а потом плюнул ей вслед, повернулся и тяжело зашагал в сторону тусклых деревенских огоньков.

Скоро совсем стемнело. Дождь в темноте, казалось, усилился. А ровно в полночь в ледяном воздухе на короткое время завис пронзительный стон долгожданного облегчения.

Ноябрь, 7, 2017, Casa Caburlotto, Венеция

Александр Григорьев

* * *

Когда глубоководным существом
подстроена волнующая встреча
с поверхностью, когда оно, переча
инстинкту погружения, хвостом
и плавниками вспарывает воду
и зашивает ими же – в угоду
судьбе, из мнимой прихоти – не вдоль,
но поперек течения – как доза
прекурсора, как часть метаморфозы,
по-новому горчит морская соль.

* * *

Отцу

Провинциал и сын провинциала,
я вырезал свои инициалы
на выросшей во сне
палласовой сосне.

Чудаковатый сын чудакотворца,
я, пробуждаем криком «форца! форца!»,
ищу по всей яйле
стаканчик крем-брюле.

Не выступает в жанре конференса
судьба, но исключительного шанса
нельзя не уважать.
Я счастлив продолжать.

* * *

«Слышь, малой», –
обращался ко мне во дворе моем каждый второй.
Что-то спрашивал. Требовал. Просто глумился.
И ни разу не впился
взглядом в будущее. Не сказал: «Слышишь, шкет,
тебя в этом дворе всё равно что и нет.
Но хочу, чтоб тебе обломилась
где-то там, через сколько-то лет,
не удача, а Божия милость.
Слышишь, нет?»

* * *

В шести плутать лет двадцать падежах.
Порезаться о ржавчину загвоздки.
«Не велики твои и не громоздки
дела. Ты и на миг не падишах.»

Ходить вокруг да около. Вокруг
да около. Печалиться о сути.
«Какой же ты хороший: ути-пути.
Как застарел, тупица, твой недуг.»

Не доверять себе, как новостям
по Первому. Прислушиваясь, глохнуть.
«Ты – трезвенник, пытавшийся просохнуть
вполсилы. Кое-как. То там, то сям.»

На ярмарке зверей-поводырей
собачиться с их лаем разношерстным.
«Плыви ж теперь не к близлежащим соснам,
а к рощице за тридевять морей.»

Красногорск

Сергей Золотарёв

ВИДЯЩИЕ

Она знала, что он абсолютно слеп.
Но и что-нибудь о провидцах:
то, что зрение – черный хлеб,
и он смачивает его в глазницах.

Он покупал для нее на базаре
сложенные стопкой брюки:
они брались за раструбы, как за руки,
и делали их глазами.

За ночным окном – грузовой поток
вез гуманитарную помощь,
пока отдавал он ей свой восток,
ибо направление на восторг –
единственное, что помнишь.

А потом появились машины
с тыльной своей стороны:
в машинах сидели старшины
с аршинами старины.

Он сказал, что лепешки стали черствы
и что видит он хуже
то, как быстрые их персты
пестреют снаружи.

Мы прятались за гаражи.
Укладывались в подворотни.
Но газовых фар стрижи
действовали проворней.

Мы ныряли в раструбы брюк.
Но зрение ног превратилось в хворост.
И я потерял ее звук,
а она – мою скорость.

Он пошел искать ее по запаху молодых дрожжей.
Он готов был к вторжению
во вражеские виадуки.
Но тесто имеет зреньем – брожение.
Всё тесто имеет зреньем – брожение,
кроме бездрожжевой разлуки.

Он носил лепешки. А крошки глаз
собирали дети безусые,
запивая сердцем свой хлебный квас,
цингою закусывая.

Глазную повязку наматывал, как портянку.
Раз схватил за косу старую египтянку
с глазами из сухаря.
Сделал чмок –
хлеб у старухи размок
и она прошептала: Ок!

Так он узнал мое имя и понял, что я жива.
В моих пальцах всегда оставалось немного его мастерства.

Он вернулся ко мне молодым.
В его глазах был тот осенний дым,
что сжигают во взгляде,
когда очищают сады
от гниющей пади.

И тогда я взяла отрубей
нашей жизни, смочила своей слюной
и, пока их клевал воробей,
притворялась его женой.

НАД НЕБОМ ГОЛУБЫМ

ласточкину слюну иногда
сглатываю внутри
строится что-то вроде гнезда
жалости повтори
жалости изо всей
силы кривого рта

вторит мне ротозей
строится дом-музей
в области живота
строится дом-музей
имени Алексей
Львовича (см. Хвоста)
снятие птиц с креста
солнечных воздушсей
прочая пиета

* * *

Черный хлеб выпекается ночью.
Набираясь от тени земной,
сквозь соломинку вняв худосочной
энергетике злака ржаной.

И буханки стоят, набухая.
И работницы вольных хлебов
проверяют, насколько сухая
подгорающая любовь.

И воздушных ключей пузырьками
дышит тесто. И всяческий срез
зерновой альвеолы зеркально
отражает дыханья процесс.

Слепок хлеба, горячего слова,
снятый маской посмертной с живой,
словно Данте, культуры грибковой
остывает в тоске дрожжевой.

* * *

В спортивном зале комната охраны
одна нагрета, в остальном пространстве –
прозрачный холод. Юрию Журавченко
зубная боль дает незримый образ,
когда вставная челюсть – как стремянка,
и хочется взобраться без поддержки
и дотянуться... до чего – неясно.
И кто-то возвращается обратно.
И этот образ не дает покоя.

Он по зубам своим, как по ступеням,
проводит языком и все боится,
что потеряют равновесие присоски
и слово упадет и разобьется.

Охранник ходит по ночному залу.
Почто неймется Юрию Журавченко?
Он думает – по принципу буравчика
устроена земля, когда вращается,
вворачиваясь в вечность лемнискатой.

А снег съезжает с грохотом по скату,
пугая тем волнистых попугайчиков,
укрытых на ночь. Прутья клетки держат
давление атмосферного столба.

Припомнил здесь охранник, как нырял
на море в Парадизе в Царской бухте.
И как с определенной глубины
потрескивали зубы. Так мерцает
теперь, не нарушая тишины,
дежурный свет в пустом спортивном зале.

Сегодня днем он выпьет двести грамм,
и спирт свою проделает работу
по заморозке нервных окончаний.
И так и не узнает Юрий Ж.,
что искренняя ноющая боль –
единственное, для чего он призван.

* * *

И ближний свет машин
и снятый старшим Германом
Мой друг Иван Лапшин –
совсем не черно-белое
кино. В основе всех
контрастов – золотистые
ресницы, словно смех
и грех, в глазу оттиснутые.

* * *

Зачем все это затевать?
К чему окну запотевать?
И как вообще такое можно:
задерживает лунный свет
стекла незримая таможня,
допрашивает на предмет
провоза солнца контрабандой...
И свет стоит внутри стекла,
как содержание веранды,
как форма жизни и тепла.

ГРОБОКОП

Долго собирал он по крупицам,
как баптистов – по ветвям церквей,
крошки, размещенные по птицам,
дабы хлеб не принялся кормиться
благодарной плотью голубей.

Человек, делимый без остатка
на себя, относится к простым
числам высшего порядка:
для него одна земная складка
спущена с огромной высоты.

Иррациональных уток, дробью
легче постигаемых в уме,
образ замышлялся по подобью
выстрела, летящего во тьме.

А, к примеру, голуби початы
и лежат в расклеванных клешах,
чтобы пацаны или девчата
представляли свой последний шаг.

Человек в надземном положении –
вертикально вытянутый весь –
легкой представляется мишенью
для вещей, идущих с ним вразрез.

Для секущей плоскости секундной
тот, кто выдается над землей,
в темную материю закутан,
подпоясан мертвою петлей.

Эта часть, качаемая ветром,
водоизмещением нутра
что-нибудь в осьмушку кубометра,
часто просыпается с утра.

Но другая, скрытая от глаза,
ниже ватерлинии живет,
вовсе не вставая с унитаза,
брошенная тайно в бездну вод.

Человек в надземном положении
потребляет много высоты.
Потому однажды погруженье
с целями энергосбережения
приведет его на дно плиты.

Главное, открыть в себе кингстоны,
мертвенные пальчики разжать,
чтобы части утреннего стона
участи подобной избежать.

* * *

Старшая жизнь моя младшей глупей:
все еще держит во сне голубей.
В той голубятне –
всего вероятней –
небо возводится в степень степей.

В небе летит заблудившийся взгляд.
Облако чистое, как дистиллят.
В верхней отчизне
провел я полжизни:
кровь моя – родина антителат.

* * *

Продливший жизнь еще на сутки.
Я при смерти, как при монастыре,
живу ее ослушником, чтоб в будке
охранника схватиться на заре.

Моя любимая о многом
и много думает. Касательно меня:
хожу под Богом я
в течение дня.

Ком в горле – внутренняя бритва
с опасной, режущей по всей
сплошной поверхности молитвой,
с бессчетным множеством осей.

Твержу в нутро: не падай духом,
душа моя, не думай о плохом!
Да будет не земля нам пухом,
но мы ей – мхом!

Татьяна Данильянц

ЛЮДИ И ВЕЩИ

1

у каждой вещи
свое предназначение
границы воздуха
повисли в темноте

во тьме
во вспышках темноты
разреженный воздух
и наше молчание
и наше к нему недоверье

2

граненый воздух зимы-весны-лета
и снова зимы

3

чтобы открывались все эти
двери дверки колоды засовы колодцы дырки
все эти заколоченные подвалы провалы в памяти
все то
чего мы не видим
и даже не чувствуем

чтобы все непонятное
скрытое
жаждущее света
чтобы все жаждущие
просветлились

чтоб хватило времени
на все желания
преходящей
тающей

и танцующей
и вдали исчезающей
жизни

чтобы настал свет
Божьего дня

4

распрямяются двери
лица
перья на птице
время
распрямяется
скособоченный край
рая

я иду
лишнего взгляда
задыхаясь от слов
от их ветра
избегая

5

отделяются семена
от оболочки
рвется почка
время разворачивается

6

о скажи
что эти слова
никогда не остынут
не превратятся
в стекло мрамор друзу
трэшем не станут
мелочью хлама
но останутся лавой из черной гортани Везувия
но будут плавиться и не прекратятся

и будут шириться вместе со всеми нами
пока разноцветное колесо
катится своими необозримыми берегами

ХТК

Остается ли что-то,
Остается ли рябью – вода?
И течение против течения,
И это беспмятство тоже?
Остается ли грустный каштан
В этом сизом убогом пейзаже?
Губы вымученно:
не тебе.

Больно мне ранней этой
Простуженной хлябью.
Все стирается в пепел,
И наша опасная жизнь
Для кого-то становится
Светом звезды.
Небосвод будто вышит,
Душа задымленная с ним
Дышит тише.

Не заглядывай в жизни чужие,
В чужой палисад
На фейсбуке,
В невяную щелку затвора.
Здесь нельзя.
Жизнь скукоженная, сырая
Лежит на руках,
На ладони

НОЧНЫЕ БЕРЕГА

1

этой влагой и ветром и пеной
пропитана жизнь
эта влага родная
и влага чужая
родная

2

этой пеной ночной
этой пеной речной

прославляется берег ночной
на его берегах
расцветают волшебные розы
надышаться тобой не могу

и дворцы
и ущелья дворов

братец мой
город

ЭРОС

«Он поет разными ртами»
Ян Сяобин

1

увидела тебя
узнала
как будто время отправилось вспять
в мгновенья реки
с неправильным течением

вспять увидеть
с запасом узнать
все о тебе обо всем

не горькая эта
совсем не горькая

пей бессмертье
с тобой
останавливается время
у моего лица

2

хочу тебя запомнить
войти в тебя памятью
ртов глаз рук
лон жил вен век
стать печатью на губах твоих
стать твоим отпечатком
времени

3

растения не смогут увидеть
наступает время оно
беспамятство речи

4

я закачусь в дальний угол
в беспросветную тишь
вещей

буду поблескивать
всем чем имею
всем своим временем
оно

5

выйти из беспмятства
из коридора зимы
зацвести расцвести
обвить тебя крепко
стеной плоти и бессмертия
бессмертным цветением
плоти

2017–2018

Ганна Шевченко

* * *

Значит, ему угодно,
если рассвет трехцветен,
и потому сегодня
только окно и ветер.

Розовые подсветки
воссоздают свечение
кленов, и в каждой ветке
высшее назначение.

Воздух звенящий, свежий,
легкий, холодный самый,
вскинув ладони, держит
шум над бездонной ямой —

город, который лепет
топот, богат жильцами
и потому не меркнет.
Меркнет в оконной раме.

* * *

Откуда ни возьми, вползает дым.
Под окнами, под тополем моим
свалился день, готовый к усыплению,
внутри простой кухонный колорит —
вскипает чайник, лампочка горит,
но для чудес не место, к сожалению.

В изнаночных шелках сидит парша —
моя, сурьмой крапленая, душа,
зажатая, как хвост, в дверном проеме,
ползет все ниже в транспортной клетке,
как в ступоре — ни выйти, ни войти,
ни обойти, ни сократить в объеме.

О ком поешь, наивная, о ком,
касясь нежной правды языком,
под ребрами вынашивая трели?

Есть у окна особенность одна –
в нем темнота вечерняя видна
и фонари горят в конце тоннеля.

* * *

Ночью небо в черном своем дуршлаге
промывает звезды, и до зари
от любви числа и цветной бумаги
новые рождаются календари.

И ясней становится с каждой датой,
что мы сверху сброшены на убой
и пасет нас временный соглядатай,
ну и пусть, не страшно, ведь мы с тобой

превратимся в пыль, погоди немного,
позади района – несложный лес,
и пересекает его дорога
с белою маршруткой наперевес.

* * *

На это глядя, кажется: у входа
в безоблачность размыло берега –
на улице счастливая погода,
лежат у дома покатою снега.

Отворены небесные порталы,
и солнце, многоуровневый бог,
подсвечивая снежные кристаллы,
лучи свивает в огненный клубок.

Ершится воздух, холоден и светел,
от формы колебания суров –
его вчера придумали, чтоб ветер
качал пустоты стенами дворов.

И он заходит в твердые рябины,
то здесь колышет веткою, то там,
собою заполняет сердцевины,
дыханье дарит птицам и котам.

* * *

Я не знаю, в чье сердце плачет твоя жилетка,
у одежды характер странный, чудны запросы,
мы, как шахматные фигуры, расставлены в темных клетках,
до поры до времени, жалки и безголосы.

Рассказать о юбке? Да, расскажу о юбке.
Если вокруг себя завращаюсь плавно,
белый шелк последней моей покупки
припадет к коленям. Теперь о главном:

по ночам я смотрю на небо, как в свой компьютер,
и оправдываю неудачи системным сбоем,
но однажды проснусь другая, в одно из утр
понимая, что стало солнечно нам обоим.

* * *

Видится труб заводских
дымом задернутый ряд,
город спокоен и тих,
птицы на ветках сидят.

Белого света клубок
тонет в парах щелочных,
окна зашторены – Бог
мир познает через них.

Город бесстрастен на вид.
Слева по трассе пустой
едет машина. Стоит
дерево перед рекой.

* * *

Март отошел, апрель явился, его коллега,
снег потянул, как скатерть, и нету снега,
лишь на задворках мусор – следы попойки.
На каждом квадратном метре свежие новостройки.
Что бы сказал на все это Генри Торо?
Окраина. Выходной. Неподвижный город
чем-то похож на сказку, где спящая королева

так и лежит в гробу под засохшим древом.
Светятся окна кухонь уютным светом –
некому выходить на трассу шальным, раздетым.
Рамы из пластика, стильные занавески –
что бы сказал на все это Достоевский?
Отданы за неделю Москве молодые соки,
движется жизнь по маршруту Каширка–Сокол,
в камень сбиваясь от ежедневной тряски.
Что бы сказал на это Кратет Фиванский?

Елена Литинская

ПАМЯТЬ ЗОЛЫ

* * *

Я тебя по-прежнему люблю.
Лгу. Ушедших любят несравнимо
больше и больней, ведь встречи с ними
во плоти равняются нулю.

Я себе велю тебя забыть.
Может, до финала мне осталось –
бросить якорь. Этакая малость –
как сухое дерево срубить.

Умоляю: уходи во тьму.
В ясный полдень тенью не вторгайся,
духом, барабашкой, полтергайстом.
Дай уединенью моему

обрести покой! И снова лгу.
Я за горько-сладостные годы,
за один лишь день с тобой – сожгу
все мои элегии и оды.

Я тебе замены не нашла.
Честно, и не очень-то желала.
Достигая высшего накала,
гаснет пламя. Но хранит зола
буйство света и уют тепла.

* * *

Я говорила: «Не хочу стареть!»
Ты успокаивал: «Когда двое любят друг друга,
не страшно». Знаю, морщин не стереть
и перелетные птицы с юга
к нам зимой не вернутся ведь.

Но пришел твой последний февраль
и не уступил марту дороги.

В горных речках замерзла форель.
Медведь не вылез из своей берлоги.
Утратив чувство времени, офонарел

фонарь на углу моей Авеню.
Вьюга воеет, словно баба по покойнику.
Я разглядываю себя в зеркале «ню»
и спрашиваю Господа: «На кой мне
теперь еще не старое тело?» Храню

твои часы, халат, фотографии, запонки,
свидетельство о рождении, браке, смерти.
Я пропитана твоим запахом.
Его не заглушить духами и косметикой.
Путаю день и ночь, восток с западом.

Младенчески беспомощно одиночество.
Я тебе дарила себя. А ныне
кому нужны мои плоть, имя и отчество?
На окне – тайнописью иней:
узнаю твой почерк в узоре причудливых линий...

ПАМЯТИ Н. М. ШУЛЬГИНОЙ

Вы ушли, не простившись.
Так идут на прогулку
налегке, не спеша.
Растеклись воды Стикса...
Под сирену с мигалкой
улетела душа.

Вы вчера по дороге
бродили Фейсбуком
и поставили «лайк».
А сегодня все строки
от слез разбухли.
И я Небу – кулак.

Друг старинный, бесценный –
Вы ушли в занебесье.
Мне – удар между глаз.

Нет в наш век Авиценны.
Проиграл битву с бесом
ангел, что хранил Вас.

ЧИТАЯ ДНЕВНИК ОТЦА

Я твой прочитала дневник
сороковых годов.
Ты скупое молчал о них,
боялся сорвать покров
с уродливых черт войны,
обнажив лицевой нерв.
Этикета нормы тесны,
не до хороших манер.
Чтобы в атаку – солдат,
нужен другой набор:
в помощь не Бог, а мат.
Доброе слово слабо.
Взять высоту приказал
полковник. Встречай смерть!
Не оглянись назад,
ведь за спиной СМЕРШ.
Помочь обещал комбат.
Наврал, позабыл. Вот те на!
От взвода – лишь двое солдат
осталось и ты, лейтенант.
Вшей в землянке кормил,
пил настоящий снег
на порохе. Но был карми-
чески сотворен оберег.
Будто закован в броню:
ни враг не убил, ни власть.
Это я сквозь время храню
тебя, чтоб на свет родилась...

Нью-Йорк

Ольга Иванова

Из цикла «Гость»

О. О.

1

в калейдоскопе крон и кровель,
на этой трассе скоростной –
твой усмехающийся профиль
над задыхающей мной,

не устрашась трахеостомы,
дарящий взглядом – как рублем...
неважно – где мы, важно – кто мы,
когда ты рядом, за рулем,

и смехотворны окороты,
и на капоте – белый флаг,
и впору – здешние широты,
и впору – плоти саркофаг,

и белое богоневесте
нигде не жмет (не грех – ушить)...

когда ты рядом – я на месте,
когда одна – как с этим жить?..

2

интриги записная дребедень,
да растреклятой верности фавор,
да в вайбере (уже который день)
«я еду мимо» – будто приговор...

не множа лжи, ни разу не сражен,
что ж, *мимоедь*... – чтоб *лепицу* из жен
(ну, вылитая стенькина княжна:
как у медузы – кожа нежна,

доверие снутри – как ведьмин круг,
совне – одна гигантская кровать,

четыре пары ласковейших рук,
готовые ее четвертовать)

здевсюдоужизнью — якоже одной
огромною отливною волной
(кромсая всключь о битое стекло) —
без палева на дно уволокло...

3

притравы и хулы преодолев,
за край скалы цепляющийся лев,
не то что бы (любуюсь и любя)
не те — туда загнавшие тебя,

и ты им всем — не то что бы не то,
отец и муж, и тень, и конь в пальто
(амиго, альтер эго, божество!), —
пророка несть в отечестве его...

* * *

наглеющий вороний голосок
буровящий шалеющий висок
да блудней не жалеющий лесок
да будней тяжелеющий возок

да Отчий дом, не ведая о сём
отседова куда его везем
да под ногами вечный чернозем
куда для вящей радости сползем

да растреклятой нежности росток
на сквознячке панических атак
чем ярче тэг, тем сумрачней итог
вот как-то так

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Л. М. Савелов

Три речи

О НАСЛЕДИИ Л. М. САВЕЛОВА В ЭМИГРАЦИИ*
К 150-летию со дня рождения

В конце Библиографического указателя трудов Л. М. Савелова, составленного в 1943 году в гор. Бриджпорт, штат Коннектикут, его автор княгиня Л. Н. Щетинина поместила список докладов и речей Леонида Михайловича, которые не были нигде напечатаны.

Несколько из указанных своих трудов из этого списка Леонид Михайлович позже опубликовал, но это событие стало известно только небольшому числу близких к известному генеалогу людей. По прошествии времени информация об этом забылась, а документальные свидетельства остались лежать на книжных полках в течение десятилетий.

В 1944 г. Леонид Михайлович, уже прожив семь лет в США, приступил к изданию нового историко-литературного журнала. Этот шаг Л. М. Савелов предпринял, разочаровавшись в работе над выпуском журнала «Новик», который был им основан в Греции. В частности, он писал об этом следующее:

В марте 1944 года, т. е. ровно десять лет тому назад, в Афинах вышел затеянный мною журнал, посвященный вопросам русской генеалогии и истории, под заглавием «Новик».

Начиная издание «Новика», я мечтал, что он со временем превратится в настоящий исторический журнал, но судьбе не угодно было мою мечту превратить в действительность, хотя и прошло десять лет, и он зачах на девятом году своей жизни, чему способствовала та мертвая атмосфера, которая встретила его в Новом свете, атмосфера, превращающая людей в бездушные машины, к которым приложимы вполне слова, сказанные Пушкиным о калмыках, когда он сравнивал их с образованными англичанами и французами: «Истории своей не ведают, старины не ценят, пресмыкаются перед настоящим», а так как «Новик» служил только прошлому, то он и должен был «мирно опочить», не найдя поддержки в русских людях, не интересующихся собственной историей своей страны, постепенно ими забываемой¹.

С 1945 г. «Новик», после некоторого перерыва, стал выходить один раз в год под редакцией Николая Дмитриевича Плешко², а Л. М. Савелов, хотя и продолжал помещать свои исследования в «Новике», в то же время стал издавать новый журнал:

Теперь, через десять лет, в марте 1944 года, я приступаю к изданию нового историко-литературного журнала под названием «Авентино»; мой журнал будет печататься самым кустарным способом, т. е. на пишущей машинке, в количестве, вероятно, шести экземпляров, «для немногих», никакой подписки не будет, никаких обещаний я давать не намерен, что будет – то будет, судя по тому интересу, который проявляется к истории и литературе у русской эмиграции в С.Ш., этих шести экземпляров вполне достаточно. Как и «Новик», я начинаю свой журнал в полном одиночестве, но десять лет тому назад около меня была моя покойная жена, моя помощница во всех моих начинаниях, теперь нет и ее, а кроме того, и мое зрение может погаснуть каждую минуту, и тогда судьба «Авентино» будет одинакова с судьбою «Новика»³.

В своем новом журнале Леонид Михайлович размещал воспоминания жены Надежды Адриановны (урожд. Егоровой. 1859–1934), свои исторические и генеалогические исследования, художественные произведения, стихи.

Были напечатаны Л. М. Савеловым и несколько докладов и речей, указанных княгиней Щетининой в составленном ею указателе.

Следуя хронологии, в списке были указаны:

1. Речь при открытии в Афинах Научно-литературного кружка (1930 г.)

2. Речь в честь русских византологов (1931 г.).

3. Речь, посвященная Ивану Сергеевичу Тургеневу (1933 г.), произнесенная на заседании Научно-литературного кружка в Афинах.

В нынешней публикации предлагаем читателю эти три выступ-

* Продолжение – начало см. НЖ, № 291, 2018.

1. Эта часть текста в виде «обращения» к читателям была напечатана Л. М. Савеловым без заголовка на первой странице первого номера журнала «Авентино».

2. Плешко Николай Дмитриевич (1886–1959). Генеалог. Редактор журнала «Новик» с 1945-го по 1959 гг. Похоронен на кладбище монастыря в Ново-Дивеево.

3. Это вторая часть текста Обращения Л. М. Савелова. Под текстом была поставлена дата: 11 марта 1944 года. Пока неизвестно, сколько номеров журнала было выпущено. Известно лишь, что сохранилось три номера. Все тексты напечатаны на машинке на простой бумаге в линейку.

ления Л. М. Савелова. Тексты взяты из архива библиотеки монастыря РПЦЗ в Джорданвилле (США). Публикуются по современной орфографии.

Андрей Любимов

ДВЕ МОИ РЕЧИ*

1. Произнесена при открытии в Афинах Научно-литературного кружка.

5/18 января 1930 года

Я счастлив приветствовать вас по случаю первого заседания Научно-литературного кружка. Находясь в Афинах, у подножия древнего Акрополя, возник культурный уголок, имеющий целью объединить русских на почве любви к их Родине, к родному прошлому, к русской литературе, к русскому языку.

Человек состоит из двух элементов – материи и духа. Дух – это та животворящая искорка, которая отличает человека от остального животного мира. Это именно то, что мыслит, что творит и созидает. В наше тяжелое время это животворящий огонек, тлеющий в русской груди, систематически заглушается там – «за чертополохом», по строго выработанному плану, с целью уравнивания всех, а здесь этот огонек гаснет под гнетом тяжелых условий русской жизни, под напором жизненных невзгод и подчас непосильной борьбы за существование, когда думы заняты вопросом о добывании насущного хлеба, когда у человека, не привыкшего к тяжелому физическому труду, нет свободной минуты, чтобы уйти от материальных забот и житейской суеты в «другую» область, в область «духа».

Единственный момент, когда русский человек может оторваться от тяжелых дум, – это время его сна, когда он беспрепятственно может унести в свое прошлое, столь отличное от его настоящего. И вот одно из наших ближайших задач – это дать этому труженику, оторванному от его Родины, а нередко и от своих близких, возможность провести хотя бы короткое время в иной обстановке и отрешиться от тех назойливых мыслей, которые гнездятся в его голове.

Мы хотим напомнить ему о былом величии его Великой Родины, напомнить ему то, что покрывается у него налетом времени, что подчас кажется ему только прекрасным сном, кажется прекрасной грёзой, столь не похожей на его настоящее, на жизнь, полную не только

*Опубликовано в журнале «Авентино», 1944 г., № 2. Сс. 10-12.

материальных лишений, но и постоянных уколов самолюбия, унижением его личности, совершенно им не заслуженных.

И если мы сумеем дать ему эти несколько мгновений забвения, и если он в эти мгновения почувствует себя вновь равноправным членом культурной части человечества, то часть нашей задачи будет выполнена.

Но кроме того, кроме этой задачи, у нас и другая, пожалуй, еще более важная – это наша молодежь, т. е. то поколение, которое идет нам на смену. Если их отцам мы хотим дать возможность забвения от той тяжелой обстановки, в которой они живут и в которую их бросила судьба, и в которой их удерживает равнодушие пока еще более счастливых народов, не испытавших пока того, что приходится переживать русскому народу, брошенному всем миром, готовому лишь разделить наши ризы, насильственно с него снятые; если старшему поколению мы хотим напомнить их прошлое, хотим в его памяти восстановить прошлое величие нашей Родины, то юношество мы хотим познакомить с этим прошлым, которого оно не знает, познакомить его с историей их Родины, познакомить с людьми, которые строили эту родину, которые создавали ее величество, ее государственность, которые за нее отдавали свою жизнь. Мы хотим помочь нашему юношеству не забыть свой родной язык, и не только не забыть, но и полюбить его, так как это язык Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого.

Мы хотим, чтобы наши дети, живя в чужой обстановке, научились любить свою Родину, мы хотим вдохнуть в них любовь к Великой России, которая является родиной их отцов и матерей, – и если это нам удастся, то задача, поставленная нами, будет выполнена, и мы будем знать, что основание нашего Кружка не осталось бесплодным.

Но при всех наших усилиях, без вашей помощи мы всё же ничего сделать не сможем. Для успеха нашей мечты необходимо, чтобы эта аудитория не пустовала, чтобы она объединяла всех, кому дорога Россия, дорога ее культура.

Откликнитесь же на наш призыв, и мы уверены, что искорка, зажженная сегодня, не угаснет.

2. Речь, произнесенная 19 октября 1931 года, за обедом, данным в честь русских ученых, прибывших из Праги и Белграда в Афины на Съезд византологов.

Просматривая программу Византийского Съезда, мы не находим в ней имени «Россия» среди участвующих на Съезде государств, а между тем, кому же, как не ее представителям, надлежало бы быть

среди людей, посвятивших себя изучению истории древней Византии.

На ранней заре своего государственного бытия Русь связала себя крепкими узами с Византией – свою религию, свою государственность и свою культуру древняя Русь восприняла от Византии, и русские ученые вложили немало труда в дело изучения ее богатого прошлого – напомним здесь хотя бы только два имени – Никодима Павловича Кондакова и Федора Ивановича Успенского. И тем не менее, России нет среди участников Съезда...

Ее имени нет потому, что нет и самой России, – она лежит в прахе, окровавленная, поруганная, забытая всеми, даже и теми, кто еще так недавно нуждался в ее помощи.

Жертвенники ее разбиты, ее тысячелетняя культура, ее вера готовы погаснуть. Но мы хотим верить, что хотя жертвенники и разбиты, но огонь еще пылает. Мы видим, что искорки этого огня вспыхивают по всему миру, занесенные туда верными сынами Святой Руси, и одна из этих искорок, подобно метеору, вспыхнула и у нас, под голубым небом древней Эллады, у подножия древнего Акрополя, занесенная сюда хранителями русской культуры...

Здесь, в Афинах, этом сердце Эллады, раздалась звучная русская речь, давшая миру великих мастеров слова.

Нет России, но жива ее «душа», жива ее «культура»*. Не склоняется ее национальное знамя в руках ее сынов, не изменивших своей «Матери», и нам, представителям национальной мысли, надлежит сохранить ее до конца, но не только сохранить, но и передать тому поколению, которому суждено возродить нашу Родину из развалин, освобожденную от варварских ее угнетателей, лишивших ее всего того, что ей дала культурная христианская Византия.

От имени русского «Научно-Литературного Кружка» в Афинах поднимаю я свой бокал за здоровье наших дорогих гостей, осветивших, хотя и на короткое время, серые будни нашего безвременья.

Л. М. Савелов-Савелков

ХУДОЖНИК СЛОВА**

Среди блестящей плеяды русских писателей XIX века особо выделяется имя Ивана Сергеевича Тургенева, одного из творцов русского литературного языка, которым может гордиться наша Родина.

* В публикации во всех случаях сохранены авторские кавычки (Ред.)

** Опубликовано в журнале «Авентино», 1944 г., № 2. Сс. 26-28.

Иван Сергеевич поистине является художником слова и по праву принадлежит к тем русским писателям, которых считают русскими «классиками».

На этих «классиках» выросло и воспитывалось ныне уже «ушедшее» поколение, от которого остались лишь небольшие осколки, готовые также к своему «уходу».

Новое поколение, пришедшее к нам на «смену», почти уже не знает И. С. Тургенева, для него он «устарел», и оно забыло, что оно ему обязано красотой русского языка, выросших на его поэтических образах, ярко рисующих ушедшую эпоху; особенно дорого его имя и его несравнимый язык, язык Великой дореволюционной России, тот язык великого народа, про который сам Иван Сергеевич сказал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, могучий, правдивый и свободный русский язык».

И как много сделал сам Тургенев для красоты этого языка, и глубоко был прав сказавший: «Тургенев – есть ли имена, нам симпатичнее по звуку», и недаром лучшей похвалой для писателя является сравнение его языка с языком Тургенева. Но, увы, с «ушедшим» поколением уходит и его язык, загаженный в последнюю четверть века, как загажена всевозможными малограмотными «частушками» русская песня.

И мы вполне уверены, что когда закончится позорная эпоха в истории нашей Родины, начавшаяся в феврале и марте 1917 года, и придется вновь восстанавливать чистоту и красоту русского языка, то творения Тургенева будут настольной книгой у каждого культурного русского, понимающего разницу между языком Тургенева и языком большевистской России. И. С. Тургенев жил на рубеже двух, весьма не похожих одна на другую, эпох – эпохи «барской», или «дворянской» (помещичьей), и эпохи, если так можно выразиться, «интеллигентной»; эта новая эпоха отличалась развитием в России социализма, или, как его тогда называли, «нигилизма», эта эпоха пришла на смену уходящего «барства», с его недостатками, но и с несомненными достоинствами, оставившего новому поколению богатое культурное наследие, давшего нам целый ряд крупных имен на всех поприщах государственной и общественной жизни России, каковы – Пушкин, Лермонтов, Хомяков, Самарины, Аксаковы и др. Это переходное время не могло, конечно, не отразиться на творчестве Тургенева – первая, уходящая, эпоха отразилась живо на поэтических, ставших «классическими», его «Записках охотника»; без этого, поистине замечательного, произведения трудно понять и ощутить всю красоту русской природы, как он ее описал хотя бы в «Летнем дожде» или в «Русском соловье» и в ряде других, вроде его «Зеленой тишины»:

Откуда веет тишиной?
Откуда мчится зов?
Что дышит на меня весной
И запахом лугов?

Как любитель красот природы, Тургенев не проходил мимо самого незначительного ее проявления, и его преклонение и восхищение перед этой красотой ярко выливались в его высокопоэтических творениях, не только в прозе, но и в стихах:

Ручей журчит на дне долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветер в листьях осины
Трепещет пойманным крылом*.

В «Записках охотника» Тургенев, в числе различных типов, весьма подробно останавливается на личности «одногодворца» Овсянникова. Нынешнее поколение совершенно уже не знает, что такое «однодворец», этот пережиток давно ушедшей эпохи. Описание Тургенева настолько характерно, что я позволю себе привести из него несколько выдержек: «Представьте себе человека полного, высокого, лет 70, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой – вот вам Овсянников. Терпеть не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и суеты». Такими же качествами обладала и жена Овсянникова: «...важная и молчаливая. От нее веяло холодом, но многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей». Эта, описанная Тургеневым, чета Овсянниковых, видимо не являлась исключением – мне лично в самом раннем возрасте (1875 г.) приходилось часто видеть одну старую однодворку, она была совершенно такая же, как и жена Овсянникова, – строгая на вид, вежливая, строго одетая, мало-разговорчивая. Однодворцы вели трудовую жизнь, но никогда не забывали своего «дворянского» происхождения, утерянного по их вине; у некоторых из них можно было найти старинные царские жалованные грамоты и столбцы.

В его «Дворянском гнезде» как в зеркале отразилась ушедшая «барская» Россия, создавшая столь высоко симпатичный образ «Лизы», которую мы с трудом найдем в следующую эпоху, эпоху Базаровых, которой Тургенев посвятил целый ряд своих произведений,

* У Тургенева: «Ручей журчит во мгле долины, / Вдали гремит весенний гром, / Ленивый ветер в листьях осины / Трепещет пойманным крылом» («Весенний вечер». 1843). (Ред.)

каковы – «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», в которых действующими лицами являются уже не «Лизы» и «Лаврецкие», эти законные дети ушедшей эпохи, а отцы тех, которые, продолжая работу своих отцов, довели Россию до февральских и мартовских дней 1917 года, когда Россию захлестнул грязный и кровавый поток большевизма.

В заключение считаю нелишним привести слова одного из современных нам писателей, сказавшего: «Тургенева не так много сейчас читают. Это понятно. Для грубой современности он слишком аристократичен. Чтобы его любить, надо любить поэзию и тишину. Это несовременно. Но Бог с нею, с современностью. Тургенев выше ее и лучше, не ей его судить. Она пройдет, а он останется, пусть не для столь многих. Не для толпы Флобер, и Гёте, и Петрарка».

С этими, глубоко справедливыми словами нельзя не согласиться. Может быть это и несколько резко, но правда не всегда приятна.

Современное поколение забыло далеко не одного Тургенева; оно забыло весьма многое, забыло многое, что было дорого его отцам и дедам, оно «сотворило» себе новых «кумиров», которые весьма далеки от кумиров, которых чтит русский народ.

Современное человечество отошло от старых идеалов и повернуло в ту сторону самого грубого материализма, – и глубоко прав не известный мне поэт, сказавший, что:

Наш век – амбар старьевщика,
Где все, что ветхо и подгнило,
Собрала времени рука
И в груды пеструю свалила.
Чего вы не найдете там!
«Добро» и «Зло» свалили вместе,
То здесь валяются, то там
Куски «стыда», обрывки «чести»,
Остатки «дружбы» вековой,
Куски старинного «раздолья»,
Клочки «веселости» былой,
«Любовь», изъеденная молью,
От «самолюбия» труха,
«Религиозности» частицы,
От «добрых нравов» шелуха
И «чести» редкие крупички...
А где-то там, в углу,
На самом заднем плане,
Кусочек «правды» на полу,
Завернутый в «обман»...

Весь этот пестрый сор и хлам
Покрыт густейшим слоем пыли.
А как еще недавно нам
Предметы эти святы были.

Немудрено, что современному человечеству не до Тургеневых, Флоберов, Гете и Петрарки; будем надеяться, что наступит другая эпоха, когда человечество вернется к духовным ценностям, тогда и в России вспомнят Тургенева и всю блестящую плеяду наших писателей XIX века.

Л. М. Савелов-Савелков

Публикация – А. Любимов, Джорданвилль

Ирина Анастасьева

«Горьким словом моим посмеюся...»

Переписка М. Алданова и Л. Штильмана

Обнаруженная переписка относится к 40-м и 50-м годам XX века (первое письмо, написанное Марком Александровичем, датировано 16 января 1941 г.; последнее – от 24 июня 1956 г., принадлежит перу Штильмана) и, прежде всего, носит личный характер, свидетельствующий о теплых взаимоотношениях двух семей. В одном из писем 1947 года Алданов назовет Штильмана своим старейшим (после И. Бунина) другом. Бóльшая часть писем, поначалу интонационно напоминающая разговор хорошо воспитанного сына (Штильмана) с авторитетным отцом (Алдановым), а затем перешедшая в разговор равных друзей, посвящена обсуждению работы над антологией русской литературы, в которую авторы намеревались поместить отрывки из произведений, созданных за последние сто лет (и которая, к сожалению, так и не вышла из печати). В случае успеха Штильман приступил бы к работе над новой антологией – русской небеллетристической литературы, которую же так, как и первую, намеревался предложить издательству Скрибнеров¹. В нее авторы собирались поместить допушкинские историко-мемуарные материалы, в частности, воспоминания Болотова² и А. Герцена.

Идея выпустить антологию принадлежала Штильману, стремившемуся зарекомендовать себя в академических кругах; в соредакторы он пригласил Марка Александровича Алданова, будучи уверенным, что именитый писатель, имеющий в Америке нужных знакомых, сумеет договориться с издателями о запуске этого литературного проекта. «Эта возможность возникла вследствие 1-е – моей идеи о первой Антологии, 2-е – Ваших отношений со Скрибнером, 3-е – успеха Вашей ‘Пятой печати’³, кот[орая], по-видимому, позволяет предвидеть успех моей Антологии», – напишет он Алданову⁴.

Штильман был сильно заинтересован в издательстве Скрибнеров, и не случайно. Очень широкая сеть магазинов и разросшаяся группа компаний позволяли издательству выпускать качественные книги в твердом переплете и влиять на читательские вкусы. Марк Алданов несколько иронически напишет Штильману (в письме

от 20 ноября 1943 года) о популярности издательства, которая была столь велика в американском обществе, что в честь его основателя назвали военный корабль: «Читали ли Вы, кстати, что последний ‘Либерти шип’⁵ назван ‘Чарльз Скрибнер’ в честь их династии?!!!! Во Франции не было военных судов ‘Кальман Леви’⁶, и, кажется, вообще нигде этого не было».

О готовящемся издании авторы поместили заметку в «Нью-Йорк Таймс» 11 января 1943 г.: «Having discovered that there is no comprehensive anthology of Russian fiction in print, Mark Aldanov and Leo Stilman have set out to do one for Scribner. Aldanov is the Russian-born novelist known for his trilogy of Napoleonic novels (‘Ninth Thermidor,’ etc.); Stilman is a Sorbonne graduate, now an instructor of Russian at Cornell. Their selection, it is said, will cover the period from Pushkin to the present and will be made up mostly of short stories. Episodes from novels will be included, however, and the editors intend to bring into the collection many famous Russian authors little known in this country. Nicholas Wreden, manager of the Scribner Bookstore, is translating some of the selection. The title may become ‘A Hundred Years of Russian Fiction’, and publication is early spring».*

Биографические подробности жизни Штильмана (в английской транскрипции – Stilman, 1902–1986) достаточно скудны и разбросаны по разным источникам. Итак, Штильман – американский профессор, русский послереволюционный эмигрант. Его дружеские отношения с Алдановыми завязались еще во Франции (а может, и раньше – в России); после оккупации Парижа фашистской Германией они приняли решение эмигрировать в Соединенные Штаты, однако Алдановы приплыли в Нью-Йорк первыми (9 января 1941 г.). О своем приезде писатель сообщит Штильману в письме от 16 января 1941:

* «Обнаружив, что (в Соединенных Штатах. – *И. А.*) не существует всеобъемлющей антологии русской литературы, Марк Алданов и Леон Штильман предложили выпустить таковую в издательстве Скрибнера. Алданов – писатель русского происхождения, известный своей трилогией о Наполеоне (‘Девятое Термидора’ и др.)⁷; Штильман, выпускник Сорбонны, в настоящее время преподает русский язык в Корнельском университете. Произведения, включенные в антологию, как уверяют авторы, будут представлены эпохой, начиная с Пушкина и заканчивая сегодняшним днем. В основном, это будут рассказы и отрывки из романов. Тем не менее авторы намереваются включить в антологию произведения большого числа знаменитых писателей, мало известных в Америке. Николай Вреден, менеджер книжного магазина Скрибнеров, переводит на английский язык некоторые из рассказов. Предполагаемое название антологии – ‘Сто лет русской художественной литературы’. Публикация ожидается в начале весны». (Перевод мой. – *И. А.*)

Милый Лёля.

Мы приехали в Н.Йорк (Так у Алданова. – *И. А.*) 9-го, и я на следующий же день стал хлопотать о Вас и Полонских⁸. Но 11-го к нам зашла тетка Галочки⁹, – она прочла о моем приезде и разыскала нас: в этот самый день она получила от Вас телеграмму, что консул принял документы и что Вы в феврале выедете (Речь о визе в США. – *И. А.*). Надо ли Вам говорить, как я этому обрадовался. Получить affidavits, особенно материальный, чрезвычайно трудно. Я снесся с В. Иаффе (Так у Алданова. – *И. А.*), – он телеграмму Вашу понимает так, что виза еще не получена. Но, по-моему, тут сомневаться не приходится, правда? Февраль – это ясно: нужны транзитная и въездная виза, – я тоже считаю: на это месяц, а то и 6 недель.

Ехали мы нелегко. Приятные сведения о третьем классе, о которых я с чужих слов писал Коновалову¹⁰ (Вам я отправил из Лиссабона тотчас копии этого письма), были совершенно неосновательны. Нам лично не везло. На том пароходе, на котором мы ехали, была только одна двухместная каюта (вполне приличная): № 98, и мы с Т. М.¹¹ ее получили. Кроме того в третьем классе есть еще несколько более или менее сносных четырехместных и шестиместных кают. Кто же не добился каюты, тот путешествовал в дортуарах на 50-60 человек, в трюме! Я раз туда зашел – и убежал. Во что бы то ни стало, если Вы поедете в третьем классе, требуйте номерованной каюты. Иначе это будет каторга. Затем еда – тут уже независима от кабины. Она в первом классе средняя, а в третьем просто отвратительная, – многие заболели. Я только первый день обедал в столовой, а потом мы туда и не заглядывали: питались ветчиной, сардинами, апельсинами, советую Вам запастись всем этим в Лиссабоне, где едят отлично. Повторяю, что (Могут быть трудности. – *И. А.*), если Вы поедете в третьем классе. Если Ваш капитал позволяет, постарайтесь попасть на американский пароход, где есть только один класс. Качало нас два дня очень сильно, был шторм, но я не болел ни разу. Ехали мы 11 дней. На пристани нас встретил весь Отейль. Нам приготовили прекрасную громадную комнату с ванной, кухней, рефрижератором (Так у Алданова. – *И. А.*), за 42 доллара в месяц. За такси с пристани мы заплатили 7 долларов, – 700 фр[анков]! Но жизнь оказалась менее дорогой, чем я думал: можно жить, очень скромно, на 100 долларов в месяц вдвоем.

Нью-Йорк мне нравится. Он очень изменился за 28 лет. Такого высокого уровня благосостояния я нигде в мире не видел. Но как жить? Пока сведения неутешительные: еще никто не устроился из русского Отейля. Кроме интервью, мне газеты ничего не предлагали и не предлагают, а интервью денег не приносят. Вероятно, я выступлю с публичным докладом, – разумеется, без какого бы то ни было меценатства: билеты продаются только в кассе. Такие доклады читали Александр Федорович¹² и Авксентьев¹³, они дают возможность продержаться месяц. Начал сношения по поводу «Начала Конца»¹⁴. Хочу создать здесь толстый русский журнал вместо покойных

«Совр[еменных] Записок». Вот всё. Сирин иногда пишет рецензии в американских газетах и вырабатывает этим 50-60 долларов в месяц. Попытаюсь всё же проникнуть в американскую печать и я, однако это трудно. О Вас Иаффе говорит: «пока о работе думать преждевременно». Я наяду и на него и на других. Люди здесь любезны и очень гостеприимны. В воскресенье я купил номер «Нью-Йорк Таймс», в нем было около 200 страниц, если не больше. Вечерняя газета тоже не меньше 36 страниц каждый день.

Не писал Вам до сих пор потому, что первый Клиппер (Так у Алданова. – *И. А.*) уходит лишь завтра. Из Лиссабона я Вам писал несколько раз и ни строчки от Вас не получил. Дошел ли до Вас мой «новогодний подарок» – кофе?

Т. М. сердечно вам обоим кланяется и тоже очень рада вашему приезду. Она скучает и в оппозиции новой жизни. Научилась ли Галочка по-английски? Довольна ли она? Целую вас обоих и шлю сердечный привет Вашим. Надеюсь увидеть Вас в марте. Напишите, что для Вас приготовить. Дайте знать точно, когда приедете, я Вас встречу. В Лиссабоне Вы, верно, будете ждать билета довольно долго. Но иногда бывают удачи. Двое моих знакомых получили билеты (в первом классе) за несколько дней до ухода парохода.

О Леоне Штильмане известно немного: сын заметного русского адвоката, выехавший из Петербурга в Париж через год после революции, где окончил Сорбонну и практиковал в качестве юриста в течение двадцати лет¹⁵. В 1941 году он перебирается в США, принципиально меняя род деятельности. Поначалу преподает русский язык и литературу в Корнельском университете (Итака, NY). Именно Марк Александрович поспособствовал устройству своего протеже в этом университете, а позднее попытался выхлопотать для него «стипендию Гугенгейма»¹⁶. В письмах к Алданову тот не раз благодарил старшего друга за бесценную помощь, – сам Штильман не сумел бы найти приличную работу, дающую возможность держаться на плаву: «Разрешите в связи с этим мне еще раз выразить Вам признательность за неоценимое содействие, оказанное мне как по устройству Антологии, так и по определению в Cornell»¹⁷.

Защитив диссертацию, Штильман стал профессором Колумбийского университета по протекции Эрнеста Дж. Симмонса (Ernest J. Simmons), заведующего Отделением славянских языков в Корнельском университете, под чьим руководством он поначалу там и преподавал. Когда Симмонс перебрался в Нью-Йорк, он взял с собой и Штильмана, который со временем заменил на посту Симмонса и самостоятельно возглавил Отдел славянских языков при Колумбийском университете: «Можете меня поздравить – с поступлением в университет. Я записался в ‘грэдуют студент’¹⁸, чтобы

получить докторскую степень. Симмонс обещал мне профессиру, как только я ее получу, конечно. Слушаю лекции Симмонса по русской литературе (был ли Гоголь реалистом? 'лишний человек' в русской литературе, идея 'салвэйшен тру софферинг'¹⁹ у Достоевски и пр.). Захватывающе интересно. Слушаю и курс Романа Якобсона²⁰ по славянской филологии, очень трудный. Якобсон милейший человек и очень много знает. Отношения с ним отличные. С Симмонсом тоже. С осени я буду заведовать всем преподаванием русского языка в Колумбии и в Барнарде²¹.<...> Может быть, уедем из Нью-Йорка в конце мая – до сентября. Отдохну, потом буду писать грамматику, потом готовить новый курс – анализ стиля русской прозы (Адвэнсд анализис оф Рэшен проз стайль)²². Это я такой курс придумал и получил на него одобрение Симмонса. В принципе, не имея степени, я могу преподавать только язык, а это курс на грани языка и литературы; считается он 'грэдуэйт', и благодаря этому я попадаю в список регулярного университетского преподавательского состава <...>²³.

Курс Штильмана «Особенности стиля русской прозы» включал в себя анализ произведений как русской классики XIX века, так и современной литературы, в связи с чем на занятиях дискутировались вопросы перевода новых советских романов на английский язык. Кроме того, он был автором таких академических университетских курсов, как «Русский язык для начинающих», «Русский язык для продолжающих» и др.

Штильман (иногда в соавторстве с женой Галиной) написал несколько учебных пособий: «Русский алфавит и фонетика», «Graded Readings in Russian History», «Russian Words of Movement» и др. Ему принадлежит авторство книг, посвященных исследованию творчества Н. Гоголя, Л. Толстого, Н. Карамзина, А. Пушкина, И. Гончарова, а также книг по русской истории. Его статьи «Невесты, женихи и свахи» и «Всевидающее око у Гоголя» опубликованы соответственно в № 4 (1965) и № 5 (1967) литературного альманаха «Воздушные пути», издававшегося Р. Н. Гринбергом в Нью-Йорке. Почетным было и участие в программах SBC – Week's «Invitation to Learning», куда его приглашали для выступления в передачах, посвященных вопросам поэтики Гоголя (одна из таких передач состоялась 21 июля 1959 года).

В 1958 году Штильман – один из немногих эмигрантов первой волны – сумел посетить Советский Союз, приняв участие в работе IV Международного конгресса славистов, на котором прочитал доклад о пушкинском «Евгении Онегине» (доклад был посвящен памяти Б.Томашевского, блестящего комментатора произведения). В программе выступающих он был заявлен как американский профессор, и

его сообщение спровоцировало бурную дискуссию по вопросу реализма в романе. Доклад вызвал неоднозначную реакцию, так как Штильман говорил о «святом» с неподобающей легкостью: о существующих в пушкинском романе «Евгений Онегин» заимствованиях из «Дон Жуана» Байрона. Он писал об эклектичности фабулы, недо воплощенности образов героев, об особой роли автора, повествующего о генезисе Музы, вступающего в литературную полемику с современниками и т. д. Наиболее идеологизированные участники съезда обрушились на американского слависта с жесткой критикой, обвинив его в формализме и в желании дискредитировать роль Пушкина в мировой литературе.

Доклад успел стать явлением исключительным как с точки зрения исторической ценности (он дает представление о тех процессах, которые были характерны для жизни русской литературной эмиграции в Нью-Йорке в первую половину XX столетия), так и с точки зрения доступности (обнаружить его удалось с огромным трудом в американских университетских библиотеках, т. к. материалов IV Между-народного конгресса славистов с докладом Штильмана не нашлось даже в Российской Государственной библиотеке).

Известно, что Леон Штильман официально вышел в отставку в июне 1968 года, 1 июля 1968 года ему было присвоено звание Почетного профессора Колумбийского университета (EPIC). Его жена Галина преподавала вместе с ним как в Корнеле, так и в Колумбийском университете. Последние годы жизни он проводил в разъездах между США и Парижем, так как скучал по Европе, французской еде и хорошему вину, но своим домом считал Соединенные Штаты. Вот что написано о нем в заметке «Нью-Йорк Таймс» от 5 декабря 1986 года: «Stilman Leon, 84, Professor Emeritus of Russian Literature and Chairman of the Department of Slavic Languages, Columbia University. Died on Thursday, December 4, 1986, in St. Petersburg, Florida, where he has resident since 1974. He is survived by his wife, Galina»*. Вероятно, не случайно американский профессор, некогда проживавший в Санкт-Петербурге в России, провел остаток жизни в Санкт-Петербурге США.

Итак, вернемся к антологии. Обнаружить переписку Алданова и Штильмана за 1942 год не удалось. Но уже январские письма 1943 года свидетельствуют об активном обсуждении авторами тех сложностей, с которыми они столкнулись в работе над проектом. С книгой

* Штильман Леон, 84 года, Почетный профессор русской литературы и заведующий Отделением славянских языков Колумбийского университета. Скончался в четверг, 4 декабря 1986 года. После него осталась вдова Галина. (Перевод мой. – И. А.)

дело сразу не заладилось: стало известно о подготовке к публикации антологии Василия Яновского²⁴ (в дальнейшей переписке Алданов будет называть имя Ярмолинского²⁵; неясно, идет ли речь об одной и той же антологии, ибо Яновский не знал английского языка и мог привлечь Ярмолинского в качестве переводчика). Но пока Алданов не сильно беспокоится о конкуренции (письмо от 8 января 1943 г.): «Что до другой антологии, то о ней Вреден²⁶ узнал от Яновского, что он ее кому-то предложил, – правда, это антология *советской* литературы. Вреден, разумеется, тут же ему сообщил, что мы выпускаем у них антологию последних 100 лет, – и очень хорошо сделал: иначе Я[новский] мог бы говорить, что использовали *его* идею. Конкуренция не опасная: и сюжет другой, и я не очень верю в проекты Яновского, который и по-английски ни слова не знает. По-моему, выход такой антологии никак не помешает Вашей»²⁷.

Позднее прошел слух о подготовке еще двух книг: Бернарда Гёрни²⁸ и антологии, которую собиралось опубликовать издательство Фишера²⁹. Как случайно выяснилось, Фишер, ни с кем не согласовав вопрос, намеревался включить в свой сборник бунинский рассказ «Таня», входивший в цикл «Темные аллеи», и с этой целью перевел его на английский язык. Однако права на публикацию почти всех рассказов этого сборника в США были переданы Алданову, трепетно к Бунину относившемуся и тщательно следившему за соблюдением его авторских прав. Вероятно, Фишер надеялся, что до выхода антологии из печати никто не узнает о его авантюрном замысле, поэтому и не запросил разрешения на публикацию. Но издательский мир оказался не настолько велик, чтобы Фишер сумел утаить свой рискованный план, – и Вреден поставил Алданова в известность. Возмущению писателя не было предела, к тому же он не мог позволить, чтобы новый рассказ И. А. Бунина появился в чужой антологии раньше, чем в их собственной: «За завтраком этим Ник[олай] Ром[анович] (Вреден. – *И. А.*) сообщил мне о продолжении нашей истории с ‘Таней’ Бунина и антологией Фишера. *После* моего письма к этому издательству (Вам известного), Фишер пришел к нему и принес их перевод ‘Тани’ с просьбой сообщить, удовлетворены ли мы переводом! Новый образчик еврейско-немецкой-Клаусмауновской бесцеремонности. Я категорически просил Вредена, тотчас категорически написал Фишеру, что мы, как я и писал ему, НЕ согласны на помещение ‘Тани’ в их антологии, которая выходит до нашей»³⁰.

Появление других антологий русской литературы, опережавших издание сборника Алданова–Штильмана, могло подорвать интерес читателя к их работе; авторы боялись, что книга обесценится еще до рождения, хотя, с точки зрения исторического момента, для публика-

ции было выбрано очень удачное время (шла Вторая мировая война, СССР стал союзником Соединенных Штатов, и все советское было в центре внимания американского читателя). Вскоре стало известно о выходе из печати книги Джона Курноса: «Вы ошибаетесь, думая, что ни одна антология еще не вышла. Прилагаю рецензию ‘Таймс’ об антологии Корноса³¹. Я ее видел в витринах, толстый том. Не купил, так как надеюсь у Скрибнеров получить бесплатно», — сообщит Алданов в письме 20 ноября 1943 года.

Однако у Алданова и Штильмана еще оставалась надежда привлечь внимание читателя к своей книге, если они поместят в ней неизвестные американской публике отрывки из советских произведений, которых в других антологиях либо не было совсем, либо было очень мало: «...если у них мало, то у нас должно быть много, чтобы наша книга, выходящая последней, была возможно меньше похожа на предыдущие. Мне это представляется довольно очевидным. Но как же получить сов[етских] авторов?»³²

Последний вопрос, прозвучавший в письме Леона Штильмана, свидетельствует о еще одном серьезном препятствии, оказавшемся на пути корреспондентов: до заключения контракта издатели хотели получить полный список произведений, которые авторы антологии предполагали включить в книгу. Предоставить этот список не было никакой возможности, так как первоначально нужно было решить вопрос о защите авторских прав советских писателей. В США их интересы представляла некая мисс Хэлен Блэк, вынужденная иметь постоянные сношения с советскими издательскими органами, выдающими разрешение на публикацию тех или иных произведений. В связи с тем, что советское правительство постоянно пересматривало свои решения, авторы антологии находились в подвешенном состоянии, не предполагая, как они, эти решения, могут измениться в следующую минуту. К тому же в СССР были известны политические настроения Марка Алданова, питавшего чувство крайней враждебности к «большевизанам», как он их называл. Писатель был уверен, что его неприязнь ко всему советскому может навредить книге, иначе говоря, была опасность, что Советский Союз не выдаст разрешения на публикацию именно тех произведений, которые вызвали искренний интерес у авторов антологии. Издательству же необходимо было определиться с гонораром, причитавшимся советским писателям, чтобы подсчитать себестоимость книги и запустить проект. Иногда возникало ощущение, что Советский Союз играет с авторами в кошки-мышки, затягивая ответ. Мисс Блэк назначала встречи Вредену, готовившему переводы для книги Алданова–Штильмана, на которые сама не являлась в течение месяца. И вдруг 3 декабря 1943

года, в разгар работы над переводами и вступительными статьями для антологии, Марк Александрович получает обнадеживающее известие от Вредена и пишет Штильману:

Милый Лёля.

Только что Вреден позвонил мне по телефону. От дорогой мисс Блэк получено письмо. Она не только согласна, но чрезвычайно рада тому, что в нашей антологии будут новые советские вещи! Мое имя не может быть препятствием!! [От руки: это я от себя]. Она только не может согласиться на [От руки: продажу нам] двух из предложенных нами рассказов. Один из них – рассказ Пильняка. Если другой – рассказ Бабеля, то это может быть очень печальным указанием относительно их судьбы (чересчур приятно вести переговоры при таких условиях). Впрочем, может быть, это только предположение с моей стороны. Она второго рассказа, очевидно, не назвала и сослалась на какие-то деловые соображения.

Предполагаю, что она запросила Москву (иначе была бы непонятна затяжка после «неприятного разговора»). Теперь остается только предположить, что Госиздат собирается выпустить «Начало конца» в пяти миллионах экземпляров (кстати, если бы выпустили, то, я убежден, книга в миллионах бы и разошлась). Так как я, по своему глупому упорству, еще не делал заявлений о любви к советскому строю, то, вероятно, дело объясняется просто тем, что они не хотят ссориться с могущественной фирмой Скрибнера [От руки: ничего не поделаешь. Вам не удастся от меня избавиться] <...>

Проблема, решенная столь благополучно, казалось, была устранена окончательно. Штильман предположил, что в Москве наконец-то сумели понять, что препятствовать распространению советской литературы за границей бессмысленно, кто бы ни писал предисловия. Все же по-прежнему оставался ряд вопросов: неясно, было ли дано Советами согласие в общей форме, принципиальной, – или лишь на определенные вещи. Невзирая на запрет публиковать Бабеля, Штильман не желал отказываться от его рассказов и намеревался включить в сборник те из них, которые уже успели появиться в американской печати: «<...> Относительно Бабеля, – мы непременно включим один его рассказ, уже переведенный, я постараюсь узнать, где он был напечатан. (Miss Black, пожалуйста, этого не говорите)»³³. Почти сразу приходит ответ Алданова: «Относительно двух рассказов госпожа Блэк назвала свой ответ не окончательным, – они [От руки: ее бюро] должны что-то выяснить и через несколько дней дадут нам знать. Быть может, предположение о политике и неосновательно. Согласие дано на определенные вещи: на те, о которых Скрибнер по нашему указанию запросил»³⁴.

Ничем не обоснованный отказ публиковать советские произведения авторы все же получили. Можно было бы предположить, что он прозвучал как гром среди ясного неба, если бы ранее переговоры шли гладко. И все же авторы антологии были совершенно обескуражены. 5 января 1944 года Алданов сообщит Штильману:

Милый Лёля.

Должен, к сожалению, огорчить Вас по делу об антологии. Как я Вам вчера писал, я сегодня условился завтракать с Вреденом. Когда я пришел за ним в магазин, он мне сообщил, что они утром получили совершенно неожиданное новое письмо от мисс Блэк: она отказывается дать что-либо для антологии! Я тотчас поговорил со Скрибнером. Он мне показал ее письмо, очень короткое. Она сообщает, что получила телеграмму и ничего для антологии продать не может, очень сожалеет, что не может быть полезной, надеется, что это издательству никакого ущерба не причинит. Ни одного слова о том, что она согласилась и что, стало быть, берет согласие назад. Обо мне тоже ни слова, и ни слова о причинах отказа. Письмо даже составлено так, точно отказ относится к антологиям вообще. Я допускаю, что последнее предположение верно: м[ожет] б[ыть], ввиду дурных отзывов о советской литературе в уже вышедших антологиях, они вообще решили не давать в сборники ничего. Ведь у Гернея (Бернард Гёрни. – *И. А.*) тоже, кажется, очень мало советской литературы. Всё же более вероятно, что дело во мне. Я тотчас начал упрашивать Скрибнера, чтобы он меня освободил и взял Симмонса или кого-либо другого вместо меня. Он ответил, что не может на это согласиться, так как надежда на успех связана с моим именем. Я привел ему его собственное прежнее сообщение мне о том, что кампания большевизанов очень повредила успеху «Пятой печати», значит, мое имя не плюс, а минус. Он остался при своем, – по мнению Вредена (мы потом говорили за завтраком), твердо и окончательно (у меня впечатления совершенной твердости не было). Скрибнер подтвердил, что выпустит антологию осенью, как мистер Стилмен и хотел, но предлагает один из трех выходов:

- 1) выпустить антологию – от Пушкина до революции;
- 2) взять те вещи советских авторов, которые уже появились на английском и принадлежат американским издателям (возможно, что так сделал и Фишер – его антология на днях вышла);
- 3) он, Скрибнер, напишет в Вашингтон и запросит «Копирайт Сервис» и Стет-Департамент, сохранены ли права за советскими авторами и можно ли их издавать без их согласия. Я ему тут же ответил, что последний выход невозможен. Копирайт, наверное, есть, да если бы его и не было, этого делать нельзя. В заключение он полувопросительно заметил, что если его предложения неприемлемы, то «можно бы предложить антологию другому издателю». Этот вопрос я пропустил мимо ушей. Мое мнение: надо принять *первый*

выход. Вы стояли за второй, и я скрепя сердце согласился. Но помимо того, что очень неудобно печатать кого бы то ни было без его согласия (или согласия его представителя), теперь более чем вероятно, что если мы купим у американцев рассказы советских авторов, то «Дэйли Уоркер»³⁵ и т. п. снова начнут кампанию: белобандиты поместили в своей антологии эти рассказы, не спрашивая авторов. Мне уже не привыкать, – но ведь Вам это будет особенно неприятно, а, может быть, для карьеры и вредно. Еще одно: под конец Скрибнер, смеясь, сказал мне: до осени, верно, очень многое изменится и, быть может, мисс Блэк потребует, чтобы на антологии был царский вензель (не лишено остроумия). Я стоял бы [От руки: пока] за политику «уэйт энд си»³⁶. Может, в самом деле, к августу они опять передумают. А до августа, очевидно, делать все равно нечего: теперь твердо решено весной книги не выпускать.

Теперь просто «мысль вслух»: не поговорить ли Вам по *секрету* с Симмонсом? Я почти уверен, что он мог бы найти издателя для антологии под его и Вашей редакцией. Думаю, что Скрибнер нас выпустит, при условии возвращения аванса, и что Вреден не откажется дать свои переводы другому издателю (небольшевистскому), как он дал свой перевод «Натали» Фишеру (они, кстати, еще ни гроша не заплатили). Если б у Симмонса были «скрюполи»³⁷, касающиеся меня, то заверьте его, что я не только соглашусь, но и буду рад. Вы можете ему сказать и то, что вводные заметки об авторах написаны все *Вами*. Собственно, для него это было бы настоящей находкой: почти никакой работы (девять десятых уже сделано), научная заслуга (для профессора антология – немалый вклад в его актив) и некоторые деньги. Для Вас минус то, что он возьмет часть Вашего гонорара, но два плюса: 1) отпадают неприятности, связанные с моим белобандитизмом, 2) Вы станете официально научно-литературным сотрудником профессора, что чрезвычайно полезно для карьеры. Что если б Вы его спросили, но, разумеется, по секрету. Скажите ему правду о нашем деле. Скажите, что Скрибнер не хочет без меня издавать антологию. Если б он сразу ответил, никого не запрашивая, что издателя он найдет, я поговорил бы со Скрибнером и Перкинсом³⁸. Если Симмонс скажет, что он *надеется* найти издателя, я поговорил бы с Ник[олаем] Ром[ановичем] (Вреденом. – И. А.), взяв с него слово, что он Скрибнерам [От руки: пока] не скажет, и спросил бы его мнение: может ли Симмонс запросить своего издателя? Разумеется, до того Симмонс ни в каком случае не должен никого запрашивать и не должен *никому* об этом говорить: все издатели знают всё друг про друга, и если б оказалось, что мы с Вами, имея контракт со Скрибнером, ведем переговоры с другими, это было бы огромной неприятностью. Поэтому если Вы склонны поговорить с Симмонсом, возьмите с него слово держать всё пока в секрете. Другое издательство, верно, тоже уплатит 500 долларов аванса, так что убыток для Вас будет только в части Симмонса. Как Вы об этом думаете?

Избави Бог, не подумайте, что Скрибнер отказывается от антологии. Из его же выходов первый очень хорош: критика сплошь ругала советских авторов во всех трех антологиях (третья – Фишеровская). И, конечно, я не беру назад согласия на второй выход.

Почему в Москве передумали, – не знаю. Не [От руки: догадываюсь] и кто [От руки: там] передумал.

Предложения Марка Александровича не устраивали его соавтора по ряду причин, о которых он скажет в ответном письме от 10 января 1944 года:

<...> Теперь «ке фэр»³⁹ практически. Вот мое мнение о различных выходах:

1. Первый выход – вообще не брать советскую литературу – я отвергаю самым решительным образом. То, что, как Вы пишете, «критика сплошь ругала сов[етских] авторов», простите меня, просто неверно. У меня большинство рецензий есть (в том числе рецензия из вчерашнего Times'a). Упрекают составителей именно в том, что сов[етская] литература представлена недостаточно или неудачно, – это почти во всех (пожалуй, даже во всех рецензиях). Что касается одной рецензии, где сказано, что расцвет русской литературы был в XIX веке, – то что же из этого следует? Тогда и Чехова нельзя дать – где ж ему до Толстого и Достоевского? А Куприна, Андреева, Горького, Мережковского и подавно, – т. к. они слабее Чехова. Перечитайте рецензии – и Вы увидите, что возможен один вывод: сов[етская] литература должна быть хорошо и полно представлена. Не совсем мне понятна и «ссылка на прецеденты»: Гернея, где почти нет сов[етской] литературы (и я, прибавляю, Ярмолинского – где ее совсем нет) <...>

2. Конечно, взять готовые американские переводы, тут вообще не о чем говорить, конечно, возьмем.

3. Я всецело приветствую мысль Скрибнера о запросе в Вашингтон о копирайте. Вы пишете, что он, «наверное, есть». Если есть, то и ответят, что есть, но пусть он запросит. Я почти уверен, что его нет и что, по сов[етскому] законодательству, права на переводы вообще не охраняются, т. е. перевод рассматривается как оригинальное произведение и авторское право на него принадлежит переводчику. Если формально мы можем взять и если Госиздат печатает американцев, ничего им не платя, то почему же нам не сделать того же?? Почему это «невозможно»? Кампания прессы? Скрибнеру она безразлична. Вы всё равно, как Вы пишете, белобандит. Так что «скрюпулюли» могли бы быть только у меня. А я заявляю совершенно категорически, что мне плевать. Да и если они печатают американцев без вознаграждения, то какая же может быть кампания?? Либо они признают взаимную защиту авторского права, либо нет. Не может же это быть одностороннее.

Итак, я настаиваю самым решительным образом на том, чтобы запрос в Вашингтон был послан, и очень прошу Вас дать знать Скрибнеру и Вредену об этом. Я хочу, чтобы они знали о моей точке зрения, и если Вы настаиваете на Вашем veto, то пусть знают, что Вы большевик, а не я, и что Вы, а не я, заботитесь о правах Гладкова, Сейфуллиной и Безыменского⁴⁰. Для меня очевидно, что Вы метите в Академики и в герои социалистического труда. А я нет. Я человек независимый. Но, говоря серьезно, я очень настойчиво прошу о том, чтобы запрос в Вашингтон был выслан, и решительно за включение непереуведенных советских вещей, если тому нет легальных препятствий. Какие могут быть против этого возражения, я никак не могу понять.

Последнее Ваше предложение, о Симмонсе и другом издательстве, во-первых, очень сложно: для этого нужно 1. согласие Вредена дать свои переводы. 2. другой переводчик для еще не переведенных вещей. 3. согласие Симмонса. 4. согласие другого издательства (после выхода 4-х Антологий!!) 5. согласие miss Black, кот[орое], я думаю, она бы дала, но ведь Вы в этом сомневаетесь, высказывая предположение, что они вообще ничего не хотят дать из-за дурной критики (какой??). Все это очень уж сложно. Кроме того, для успеха книги я очень рассчитываю на фирму Скрибнера, а Симмонс, я думаю, мог бы издать в Cornell University Press, и продажи никакой бы не было. Коммерческое издательство, конечно, не возьмет. Вместе с тем, если другого выхода не будет, можно будет подумать и об этом.

Wait and see очень долго нельзя, даже если мы выпустим осенью. Если, как я все-таки надеюсь, мы возьмем сов[етские] вещи непереуведенные, – то их надо же перевести. Так что этот вопрос нужно выяснить возможно скорее. Еще раз, очень прошу Вас оставить Ваши scrupule по отношению к Госиздату и не препятствовать намерению Скрибнера. Статьи тоже нужно писать и нужно знать о ком. Дела осталось очень много <...>

Советские интриги и каверзы сильно затягивали дело, но без разрешения всех проблем оставалось невозможным осуществление планов на выпуск антологии, особенно если учитывать принципиальную позицию Марка Алданова, требовавшего соблюдать интересы как советских писателей, так и тех русских писателей, которые не проживали на территории Америки. Дело в том, что закон о защите авторских прав российских *эмигрантских* писателей, чьи произведения намеревались публиковать в США, не распространялся на тех, кто не проживал в Штатах, то есть, по сути дела, он не существовал. В обязанности Хэлен Блэк также не входило отслеживание, будут ущемлены права русских *несоветских* писателей или нет, – они попросту не имели статуса экстерриториальности. Марк Алданов сам однажды пережил эту досадную ситуацию: «Что до американского закона о копирайте, то это дело сложное и мне непонятное.

Когда я написал свой первый роман, я в Париже отправился на Бульвар Сен-Жермен, в бюро копирайта для С[оединенных] Штатов, и получил отказ в копирайте на 'Св[ятую] Елену'⁴¹ на том основании, что я [От руки: по рождению] русский и поэтому по принципу взаимности не пользуюсь охраной американского закона! Так я фантастически не имел копирайта ни на одно изданное во Франции мое произведение и писал на второй странице 'копирайт бай зи осор'⁴² совершенно самовольно. В таком же положении были и другие русские писатели-эмигранты. Между тем, приехав сюда, мы беспрепятственно получили копирайт на 'Новый Журнал'. Насколько мне известно, физическое или юридическое лицо, находящееся в Соединенных Штатах, имеет право на копирайт, независимо от места рождения автора. По-видимому, в этом и заключаются обязанности мисс Блэк⁴³.

Тут следует подчеркнуть особую щепетильность Алданова, а также заботу о друзьях и коллегах, вынужденных жить в изгнании подчас в нищенских условиях. Даже Владимир Набоков, сумевший, казалось бы, зарекомендовать себя в американских литературных кругах, не жил в роскоши, как мог бы и как он привык жить в России до революции. Что уж говорить о тех, кто остался во Франции, да еще оккупированной Германией, как, например друг Алданова – Иван Алексеевич Бунин. На предложение Штильмана включить в сборник рассказ И. Бунина «Петлистые уши» Алданов с негодованием ответил (4 февраля 1943 года):

Как же мы можем взять «Петлистые уши»? Даже если б копирайт уже кончился, то не можем же мы этим воспользоваться, поскольку дело идет о живом, небогатом человеке и моем лучшем друге. Я спрошу у Скрибнера, есть ли надежда, что они, кроме перевода, будут платить тем авторам, которые не защищены ни своими американскими издателями, ни общим советским лит[ературным] агентом в С[оединенных] Штатах. Но, вероятно, они предложат какие-нибудь 25 долларов, а Бунин за «Петлистые уши» может получить значительно больше, [От руки – а главное, у меня нет полномочия по этому рассказу]. «Натали» он мне предложил устроить «на любых условиях» вместе со своей книгой «Темные Аллеи», и я из трех мест получил отказ по другим рассказам этой книги, так что *здесь* действительно речь может идти о небольшой сумме.

Книгу «Темные аллеи» поначалу было сложно опубликовать в США (1-е неполное изд.: Нью-Йорк, 1943), так как в нее входили рассказы (такие, как «Натали»), которые могли задеть пуританские чувства читателя того времени (о чем Алданов писал, публикуя «Темные

аллеи» на страницах НЖ; – замечательно, что первый номер журнала 1942 года открывают бунинские рассказы «Руся» и «В Париже», «Натали» была опубликована в следующем номере), – как мы помним, Вреден все-таки сумел продать свой перевод «Натали» издательству Фишера, вероятно, вместо «Тани». Бунину же Алданов всегда стремился помочь и при малейшей возможности оказывал ему финансовую поддержку. Зная о чрезвычайно бедственном положении Ивана Алексеевича в оккупированной Франции, Алданов даже был готов посылать ему собственные деньги за публикацию его рассказов, в случае если Скрибнер не согласится платить писателям, не имеющим копирайт. С той же глубокой убежденностью в своей правоте он отстаивал интересы советских писателей. Для того чтобы не создавать прецедента, публикуя произведения, не приносящие доходов авторам, Алданов и стремился исключить из сборника их рассказы. Но Штильман по-прежнему на антологию без советской литературы был решительно не согласен, пытаясь воздействовать на душевное благородство Марка Александровича и самостоятельно, и приводя доводы американских профессоров, занимающихся исследованием русской литературы. 22 января 1944 года он сообщит Алданову:

Дорогой Марк Александрович.

<...> В связи с Вашей принципиальной позицией по вопросу о включении еще не переведенных вещей я должен еще раз обратиться к следующему обстоятельству, которое, как мне кажется, ускользает от Вашего внимания. Дело не только в том, что СССР не участвует в международных конвенциях о copyright'e (как это, кстати, copyright'ы будут взяты после запрета?). Дело, главным образом, в следующем. Авторское право в СССР регулируется постановлением ВЦИК'а 1928 г. (Было оно изменено, и в чем именно, – этого я не знаю и именно это хотел бы выяснить). По этому постановлению, права автора охранены только на случай воспроизведения, издания (это и есть, в собственном смысле, copyright). Переводы же рассматриваются как оригинальные литературные произведения. Все права принадлежат переводчику, и автор оригинального текста никаких прав на перевод или на доходы от него не имеет. Этот закон, понятно, получал в СССР широкое практическое применение, т. е. число переводов, в особенности с русского языка на другие языки Советского Союза, чрезвычайно велико. Я думаю, что главный смысл закона именно в поощрении переводов с русского на языки не великорусских народов Союза. Если это все еще так, то Вы, я думаю, согласитесь, что положение меняется коренным образом и что Ваша принципиальная точка зрения теряет всякие основания. Тут дело уже вовсе не в том, что (по Вашему пониманию) Вы не хотите пользоваться чужим добром, потому что в Сов[етской] России пользуются чужим добром. Я Вас прошу подумать о следующем.

В самом Союзе можно, скажем, взять рассказ Федина или Леонова и перевести его на армянский или украинский язык, ничего Федину или Леонову не платя. Почему же, если это так, было бы аморально перевести Федина на английский язык, ничего ему не платя?? Почему он что-то должен получать с английских переводов, если, по законам его страны, он ничего не получает с армянских, грузинских или таджикских переводов? При всем моем старании возвыситься до Ваших моральных стандартов, я никак не могу усмотреть чего-либо аморального в том, чтобы поступить с сов[етски-ми] авторами так, как с ними поступают по законам их страны. При чем тут мораль или порядочность, я решительно не понимаю. Каждое законодательство устанавливает известные пределы авторского права, – как, напр[имер], тот или иной срок либо после опубликования произведения, либо после смерти автора. Если, скажем, в стране А. произведение становится общим достоянием через 20 лет после смерти автора, а в стране В. через 25, будете ли Вы считать аморальным издать произведение страны А. через 21 год после его смерти, не вознаградив наследников, как это позволяет закон, ввиду того, что в другой стране срок 25 лет? На мой взгляд, авторское право есть то, что определено и охранено законом, не больше и не меньше, и ни от кого не требуется, чтобы он во имя порядочности вносил в действующий закон свои поправки или дополнения. Опять-таки если это так, то какая может быть «кампания»? Ответ будет весьма прост и убедителен: сов[етское] законодательство само предоставляет свободу переводов, чего же Вы от нас хотите? <...>

Штильман слабо верил в то, что, обдумав его предложения и соображения на этот счет, Алданов найдет их убедительными и согласится с его доводами, но не терял надежды. Одновременно с этим он пытался надавить на Вредена, не менее заинтересованного в публикации своих переводов в антологии, а также советовался с Симмонсом о том, как следует поступить в данной ситуации, не нарушив закона. Симмонс расценил поведение Хелен Блэк как чрезвычайно глупое и предложил свою помощь в переговорах (он был хорошо известен в Советском Союзе, где с его мнением считались.) Симмонса изумила и позиция Марка Алданова; он уверял, что ни на секунду не колебался бы, если бы ему предстояло опубликовать произведения, не защищенные законом об авторских правах. Но Алданов был настроен решительно и оставался совершенно непреклонен, он был уверен, что писать к Блэк бесполезно. К тому же его покорило ранее прозвучавшее в письмах Штильмана предложение Скрибнера выяснить, существует ли «копирайт» на те или иные произведения советских авторов, и, в благоприятном для издателей исходе, эти вещи опубликовать. Он также сердился на Штильмана за легкомысленное отно-

шение к чужой интеллектуальной собственности. 24 января 1944 года он напишет «Лёле»:

<...> Возвращаюсь к существу дела. Я и не слышал никогда о советском законе 1928 года, но думаю, что он к переводам на не советские языки не относится: зачем было бы им лишать себя дохода, и, главное, зачем было бы им держать мисс Блэк?

<...> Но допустим, что это не так и что копирайта у нее нет (хотя как же она тогда могла бы так самоуверенно то разрешать, то запрещать нам издание советских рассказов?). Не скрываю, меня очень удивило первое предложение Скрибнера, – не меньше, чем Ваше к нему отношение. Каковы бы ни были законы, ни разу ни один из моих американских или европейских издателей не издал моих книг самовольно, не заплатив мне и не получив моего согласия (было одно исключение в Варшаве, я пригрозил обращением в суд, и издатель заплатил мне 1500 франков). Я знаю, что Кнопф⁴⁴ платит Бунину и Шолохову. Насколько мне известно, платят и всем другим. Какова бы ни была юридическая сторона вопроса (а я и тут мог бы многое Вам ответить), *фактически* выйдет так, что Скрибнер создаст прецедент: у живых писателей, у Зощенко, Шолохова, Леонова будут, без согласия их или их агентши, или их американских издателей, взяты и напечатаны бесплатно рассказы, за которые они позднее (а не все они богачи) [От руки: могли бы], согласно всем прецедентам, получить деньги. Вы готовы к этому приложить руку и хотите, чтобы руку приложил и я. Я – без взаимности – считаю советских писателей братьями. Как же я могу оказать им такую услугу? К тому же, этот прецедент был бы, наверное, обращен и против писателей-эмигрантов [От руки: не против меня: я теперь застрахован], у которых никакой мисс Блэк нет. Все ссылались бы на пример Скрибнера–Алданова–Штильмана. Не сердитесь на меня, – я вижу, что Вы сердитесь, – но, при всем моем желании удружить Вам, я этого сделать не могу. Добавлю, что и вся цель заключается [От руки: только] в том, чтобы вместо одних среднего качества вещей поместить другие вещи среднего качества, но с правом сделать пометку, что эти вещи «еще никогда не появлялись на английском языке». Между тем и напечатанные, и ненапечатанные советские рассказы неизвестны 99 процентам читателей антологии.

Вы спрашиваете, как [От руки: они] могли бы взять копирайт *после* нашего запроса. Я не специалист по копирайту, но думаю, что ведомство просто нам ответит, скажем, что на такой-то рассказ копирайт не взят. А так как все становится известным и мисс Блэк первая узнает, то она тотчас и возьмет копирайт *до* выхода антологии. Что тогда? Вернее же, что копирайт у нее есть общий. Не думаю, чтобы американское ведомство стояло на такой позиции, при которой, например, автор «Пятой печати» не я, а Вреден⁴⁵.

И, наконец, я убежден, что согласием оказал бы Вам очень плохую услугу. Кампания [От руки: тогда] начнется наверное. Вы говорите: «ответ будет

весьма прост и убедителен». *Как* мы могли бы ответить?! Написать 50 писем в редакции 50 газет попутчиков, которые их и не напечатали бы? Разве [От руки: есть возможность] отвечать на кампанию большевизанской (или другой организованной) печати? Было что ответить на кампанию против «Пятой Печати»⁴⁶, но я и попытки не сделал. Большевики без малейшего стеснения требуют, например, установления демократических свобод в Италии, – свободы слова, собраний и т. д. – и не слишком считаются с тем, что им можно было бы кое-что на это «ответить». Между тем, «что-то всегда остается» – и [От руки: тут] останется впечатление, что Вы белобандит. Зачем, мой друг, Вы мне пишете, что Вы ни к кому подделываться не собираетесь и т. п., – разве я этого не знаю? Не выступать и не давать оснований или предлога для кампаний не значит подделываться (Вы, кстати, если говорить о политике, при получении визы обязались воздержаться от политических выступлений и заявили, что не сочувствуете группам, пытающимся свергнуть существующий строй <...>, – но это формальная сторона дела, я о ней лишь упоминаю). Если останется впечатление, что Вы попутчик, Скрибнер и некоторые другие издательства для Вас закроются. Если останется впечатление, что вы белобандит, для Вас закроются двери большинства издательств и университетов. А что если останутся *оба* впечатления? Одно исключает другое, но на логику тут ссылаться нечего. Неужели Вы думаете, что я Вас приглашаю стать Молчалиным?!

Тем временем стало известно, что Симмонсу были выделены деньги на публикацию «русских материалов». Вероятно, по этой причине он приступил к изучению русских антологий, опубликованных Гёрни, Курносом и Ярмолинским (последнюю Штильман считал «совершенно абсурдной»⁴⁷), советуясь с Штильманом прежде чем писать о них статьи. Воспользовавшись ситуацией, русский ученый посоветовал ему воздержаться от комплиментов в адрес других антологий до выхода его книги. Совместная работа с Симмонсом по изданию книг была большой победой для него и открывала перспективы, благоприятные для будущей карьеры.

Если продолжать разговор о проблемах, с которыми сталкивались авторы антологии (а уже понятно, что были одни проблемы), то следует назвать еще один подводный камень, препятствовавший плавному продвижению работы над ней: Скрибнеров интересовали шансы книги быть включенной в список клуба «Book of the Month». Клуб «Книга месяца» («Book of the Month») был основан в 1926 году и ежемесячно предлагал своим подписчикам пять новых книг в твердом переплете. Книги выбирались и утверждались группой судей, и предугадать их реакцию на появление очередной антологии, конечно, было сложно. Все это портило жизнь обоим авторам, но с требова-

ниями издательства приходилось считаться, и общаться с издателями нужно было крайне деликатно, – эта обязанность была возложена на Марка Алданова. У Скрибнеров работал Николай Вреден, с которым был заключен договор о переводе для антологии русских и советских рассказов; через его посредство чаще всего и велись переговоры с руководством. 8 января 1943 года Алданов сообщил Штильману:

К некоторому моему удивлению, Перкинс почему-то убежден, что «Бук оф зи Монс» возьмет нашу антологию в качестве *премии*: это не то же самое, что в качестве месячной нормальной выдачи. Вопрос о премиях будто бы зависит лишь от одного из членов жюри (забыл фамилию), и они хотят, чтобы я с ним [От руки: месяца через три] пообедал и выслушал его «сэджестенс»⁴⁸! Хотя, по-моему, это и неловко, и нецелесообразно (очень сомневаюсь, что *один* человек решает вопрос о премиях), я согласился. Во всяком случае, теперь издательство хочет, чтобы мы проделали работу скоро. Я спросил Перкинса, в присутствии Вредена, желают ли они, чтоб было побольше или поменьше новых (т. е. Вреденовских) переводов. Он ответил очень неопределенно, что нужны *хорошие* переводы. Если Вы можете найти в Итаке разные [От руки: еще не проданные] переводы русских авторов [От руки: и соберете]. Иначе это сделаю я здесь. Переписку с издательствами, конечно, они взяли на себя. Думаю, что от ответов будет зависеть многое. Если мы [От руки: предложим] все или почти все переводы из тех, что еще защищены «копирайт»-ом или если издательства потребуют денег, то думаю, что большую часть книги заново переведет Вреден. Это в художественном отношении будет очень хорошо, но тогда из Ваших процентов соответственная часть пойдет ему (вычтут ли они из Ваших процентов часть денег, которые пошли бы издателям за готовые переводы, – я не знаю и решил их не спрашивать, чтобы не подавать мысли). Кроме того, если Вреден будет переводить очень много, то это сильно затянет дело. Впрочем, я не верю все равно, чтобы книга вышла раньше, чем через год (этого я им не говорю). <...> Кстати, они меня спросили о Ваших «титрах» для заметок в «Таймс». Я сказал: «лектор русского языка на курсах при Корнельском у[ниверситет]е».

В обнаруженной переписке отсутствует некоторое количество писем, важных для исследования вопроса об антологии и понимания всех нюансов взаимоотношений Марка Алданова и Леона Штильмана, поэтому содержание переписки иногда приходится восстанавливать из имеющегося контекста. При соблюдении крайней осторожности, я полагаю, можно справиться с этой нелегкой задачей. Но прежде – небольшое отступление: все послания Алданова написаны по правилам старой орфографии и, за редким исключением, напечатаны на машинке; Штильман, напротив, писал от руки, часто

на бегу, — не из дерзости и непочтительности к корреспонденту, а в силу постоянной загруженности, ибо жил поначалу в крайне стесненных обстоятельствах и даже был вынужден снимать, по его словам, «меблирашку» отдельно от жены: «У меня нет ни Вашего имени и успехов, ни денег и досугов Лунца. У меня есть долги, трудная работа, заставляющая меня жить в меблирашке, отдельно от Галочки, — и Антология, с надеждами на будущие, вытекавшие из нее возможности»⁴⁹.

В письме Штильмана не случайно всплывает имя Григория Максимовича Лунца⁵⁰. История с Лунцем, долго дискутировавшаяся в ранней переписке, показывает, что русская привычка делиться на лагеря была лишь усугублена эмиграцией. Хороший знакомый Алданова Григорий Максимович Лунц, вошедший впоследствии в редакционную коллегию «Нового Журнала», перебрался из Парижа в Нью-Йорк в 1942 году. Он стал свидетелем алдановской беседы с Н. Вреденом об ускорении процесса переводов русских текстов на английский язык и таким образом узнал о литературных планах друзей. Сложно сказать, возникала ли у него ранее мысль запустить собственный проект или он, воспользовавшись ситуацией, решил примкнуть к работе, имеющей шансы на успех, — так или иначе, начались переговоры с издательством Скрибнера о его включении в уже существующую группу литераторов. Штильман реагировал бурно: молодому ученому необходимо было иметь в заглавнике авторство антологии во имя будущей карьеры (книга могла помочь в получении места профессора). Данное литературное издание помогло бы и укреплению отношений Штильмана с Симмонсом, с которым он рассчитывал сблизиться во время работы. Однако Лунц привлек к переговорам профессора Гарвардского университета Михаила Михайловича Карповича⁵¹. Симмонс, как понятно из переписки, никогда не согласился бы на сотрудничество с представителем другого университета, и Штильман боялся осложнений как в преподавании, так и в будущих публикациях.

Он в категорической форме и в резких выражениях заявил Марку Алданову, что не будет сотрудничать с человеком, «втесавшимся в чужое дело»: «Не могу понять одного: как Вы можете продолжать считать Лунца ‘очень порядочным человеком’??? Я утверждаю, что его поведение нарушает правила самой элементарной, самой невзыскательной морали. Меховщики с Седьмой Аvenues так не поступают», — заявил он (22 января 1943 г.). Если же он, Штильман, и будет вынужден согласиться на соавторство (невыгодное ему и с точки зрения финансовой), то Лунц должен будет принять ряд условий (которые в данной статье нет смысла перечислять). В ответ

Штильман получил несколько писем от Алданова, до нас не дошедших. По реакции младшего друга, по его репликам и возражениям можно понять, что у Алданова состоялся новый разговор с Лунцем, который, очевидно, успокоил писателя и позволил, как и прежде, относиться к нему, как «к порядочному человеку». Однако доводы Марка Александровича Штильмана не удовлетворили, и в переписке молодой ученый по-прежнему называет Лунца не иначе как «подлецом»: «Сотрудничать с ним я все-таки не буду. Он, несомненно, выигрывает в сравнении со Стависким⁵², как и Ставиский выигрывает в сравнении с Лавалем⁵³, и как Лаваль выигрывает от сравнения с Гиммлером. Градаций много в обе стороны. Но как Вы назвали бы, например, покойного Н. В. Чайковского⁵⁴, если Вы Лунца называете ‘очень порядочным человеком’?...»⁵⁵

Крайне деликатный, очень интеллигентный человек, к тому же верный друг (дурно отзываться о друзьях он не позволял никому), Марк Александрович Алданов не допускал мысли, что Лунц мог позаимствовать чужую идею, он сердился на Штильмана за то, что тот необоснованно обвиняет Лунца. Лунц предложил Скрибнеру выпуск исторической антологии, не имеющей ничего общего с задумкой Штильмана, настаивал Алданов. К тому же он был потрясен злобным тоном «Лёли», как он называл его в письмах.

Разрыв отношений со Штильманом, к счастью, не произошло. Во-первых, он был достаточно молод и подходил на роль сына, по отношению к которому маститый писатель вел себя снисходительно. Во-вторых, Лунц все-таки не Бунин, о котором Алданов никогда не переставал заботиться и за грубый отзыв о котором мог поссориться с кем угодно (как, например, с М. С. Цетлиной). Наконец, Алданов не сумел бы прервать переписку с соавтором, — ведь они работали над одним проектом. 4 февраля 1943 г. он напишет Штильману:

<...> Я бесстыдно солгал бы Вам, если бы сказал, что я не сержусь или не очень сержусь, — но дело не в том, сержусь ли я или нет, и даже не в том, убавил ли один этот разговор наполовину мое расположение к Вам: дело в выводах, которые надо сделать, и я сделал. Впредь в моих письмах Вы не найдете ни «некорректных» выражений, ни «нотаций», ни даже советов: делайте все, что Вам угодно, я в Ваши дела больше никак не вмешиваюсь и постараюсь даже ими не интересоваться. И добавляю — кажется мне, вполне искренне, — я надеюсь, что Вы никогда об этом не пожалеете.

Что же делать, такие отношения между нами, при которых Вы могли бы говорить со мной совершенно так, как я с Вами, невозможны. Может быть, это моя вина и Вы правы в этом, но я человек старых взглядов и себя переделать не мог. Я с Вами всегда говорил так, как говорил, например, с моим

племянником Жоржем (он почти одних лет с Вами), как с Вами говорили Ваш отец или Моисей Леонтьевич, и я достаточно часто хвалил Вас, Ваш ум, талантливость и характер, чтобы иметь право читать Вам «нотации» и писать Вам письма, которые действительно в отношении простого знакомого были бы «некорректными». Теперь это кончено. У нас будут просто отношения старого доброго знакомства, да еще временные отношения по общей работе над лит[ературной] антологией, – к ней, разумеется, сказанное выше никак не относится: здесь я буду участвовать во всем и вмешиваться во все, так как я отвечаю за нее перед издательством и публикой <...>.

Тот факт, что молодому ученому было очень важно, чтобы его имя фигурировало не на втором месте (как соавтора), а на первом, не удивителен, ибо антология – его единственный литературный капитал, которым он мог бы воспользоваться в поисках лучшего места. В конце концов, Штильман попросил даже Алданова отказаться от авторства, и Марк Александрович не возражал (однако ранее он уже называл причины, по которым это решение было неприемлемо для издателей: его имя хорошо известно читателю и оно могло обеспечить коммерческий успех предприятию, Штильмана же никто не знал: «<...> я спросил <...> Вредена, согласились бы они, чтобы на обложке было только Ваше имя или Ваше плюс какого-либо профессора. Он ответил: 'Они ни в каком случае не согласятся'»⁵⁶). На этот раз Алданов лишь повторил сказанное ранее: «Меня действительно незачем уговаривать отказаться от авторства антологии. Вы поручили Вредену поговорить об этом с издателями. Я вчера у него был, но он был на 'конференс', и я с ним поговорить не мог. Сегодня он у себя за городом. В понедельник спрошу его. Я не знаю, согласятся ли Скрибнеры: у них соображения коммерческие. Позавчера Вреден мне позвонил, что их из Англии запросили и о моем романе, и об антологии, свободны ли права для Англии (они ответили, что свободны и будут ждать предложения). Конечно, это связано с 'Бук оф зи Монс'⁵⁷. Если Скрибнеры не согласятся, то я предложу, чтоб Ваше имя было на *первом* месте. Конечно, в политическом отношении это Вас не устроит [От руки: но этого я им и сказать не могу]. Я им скажу все, что Вы советуете сказать»⁵⁸.

Постепенно из переписки имя Лунца исчезает. Почему тот отказался от сотрудничества и когда это произошло, неизвестно, – в обнаруженных письмах это обстоятельство никак не оговорено. Очевидно, Марк Алданов в очередной раз переговорил с Лунцем и убедил его оставить затею, ведь дело уже было налажено, маховик запущен, а Штильман, хоть и не в ультимативной форме, но все же весьма настойчиво требовал с Лунцем переговоры прекратить. К

тому же Марк Александрович, параллельно с созданием антологии, завершал очередной роман – дописывал «Истоки» и гордился тем, что о его книгах с энтузиазмом отзывался Эрнест Хемингуэй, – так что на споры с соавторами времени не было.

Не следует сбрасывать со счетов и того обстоятельства, что Штильман занимался редакторской правкой алдановских «Истоков» и ссора с ним Алданову была не нужна. Он делал свое дело тщательно и качественно, всегда с большим энтузиазмом и, конечно, безвозмездно, к тому же никогда не выпячивал своих «танталов» и нигде не афишировал сам факт помощи. Вот что он пишет о романе:

<...> вещь интересная, живая, Александр⁵⁹ хорош, Катя хороша, Эмс⁶⁰ хорош. Конечно, меня смущают «параллели»: Мамонтов – Штааль, Черняков – Иванчук, Катя – Настенька. <...> Впрочем, быть может, сходство поверхностное и по отрывку нельзя судить? Или Вы верите в переселение душ и это и есть Ваша основная идея? <...> Замечания общего характера: мне кажется, что вещь несколько перегружена диалогами, особенно диалоги на различные светско-житейско-практические темы в иронически-подтрунивающем тоне <...> И, пожалуй, в тоне как разговоров, так и «от автора», хотелось бы немного менее иронии, подтрунивания, кавычек. Будем просты и серьезны⁶¹.

Познакомившись с журнальной версией романа по просьбе Марка Александровича (в журнальную версию романа еще можно было вносить небольшие изменения), он вновь, теперь уже 5 января 1944 года, пришлет свои комментарии:

Прочел «Истоки» в «Новом Журнале». Хорошо и интересно. Общих замечаний у меня два: одно, на кот[ором] я уже много настаивал, – меньше светско-интеллигентских разговоров. Черняков – пошляк, – прекрасно, Вы меня в этом убедили. Зачем же Вы меня заставляете читать страницы его разглагольствований? Вообще тон отдает (светских разговоров) чем-то Бродски-Гавронским, киевски-приват-доцентским, Вишняцко-Кулишерско-Зайцевским (имею в виду Prof. Dr. [неразб.]...) Остроумничанием через пенсне. Выкидывайте, выкидывайте! Второе: вообще меньше иронии⁶², и от автора, и от персонажей (над Эмсом, завтраком, горничной, погодой, отдельными словами и оборотами).

По поводу «Истоков» Алданов советовался и с В. Набоковым, который, знакомясь с отрывками из произведения, печатавшегося в «Новом Журнале», в целом отзывался о романе благосклонно, однако в одном из писем пожурил мэтра за «кариатидность», имея в виду некоторую симметрию в построении сюжетных линий. Алданов

ответил, что в дальнейшем «кариатидности» не будет: «У меня еще появится немало знаменитых людей, но это будут иностранцы, и я к ним своих русских действующих лиц направлять не буду. Буду просто показывать их без связи с фабулой романа <...> и пусть лучше меня ругают за ‘отсутствие плана’, чем за искусственные приемы»⁶³. В этих словах можно услышать отзвук замечаний, сделанных Штильманом:

Несколько слов об «Истоках». Во-первых (это очень глупо, и этому трудно поверить), но я как-то пропустил страницу, где Желябов читает стихи. Не понимаю, как это произошло. Весь отрывок я прочел очень внимательно, – даю честное слово. То, что стихи читают и Александр II, и Желябов, мне не показалось натяжкой. Ничего возразить не имею. Мое замечание о характере диалогов не относится ни к Александру II, ни к Бисмарку, а к сложным разговорам, главным образом при участии Черныкова. Может быть, мое впечатление и ошибочно. Относительно злоупотребления иронией, вот наугад два примера: сыщик («лучший»), приставленный к царю, так глуп, что идет впереди него, и не знает, что ему делать, когда царь заходит в магазин. Зачем ему быть таким ослом. Всякий филер идет позади филируемого лица и отлично знает, что ему делать, если это лицо останавливается, *ç'est l'infâme de l'ont*⁶⁴. Более характерно: горничная зовет к столу. Что смешного или интересного в том, что она отчетливо произносит видимо на всю жизнь заученную фразу <...> Это, конечно, мелочь. Но в повторении таких полусарказмов, усмешек, есть что-то немного раздражающее. Еще о диалогах: они очень уж четкие, задуманные, *to the point*, «по написанному». Вы всегда объясняете, для чего то или иное нужно. Вот именно что нужно. Хотелось бы, чтобы было и ненужное, «casual», вроде как, скажем, в пьесах Чехова (кстати, по-моему, невыносимых, недавно перечитывал). Знаю, что Чехов сам поучал, что все должно быть к чему-нибудь, но в пьесах у него часто говорят ни к чему, как в жизни, отрывочно и о пустяках. В этом отношении («вообще») мне нравится последняя сцена (на станции, – но зачем комментарий к слову «вокзал»?..), с разговорами случайных персонажей. <...> Еще одно замечание. В сцене с Ал[ександром] II, очень, по-моему, удачной, на стр. 110: «блестевших на луне лягушек». Это, мне кажется, неправильно. «На солнце» можно, но не «на луне», а, напр[имер], в лунном свете⁶⁵.

Какие-то замечания Алданов принимал к сведению, с чем-то не соглашался, в любом случае знакомство с ходом работы над романом – увлекательный процесс:

Еще раз от души благодарю Вас за указания об «Истоках». Отвечаю на основное. Вы советуете поменьше «житейских практических отношений и

т. д.» Голубчик, весь Толстой и весь Пруст на этом построены! вы догадываетесь, что я в мыслях не имею себя с ним сравнивать⁶⁶, но если не давать и не разжевывать «мотивировок», сознательных и полусознательных, то можно написать рядовой роман французского или советского типа, где живых людей нет <...> И как же не разжевывать? Вот Вы мне советуете убрать из первой главы разговор Чернякова с сестрой (сестра Чернякова – Дюммлер, замужняя героиня романа. – И. А.). «Что бы проиграла вещь, если б врачи сразу посоветовали Эмс?» и т. д. В этом разговоре Дюммлерша, случайно узнав от брата, что в Эмсе будет Мамонтов, решает заменить Швальбах Эмсом. Я старался здесь (и в других местах) *отдаленными намеками* показать, что у нее к Мамонтову повышенный интерес (дело идет к их связи), но так как я *этого* не разжевал, то Вы – даже Вы – этого не заметили. Чего же ждать от других читателей? Разумеется (хоть это из другой оперы), я немедленно убрал и стилистические фокусы. Мне казалось, что «виселица» вместо «вешалки» для растопыренных в шкафу костюмов – это красочно. А Вы (еще раньше Татьяна Марковна) указали, что костюмы висят на вешалках, а не на виселицах. Очевидно, если б я оставил виселицы, то и все критики отметили бы «грубую ошибку». Может быть, Вы и правы: оставим фокусы другим. Не в кавычки же брать. Многие же другие ваши замечания имеют несомненную художественную ценность. Я, пожалуй, не знаю лучшего ценителя, чем Вы. Бунин не в счет. Очень, очень Вас благодарю. Знаю, что вы потратили и много времени и что у Вас его [От руки: теперь мало]. Искренне тронут. Немного усилил я, согласно вашему совету, и об импрессионистах, хотя мне [От руки: и тут] казалось, что реакция на них Мамонтова ясная: у него неизмеримо больше художественного понимания, чем творческой способности, – после импрессионистов он приходит к мысли, что занимался ерундой. Отсюда и Америка, и отвращение к своему «уголку Компьенского леса». Катя приходит вовремя, но он и без нее бросил бы живопись. Неужели он похож на Штаала?⁶⁷ И Катя на Настеньку?!! Думаю все-таки, что сходство лишь в чисто внешних положениях. А действительно (тут Ваша догадка правильна) положения в 1875 году те, что и в восемнадцатом веке: они вообще считаны. И в этом никакого Экклезиаста нет.⁶⁸

Штильман не раз предлагал Алданову присылать роман на «вычитку», чтобы у него была возможность «поязвить немного». Эти слова не стоит воспринимать как иронию ученика над учителем. Скорее это была попытка скрыть свое смущение перед великим мастером слова, оставившим после себя большую интеллектуальную собственность, которой у Штильмана не было и, как он понимал, никогда не будет. И Алданов не обижался, напротив, часто поддерживал шуточный тон собеседника. Как бы то ни было, редактором Штильман был отменным. 1 марта 1945 года он пришлет очередное

суждение о романе; помимо стилистических огрехов, он отметил досадные, как ему казалось, промахи в содержании:

Замечания почти исключительно стилистические. В общем, живо и интересно. Слабее другого — это, впрочем, я указал и в заметках, — анализ психологии народников-революционеров и характеристика Михайлова. Много резонерствуете. Когда Михайлова показываете, он начинает оживать, но Вы сейчас же его убиваете резонерством. Дайте ему больше говорить и действовать самому, дайте читателю дополнить недосказанное, — и не старайтесь столько пояснять, рассказывать, что есть еще такая черточка характера. Я Вам все равно не поверю, что она есть, если не почувствую ее сам. И не отнимайте у читателя удовольствия быть самому психологом. Тут нужна известная хитрость. Действие, повторяю, хорошо. Немного хотелось бы меньше «вздрагивания» и «трясения» у Ваших революционеров. Забыл отметить: странно заканчивается 2-ая глава. В каком контексте М[ихайлов] должен был сказать «папаша»? Еще «мамаша» я бы понял... почему опытный конспиратор М[ихайлов] после покушения шляется поблизости того места, где ожидают царя и где ему абсолютно нечего делать?

Марк Алданов был очень признателен Штильману за время и внимание, уделенные его роману. 6 марта 1945 года он пошлет ответ:

Как всегда почти все Ваши замечания тонки и очень многие совершенно верны. <...> Тем не менее, не все у Вас верно. Вот Вы, [От руки: напр.], говорите, что опытный конспиратор Михайлов не мог после покушения «шляться» поблизости от того места, где ожидали царя, и т. д. Не знаю, «мог» ли, но он именно там шлялся, между Кремлем и Ильинкой, и там узнал о неудаче взрыва. Я этого не выдумал⁶⁹. Вы советуете не говорить [От руки: или поменьше] от себя. *Такой* роман (по замыслу), как «Истоки», нельзя написать иначе: цель не будет достигнута. Кстати, мне всегда казался весьма неудачным тургеневский прием предпосылки действующим лицам их биографий (вдобавок, не слишком блестящих) А вот недавно в замечательном дневнике Арн[ольда] Беннета⁶⁹ я нашел восторги по поводу этих [От руки: тургеневских] биографий: читатель, мол, сразу знает, с кем имеет дело, и т. д. Я никак с этим не согласен, — это крайность, но нельзя, чтобы действующее лицо в *романе* только действовало и говорило: это прием *драмы*; в романе же *необходимо* комментировать. Да и нет, кажется, романов (хороших) без таких комментариев от автора. *Так* в лучшем случае можно написать превосходный маленький рассказ, вроде «Убийц» Хэммингвея.

И чуть позже, 25 мая 1946 г., Алданов вновь удивится тому, что Штильман не понимает, не догадывается о его стремлении быть мак-

симально точным, создавая портрет исторических личностей: «Почему Вы не поверили, что Перовская была повешена на одной виселице с Желябовым? Так оно и было. Неужели Вы думаете, что я такие вещи выдумываю!»

Надеюсь, не менее интересной современному читателю покажется и та часть корреспонденции М. Алданова и Л. Штильмана, о которой пойдет речь в следующей публикации: в ней собеседники советовались друг с другом о том, какие именно рассказы или отрывки из романов следует включить в антологию. Авторы писем делились впечатлениями о произведениях, обсуждали общественные пристрастия самих писателей (в основном современных). Их замечания были тонкими, умными, подчас язвительными, особенно, когда речь заходила о просоветски настроенных литераторах. Впрочем, письма предоставляют читателям возможность узнать и о той стороне частной жизни корреспондентов, которую они не скрывали друг от друга.

(продолжение в следующем номере)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фирма была основана Чарльзом Скрибнером (Charles Scribner) и Исааком Д. Бэйкером (Isaac D. Baker) в 1846 г. и первоначально имела название «Baker & Scribner». После смерти Бэйкера Скрибнер выкупил его долю и переименовал компанию («Charles Scribner Company»). После смерти Скрибнера его дело продолжили сыновья. Разросшаяся фирма – одно из наиболее крупных издательств, существующих и по сей день и переросших в группу компаний Скрибнеров.
2. Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – русский писатель, мемуарист, философ-моралист, ученый, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и помологии в России.
3. Речь идет о романе «Начало конца». В 1942 г., готовя английский перевод для издания в США, Алданов даст роману новое название «Пятая печать».
4. Письмо Л. Штильмана Марку Алданову от 23 января 1943 г.
5. Liberty ships (*англ.*) – транспортные пароходы, построенные в США во время Второй мировой войны. Строительство нового военного флота началось в 1941 г. С 1941 по 1945 год Соединенные Штаты увеличили свои судостроительные мощности более чем на 1200% и произвели более 2700 «кораблей Свободы», 800 кораблей-победителей, 320 танкеров Т-2 и другие коммерческие и военно-морские вспомогательные суда. Все корабли были названы в честь выдающихся американских граждан.
6. Кальманн-Леви (Calmann-Lévy) – парижское издательство, основанное в 1836 г. братьями Мишелем и Кальмусом, прозванным Кальманном.

7. Authors – Books. // New York Times. – 11 Jan. 1943, p.13. В действительности речь идет о тетралогии «Мыслитель»: «Девятое Термидора», (1923), «Чёртов мост» (1925), «Заговор» (1927), «Святая Елена, маленький остров» (1921).

8. Сестра М. Алданова – Любовь Александровна Полонская (урожд. Ландау, 1893–1963) и ее муж Яков Борисович Полонский (1892–1951), доктор права, журналист, писатель, историк литературы, библиофил, общественный деятель. По неизвестным нам причинам в США не переехали. Сын – Александр Яковлевич Полонский (по-домашнему Ляля, 1925–1990). Встреча Алдановых и Полонских состоялась по возвращении Алдановых во Францию. (Информация с сайта: <https://www.geni.com/people/Яков-Борисович-Полонский/6000000028104858161>). Анатолий Гладилин вспоминал о своем друге Александре Яковлевиче Полонском в книге «Жулики, добро пожаловать в Париж!» (2007): «<...> родился во Франции в 1925 году, окончил Сорбонну, вел собственное дело, говорил блестяще на трех языках – русском, французском, английском; имел квартиру в 16-м, самом престижном округе Парижа, плюс дачу на острове напротив Ля-Рошеля...<...> Покойный Александр Яковлевич Полонский (Царство ему небесное!) всю жизнь собирал редкие русские книги, рукописи. В его коллекции были письма Пушкина и Гоголя. После перестройки его избрали членом Президиума Российского фонда культуры, возглавляемого академиком Лихачевым».

Марк Алданов очень беспокоился о судьбе родственников. Штильман писал об этом в своем письме (13 сентября 1943 г): «Вчера видел только что приехавшего Вишняка. Он передал мне от Вас привет и сообщил, что Вы получили известие от Полонских (Получил письмо. – *И. А.*). Не могу сказать Вам, как я за Вас рад. Очень хотел бы знать подробности. Теперь появляется очень серьезная надежда на благополучный исход для уцелевших». Однако надежды на приезд не оправдались. Отвечая на письмо, Алданов пишет 14 сентября 1943 года: «Сердечно Вас благодарю за участие – по поводу письма Полонского. Но поздравлять меня не с чем. Далеко не все утешительно. Брат мой очень плох (У М. Алданова был младший брат Яков; вероятно, семье брата удалось-таки перебраться в США, т. к. в одном из писем 1947 года вернувшийся во Францию Алданов предлагал Штильманам сдать свою квартиру, ключ от которой хранился у вдовы его брата Кл. Ландау. – *И. А.*). Немцы три раза приходили в больницу, чтобы взять его в Германию, но ‘не настаивали’, – очевидно, в таком состоянии его нашли. Брат Анны Григорьевны (Анна Григорьевна Зайцева, теща Алданова. – *И. А.*), Лео, уже увезен ‘на восток’ с женой из По. Мои очевидно рискуют жизнью каждый день, как и все там. Полонский пишет очень достойно и мужественно, даже ни на что не жалуется. Утешительно только то, что 1 мая они были живы и здоровы и, по-видимому, не голодали. Из моих денег в этом году [От руки: они] до 1 мая получили только те 50 долларов, которые я в декабре, до Бук оф фи монс,

послал им как Кристмес Гифт (Christmas Gift – Рождественские подарки. См. об этих посылках в письме М. Алданова Элькину Б. И., 24 марта 1945, опубликованном в книге «В. А. Маклаков – М. А. Алданов. Переписка 1929–1957». – М. / Российская политическая энциклопедия. 2016, с. 30.: «Теперь посылки. Мы (Лит[ературный] Фонд) уже послали во Францию около 150 продовольственных посылок, посылаем и еще. Отправили посылки также другие организации. По слухам, пропадает и расхищается от четверти до трети посылаемого, – как бы не стало еще хуже. Я послал от себя 15 посылок Полонским, 8 – Анне Григорьевне (ей послал еще 4 посылки мой бофрэр Саша). От себя я отправил также по пяти посылок Буниным, Зайцевым и по одной или по две-три разным другим старым знакомым и приятелям. Кроме 150 индивидуальных посылок Лит[ературный] Фонд получил в виде исключения разрешение на отправку одного большого груза продовольствия по адресу Долгополова для распределения между нуждающимися интеллигентами. Мы единогласно поставили условием, чтобы ни одна посылка не была дана людям, хоть в отдаленной степени повинным в ‘сотрудничестве’ (их, к несчастью, оказалось гораздо больше, чем думали оптимисты)».

9. Галочка – Галина Штильман, жена Леона Штильмана.

10. Коновалов Александр Иванович (1875, Москва – 1949, Париж). Крупный российский предприниматель, общественный и политический деятель. Член IV Государственной думы (1912–1917). Министр торговли и промышленности Временного правительства (1917). Влиятельная фигура Русского Зарубежья. В начале 1918 г. эмигрировал во Францию. После оккупации северной части Франции немецкими войсками в 1940 году уехал на юг страны, затем в Португалию и оттуда в 1941 году – в США, занимал антифашистскую политическую позицию. О нем писала Н. Берберова в книге «Люди и ложи». См.: https://www.e-reading.by/chapter.php/5577/80/Berberova_-_Lyudi_i_lozhi_Russkie_masonry_XX_stoletiya.html

11. Татьяна Марковна Ландау, жена Марка Александровича.

12. Александр Федорович Керенский (1881–1970), переехал в США в 1940 г.

13. Николай Дмитриевич Авксентьев (1878–1943), русский политический деятель, переехал в США в 1940 году.

14. Роман М. Алданова «Начало конца» был опубликован в Нью-Йорке в 1943 году.

15. См.: *Robert A. Maguire. Gogol from the Twentieth Century. Eleven Essays* (L. Stilman, etc.)/ Selected, Edited, Transl. and Introduced by Robert A. Maguire. – Princeton Un. Press, 1974. P. 375.

16. Стипендия Гуггенхайма (Guggenheim Fellowship) – грант Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма представляет собой субсидию, присуждаемую ежегодно, начиная с 1925, тем, «кто продемонстрировал исключительный творческий потенциал или исключительные творческие способности в искусстве». Условия присуждения стипендии не подразуме-

вают студентов в качестве претендентов на грант, но лишь «продвинутых профессионалов в зените карьеры», уже заявивших о себе выставками, постановками, публикациями. (по материалам Википедии).

17. Письмо Л. Штильмана М. Алданову от 6 февраля 1943 г.

18. Graduate student – аспирант (*англ.*).

19. Salvation through suffering – спасение через страдание (*англ.*)

20. Роман Осипович Якобсон (1896–1982) – американский лингвист и литературовед; «russkij filolog», как написано на его надгробии. Эмигрировал в США в 1941 году, преподавал в нескольких известных американских университетах.

21. Имеется в виду Barnard College, с 1900 года аффилированный с Колумбийским университетом, Нью-Йорк.

22. Advanced Analysis of Russian Prose Style (Стилистический анализ русской прозы. Курс для продолжающих).

23. Письмо Л. Штильмана от 8 марта 1947 года.

24. Василий Семенович Яновский (1906–1989) — писатель, критик, мемуарист, представитель младшего литературного поколения. В эмиграции с 1922 года, в Париже с 1926 г., с 1940 г. в Марокко, с 1942 г. в США. Публиковался в различных изданиях, в том числе в «Новом Журнале».

25. Речь идет об Аврааме Ярмолинском (Ярмолинский Абрам Цалевич. 1890–1975) – историке и переводчике русской литературы, возглавлявшем Славянское отделение Нью-Йоркской Публичной библиотеки. Родился в Украине, скончался в Нью-Йорке. В 1923 г. вместе с женой посетил Россию с целью приобретения коллекции уникальных русских книг для Нью-Йоркской Публичной библиотеки. В 1921 г. в Нью-Йорке Ярмолинским и его женой Б. Дэйч была издана в переводах на английский язык антология новейшей русской поэзии «Modern Russian Poetry». В 1937 г. издал антологию «Русская поэзия». О более поздней антологии информации найти не удалось.

26. Николай Романович (Робертович) Вреден (Nicholas Wreden. 1901–1955) – переводчик, издатель. В эмиграции с 1920 г., жил в Нью-Йорке, в 1951–1955 гг. был директором Издательства им. Чехова.

27. На письме указан 1942 год, вероятно, ошибочно; письмо написано в 1943 году.

28. Имеется в виду Бернارد Гилберт Гёрни (Guerney Bernard Gilbert) и его книга «Treasure of Russian Literature». – New-York: Vanguard, 1943.

29. Немецкое издательство «S. Fischer Verlag» основано в 1886 году Самуэлем Фишером в Берлине. Сейчас штаб-квартира издательства находится во Франкфурте-на-Майне. В 1936 г. эмигрировавший из Германии Берман-Фишер основал в Вене издательство «Bermann-Fischer Verlag». После аншлюса Австрии в 1938 г. Берман-Фишер переезжает сначала в Швейцарию, а затем в Стокгольм. В 1940 году издатель вновь вынужден эмигрировать, на этот раз в Нью-Йорк, где совместно с Фрицом Ландсхофом основывает фирму «L. B. Fischer Publishing Corporation».

30. Письмо М. Алданова от 23 сентября 1943 года.
31. Имеется в виду Джон Курнос (John Cournos), британский писатель с украинскими корнями, переводчик с русского и постоянный рецензент русско-советских журналов для «Крайтериона». Джон Курнос публиковался также под псевдонимом Джон Кортни (John Couthey). В литературе встречается написание его фамилии как Курнос, так и Корнос.
32. Письмо Л. Штильмана от 10 января 1944 г.
33. Письмо Л. Штильмана от 4 декабря 1943 г.
34. Письмо М. Алданова от 9 декабря 1943 г.
35. Daily Worker – ежедневная американская политическая газета, созданная в 1924 г. в Нью-Йорке Компартией США. Выходила до 1956 года.
36. Wait and see – «Поживем увидим» (англ.).
37. Scrupule – щепетильность, добросовестность (фр.)
38. Макс Перкинс (Уильям Максвелл Эвартс Перкинс – William Maxwell Evarts Perkins. 1884–1947) – редактор издательства «Скрибнер и сыновья», о котором говорили, что он сформировал литературный вкус Америки.
39. Que faire – «Что делать?» (фр.)
40. Федор Васильевич Гладков (1883–1958) – советский писатель, классик социалистического реализма, лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951). Лидия Николаевна Сейфуллина (1889–1954) – советская писательница и педагог, общественный деятель. Александр Ильич Безыменский (1898–1973) – советский поэт и журналист, обращался к изображению героики революционных будней.
41. «Святая Елена, маленький остров» (1921) – повесть М. Алданова, замыкающая тетралогию «Мыслитель», но написанная ранее романов, входящих в эту тетралогию.
42. Copyright by the author – авторские права защищены автором.
43. Письмо М. Алданова от 24 января 1944 г.
44. Издательский дом *Alfred A. Knopf* основан в 1915 году в Нью-Йорке Альфредом А. Кнопфом; стал одним из лидеров в области выпуска книг в твердом переплете в США. Сейчас входит в издательскую группу *Knopf Doubleday Publishing Group* в составе регионального отделения *Random House Inc.*
45. Николай Вреден подготовил перевод «Пятой печати» на английский язык.
46. В СССР началась кампания против М. Алданова как автора «Пятой печати».
47. Письмо Л. Штильмана от 2 февраля 1944 г.
48. Suggestion – соображение (англ.).
49. Письмо Л. Штильмана от 23 января 1943 г.
50. Лунц Григорий Максимович (1887–1975), в эмиграции с 1919 г.; по 1940 год жил в Париже. В США с апреля 1942 года.
51. Карпович Михаил Михайлович (1888–1959) – историк, публицист,

мемуарист, принимал участие в работе «Нового Журнала» начиная с 5-й книги (1943), а с 12-й книги (1946) стал главным редактором и оставался им до своей смерти; один из основателей американской русистики. Весной 1917 прибыл в Вашингтон в качестве секретаря российского посла Бахметева. Весной 1924 посольство в Вашингтоне закрылось. Карпович переезжает в Нью-Йорк, выступает с докладами. В 1927 его пригласили в Гарвардский университет, где Карпович проработал тридцать лет, в 1949–1954 был деканом Славянского факультета.

52. Серж Александр Ставиский, более известный просто как Александр Ставиский (фр. *Serge Alexandre Stavisky*; 1886, Россия – 1934, Франция) – французский мошенник и аферист. Переехал с семьей во Францию в 12-летнем возрасте. Неоднократно задерживался французской полицией за финансовые злоупотребления, мошенничество, торговлю наркотиками и драгоценностями. По версии полиции, покончил жизнь самоубийством, застрелившись 8 января 1934 года.

53. Пьер Лаваль (фр. *Pierre Laval*; 1883–1945) – французский политик, активный деятель коллаборационного Правительства Виши во время Второй мировой войны и его глава (премьер-министр) с 1942 по 1944 годы.

54. Николай Васильевич Чайковский (1850, Россия – 1926, Лондон) – русский революционер. С 1874 года в эмиграции в США, увлекся идеями богочеловечества. Участвовал в операции по доставке оружия в Россию на пароходе «John Grafton». В 1906–1907 годах совершал туры по США для сбора средств на закупку оружия для революции в России. В 1907 году вернулся в Россию. Чайковский хотел поднять большую партизанскую войну против правительства на Урале, в Пермской губернии. Для этого Чайковский вызвал из США некоего полковника Купера, участника Гражданской войны в США. Резко враждебно отнесся к захвату власти большевиками. С мая 1920 года жил в эмиграции в Лондоне. Принимал активное участие в деятельности эмигрантских общественных и политических организаций и мasonicких лож.

55. Письмо Л. Штильмана от 28 января 1943 г.

56. Письмо М. Алданова от 8 января 1943 г.

57. В 1943 г. роман М. Алданова «Начало конца» (он же – «Пятая печать», по-английски «The Fifth Seal») был отмечен американским обществом «The Book of the Month» как лучший роман месяца. В 1948 г. роман «Истоки» («Before the Deluge») избрало британское «Book of Society».

58. Письмо от 27 февраля 1943 года.

59. Александр II, Катя, Мамонтов, Черняков – герои романа «Истоки»; Штааль, Иванчук, Настенька – герои первой тетралогии М. Алданова «Мыслитель».

60. Бад-Эмс или просто Эмс (нем. *Bad Ems*) – город-курорт в Германии, на реке Лан.

61. Письмо Л. Штильмана от 18 июля 1943 г.

62. Об особенностях авторской иронии в «Истоках» рассуждал и Г. Иванов, похваливший Алданова за ровность и большую, в сравнении с другими произведениями писателя, тональную размеренность и стилевую упорядоченность: «В ‘Истоках’ персонажей такого уровня нет (алдановского ‘умного человека’, отличающегося от ‘дураков и прохвостов’ лишь тем, что, презирая других, презирает и себя. – *И. А.*). На этот раз роль этих, наиболее дорогих ему, героев исполняет сам автор, равномерно распределяя по всему роману ту ледяную иронию высшей марки в отношении всех и всего, которая в книгах, где действуют герои типа Брауна, сосредоточена сгустками вокруг их личности. Поэтому в ‘Истоках’ не встречается таких перенасыщенных энергией всеотрицания и безверия страниц, как разговоры Ламора в неаполитанской крепости и в кабинете Талейрана или блестящие словесные дуэли Федосьева–Брауна. Авторский скептицизм и безверие разлиты на этот раз по всему роману равномерно и бесстрастно». («Возрождение». – Париж, 1950, № 10).

63. См.: «Октябрь». – М., 1996, № 1, с. 136.

64. *c'est l'infâme de l'ont* – это позор для него (*фр.*).

65. Письмо Л. Штильмана от 22 января 1944 г.

66. Известен пиетет М. Алданова по отношению к Л. Толстому. В своих исторических романах он всегда ориентировался на толстовские подходы к изображению истории (хотя не принимал безоговорочно его концепцию исторического фатализма). В этом произведении, по замечанию Андрея Чернышева (см.: Предисловие к 6-томному изданию сочинений М. Алданова. – Ижевск, «Удмуртия». 1990), наибольшее, в сравнении со всей русской литературой, количество толстовских реминисценций: «История болезни и смерти Юрия Павловича Дюммлера – несомненно, вариация на тему болезни и смерти Ивана Ильича. Нравственный итог исканий левого художника и журналиста Мамонтова – счастье только в личной жизни – заставляет вспомнить толстовского Левина».

67. В своем письме, как мы видели, Л. Штильман уподобил Мамонтова – Штаалю, алдановскому герою тетралогии «Мыслитель». Критики с большой долей скепсиса отзывались об этом персонаже, подчеркивая его безжизненность («Штааль вышел совсем восковым» – *М. Слоним*. Романы Алданова // «Воля России», 1925, № 6, с. 161), заурядность («Штааль <...> самое бледное лицо во всей книге» – *Г. Адамович* // «Звено», 1925, № 155, 7 янв.). Терпимо, даже с некоторым сочувствием, отнесся к Штаалю Вл. Ладыженский. Он отметил типичность таких людей: «маленькие люди своего времени и быта, со всеми общими и вечными человеческими страстями, достоинствами и недостатками» («Перезвоны», 1926, № 18, с. 558). О Штаале как художественной находке автора напишет и М. Осоргин («Современные записки», 1927, № 33, с. 524). Позднее в своем отзыве об «Истоках» сопоставит Мамонтова с Штаалем Георгий Иванов, конечно, не догадываясь о том, что его оценка совпадает со штильмановской. Его статья появилась в парижском

номере журнала «Возрождение» в 1950 г. (№ 10), т. е. через несколько лет после письма Штильмана: «Всепроникающи и ядовиты Мамонтов и Черняков, неизменно попадающие по воле автора в нужную минуту в центр событий, – те же, только слегка перегримированные, наши старые знакомые Штааль и Иванчук. Оба в меру ограничены, в меру себе на уме. Оба одинаково стремятся к тому, чего у них нет, и оба неизменно разочаровываются, если добиваются цели. Но, как правило, они ее не добиваются, потому что от природы ‘душевные импотенты’. Их безверие, не менее убежденное, чем у Брауна или Ламора, лишено воли и темперамента. Они вяло желают, вяло стремятся к цели и, вяло грустя о неудаче, на личном опыте и примере подтверждают все ту же основную истину: все в жизни притворство и самообман, жадность, глупость и эгоизм...»

68. Письмо М. Алданова от 22 июля 1943 г.

69. Алданов известен своей дотошностью и стремлением быть максимально точным при описании исторических лиц. Чтобы не исказить личность того или иного исторического персонажа, он часами просиживал в библиотеке, стараясь отыскать малоизвестные сведения о нем, либо консультировался с людьми, знавшими этого человека лично.

70. Енох Арнольд Беннетт (Enoch Arnold Bennett; 1867–1931) – английский писатель, журналист и драматург, литературный критик.

Виталий Амурский

Пространства и ориентиры А. Гинзбурга в годы изгнания

Александр Ильич Гинзбург (1936–2002) для меня, как для тех, кто знал его близко, дружил с ним – а таких людей ему всегда доставало и на родине, и в эмиграции, – был просто Алик Гинзбург... Так он, кстати, представлялся сам, так предлагал обращаться к нему.

Познакомились мы в Париже во второй половине 80-х. Сейчас не помню точно, где именно и при каких обстоятельствах, – возможно, в редакции ныне не существующей газеты «Русская мысль», где я изредка публиковался и под псевдонимами, и под собственной фамилией, и одним из ведущих сотрудников которой он тогда стал. Невысокий, худощавый, с копной седых волос, со стреляющим лукавством взглядом, он выглядел значительно старше своего возраста. Но зная о том, какие испытания выпали ему на родине, сколько он сделал для того, чтобы там не угас появившийся после смерти Сталина огонек надежды на свободу и демократию (я извиняюсь за столь высокий тон, но в данном случае не чувствую неловкости, ибо это было так), удивляться этому не приходилось.

Больше всего при нашей первой встрече я, помнится, оказался поражен его простотой, тем, как он, не зная меня, сразу же заговорил, словно мы просто давно не видели друг друга. В этой простоте не было панибратства, искусственной вежливости, которую подчас проявляют известные, влиятельные персоны по отношению к остальным. Знакомство – как я его ощутил, во всяком случае, – оказалось равно встрече земляков, разными путями оказавшихся в новой стране, в новом мире, где такие слова, как Маяковка, Тишинка или Полянка, являлись не столько московскими топонимами, сколько знаками общей любви и духовной насыщенности, обретенной там.

Да, в Париже Алик Гинзбург появился в ореоле известности, которую обрел в СССР и как редактор одного из первых в самиздате литературных журналов «Синтаксис», – хотя при его непосредственном участии в 1959–1960 годах удалось издать всего три номера (кстати, во втором были опубликованы стихи Иосифа Бродского); и

как автор документальной «Белой книги» о процессе Синявского и Даниэля 1965-66 годов; и как правозащитник, член Московской Хельсинкской группы, которого властям не удалось сломать многочисленными преследованиями и тюремно-лагерными судебными приговорами, – вырваться же из их дьявольской системы удалось лишь благодаря тому, что в руководстве США проявили знак доброй воли: в 1979 году в обмен на него и еще четырех советских узников (Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Георгия Винса, Валентина Мороза) американцы освободили из своей тюрьмы советских шпионов Рудольфа Черняева и Вальдика Энгера. Холодная война была в разгаре, и об этом обмене, как до того, в 1976 году, об обмене Владимира Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, писали во всех западных газетах – в СССР такую информацию получали, в первую очередь, слушатели радио «Свобода» и других западных радиостанций.

Позднее сам Алик не только писал о разных событиях на родине, которые замалчивались режимом, но и выступал у разных микрофонов, делясь со слушателями той информацией, которую по собственным каналам получал из-за железного занавеса. Не помню ни одного случая, когда бы он отказал в подобных просьбах мне как сотруднику русской редакции Международного французского радио (RFI), – всё, что он говорил, было при этом безукоризненно точно по фактам, сдержанно и корректно в части комментариев. Очень интересно, помнится, рассказывал о том, как осенью 1994 года – перестройка тогда уже шла полным ходом – во время командировки в Москву, он был приглашен в КГБ, чтобы... забрать конфискованный у него еще в 1960 году машинописный экземпляр второго тома пастернаковского «Доктора Живаго», и как отказался он забрать его (хотя и чрезвычайно дорожил этим экземпляром, в свое время полученным лично от автора), потому что счел: архив гбэшников окажется более надежным хранилищем столь ценного экземпляра, чем шкаф дома... Публикация моя об этом эпизоде под заголовком «Возвращение ‘Доктора Живаго’» появилась в нью-йоркской газете «Новое русское слово» 4 ноября 1994 года. К теме этой беседы, несколько расширив ее рамки, замечу попутно, мы вернулись еще раз в следующем году – материал назывался: «Мне хочется, чтобы вокруг нас было некое поле правды...» (НПС, 27 сентября 1995). Да, несомненно, для Алика было важно ощущать всегда именно некое поле правды. Поле порядочности. И со стороны людей, и со стороны государства. Хотя, разумеется, идеалистом его считать отнюдь не следовало бы.

Тюрьмы, лагеря, гбэшная возня, которую он знал не понаслышке, не лишили его данного ему, видимо, с рождения, особого дара

находить даже в темных сторонах жизни что-то доброе; он любил шутить – правда, повторяя подчас одну из своих любимых, запомнившихся поневоле, поговорок: «Не плачь, не бойся, не проси». Лишь один раз мне показалось, что к глазам его подступили слезы – в январе 1997 года, на похоронах Михаила Яковлевича Геллера...

Вспоминая Алика в редакции «Русской мысли», я вижу прежде всего узкую комнатнушку, стол, заваленный кипами газет, журналов, гранками, – и среди них его, погруженного в какие-то бумаги, но моментально снимающего трубку вдруг зазвонившего рядом телефона или вскидывающего голову: а, это ты, привет!.. В отличие, скажем, от Наташи Горбаневской, от которой словно исходило электричество, когда она была занята, Алик сохранял прямо-таки олимпийское спокойствие, мягкость, доброту и как бы извинялся за то, что в этот момент не может уделить тебе время. Работал же он, впрочем, не глядя на часы. Работал и в редакции, и дома, где, помимо часто звонящего телефона, были постоянно включены два телевизора с трансляциями из СССР. Не из того, конечно, где всё закрыто за прочными замками, а из СССР, где началась перестройка...

При всём том он умел чудесным образом совмещать невероятное количество дел с посещением художественных выставок, литературных встреч, концертов, которых в «русском Париже» во второй половине 80-х годов было немало. Встречал я его, к примеру, и на вернисажах у Оскара Рабина и Олега Целкова, и на спектакле «Женитьба», в котором играл Лев Круглый, и в клубе «Симпозион» у Лёши Хвостенко, и в мастерских Виталия Стацинского, Николая Дронникова, и на выступлениях приезжавших из Москвы Генриха Сапгира, Айги, Булата Окуджавы (да и не только на выступлениях, но во время других встреч!)... Некоторые творческие встречи Алик инициировал сам. Именно с его «подачи», вне официальных программ, и мы с женой как-то принимали у себя, увы, в не слишком большой квартире, в парижском пригороде Кретеи, приезжавших в конце 80-х годов во Францию со своими песнями Веронику Долину, Сергея и Татьяну Никитиных, Олега Митяева и Константина Тарасова... Кстати, через несколько лет Алик спросил меня о том, нельзя ли организовать у нас еще одно выступление Никитиных, на что я вынужден был дать отрицательный ответ – в то время мы жили уже в другом месте, в более стесненных условиях. Нашел ли он кого-либо для этого – не знаю. Пишу об этом сейчас лишь для того, чтобы отметить очень доброе отношение Алика к этим исполнителям.

Для некоторых, кто не жил в Париже в 80-е годы (а это был в какой-то мере наиболее насыщенный событиями период «третьей волны» эмиграции), русская жизнь в столице Франции представляет-

ся неким ярким полотном. Это так, здесь жили и работали, сюда приезжали известные люди – писатели, художники, барды... Однако именно наличие крупных фигур являлось причиной и раздробленности. Полного единства (плохо или хорошо это – другое дело) не было. Круг Андрея Донатовича Синявского и Марии Васильевны Розановой – это была одна «вселенная», круг Владимира Емельяновича Максимова – другая; художники тоже не всегда ладили между собой... Были фигуры и весьма самостоятельные, хотя порою получали поддержку то в одном, то в другом «лагере»: Виктор Платонович Некрасов, Дмитрий Михайлович Панин... Сказать о том, к кому был ближе всех Гинзбург, – значило бы ошибиться. Он был в равных или, может быть, правильнее сказать, в равных и ровных отношениях со всеми «большими величинами» – не только потому, что сам являлся «величиной», но потому, что даже при наличии разногласий с тем или иным земляком умел сохранить не только корректность в отношениях, но и необходимую в каждом отдельном случае дистанцию.

Я любил и уважал его таким, каким он был.

Поток этих отрывочных, не укладывающихся в некое русло, воспоминаний налетел на меня не просто так. Поводом тому послужила вышедшая в Москве в 2017 году в издательстве «Русский Путь» большая книга «Александр Гинзбург: русский роман» – книга, составленная из материалов семейного архива, фрагментов мемуаров, дневников, официальных документов и различных публикаций в советской прессе об этой замечательной и, вне сомнения, одной из ключевых фигур диссидентского движения в СССР. Составителем этого поистине огромного, но главное – захватывающего обилием интереснейших моментов (не только в биографии Гинзбурга, но и в истории страны) труда явился московский исследователь Владимир Орлов. Однако почти весь корпус книги его оказался посвящен тому времени, когда Алик находился на родине; тому, как сложилась его жизнь в эмиграции, отведено лишь несколько страничек «Эпилога». И вдруг – вот уж, право, странное стечение обстоятельств! – именно в то время, когда я погрузился в страницы, собранные Орловым, мой добрый парижский знакомый, историк русской эмиграции Андрей Корляков сообщил, что обнаружил в своем архиве видеозапись моей беседы с Гинзбургом, датированную 17 декабря 1998 года. Вспомнилось: именно по просьбе Андрея перед камерой, приехав домой к Алику (тогда только что вернувшемуся из больницы, где он находился с тяжелой болезнью), я задал ему ряд вопросов, касающихся именно его жизни в эмиграции. И вот вдруг эта старая запись вынырнула из глубины лет!

Получив от Андрея звуковую ее часть, я испытал прежде всего

огромную радость услышать знакомый голос, но мне также подумалось о том, что распечатка записи может представлять интерес для тех, кто хотел бы познакомиться с биографией Гинзбурга вне родины (свою работу В. Орлов, к счастью, продолжает!), но и с всё дальше и дальше уходящей в прошлое реальной историей последней русской эмиграции (ибо говорить о приехавших во Францию и другие страны людях из постсоветской страны как об эмигрантах, конечно, нельзя, или можно лишь об исключениях). Главную же ценность сохраненной А. Корляковым записи я увидел в том, что о себе, о своем опыте в эмиграции Алик Гинзбург, не оставивший после себя мемуаров, рассказывает сам. Сам проводит основную канву собственной жизни.

Как обычно, перевод живой речи на бумагу потребовал некоторых сокращений, легкой правки, а также больше пояснений, чем к этим своим страничкам (ибо об упоминаемых мною некоторых фигурах достаточно известно и без этого). Но самая главная работа при этом всё же отведена комментариям, без которых читателю, мало знакомому с названиями, именами и местами, которые упоминаются моим собеседником, будет трудно разобраться.

* * *

– Мне хотелось бы начать наш разговор с более-менее широкого вопроса: духовный опыт эмиграции... Что дала тебе жизнь в изгнании: принесла больше добра или зла, открыла глаза как-то по-новому на мир, на себя?

– На себя – едва ли. На людей – едва ли. На мир – безусловно. Просто первые пять лет эмиграции для меня были годами сплошных путешествий. Когда мы стали считать, то получилось, что в самолете, или, скажем, в машине по дороге в аэропорт и обратно, я провел больше, чем где бы то ни было. Такая у меня была работа. Я был международным представителем американских и, одновременно, французского профсоюза Форс Увриер². После чего я несколько уgomонился с путешествиями, хотя, в принципе, ездить не переставал; просто вернулся к нормальной своей профессии – к журналистике. И тут как раз произошло очень забавное: я начал работать в газете, которая первый раз меня напечатала за 13 лет до моей эмиграции.

– О какой газете ты говоришь?

– Я говорю о парижской газете «Русская мысль», которая и потом еще меня неоднократно печатала, на свободе ли я был, в тюрьме ли... В общем, мне удавалось поддерживать с этой газетой какую-то связь, а тут у меня появился «большой блат» (Улыбаясь. – В. А.) – моя жена работала заместителем главного редактора. Вот, и я начал просто работать, но тоже не без поездок по миру, но, по крайней мере,

уже с какой-то возможностью строить новый дом. Потому что, скажем, когда я приехал на Запад – меня, так сказать, «привезли» в обмен на советских шпионов в 1979 году, – всё мое хозяйство составляла пачка фотографий, которые я за свое лагерное время получил из дому; потом, почти через год, приехала семья – их было четверо: мама, жена, двое мальчишек, пяти и семи лет; на четверых у них было три чемодана – один занимали мамины любимые подушки... Поэтому начинать строить дом надо было с самого начала. Я не построил своего собственного дома, так сказать, – я живу в квартире, которую снимаю, но тем не менее у меня есть дом, в котором стоят собранные мною книжки, висят собранные мною картины. У меня вообще есть любовь к собирательству: я вот сейчас начал собирать колокольчики, их у меня уже больше пятисот штук...

– *А как получилось, что именно во Франции ты решил остаться, а не в США, в Германии или какой-то другой стране? Почему Париж оказался последней станцией?*

– До тех пор, пока не приехала жена³, я базировался, в основном, на Америку. Меня «меняло», вообще, американское правительство, и бумаги какие-то – не паспорт, но проездные бумаги – у меня были американские...

– *Беженские бумаги?*

– У меня не было беженских бумаг, просто потому что я не был беженцем. Вот этого опыта у меня нет. Мне американцы сразу дали так называемую «грин карт» – вид на жительство. А жена прилетела буквально через несколько дней после того, как американцы отменили из-за начала войны в Афганистане прямые рейсы Москва – Нью-Йорк. Поэтому она летела через Париж. Встречал я ее в Париже, и уже на следующий день мы улетели в Нью-Йорк. Но в первый же свой парижский день она получила приглашение на работу от главного редактора «Русской мысли». Это была какая-то первая зацепка. Потом я уже расстарался и устроился на работу в американские профсоюзы АФТ-КПП⁴ в качестве их представителя для связей с Европой, Африкой и Азией. Это было одним из двух их международных бюро – другое было для Латинской Америки. Бюро и место, где я получал зарплату, было в Париже.

– *В Африке ты побывал?*

– Побывал. Почти во всех странах Африки. Побывал – что это значит? Нужно было, чтобы профсоюзы самых разных стран на ежегодных сессиях Международной Организации Труда поддерживали всякие американские инициативы, в частности, инициативы американских профсоюзов. Такие переговоры не продолжаются неделями, это, как правило, одно-двухдневный визит, во время которого я был с

переводчиком. Кстати, переводчики в Африке у меня почти все были из московского университета Дружбы народов им. Лумумбы, и, должен признаться, мне казалось, что, как говорится, по отношению к коммунизму правее меня только стенка, но в «любви» к коммунизму эти ребята меня очень сильно переплюнули! Вот такая была работа, при которой я практически не бывал дома, хотя и пытался, по крайней мере в первый год⁵, когда Никита Алексеевич Струве⁶ выделил нам квартиру в Монжероне⁷, в его большом пространстве устроить нечто вроде Русского культурного центра. Но, видимо, для того, чтобы получился Центр, нужно, чтобы он и находился в центре. А для Парижа, скажем, расстояние в 17 километров от него очень сильно мешает такому существованию.

– То есть, проще говоря, для парижанина ехать за 17 километров довольно далеко?

– Конечно. Да, люди приезжают. Но гораздо меньше, чем если это где-то в черте города. И поэтому, хотя в эту идею было вложено немало и физических, и интеллектуальных сил, она не получилась.

– Для понимания неуспеха с монжеронским культурным центром, видимо, нужно говорить и об неумной активности каких-то людей, которые хотели занять там большие помещения...

– Думаю, в какой-то мере это касалось еще только двух людей⁸, которые имели прямое отношение к Монжерону. Это касалось Саши Глезера, коллекционера и владельца действительно замечательной коллекции русской нон-конформистской живописи, у которого в другом здании в том же Монжероне был музей⁹. Но вот, кстати говоря, его пример – то же самое, что мой пример: коллекция замечательная, и когда на какое-то время она переехала в Париж, была недалеко от Ле-Аль, там всегда был народ. Я имею в виду галерею Мари-Терез¹⁰, хотя по объему, по количеству картин она была гораздо меньше, чем в Монжероне. Хорошо, если в Монжерон приезжало человек пять-шесть. Вполне могли ужиться и с монахами, которые были католиками, а стали православными, и т. д., и которые там использовали еще одно помещение – церковь, на которую мы никак не претендовали... Нет, это всё можно было бы! Но невозможно вкладывать душу настоящему в то, что нужно нескольким десяткам людей...

– Так или иначе, интересы разных людей могут сталкиваться, расходиться...

– Да это и нужно! Никита Алексеевич Струве, по-моему, вполне успешен со своим семинаром этих монахов, богословов-французов. Просто потому, что когда они собираются все, а их всех не больше десяти, то это уже замечательно. Они – все здесь. А мы, хотим или не хотим, даже если к нам приезжает сто человек, то знаем, что это дале-

ко не все. И, волей-неволей, пришлось бросить. После этого еще несколько человек пытались что-то там сделать, но мне кажется, что у них получилось не больше, чем у меня. Только у каждого еще более короткое время.

Монжерон продолжался всего год. Весь смысл жизни в Монжероне заключался в том, что вот здесь мы живем и здесь же занимаемся этим самым Культурным центром; а какое у нас есть право там жить, тем более что квартплату с нас брали чисто символическую, – если мы этого не делаем?! Поэтому мы перебрались в Париж. Освободили свое помещение для следующих.

– *Это то самое время, когда в Париже было очень много интересных фигур – писателей, художников из тогдашнего Советского Союза... Некрасов, Максимов... Галич сюда наведывался (жил потом)...*

– Галича я не застал. Он погиб, когда я был в лагере¹¹.

– *Из тех людей, которых ты здесь застал, кто больше всех запомнился? Из писателей, скажем?*

– Очень забавно!.. Все, кого ты перечислил (кроме Галича), у нас были, и у меня даже сохранились их записи, сделанные американской любительской видеокамерой. Но больше всех мне почему-то пришелся по душе, по какому-то такому настроению, Абдурахман Авторханов¹², который в Париже был гостем. Он приезжал из Германии, и для него был устроен один из вечеров. Всё вместе это называлось «Пятницы на Санлиской мельнице»¹³. Действительно, в течение года мы не пропустили почти ни одной «пятницы», а это – почти пятьдесят событий¹⁴, включая литературные, музыкальные вечера, выставки... Там много чего было!

– *Говоря об Авторханове: чем именно он запомнился тебе больше всех?*

– Видимо, этот человек был создан (при том, что он был уже почти совсем глухой) для живого общения; для третьей эмиграции, по крайней мере, – человек легендарный. Вот это – получилось!

– *Авторханов стал легендарным благодаря своей «Технологии власти»...*

– Да, это 67-й – 68-й год¹⁵... С того времени уже прошло 12 лет, выходили другие книги... И наконец перед нами появился живой! Он обаял не просто меня¹⁶ – это всегда видно по общему настроению аудитории. При том, что он что-то недослышивал, говорил громче, чем обычно привыкли мы слышать, орал... Это было страшно интересно!

– *Коль скоро речь идет о специалисте по России, по СССР, наверное, в таком случае правомерно вспомнить тоже о Михаиле Яковлевиче Геллере?*

– Его в это время у нас не было. По самой простой причине.

Аудиторией Геллера в это время были, с одной стороны, – Сорбонна, французские студенты; с другой стороны, его аудиторией были читатели журнала «Культура»¹⁷. В «Русской мысли» он практически не публиковался. Он как-то не входил в сферу, скажем, русской культурной жизни, появился даже позже меня, а я там появился году в 1985-м... реально, то есть когда я кончил работать в профсоюзах. Я тогда несколько месяцев поотдыхал, кое-как пришел в себя и начал работать в газете. Это был процесс переустройства этой газеты.

– *После Шаховской*¹⁸?

– Нет, более пяти лет там уже была Иловайская¹⁹, но для того, чтобы понять ситуацию (ситуацию в эмиграции, в частности, а «Русская мысль» изначально была эмигрантской газетой), требовалось какое-то время, и далеко не сразу всё делалось. И Аринино, и мое, и других людей появление в газете было процессом некоей переориентации в газете. Мы все, с одной стороны, обратили внимание на довольно заметное уменьшение контингента читателей, с другой стороны, на то, что те, на кого мы привыкли ориентироваться, в газете уже стали читать почти исключительно предпоследнюю страничку, то есть некрологи... Та культурная жизнь, в которой они могли принять участие, к этому времени – к началу 80-х годов – была заметно меньше, чем, скажем, лет пятнадцать назад. Ну даже, допустим, существовал бы Монжеронский культурный центр и еще два таких центра, но это – абсолютное ничто в сравнении с теми десятками эмигрантских организаций, которые были созданы и существовали благодаря первой эмиграции. Первая же эмиграция постепенно перемещалась на Сент-Женевьев-де-Буа, а газета, которая теряет читателей, – теряет свой смысл. И тогда, не без труда и не без дискуссий, мы постепенно решили, что мы будем делать газету для не только, так сказать, но и в большей части для людей в Советском Союзе. Когда мы это решили, у нас еще совсем не было, или почти не было, непосредственных сотрудников там. Мы начали пользоваться материалами так называемого архива самиздата, который существовал при радио «Свобода» и издавал свой регулярный бюллетень. Мы что-то оттуда печатали, что-то из других мест, что-то иногда к нам прорывалось непосредственно, но, в общем, это была такая западная газета, ориентированная на население Советского Союза.

Тогда мы гораздо ближе познакомились (с Геллером. – В. А.), он оказался просто идеальным автором для такого рода газеты. А кроме того, произошло достаточно серьезное событие в самой российской жизни... Говорят, что перестройка началась в 1985 году. Если считать борьбу с алкоголизмом началом перестройки, то с этим можно еще поспорить. Но я обратил внимание на это событие не по словам

Горбачева, которого мы видели по телевидению, иногда и читали, – и надо сказать, что он не сильно отличался (возрастом, правда, отличался) от предыдущих властителей... Но вдруг в журнале «Огонек» появилась статья – не помню сейчас, как она называлась, – о попытках в советских тюрьмах. Причем не при Сталине, не при Ленине, не при Ягоде, Ежове и так далее, – а сегодня. Вот это уже было таким реальным свидетельством о переменах. И очень вскоре после этого произошло несколько событий. Первое из них – это освобождение Сахарова из горьковской ссылки и почти сразу следом за этим (только надо не забывать, что Сахаров был освобожден через очень короткое время после того, как в Чистопольской тюрьме в результате голодовки умер Анатолий Марченко – человек, который одним из первых рассказал о послесталинских лагерях²⁰) – первое, что Сахаров сказал, когда его торжественно встречали на вокзале в Москве: нужно спасать остальных политзаключенных – и начался этот процесс освобождения... Это был очень непростой процесс, это был процесс иногда омерзительный...

– То, о чем ты рассказываешь, происходило всё-таки в Советском Союзе, а не здесь, в эмиграции, но ты рассказываешь об этом так, будто в эти самые времена находился там. Видимо, всё остальное, что тебя окружало здесь, отошло куда-то на задний план?

– Можно сказать и так.

– Интересно было бы понять твой внутренний мир. Рвался ли ты туда, или тебе было важнее оставаться, и ты себя лучше чувствовал здесь?

– Сказать, что рвался туда жить, я не могу, потому что единственное, чего я за свою жизнь не сделал, как мне кажется, – я не стал богатым. На самом деле мне в России всю жизнь надо было бы начинать с самого начала, а что это такое – эмигранты еще помнят. Хорошо, если ты сумел хотя бы накопить деньги на квартиру. С другой стороны, я очень рвался туда ездить, и, увы, мне это удалось не первому, а пожалуй, одному из последних. Для этого уже понадобилось вмешательство (кроме газетных тамошних вмешательств) на уровне министра иностранных дел Козырева²¹, потому что первый раз меня впустили в Россию в феврале 1992 года, когда уже не было Советского Союза. Я успел один отказ получить даже из России. Я был в наичернейшем списке. А дальше, получив единожды разрешение, я получил уже аккредитацию как журналист, и начал ездить довольно свободно, практически чуть не каждый месяц на неделю.

– Давай вернемся немного назад, к людям, которые здесь жили, многих из которых, к сожалению, нет. Вот, например, Максимов. Какие воспоминания ты сохранил о нем?

– Скажем, мы были в весьма и весьма глубоком разладе, потому что я очень плохо встретил переезд «Континента» в Москву, причем речь тогда шла даже не о Виноградове²², а о людях, к которым я отношусь гораздо хуже. В общем, мы с Максимовым разругались. Но проходит время, и я сейчас о нем вспоминаю всё как-то теплее и теплее. Хотя, надо сказать, что ссориться все мы умели, даже нельзя сказать, что не любили. Мы ссорились. Иногда после этого мирились, но сейчас, когда уже, так сказать, помириться не с кем, вспоминается всё-таки то лучшее, что он сделал. Буквально вчера у нас был большой довольно разговор о недавнем праздновании в Париже юбилея «Всеобщей декларации прав человека». В результате это празднование превратилось фактически в коммунистическое мероприятие, хотя уж, казалось, как это можно сделать?! Непонятно! И я вспомнил опыт Максимова, а у нас были такого рода провалы, как у наших друзей сейчас на этом юбилее, но когда состоялась очередная встреча в Вене – «Хельсинкская встреча», так называемый «Хельсинкский саммит», то именно Максимов сумел организовать... Во всяком случае, это – то, что остается в результате. Не в биографии (в биографии много чего остается дурного), а в душе, всё-таки, я думаю, что лучшее.

– А если я назову Синявского?

– С Синявским в течение последних пятнадцати лет его жизни мы здоровались, сохраняли внешние знаки благорасположенности, но были в глубоком идейном разладе.

– Из-за?

– Во всяком случае, как сегодняшний, так и завтрашний мир, Россию, русскую культуру мы представляли абсолютно по-разному. Мы абсолютно по-разному относились к явлениям русской жизни. Например, к такому явлению русской жизни, как Солженицын²³...

(К сожалению, на этом месте запись беседы была остановлена. И досказывать ее своими словами я не вижу смысла, ибо в таком случае она утратила бы значение документа.)

Париж

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., к примеру, публикацию: В. Амурский. Окуджава – Андерсон, шведский дуэт. // Голос надежды. Новое об Окуджаве. Выпуск 9. – М.: Булат, 2012. Сс. 180-181
2. Force Ouvrière, один из крупнейших французских профсоюзов.
3. Арина Сергеевна Жолковская-Гинзбург (г. р. 1937) – филолог, правозащитница, журналист.

4. АФТ-КПП – Американская федерация труда (Конгресс производственных профсоюзов) / American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations.
5. Имеется в виду первый год пребывания во Франции.
6. Н. А. Струве (1931–2016) – видный французский славист, литературовед, историк Церкви, издатель, общественный и религиозный деятель, главный редактор журналов «Вестник РСХД» и «Le Messenger Orthodoxe».
7. Имеется в виду старинный замок в пригороде Парижа, который в начале XX века был приобретен П. Б. Струве (1870–1944) и отдан им на нужды русских эмигрантов.
8. К сожалению, А. Г. не уточнил, кого именно, кроме упоминаемого далее А. Д. Глезера (1934–2016), он имел в виду как «второго». На эту деталь я обратил внимание только теперь, при распечатке записи.
9. Этот «Русский музей в изгнании» там более не существует. История же коллекции А. Д. Глезера вообще заслуживает отдельного изучения, учитывая, что вывез он ее из СССР в 1976 году явно без особых административных трудностей, в то время, когда даже сами художники, пожелавшие эмигрировать, были крайне ограничены в правах на вывоз собственных работ.
10. Galerie Marie-Thérèse Cochin, Париж. В данном случае нужно уточнить: галерея Мари-Терез (хозяйка была вторая – после Майи Муравник – жена А. Глезера) находилась по адресу: 73 quai de la Tournelle 75005 Paris. Переезд же «Русского музея в изгнании» из Монжерона в центр Парижа, о котором говорит А. Г., состоялся 17 марта 1988 года. Тогда в трех залах другого помещения (также принадлежавшего Мари-Терез, по адресу 49 rue Quincampoix, 75004 Paris) на базе свыше 160 картин, скульптур, акварелей и рисунков из Монжерона был открыт «Музей современного русского искусства» (Le Musée de l'art contemporain). В самом Монжероне на еще какое-то время осталась лишь часть глезеровской коллекции, в основном графика.
11. А. А. Галич (1918–1974) – поэт, сценарист, писатель, исполнитель собственных песен, эмигрировавший из СССР, трагически погиб в своей парижской квартире 15.12.1977 года (по некоторым версиям – стал жертвой КГБ).
12. А. Г. Авторханов (1907–1998) – писатель, публицист, один из крупнейших советологов.
13. Постройка в Монжероне: Moulin de Senlis.
14. Арина Сергеевна Гинзбург, вдова А.Г., в телефонном разговоре со мной, состоявшемся уже после того, как я подготовил распечатку беседы, выразила некоторое сомнение относительно такого большого числа организованных там встреч; по ее словам, их было всё же меньше...
15. Первое издание этой книги вышло в 1959 г.; 2-е издание – в 1976 году.
16. Тут в значении: «не только».
17. «Kultura» – польский журнал в Париже, основанный в 1947 году Ежи Гедройцем, Юзефом Чапским и Густавом Герлинг-Грудзинским. Сыграл важ-

ную роль в сохранении свободной мысли и культуры не только Польши, но и других европейских стран, находившихся под контролем коммунистических режимов. Послужил В. Е. Максимова моделью для создания журнала «Континент».

18. З. А. Шаховская (1906–2001). Русская писательница, мемуаристка. Была первым главным редактором газеты «Русская мысль» (1968–1978).

19. И. А. Иловайская-Альберти (1924–2000), журналист, общественный деятель. С 1979 г. – гл. редактор «Русской мысли». Член редколлегии ж. «Континент»; в 1987 году организует вещание экуменической радиостанции «Благовест». С 1999 года назначена папой Иоанном-Павлом II аудитором «Европейского синода».

20. А. Т. Марченко (1937–1986) – диссидент, правозащитник. А. Г. имеет в виду его книгу «Мои показания», которая вышла впервые на русском языке во Франции, в 1969 г., в издательстве La Presse Libre.

21. А. В. Козырев (род. 1951). Занимал пост министра иностранных дел РФ с окт. 1990-го по янв. 1996 гг.

22. В Париже журнал выходил с 1974 по 1992 год. Позднее стал выходить в Москве, где место главного редактора В. Е. Максимова (1930–1995) занял И. И. Виноградов (1930–2015).

23. Касаясь темы отношений А. Г. с А. Д. Синявским (1925–1997), следует не упускать из виду то обстоятельство, что именно А. Г., несмотря на высокий риск для себя, явился составителем опубликованной эмигрантским издательством «Посев» в 1967 г. «Белой книги» по делу А. Синявского и Ю. Даниэля. Что касается отношений А. Г. и А. И. Солженицына, то, вне сомнения, можно считать знаменательным тот факт, что «Русский фонд помощи политзаключенным и их семьям», созданный на основе доходов за издание «Архипелаг ГУЛАГ», автор доверил А. Г. Именно он с 1974 г. явился первым распорядителем этого фонда.

Париж

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

Марк Уральский

Молодой Алданов*

ГЛАВА II. НА ЛИТЕРАТУРНОЙ СТЕЗЕ.
ГОРЬКИЙ И МЕРЕЖКОВСКИЙ. «ТОЛСТОЙ И РОЛЛАН»

Итак, вернувшись в 1914 году в Россию, Алданов обосновался в Санкт-Петербурге, переименованном тогда, на волне антинемецких настроений, в Петроград. Александр Бахрах пишет: «В предреволюционные годы [Марк Ландау] обосновался в Петербурге. Жил в той атмосфере петербургского Серебряного века, которая уже давно стала едва правдоподобной легендой. <...> В Петербурге он успел перезнакомиться с большинством представителей той либеральной и интеллектуальной элиты, которая могла быть ему интересна и среди которой он сразу почувствовал, что принят как ‘свой’»¹. К модернистским течениям в литературе и искусстве Алданов симпатий не питал, потому из всех литературных центров столицы стал завсегда-таем знаменитой квартиры Максима Горького на Кронверкском проспекте 23, квартира 5/16.

Горький был не только самым известным в мире русским писателем того времени, но и активным общественником, основателем и руководителем издательства «Парус» и издававшимся им литературного журнала «Летопись». Оба предприятия имели выраженные «левый уклон». Поэтому «Кронверкскую 23» по самым разным поводам посещала вся литературная элита города.

Решение пристроится под крылом Горького, несомненно, было принято Алдановым еще и по причине декларативно благоговейного отношения этой литературно-общественной знаменитости к личности Льва Толстого. Высказывания и оценки Горьким личности Льва Толстого, с которым он был лично знаком и состоял в переписке, как писателя и человека носят исключительно комплиментарный, более того, благоговейный характер: «Толстой – это целый мир! В искусстве слова первый – Толстой; <...> душа нации, гений народа; Толстой глубоко национален, он с изумительной полнотой воплощает в своей душе все особенности сложной русской психики... Весь

* См.: Молодой Алданов. Гл. I. – НЖ, № 292, 2018.

мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити... Я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам... Этот человек — богоподобен!»²

Молодой ученый Марк Ландау, также как и Горький, боготворил Льва Толстого и в этом они очень сходились друг с другом. В статье «Воспоминания о Максиме Горьком: К пятилетию со дня его смерти» (1941 г.) Марк Алданов сообщает подробности о своих контактах с Горьким, а значит — с литературным миром Петрограда военных лет.

«Я никогда не принадлежал к числу его друзей, да и разница в возрасте исключала большую близость. Однако я знал Горького довольно хорошо и в один период жизни (1916–1918 годы) видел его часто. До революции я встречался с ним исключительно в его доме (в Петербурге). В 1917 году к этому присоединились еще встречи в разных комиссиях по вопросам культуры. <...> Горький и до революции, и после нее жил вполне 'буржуазно' и даже широко. Если не ошибаюсь, у него за столом чуть не ежедневно собирались ближайшие друзья. Иногда он устраивал и настоящие 'обеда', человек на десять или пятнадцать. До 1917 года мне было и интересно, и приятно посещать его гостеприимную квартиру на Кронверкском проспекте. Горький был чрезвычайно любезным хозяином. Он очень любил все радости жизни. <...> он очень хорошо знал цену деньгам и умел отлично продавать свои книги и статьи. Он говорил, что 'зарабатывает не меньше, чем Киплинг', и гордился этим: Киплинг в свое время считался самым дорогим писателем в мире. Тем не менее, несмотря на ум, сметку и деловой инстинкт Горького, обмануть его было легко и обманывали его часто. <...> Добавлю, что он был щедр и охотно давал свои деньги как частным просителям (их было великое множество), так и на разные политические дела. <...> Надо ли говорить, что он прекрасно знал литературные круги: тут его знакомства шли от «подмаксимок» (так называли когда-то его учеников и подражателей) до Льва Толстого. Из интеллигенции, связанной преимущественно с политикой, он хорошо знал социал-демократов. Помню его рассказ — поистине превосходный и художественный — о Лондонском социал-демократическом съезде 1907 года, краткие характеристики главных его участников. Не могу сказать, чтобы эти характеристики были благожелательны. Горький недолюбливал Плеханова <...> и других меньшевиков. Кажется, из всех участников съезда он очень высоко ставил только Ленина... о Ленине он <...> отзывался с настоящим восторгом. Он его обожал.

После революции, особенно после октябрьского переворота, посещение дома Горького всегда было связано с некоторым риском. <...> Горький до

осени 1918 года занимал резко антибольшевистскую позицию. Он принимал ближайшее участие в руководстве враждебной большевикам газетой 'Новая жизнь'. Тем не менее его <...> светское положение <...> было совсем особое. <...> Оглядываясь на прошлое, я даже не представляю себе, в каких частных домах могли бы тогда бывать и большевики, и их противники. Единственное исключение составляла квартира Максима Горького: у него бывали и те и другие, — случалось, бывали одновременно.

<...> Я думаю, что влияние Ленина сыграло решающую роль во всей жизни Максима Горького. 'Великий революционный писатель', как под конец его дней его называли в СССР, был по природе слабохарактерным человеком. Вдобавок, ему, как большинству русских самоучек, была присуща погоня за 'самым передовым', за 'самым левым'. На своем колеблющемся жизненном пути он в 1907 году в Лондоне встретил очень сильную личность. Ленин возглавлял левое, большевистское крыло самой левой партии, — чего же можно было желать лучше!

Ленин ни в грош не ставил Горького как политического деятеля. Но Максим Горький был для него находкой, быть может, лучшей находкой всей его жизни. Горький был знаменитый писатель, и слава его не могла не отразиться на партии. Он открывал или, по крайней мере, облегчал большевикам доступ в легальные журналы, в издательства. У него были большие связи среди богатых людей, дававших деньги на разные политические дела. Я не хочу сказать, что Ленин сблизился с Горьким только в интересах партии. Из напечатанных писем его к Горькому видно, что он чувствовал к нему и личную симпатию, интересовался его здоровьем, его планами. Однако политические идеи Горького у него ни малейшего интереса не вызывали.

<...> Я в последний раз видел его в июле 1918 года. <...> Горький позвонил мне по телефону: 'Приходите, есть разговор'. Я пришел. Никакого 'разговора', то есть никакого дела у него ко мне не было. Вместо этого нас позвали к столу. Обед был <...> по тем временам отличный: в Петербурге начинался голод; белого хлеба давным-давно не было; главным лакомством уже была конина. В хозяйстве Горького еще все было в надлежащем количестве и надлежащего качества. Гостей было немного; в большинстве это были люди, постоянно находившиеся в доме Горького, так сказать, состоявшие при нем. Однако были и незнакомые мне лица: очень красивая дама, оказавшаяся за столом моей соседкой, и ее муж, высокий представительный человек, посаженный по другую сторону стола. <...> это были госпожа Коллонтай (впоследствии занявшая пост советского посла в Стокгольме) и 'матрос' Дыбенко. <...> Говорили о разных предметах. Моя эlegantная соседка оказалась милой и занимательной собеседницей. В ту пору в Петербурге везде предметом бесед было произошедшее незадолго до того в Екатеринбурге убийство царской семьи. Говорили об этом кровавом деле и за столом у Горького. Должен сказать, что там говорили о нем совершенно так же, как в

других местах: все возмущались, в том числе и Горький, и госпожа Коллонтай: 'Какое бессмысленное зверство!' Затем беседа перешла на Балтийский флот <...>. И вдруг из фразы, вскользь сказанной сидевшим против меня человеком, выяснилось, к полному моему изумлению, что это 'матрос' Дыбенко! <...> ни внешним обликом своим, ни костюмом, ни манерами он нисколько не выделялся на общем фоне бывавших у Горького людей. Мысли за столом он высказывал отнюдь не революционные, а весьма умеренные <...>. Между тем самое имя его, в связи с разными событиями революции, тогда вызывало ужас и отвращение почти у всей интеллигенции. Только Горький мог пригласить враждебного большевикам человека на обед с Дыбенко, не предупредив об этом приглашаемого!

Обед уже подходил к концу. Помню, Горького позвали к телефону. Я вышел вслед за ним и попросил его передать привет хозяйке дома <...>. Мне оставалось уйти, не простившись с этими гостями. Я так и сделал. Больше меня Горький к себе не звал, да если бы и позвал, то я не мог бы принять приглашение: через каких-либо два месяца после этого обеда он закончил свою ссору с большевиками: у них начинался период долгой (не скажу, безоблачной) дружбы).

Интерес Горького к Алданову вполне объясним. С этим начинающим литератором-интеллектуалом, к тому же по происхождению евреем, — а Горький, как никто другой, манифестировал свою исключительную симпатию к евреям³, — у него было много общего. Оба они были «западники» и видели будущее России в ее коренной европеизации. Оба дистанцировались от религиозного мышления и какой-либо формы бытовой воцерковленности. Являясь заядлыми книгочеями, эти литераторы не только постоянно накапливали знания, но и стремились к их глубокому и оригинальному осмыслению. Но очень многое их разделяло, отчуждало, не позволяя этим встречам и беседам перерасти во что-то большее, чем интеллектуальные отношения. Различия в мировоззрении этих мыслителей-интеллектуалов были по марксистским понятиям *антагонистические*.

Алданов был русский «западник» не только «в Духе», т. е. по характеру мировоззренческих предпочтений, но и в своей органике — как тип личности. Для него все «русское» как культурологическое понятие, несомненно, являлось особой разновидностью европейской культуры, аналогично «португальскому», «голландскому» или «французскому». По линии «преемственности» он сродни Ивану Тургеневу, одному из самых образованных русских писателей.

Горький же «западник» только «в Духе», его европеизм — это романтическая идея, в которую он страстно верит, которую, в общем и целом, для себя и других придумал, но которая не суть качество его

личности. Он не владеет иностранными языками, западную культуру воспринимает «книжно», в отраженном свете, и потому его европеизм, так сказать, «переводной». Если для Алданова Россия – неотъемлемая, в культурологическом отношении, часть Европы, то для Горького она в первую очередь – «азиатчина», которую надо силком в эту Европу втащить. Запада Горький, по сути своей, не знает и живет в западном мире, как слепой котенок у добрых хозяев, – ни во что серьезно не вникая, но всеми благами с удовольствием пользуясь. Это качество его личности Алданов точно подметил и мастерски описал в своей статье «Воспоминания о Максиме Горьком».

И Алданов и Горький – горячие русские патриоты. Однако Алданов Россию знает и любит лишь в одном ее «измерении»: там, где обретается русская интеллигенция и всякого рода интеллектуалы. Это отчетливо видно во всех его произведениях, касающихся русской тематики. В этих слоях общества – и здесь он совершенно прав! – Россия смотрится вполне европейской страной и даже, можно утверждать, находится на «высшем уровне» европеизма. Низовых же уровней – то, что в русской литературе обобщенно понималось под определением «народ», Алданов не знает. Они ему чужды, несимпатичны и малоинтересны и, как болезненная гримаса, искажают благородную европейскую личину России. Горький же, напротив, – писатель «натуральной школы», бытовик. Он Россию знает на всех ее уровнях. Как и Алданов, он – типичный русский интеллигент, но интеллигентский слой нисколько не превозносит, скорее наоборот, относится к представителям его с большой долей скептической иронии. У Алданова интеллигенция – самая деятельная и дееспособная часть русского общества, его «интеллектуальный запас». Для Горького же «интеллектуальный запас» России – это городской фабричный люд, в марксистских терминах – «пролетариат», за которым он, несмотря на всю его бытовую неприглядность, видит великое будущее. Пролетариат, однако, в «Светлое будущее» ведут – по Горькому и его друзьям-большевикам – все те же интеллигенты, но только те, которые в него уверовали как в «народ Божий». Алданов – прагматик-реформист, опирающийся в своем видении лучшего будущего для России на исторический европейский опыт. Горький же, художник романтического склада, – типичный визионер, слепо верящий в свою мечту и готовый во имя ее реализации поступиться всем и вся. В этом он очень похож на своего друга Ленина, с той лишь разницей, что тот был в первую очередь – политик, обладавший, как подчеркивал всегда Алданов, фанатической целеустремленностью.

Что касается общественной деятельности, которой так много сил отдавал Горький, то на этой сцене Алданов – фигура индиффе-

рентная. Бросается в глаза алдановская дистанцированность от, казалось бы, кровно ему близкого «еврейского вопроса». С самого начала Первой мировой войны антисемитизм в обществе обострился, и Горький выступал инициатором кампаний борьбы с этим злом. Однако Алданов в них никакого участия не принимал. Более того, в статье «Воспоминания о Максиме Горьком», где говорится, что «он сделал немало добра», о защите Горьким евреев, в том числе и еврейских интеллектуалов-сионистов, преследовавшихся большевиками, не сказал ни слова. Единственный раз, когда слово «антисемитизм» появляется в его портретной характеристике Горького, оно звучит как бы между прочим: «Но в отсутствие коммунистов, он об их вождах, за одним-единственным исключением, отзывался самым ужасающим образом – только разве что не употреблял непечатных слов (он их не любил). Особенно он поносил Зиновьева и зиновьевцев (разумеется, ошибочно приписывать это антисемитизму: по этой части Горький был совершенно безупречен всю жизнь)».

На сей день не обнаружено каких-либо документов, в которых были бы зафиксированы высказывания Горького о молодом Алданове и о его первых публицистических выступлениях – книгах «Толстой и Роллан» и «Армагедон». Лишь в письме к биохимику-революционеру А. Н. Баху от 10 апреля 1918 года, говоря о планах Общества «Культура и Свобода», осуществить «издание еженедельника, который бы пропагандировал основные принципы культуры и давал читателю возможно полную информацию о деятельности всех культурно-просветительных обществ, клубов, кружков», – Горький в качестве автора статьи «Роль искусства в воспитании человека» называет Алданова, но, в отличие от других авторов, не указывает его инициалов.

С середины 1920-х гг., обретаясь в Сорренто в статусе «советского пансионера», Максим Горький, пристально следил за актуальным литературным процессом как в СССР, так и на Западе. Не упускал он из поля зрения публикации Марка Алданова, ставшего популярным писателем русской эмиграции. Об этом красноречиво свидетельствуют его письма тех лет⁴. Отношение к Алданову, как, впрочем, и ко всем писателям-эмигрантам, у Горького декларативно неприязненное: и всех вместе, и каждого в отдельности, в том числе своих бывших друзей, он поносит почем зря. Алданова он не столько ругает, сколько «отчуждает», противопоставляя ему «своих» – советских авторов исторических романов: Александра Чапыгина, Ольгу Форш, Юрия Тынянова... Не нравится ему ни стиль Алданова – как слишком «сухой», ни его постоянное обращение к «духу» Льва Толстого, с которого, по его мнению, Алданов «списывает» свои исторические

романы. По всему чувствуется, что личность Алданова чужда ему и антипатична. Со своей стороны и Алданов, исключительно по политическим соображениям, отказывается участвовать в каких-либо литературных акциях вместе с Горьким, о чем сообщает Бунину в письме от 21 июля 1927 года: «Разумеется, я решил... отказаться от участия в сборнике – как и Вы, с Горьким я печататься рядышком не намерен»⁵.

Интересно, что Горькому, объявленному основоположником метода «социалистического реализма», для которого в литературе, как, впрочем, и в других видах искусства, на первое место выступала «идея», призванная просвещать, организовывать и направлять массы, романы Алданова, которые действительно являются романами идей, не нравились. Алданов утверждал, что при оценке любого романа необходимо, опираясь на триаду: действие, характер, стиль, – добавить к ней также идею. Для Алданова – это проповедь гуманизма и нравственных принципов Красоты – Добра как единственно возможной основы повседневного человеческого существования. Вместе с тем, над прозой Алданова не довлеет какая-то ярко выраженная духовная идея, как у Максима Горького («Созидание Нового Человека» – «Человекобожества»); он не декларирует своего нравственно-этического учения, как Лев Толстой; не ищет ни нового Откровения, ни новых догматов, чтобы приблизить эру Св. Духа, Третьего Завета, «вечного Евангелия», о котором пророчествовал Дмитрий Мережковский. Его размышления, как и у Достоевского, которого он декларативно не любил, – это философствование экзистенциального типа.

Итак, с конца 1920-х гг. Алданов и Горький разошлись окончательно и навсегда. Но если Горький посчитал за лучшее об Алданове «забыть», то Алданов запомнил его на всю жизнь, причем с лучшей стороны. Говоря в статье «Воспоминания о Максиме Горьком» о безоговорочной капитуляции старого писателя-демократа перед тоталитарным сталинским режимом, он старается хоть как-то да подсластить горькую пилюлю: «...покорившись окончательно партии, Горький мог ей пригодиться. Он мог бы, например, быть 'президентом республики'... <...> Для общественного мнения Западной Европы и Америки такой президент был бы совсем хорош. Однако Ленин ему подобного поста никогда и не предлагал. <...> Но не предложил ему высокой должности и Сталин после того, как Горький вернулся из Италии в СССР, после того, как он в 1929 году окончательно, 'на все сто процентов', принял советский строй, включая и личный культ нового диктатора, и массовые расстрелы, и концентрационные лагеря, которые он посещал в качестве благосклонного либерального

сановника в сопровождении видных чекистов. То, что Горькому высоких постов все-таки не предложили, свидетельствует, конечно, в его пользу».

В личной библиотеке Горького (Музей-квартира М. Горького в Москве) хранится книга Алданова «Толстой и Роллан» с довольно-таки странной дарственной надписью Алданова: «Творцу 'На дне' и 'Детства' долг искреннего удивления. Автор. 9/XI 1915». Однако со стороны Горького, столь чутко относившегося к имени Льва Толстого, в тот самый год, когда его будущий «французский друг» Ромен Роллан был удостоен Нобелевской премии по литературе, никакой публичной реакции на эту алдановскую книгу, о коей речь пойдет ниже, не последовало.

По-видимому, мировоззренческие концепции Алданова, которые он развивал в своем «раскрытии» духовного образа Льва Толстого, были Горькому чужды или неинтересны, хотя в области литературных вкусов и предпочтений между ним и Алдановым никаких принципиальных разногласий явно не возникало. Это наглядно демонстрирует позиция, занятая ими в полемике на тему «Л. Толстой и Достоевский», которая развернулась в интеллектуальных кругах российского общества после выхода в свет одноименной книги Дмитрия Мережковского⁶.

Этот труд вызвал бурную полемику в тогдашнем русском интеллектуальном сообществе и обессмертил имя Мережковского. Дмитрий Мережковский, энциклопедически эрудированный интеллектуал, оригинальный отечественный мыслитель и эссеист и литературный критик, был очень популярным в начале XX в. в Европе русским писателем⁷. Яркий представитель русской культуры Серебряного века, он вошел в историю литературы как один из ведущих русских символистов. Начиная с 1914 г., Мережковский десять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Но при всем этом именно литературно-философский трактат «Л. Толстой и Достоевский» обессмертил его имя.

Крупнейший литературный критик и авторитет Русского Зарубежья Георгий Адамович писал: «Можно по-разному оценивать русскую литературу дореволюционного периода. <...> Но вот что все-таки бесспорно: она имела какое-то магическое, неотразимое воздействие на поколение, да, именно на целое поколение. <...> Нет, вспоминая <...> то, что занимало 'русских мальчиков' – по Достоевскому – в предвоенные и предреволюционные годы, хочется сказать, что <...> с литературой была у них связь какая-то такая кровная, страстная, жадная, что о ней теперешним двадцатилетним 'мальчишкам' и рассказать трудно. Вероятно, происходило это потому, что

юное сознание всегда ищет раскрытия жизненных тайн, ищет объяснения мира, – а наша тогдашняя литература обещала его, дразнила им и была вся проникнута каким-то трепетом, для которого сама не находила воплощения. <...> Мережковский был одним из создателей этого движения, вдохновителем этого оттенка предреволюционной русской литературы <...>. Без Мережковского русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова, и именно он с самого начала внес в него строгость, серьезность и чистоту. [Его] книга о Толстом и Достоевском <...> был[а] возвращение к величайшим темам русской литературы, к великим темам вообще. <...> книга эта имела огромное значение, не исчерпанное еще и до сих пор. Она кое в чем схематична, – особенно в части, касающейся Толстого, – но в ней дан новый углубленный взгляд на 'Войну и мир' и 'Братьев Карамазовых', взгляд, который позднее был распространен и разработан повсюду. Многие наши критики, да и вообще писатели, не вполне отдают себе отчет, в какой мере они обязаны Мережковскому тем, что кажется им их собственностью: перечитать старые книги бывает полезно»⁸.

Хотя в известных дневниках Гиппиус⁹ Марк Ландау не упоминается, и сам Алданов ничего на сей счет не пишет, тем не менее, можно считать несомненным, что Алданов еще до революции был знаком с супругами Мережковскими. Более того, в первой книге Алданова «Толстой и Роллан» (1915), о которой речь пойдет ниже, четко прослеживается влияние знаменитого сочинения Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» – как на содержательном уровне, так и на уровне поэтики.

Впоследствии, уже в эмиграции, отношения между двумя литераторами стали весьма близкими. Дмитрий Мережковский, являющийся вторым после Льва Толстого основоположником русского историко-философского (историософского) романа, всегда был в глазах Алданова не только очень уважаемым писателем, но и в высшей степени интересным и приятным в общении человеком. Обо всем этом Алданов, без каких-либо оговорок, пишет в статье-некрологе «Д. С. Мережковский» (1941 г.):

«Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разностороннейшей культуры – один из учнейших людей нашей эпохи. Судьба послала ему долгую жизнь. Он проработал в литературе почти шестьдесят лет, написал несколько десятков толстых книг, встречался со всеми своими известными современниками: ведь он разговаривал с Достоевским! <...> Д. С. Мережковский был знаменит: его книги, особенно 'Леонардо да Винчи', в разных переводах можно было

найти в любом книжном магазине любой страны Европы. Добавлю, что свою известность он носил в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо его натуре. Это была одна из многих привлекательных его черт.

Служил он всю жизнь одной – очень большой – идее. Но и ее сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служению сдержанно, – чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю жизнь мечтал о ‘последователях’. Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный <...>, тогда как Д. С. Мережковский об отсутствии у него последователей говорил иногда, как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом действительно была доля правды.

– Я был молод, – вспоминал Мережковский в своей прекрасной статье о посмертном издании писем Чехова, – мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки.

<...> Самое интересное в этом воспоминании одного знаменитого писателя о другом то, что сам Мережковский признавал Чехова совершенно правым: ‘Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили, святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов) был прав, когда молчал о святине. Зато его слова доньше – как чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями’.

Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои ошибки и сознавался в них откровенно – каялся. Казалось бы, по всей его природе Чехов должен был быть вполне ему чужд, должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить было не о чем. Как почти все русские критики и историки, Д. С. Мережковский считал религиозность основной, главной и драгоценнейшей чертой русской литературы. Но Чехов, один из величайших и самых ‘русских’ писателей России, никак не укладывался в его основное положение. ‘Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы религиозно-философские общества ни собирались. Хорошо ли это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете, – само по себе, а современная культура – сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первого нельзя’, – писал Чехов Дягилеву 30 декабря 1902 года. <...> Однако так же трудно было Д. С. Мережковскому сговориться с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невозможно было понять и оценить его людям, занимавшимся практической политикой.

<...> мне всегда была и остается непонятной связь философских идей Д. С[ергееви]ча с его идеями практическими. Порознь и те, и другие были

вполне понятны, но этот 'приводный ремень' от меня неизменно ускользал. <...> так как его религиозно-философские мысли оставались неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы менялись беспрестанно.

Литературные его заслуги очень велики. Книга 'Толстой и Достоевский' положила начало новейшей русской критике. <...> где бы Д. С. ни жил, в Петербурге ли, в Париже или в Италии, при нем немедленно создавался литературный кружок. И почему-то неизменно выходило так, что большинство в кружке составляли люди, совершенно чуждые идеям Д. С. Мережковского, даже не интересовавшиеся этими идеями. Состав его кружков всегда был 'текучий' и в общем вполне случайный. Литературная политика создавала ему врагов, особенно в былые петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видал писателя, менее чувствительного, чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике вообще. Несмотря на всю его известность, Мережковского в России во все времена ругали гораздо больше, чем хвалили. Ругали больше всего за театральные пьесы, ругали за статьи, ругали и за исторические романы. <...> Как исторический романист Д. С. вольно обращался с историей, но (в отличие от некоторых других исторических романистов) никак не потому, что не знал ее, а потому, что его религиозная идея была ему дороже и исторической правды, и художественной ценности романа. Она вообще была ему дороже всего.

Мнение о религиозном характере всей русской литературы условно (хотя в общем верно): ведь слова 'религиозный характер' не очень определены: когда нужно, под ними понимают 'общественное служение', и в общую схему укладываются Тургенев, Салтыков, даже Горький. Если нет и этого (или в тех случаях, когда этого не так уж много), говорят о 'светлом приятии жизни' (Пушкин), о 'любви и жалости к людям' (тот же Чехов). Но Д. С. Мережковский действительно принадлежал к очень большому, широкому и мощному религиозному течению, которое в русской литературе идет от заволжских старцев и от еще не оцененного изумительного Вассиана Косого (в миру князя Патрикеева) к Толстому и Достоевскому. Выделялся он в этом течении тем, что в свои мысли вносил слишком много литературщины. Грешил этим и Достоевский, хотя неизмеримо меньше.

<...> Чисто стилистические, словесные приемы Мережковского достаточно известны, — их нередко пародировали. Между тем именно ему они никак не были нужны: он был природный стилист, стилист 'божьей милостью'. <...> приведу лишь несколько его строк: 'К старому, презренному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоевский. — М. А.) с любовью, и на огонь его любви ответным огнем закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от них, как чешуя, — и снова сделались они прозрачными: мертвые, мертвящие догматы снова сделались живыми, живящими символами'. Так до него писали немногие. <...> Личное обаяние, то, что фран-

цузы называют *charme-ом*, у него вообще было очень велико, по крайней мере в лучшие его минуты. Это было связано с огромной его культурой и с его редким ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще лучше, чем пишет. Из года в год, весь день Д. С. Мережковский проводил за напряженной умственной работой, причем думал всю жизнь о 'самом главном' (ведь все-таки с самым главным у него, хотя и непонятным для нас образом, должна была связываться и литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей мало. Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими большими заслугами и ошибками, Мережковский принадлежит истории русской земли»¹⁰.

Под «ошибками» Алданов, несомненно, в первую очередь имел в виду общественно-политическую активность Мережковского в эмиграции. Выдвинув тезис, что «русский вопрос – это всемирный вопрос, и спасение России от большевизма – основная задача и смысл западной цивилизации», Мережковский пытался, пользуясь своей европейской известностью, донести его до сознания руководителей тоталитарных режимов – Муссолини, Франко и Гитлера. Христианский социалист Мережковский, являвшийся, отметим, в России активным борцом с антисемитизмом и национал-патриотической ксенофобией, осознавал опасность фашизма как идеологии. Однако он придумал концепцию, согласно которой большевизм и национал-социализм при военном столкновении уничтожат друг друга, и – находясь в плену этих иллюзорных представлений – заявил себя сторонником немецкого военного экспансионизма.

Летом 1941 г., вскоре после нападения Германии на СССР, «друзья» привели больного, впавшего в отчаяние из-за нищеты старика-писателя, на немецкое радио в оккупированном Париже. Мережковский перед микрофоном произнес речь «Большевизм и человечество», в которой говорил о «подвиге, взятом на себя Германией в Святом Крестовом походе против большевизма» и назвал Гитлера избранником, призванным спасти мир от власти дьявола. Из-за этой речи, которая мало кем была услышана, Мережковский и Гиппиус были зачислены в разряд «коллорабационистов» и стали персонами нон грата в эмигрантском сообществе. А шесть месяцев спустя, 9 декабря 1941 года, Дмитрий Мережковский, отнюдь не облаканный нацистами, скончался в Париже.

Алданов, у которого от рук нацистов погибли близкие родственники и друзья, очень чувствительно относился к обвинениям тех или иных лиц из числа его знакомых в сотрудничестве с нацистами. Тем

не менее, он ни разу не бросил камень в Мережковского. Напротив, после войны, когда имена Мережковского и Гиппиус мешали с грязью, только Алданов, пусть и в достаточно уклончивой форме, старался как-то обелить их. Это явствует, в частности, из его письма к Георгию Адамовичу от 16 апреля 1946 года: «Вы, как и Бунин, и Сирин, находите, что я переоцениваю Мережковского. Думаю, что с Вами это у меня больше спор о словах. Может быть, ‘большой’ слишком сильное слово <...>, но ‘Толстой и Достоевский’ – вещь замечательная, и в самом Мережковском, как Вы, впрочем, признаете, были черты необыкновенные. Помню, когда-то в разговоре со мной в Петербурге это признал М. Горький. Как самоучка, и самоучка немногому научившийся, он особенно ценил познания и культуру Мережковского. Повторяю, с Вами мы едва ли очень тут расходимся»¹¹.

В статье «Мои встречи с Алдановым»¹² Георгий Адамович, говоря о коллективных беседах русских литераторов эпохи Серебряного века, отмечает, что их «разговоры почти всегда кончались Толстым и Достоевским – как, вероятно, будут на них и ими кончаться русские разговоры еще долго, лет сто, если не больше. Это завещанный нам всей русской судьбой очерченный нам круг, из которого не выйдешь». Ему же в этой статье принадлежит очень верное и точное замечание: «В разных формах зависимость от Толстого можно обнаружить, при сколько-нибудь пристальном внимании, почти у всех».

В Серебряном веке борьба шла именно по линии раздела модернизм – критический реализм. Если Мережковский и другие символисты превозносили Достоевского, то Горький, Бунин и все писатели-«бытовики» недолюбливали его как художника. Среди них Горький был, пожалуй, первой литературной знаменитостью, посмевавшей в начале XX в. замахнуться на одну из «священных коров» русской литературы, классика и властителя умов русской интеллигенции – Федора Михайловича Достоевского. Сделал он это со свойственной ему полемической страстностью и дидактичностью в двух статьях от 1913 г.: «О Карамазовщине» и «Еще раз о Карамазовщине», написанных по поводу готовившейся тогда Московским Художественным театром инсценировки романа Ф. М. Достоевского «Бесы» под названием «Николай Ставрогин». Статьи эти вызвали большой общественный резонанс. Горький по существу обвинил прогрессивную русскую интеллигенцию в лицемерии. Ибо, признавая, что «...Достоевский и реакционер; хотя он является одним из основоположников ‘зоологического национализма’, который ныне душит нас; хотя он – хулитель Грановского, Белинского и враг вообще ‘Запада’, трудами и духом которого мы живем по сей день; хотя он – ярый шовинист, антисемит, проповедник терпения и покорности», – «гос-

пода литераторы», тем не менее, ставят его имя вне критики, полагая, что «его художественный талант так велик, что покрывает все его прегрешения против справедливости, выработанной лучшими вожжами человечества с таким мучительным трудом. И посему общество лишается права протеста против тенденций Достоевского...» Горький выступил не против Достоевского-художника, а против возведения вскрытой им и гениально описанной «темной области» эмоций и чувств, да еще особенных – «карамазовских», «злорадно подчеркнутых и сгущенных» в ранг *определяющих* «признаков и свойств национального русского характера»: «Неоспоримо и несомненно: Достоевский – гений, но это злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжелой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и – противоположность ее – мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства однако рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается»¹³.

Не следует упускать из виду, что Горький, выступая с критикой Достоевского в целом, не о «нездоровых нервах общества» пекся, а старался помешать готовившейся тогда Московским Художественным театром инсценировки романа Ф. М. Достоевского. «Буревестник революции» и его товарищи по партии, а большевистская печать оценила статью М. Горького как выступление большой политической значимости, никак не хотели, чтобы широкая публика видела на сцене бесчестно-бесовские образы русских революционеров. В отличие от Достоевского, Горький прославлял революционеров, делая в своих произведениях заявления вроде: «Он, конечно, революционер, как все честные люди в России...»¹⁴.

Свое отношение к «жестокому таланту»¹⁵ Достоевского Алданов впервые высказал в 1918 г. в публицистическом эссе «Армагедон», где «великого писателя земли русской» он называет «черным бриллиантом» русской литературы. Впоследствии, как и у Горького, его восприятие идей, образов и стилистики Достоевского будет носить двойственный характер – от категорического осуждения до восхищения и даже своего рода подражания. Созданный Алдановым портретный образ Достоевского в романе «Истоки», использование ряда его художественных приемов, а главное – постоянная полемика с его идеями и персонажами, делает Достоевского-мыслителя одним из главных оппонентов в алдановском постреволюционном философском дискурсе¹⁶.

В своем труде «Л. Толстой и Достоевский» Дмитрий

Мережковский, противопоставляя этих гениев русской литературы друг другу, тактично избегает оценивать их место в русской культуре по принципу «выше – ниже», хотя, будучи христианским мыслителем, несомненно, ставит на первое место в негласной, прочитывающейся из подтекста, табели о рангах своего кумира Достоевского.

Алданов куда более прямолинеен и категоричен: для него, как это отметил Георгий Адамович, очевидным и безусловным представляется, что: «на верхах русской литературы Толстой – он один <...>, и если когда-либо появлялся пророк среди русских писателей, то это опять-таки был Толстой, а не Достоевский». Вот, например, такой еще эпизод из статьи Адамовича «Мои встречи с Алдановым»: «с необычным для себя волнением [Алданов] заговорил о последней главе ‘Онегина’, которую, очевидно, дома перечел. ‘Да, да, изумительно, совершенно изумительно! – повторял он и добавил: – Кажется, и Льву Николаевичу это очень нравилось’. Не знаю, на чем была основана его ссылка на Толстого – ни в одной известной мне книге такого указания нет, – но само по себе его обращение к Толстому за поддержкой своего восхищения было характерно: он произносил эти два слова ‘Лев Николаевич’ почти так, как люди верующие говорят ‘Господь Бог’»¹⁷. В оценке того или иного литературного произведения Алданов часто ссылался на мнение Толстого, который при этом был также и его главным интеллектуальным оппонентом: он в своих размышлениях и отталкивался от Толстого, и постоянно возвращался к нему.

Отношение к Толстому как к собеседнику и оппоненту зародилось у Марка Ландау, по-видимому, еще в юношеские годы. Само вступление его на стезю литературы началось с публикации его размышлений о Льве Толстом, которые составили первую книгу М. Алданова «Толстой и Роллан». Дореволюционная петроградская жизнь молодого Марка Ландау была до предела насыщена научно-практической деятельностью и интенсивными контактами в среде столичных политиков и интеллектуалов. По-видимому, он не прочь был реализовать себя на общественно-политическом поприще и, в то же время, стремился попасть в «большую литературу», которая в глазах русской интеллигенции того времени имела что-то вроде харизмы. Александр Бахрах в статье «Вспоминая Алданова» пишет: «В свободное от химических изысканий и нараставших светских или общественных обязательств время Алданов умудрялся еще работать над большим исследованием о ‘Толстом и Роллане’. <...> в те далекие дни, особенно в России, Ромен Роллан почитался неким ‘властителем дум’, а о томиках его ‘Жан-Кристофа’ говорилось, как о чем-то эпохальном. Алданов успел выпустить только довольно увесистый первый том

своего Первого большого литературного труда, посвященный только одному Толстому. Второй остался в рукописи и, конечно, безвозвратно погиб. Но как-никак эта книга была довольно блестящим преддверием для входа в литературу»¹⁸.

Как явствует из статьи Н. Суражского «Четыре звена Марка Алданова», и сам Алданов, обращаясь к истокам своей литературной карьеры, четко определял момент, с которого она началась: «Мое первое литературное произведение — книга о Толстом». По жанру «Толстой и Роллан» можно отнести к разряду «философской публицистики». В этой книге анализ творчества «великого Льва» ведется «через обращение к коренным вопросам бытия и мышления» в сочетании с анализом «актуальных социально-политических проблем современности»¹⁹. Здесь Алданов сформулировал свои основные идеи, касающиеся как личности Льва Толстого, так и его произведений. Одновременно он обозначил и главные направления своего историко-философского дискурса с Толстым, который впоследствии он развивал в своих исторических романах. В первом литературно-критическом эссе Алданова, несомненно, была задействована вся толстоведческая база данных, накопившихся к середине 1910-х гг. При этом Алдановым учитывался и тот факт, что современники Льва Толстого, научные труды которых вышли в свет до 1917 года, большей частью уделяли внимание его религиозно-философским взглядам, а не собственно публицистическим произведениям. Зачастую многие исследователи считали Толстого сильным писателем, но слабым мыслителем, указывая на свойственные ему противоречия в системе религиозного мировоззрения. (Такого рода точка зрения, например, упорно культивировалась в советском литературоведении.) По оценке известного историка литературы и литературного критика 1920–1930-х гг. князя Д. П. Святополка-Мирского²⁰ «Толстой и Роллан» в этом отношении является собой пример глубокого осмысления ее автором критического опыта его предшественников, из которых более других на Алданова повлиял, конечно же, Д. С. Мережковский. Как отмечалось выше, в начале 1900-х гг. появление книги Мережковского вызвало бурную полемику в русской печати. Критики, в числе которых были такие авторитеты, как Лев Шестов²¹, Николай Бердяев²² и Петр Струве, отмечали мастерство Мережковского, вложившего «много труда в свою книгу», обнаружившего «недюжинную эрудицию», сумевшего «рядом тщательных тонких наблюдений ввести читателя в самый процесс художественного творчества» и представить «прямо замечательные страницы», посвященные «характеристике художественных приемов» Толстого и Достоевского. Вместе с тем ставилась под сомнение сама идея книги, имевшей, например, по мнению Шестова,

«только формальное, литературное значение»²³. Петр Струве «основную ошибку» Мережковского видел в том, что им «спор ведется сразу в двух плоскостях: в плоскости конечных философских вопросов и в плоскости текущей политики. Большинству читателей Мережковского доступна и интересна только вторая плоскость»²⁴.

Что же касается алдановской книги «Толстой и Роллан», то она «не только свидетельство того пиетета, который ее автор испытывал к Толстому, пожалуй, единственному русскому писателю, которого он любил безоговорочно»²⁵, – но и мировоззренческий дискурс, в первую очередь, конечно, связанный с Мережковским, по стопам которого при анализе практически всех толстовских тем²⁶, так или иначе, идет Алданов. Но если Мережковский-мыслитель считает, что «великий Лев» – «вредный» для истинно русского Духа гений, и уж, конечно, не наше все, то для Алданова Лев Толстой олицетворяет собой квинтэссенцию русской духовности. При всем этом и тема «фатализма» у Толстого, и рассуждения об «одержимости» писателя демоном иронии, и анализ толстовской танатологической проблематики у Мережковского и Алданова во многом совпадают.

Это касается, например, рассуждения Мережковского об «одержимости» писателя демоном иронии: данный тезис у Алданова предстает в форме наблюдения, что, мол, в благодарности Толстому, как и в его высокой оценке, всегда звучит нота глубокого недоверия и даже иронии – тонкой, незаметной, истинно толстовской иронии. Явное совпадение точек зрения имеет место и в анализе танатологической проблематики у Толстого. Мережковский, в частности, утверждал, что «если в наше время люди боятся смерти с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, <...> то в значительной мере мы этим всем обязаны Л. Толстому»²⁷.

Алдановские рассуждения о смерти, – а танатологическая тема впоследствии найдет особое отражение в его романах, – дают отличный материал для характеристики его личности в тот период молодости, когда человек уже стоит на пороге духовной и физической зрелости. «Воспитанный в рационалистической традиции, он, конечно, отлично понимал ничтожество всего, что было 'понятно', но едва ли он соглашался поверить в величие 'непонятого'. Ему, несомненно, было ближе то, что было выражено Гойей в одной из самых страшных из его 'фантазий', изображающей искривленную руку, высовывающуюся из-под камня пустынной могилы и подписанную одним словом ... 'Ничто'. Кстати, об этом офорте Алданов вскользь упомянул в своей книге о Толстом. Отсюда, думается, и шел его страх, его скепсис, та его горечь, которую он – не всегда успешно – пытался утаивать»²⁸.

Например, в письме к Буниным от 10 сентября 1933 года

Алданов со свойственной ему иронией признается: «Всем рассказываю о своей новой черте: любви к смерти. Это главное несчастье: и жизнь надоела и утомила до последнего, кажется, предела, – и умирать тоже нет охоты»²⁹. Думы о смерти, – а он «непрестанно думал о смерти, не способен был скрывать охватывающую его тревогу и ‘вечное молчание’ пугало его»³⁰, – каким-то образом сочетались в Алданове с отсутствием способности к вере, как внутреннему озарению, сопереживанию и диалогу с Творцом. Это тоже мучило его в духовном плане, о чем он признавался в письме к Вере Николаевне Буниной от 28 сентября 1931 года: «Очень Вам завидую, что Вы верующая. Я все больше научные и философские книги читаю»³¹.

У Алданова и Мережковского имеет место практически одинаковый подход к критике концепции фатализма – закономерной предопределенности в историософской модели Толстого. Однако если в истолковании «толстовского фатализма» Мережковский лишь признает необходимость принимать в расчет и роль случайности, то Алданов предлагает рассматривать исторический процесс как бесконечную *череду случайностей*, которые не поддаются ни систематизации, ни прогнозированию. При этом, если «в толстовстве иррациональное начало представляет смерть, то <...> в алдановской системе ее субститутотом становится случай. Это объясняет, почему в алдановских романах танатологическая проблематика тесно взаимосвязана с проблемой случая в истории»³².

Концепция о доминировании «случая в истории», в книге «Толстой и Роллан» еще только заявленная Алдановым, впоследствии будет развита им в мировоззренческую систему. Обладая острым «чувством истории», Алданов при анализе событий прошлого не отвергает принципа причинности. Однако вместо единой цепи причин и следствий он предлагает видеть в истории бесконечное множество таких цепей. В каждой отдельно взятой последующее звено зависит от предыдущего, однако скрещение цепей случайно, поэтому история – царство слепого случая. Таким образом, историософия Алданова представляет собой синтез детерминизма и случайности, в которой «его величество Случай» играет определяющую роль.

Хотя в целом влияние Мережковского прослеживается в «Толстом и Роллане» как на содержательном уровне, так и на уровне поэтики, у Алданова, как отмечалось, имеются и глубокие расхождения с этим мыслителем. Например, такой важный для православного экзегета Мережковского вопрос, как «отпадение» Толстого от православия и, по его убеждению, отчасти, даже от Христа, дистанцирующегося от какой бы то ни было религии Алданова по сути своей оставляет равнодушным. Однако высказывания Мережковского о религиозных взглядах

Толстого «были абсолютно неприемлемы для Алданова по форме. Так, Мережковский в своей книге пишет, например: 'Л. Толстой, по своему обыкновению, чтобы соединить оба предела, оскопляет, притупляет их религиозные, слишком для него острые жала. Того и другого берет понемножку: немножко робкого буддийского "неделания", вместо слишком смелой евангельской беспечности; немножко практической англосаксонской дарвиновской борьбы вместо слишком грозного ветхозаветного "в поте лица твоего ешь хлеб твой", – и получается благоразумная обеспеченность, всеобщая сытость, вроде той, о которой мечтают социал-демократы; получается самая современная, прогрессивная, протестантская, вегетарианская, тепленькая и жиденькая смесь, Ветхий Завет, разбавленный Новым, то есть опять-таки нечто "средне – высшее", серединка на половинку, ни то ни се, ни рыба, ни мясо, вчерашнее подогретое блюдо'»³³.

Для Алданова такого рода формулировки применительно к личности Толстого звучат кощунственно. Но основная «линия разлома» во взглядах на Толстого проходит у Мережковского и Алданова по полю литературной борьбы эпохи Серебряного века. «Толстой и Роллан», несомненно, являет собой полемический выпад, направленный против литературного модернизма в целом. Алданов, сильно принижая литературный талант Достоевского – кумира европейского символизма и экспрессионизма, противопоставляет ему своего кумира – Льва Толстого, который у него является воплощением всего и вся в области писательского мастерства, нераскрытым и неразгаданным гением, эдакой пирамидой Хеопса современной литературы.

В контексте генезиса личности Алданова-писателя представляет интерес глава в «Толстом и Роллане», касающаяся формальных приемов русского и французского авторов. Здесь, с позиций классического литературоведения, Алдановым намечен подход к созданию нового исторического романа – тема, к которой он неоднократно обращался впоследствии, – см., например, «О романе» (1933 г.). Внимание, с каким Алданов исследует здесь формальные приемы исторической романистики, подтверждает точку зрения алдановедов, что еще до эмиграции он серьезно готовился выступить на этом поприще.

Анализируя мировоззрение Л. Толстого с позиции историзма, убежденный франкофил Алданов утверждает, что именно французским мыслителям сам Толстой отводил первое место в мировой литературе. Одним из таких мыслителей, безусловно, является Жан-Жак Руссо. Об этом говорит также и Ромен Роллан в своей книге «Жизнь Толстого» (1911 г.). Интересно, что проводя параллели между Львом Толстым и Руссо в так называемом «исповедальном жанре», демонстрирующем предельную «честность автора с самим собой»,

Алданов утверждает, что Лев Толстой *истинной* своей «исповеди» не писал, а книга, которая под этим названием включена в состав его собрания сочинений, – это публицистическая история, повествующая о мотивах отпадения писателя от официального православия.

Другим важнейшим французским мыслителем для Толстого был Блез Паскаль. Толстой переводил Паскаля, готовил его биографию для публикации в «Круге чтения». Он очень лично, проникновенно писал о нем: «Вот Паскаль умер двести лет тому назад, а я живу с ним одной душой, – что может быть таинственнее этого?.. Вот эта мысль, которая меня переворачивает сегодня, мне так близка, точно моя! Я чувствую, как я в ней сливаюсь душой с Паскалем. Чувствую, что Паскаль жив, не умер, вот он!»³⁴

Особенно интересен в «Толстом и Роллане» образ Льва Толстого «как зеркала русской революции», т. е. общественного деятеля, чья проповедь отрицания государства сыграла разрушительную роль в истории России. В книге он представлен в этом качестве достаточно ярко. Забегая вперед, отметим, что в 1920-х гг. образ Льва Толстого как разрушителя русской государственности у Алданова подвергся «смягчительной» корректировке. Это произошло по причинам сугубо политическим. Русская эмиграция и Советская Россия вели ожесточенную идеологическую борьбу за «своего» Толстого, достигшую апогея в 1928 году, когда во всем мире отмечался 100-летний юбилей со дня рождения писателя. В эмигрантском дискурсе Алданов стремился заретушировать образ Толстого-антигосударственника, христианского анархиста, о котором писал, например Бердяев в «Философии неравенства». Игнорируя по существу социальную проповедь позднего Толстого, отрицавшего культуру и государство, Алданов концентрирует внимание своего читателя на «докризисном» Толстом времен «Войны и мира». Толстой этих лет никак не мог быть обвинен в пагубном влиянии на умы русской интеллигенции, которая под воздействием его проповеди пошла в революцию.

«Толстой и Роллан» – первая книга молодого Алданова – важна для понимания истоков его литературного творчества. Обратившись в 1920 гг. к исторической беллетристике, он с успехом использовал те темы и жанры, которые столь тщательно анализировал в своем первом литературном труде. Его знаменитая тетралогия «Мыслитель» стала своего рода сложным синтезом эпизодов «Войны и мира» Толстого и исторических драм Роллана о французской революции, переосмысленных с точки зрения фактической достоверности и в контексте заявляемой им «философии случая». Однако судьба книги «Толстой и Роллан» сложилась незавидно: на литературной сцене ее, в общем и целом, «не заметили», хотя Алданов, по свидетельству

Н. Суражского, и утверждал обратное, не без гордости вспоминая, что его «Толстой и Роллан» был «весьма благосклонно встречен <...> критикой и, особенно, делавшим ‘погоду’ в этой области покойным Айхенвальдом³⁵. Я в глаза никогда не видал Айхенвальда и поэтому особенно ценю его отзыв. Книга моя вышла до войны.

Второй том, почти готовый в рукописи, не был сдан в печать. Я в ту пору не имел возможности заниматься литературными делами, да и цензурные условия военного времени крайне затрудняли появление в неурезанном виде книги, посвященной мысли Ромена Роллана. В 1918 году я уехал за границу. Библиотека моя, разумеется, осталась в России и там погибла; погибли с нею и мои рукописи»³⁶.

Никакой дискуссии в печати о «Толстом и Роллане» не было. Шла война и сугубо интеллектуальная публицистика мало кого интересовала. Ни Горький, ни Иван Бунин, ни кто-либо другой из писателей, близко знавших Льва Толстого, никак не откликнулся на появление «Толстого и Роллана». Что же касается Дмитрия Мережковского, то он явно посчитал за лучшее проигнорировать критические наскоки молодого литератора³⁷. Поэтому имя «Марк Алданов» тогда на общероссийском уровне никак не прозвучало.

В дневниковой записи Веры Муромцевой-Буниной от 12/15 марта 1919 года читаем: «Алданов считает Толстого мизантропом, так же как и Ян. Ян говорил, что до сих пор Толстой не разгадан, не пришло еще время. Алданов расспрашивал о встречах Яна с Толстым. Ян передал их, они были кратки. Сильная любовь Яна к Толстому мешала ему проникнуть в его дом и стать ближе к Толстому»³⁸. При этом ни слова о книге Алданова! По всей видимости, Бунин о ее существовании не знал, иначе, по законам приличия, должен был бы о ней в том или ином контексте упомянуть. Алданов же, по-видимому, из скромности, тоже ничего не сказал о своем первом литературном детище. Второй том книги, посвященный анализу роллановской эпопеи «Жан-Кристоф», из-за потери рукописи в годы революции, так и не был опубликован.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бахрах А. В. Вспоминая Алданова // Грани. 1982. № 124. Сс. 155-182, цитируется по: URL: <https://libking.ru/books/nonf/-nonf-biography/414217-aleksandr-bahrah-vspominaya-aldanova.html>
2. Ремизов В. Б. Максим Горький. URL: <http://tsput.ru/res/other/Tolstoy/Literature/gorkiy.htm>
3. Уральский М. Горький и евреи: По дневникам, переписке и воспоминаниям современников. СПб.: – Алетейя, 2018.
4. Имя Алданова встречается в письмах Горького только в период с 1924 по

- 1927 г.: *Горький, Максим*. Полное собрание сочинений. Письма в 24 томах. Т. 14; 15; 16. – М.: Наука, 2004–2013. Сс. 97; 79, 330, 374, 378; 336.
5. *Грин Мелица*. Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным // «Новый Журнал». 1965. № 81. С. 279.
6. Монография «Л. Толстой и Достоевский», часто именуемая литературно-критическим эссе, вначале публиковалась в журнале «Мир искусства» (1890–1902 гг.). Впоследствии неоднократно выходила отдельными изданиями и публиковалась в собраниях сочинений Д. С. Мережковского.
7. Издательством Д. И. Сытина было выпущено 24-томное собрание сочинений Мережковского.
8. *Адамович Г.* Мережковский / Д. С. Мережковский: Pro et contra. – СПб.: Издательство РХГУ, 2001. Сс. 390–392.
9. *Гиппиус З. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. Дневники: 1893–1919. – М.: «Русская книга», 2003.
10. *Алданов М.* Д. С. Мережковский. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=566113>
11. «...Не скрывайте от меня вашего настоящего мнения»: Переписка Г. В. Адамовича с М. А. Алдановым (1944–1957) / Предисл., подготовка текста и ком. О. А. Коростелева // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына. – М.: 2011. С. 299.
12. *Адамович Г.* Мои встречи с Алдановым // «Новый Журнал». 1960. № 60. Сс. 107–115. URL: http://az.lib.ru/a/aldanow_m_a/text_0170.shtml
13. *Горький, Максим*. О «карамазовщине»; Еще о «карамазовщине». URL: http://dugward.ru/library/dostoevskiy/gorkiy_o_karamazovchine.html
14. Цитата из пьесы Горького «Последние» (1908). URL: http://librebook.me/poslednie_gorkii_maksim/vol1/1. Пьесу одобрительно воспринял Ленин; она была запрещена к постановке в Российской империи и, как ни странно, никогда не ставилась в СССР.
15. «Жестокий талант» – критическая статья Николая Михайловского о творчестве Достоевского в журнале «Отечественные записки» (1882 г.), в которой впервые писателю был брошен упрек, что «страстным возвеличением страдания» он приучает общество к покорному восприятию жестокостей и насилия.
16. *Тассис Жервез*. Достоевский глазами Алданова / Достоевский и XX век. Под редакцией Т. А. Касаткиной. В 2-х томах. Т. 1. – М.: ИМЛИ РАН, 2007. Сс. 382–405: URL: <https://studfiles.net/preview/2242090/page:39/>; *Tassis Gervaise*. L'oeuvre Romanesque de Mark Aldanov: Révolution, histoire, hasard (Slavica Helvetica). – Bern: Peter Lang, 1999.
17. *Адамович Г.* Мои встречи с Алдановым. Указ. публ.
18. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова. Указ. публ.
19. *Суражский Н.* (Брешко-Брешковский Николай). Четыре звена Марка Алданова (От нашего парижского корреспондента) // «Для Вас». 1934. № 39, 22 сентября. Сс. 3–4.
20. *Святополк-Мирский Д. П.* История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. – М.: «Свинья и сыновья», 2014.

21. *Шестов Л.* Власть идей (Д. Мережковский, Л. Толстой и Достоевский). Т. II / В кн.: *Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. – Л.: ЛГУ, 1991.
22. *Бердяев Николай.* Новое христианство (Д. С. Мережковский) / В кн.: Н.А. Бердяев о русской философии: В 2 тт. – Свердловск. 1991. Ч. 2.
23. *Шестов Л.* Власть идей. Указ. соч. С. 192.
24. См. «Примечание» в кн. *Мережковский Д. Л.* Толстой и Достоевский. – М.: Наука, 2000. URL: <http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/merezhkovskij-tolstoj-i-dostoevskij/index.htm>
25. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова. Указ. публ.
26. *Лагашина О.* Марк Алданов и Лев Толстой. К проблеме рецепции. – Таллин: Из-во Таллиннского ун-та, 2010.
27. *Мережковский Д. Л.* Толстой и Достоевский. Ч. 1. Гл. 3: URL: <http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/merezhkovskij-tolstoj-i-dostoevskij/1-tretya-glava.htm>
28. *Бахрах А.* По памяти, по записям. М. А. Алданов // «Новый Журнал». 1977. № 126. Сс. 146-170.
29. *Грин Мелица.* Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным. С. 285.
30. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова. Указ. публ.
31. *Грин Мелица.* Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным. С. 280.
32. *Лагашина О.* Марк Алданов и Лев Толстой. Указ. соч. С. 30.
33. Там же. С. 35.
34. *Булгаков В. Ф.* Л. Н. Толстой в последний год его жизни. – М.: «Правда», 1989. Сс. 336-337.
35. Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик. В 1922 г. был выслан из СССР на «философском пароходе». В эмиграции жил в Берлине. Подробную библиографию, включающую перечень большинства работ о Льве Толстом дореволюционного периода – см. *Култышева Е. Г.* Публицистика Л. Н. Толстого 1890–1910-го годов: Темы, проблемы, стиль. – Ростов-на-Дону, 2001. В библиографии, однако, отсутствует упоминание о книге М. Алданова и рецензии на нее Ю. Айхенвальда.
36. *Суражский Н. (Брешко-Брешковский Николай).* Четыре звена Марка Алданова. Указ. публ.
37. Впоследствии, уже в эмиграции, Мережковский снова предпочел «не заметить» книгу «Загадка Толстого» (1922 г.).
38. Устами Буниных / Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под редакцией Милицы Грин. В трех томах. – Мюнхен: Possev-Verlag, 1980–1982. Т. 1. С. 218.

Брюль, Германия

Елена Дубровина

«И жизни не было, и смерти нет»

О поэзии Владимира Смоленского (1901–1961)

Не задушить души моей –
Они летят, слова живые,
По душам и сердцам людей
В глухую тишину России.

Вл. Смоленский, 1936

В поэзии русской диаспоры предвоенного Парижа 1920–1930-х гг. преобладали метафизические мотивы. Этому способствовала интеллектуальная атмосфера того времени – как во французской, так и в русской зарубежной литературе. Французский поэт Рене Гиль считал, что поэзия должна быть подобна философии, отобразить и изобразить постижение всего мира. Говоря о русской философии на Западе 1920–1930 гг., Лев Закутин отметил в «Новом Журнале»: «...Пробуждается новый интерес к метафизике, которой снова возвращается ее значение первой философии или науки об основах мира»¹. В 1931 году выходит в Париже книга русского философа Н. Лосского «Введение в метафизику», где он писал о том, что снова возродился интерес к метафизике и что опять «создается умственная атмосфера, содействующая построению философских систем, охватывающих все стороны мира»².

В молодой эмигрантской поэзии зазвучали метафизические нотки, наметился поиск той самой тайны, о которой писал когда-то В. Брюсов. Об этом с присущим ему чувством юмора пишет Константин Мочульский в книге «Валерий Брюсов»: «На мгновение неверующего Брюсова притянула к себе ‘тайна’ и ‘бездна’ христианства...»³ Это таинственно-религиозное отношение к миру и вечности выражалось с помощью символов. Символизм был заимствован поэтами-эмигрантами как способ передачи своих метафизических настроений.

Мне снился сон – дрожала твердь
От грохота и молний белых,

И в ужасе металась Смерть
В еще неведомых пределах.

Вл. Смоленский

К молодому поколению последователей русских поэтов-символистов В. Ходасевич относил Владимира Смоленского. Ходасевич писал: «Читая Смоленского и Ладинского, с ясностью видишь, насколько они превосходят символистов если не дарованиями, то смысловой наполненностью стиха, точностью, боязнью многословия, короче и существеннее говоря, – более целомудренным отношением к слову, самый вес которого они чувствуют куда лучше»⁴.

Владимир Смоленский был значительной фигурой в поэзии первой волны эмиграции, выразителем ее метафизических настроений. Почему В. Смоленского можно считать поэтом-метафизиком? На этот вопрос можно ответить однозначно: хотя поэзия его находится в пределах земного и часто затрагивает вопросы бытия – смысл ее лежит за пределами реального.

И никогда не умирая,
Меня только бытиё,
Кривится отраженьем рая
Сознание темное мое.

В этом стихотворении четко просматривается теософский подход к жизни после смерти. «Человек потерял физическое бессмертие, но приобрел бессмертие духовное. Душа, как бабочка из кокона, вылетает из мертвого тела. Но окончательно ли она его покидает?» – задается вопросом Смоленский в «Воспоминаниях»⁵.

Николай Бердяев в своем труде «Теософия и Антропософия в России» писал: «...Теософия начинает играть значительную роль в русской духовной жизни, в культурном нашем слое, и роль ее, несомненно, будет возрастать»⁶. Смоленский, как и некоторые его друзья по перу (Н. Оцуп, Н. Белоцветов, К. Гершельман и др.), был явным теософом. Стоит задуматься хотя бы над такими строчками его стихов, написанными незадолго до смерти: «И победное смерти жало – / Не конец уже, а начало», т. е. мысль о том, что смерть есть не конец пути, не оставляла В. Смоленского и в последние дни жизни.

Говоря о поэзии Владимира Смоленского, в этой статье я затрону в основном только одну тему, наиболее ярко отраженную в его творчестве. Это – тема смерти. Фатализм Смоленского можно сравнить только с пророческими настроениями М. Лермонтова. Помните у него такие строки, написанные незадолго до дуэли:

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Метафизический подход к поэтическому творчеству у Смоленского отличался от его соратников по перу. Его метафизический мир был миром мертвого человека – вернее, человека с душой умершей.

Ты встанешь в некий час от сна,
Завеса разорвется дыма,
И станет тайна жизни зрима
И отвратительно ясна,

И в правду притворится ложь.
И ты не сможешь... – Ты умрешь.

Но будет долго тень твоя,
Дрожа в изнеможенном теле,
Не зная сна, не видя цели,
Бродить меж камней бытия,

И будет повторять слова,
Скучать, и лгать, и улыбаться –
Как все, – и будет всем казаться,
Что мертвая душа – жива.

Ходасевич в рецензии на книгу Смоленского «Закат» писал о символистах: «Мир, рождаемый в творчестве (Символистов. – *Е. Д.*), не совпадал с миром окружающим, не равнялся ему, но возникал из него в процессе пересоздания. Символисты искали душу мира... Если для символистов мир – призрак, то для Смоленского он – труп»⁷. Ходасевич, близкий друг и почитатель поэзии Смоленского, тонко понимал его поэзию, пропитанную болью бытия, болью прожитых воспоминаний, ностальгическими мыслями об оставленной родине и постоянной мыслью о скорой смерти в его собственном призрачном мире.

Как лебедь, медленно скользящий
По зеркалу озерных вод,
Как сокол, в облаках парящий,
Мой призрачный, ненастоящий,
Мой выдуманный мир плывет.

Смоленский жил в двух мирах: реальном и метафизическом, в своем, нереальном пространстве, им созданном, им выдуманном, – в мире, где жизнь мрачна и несчастна, где «Лишь тенью от тени, эфирною пылью дыша, / Рождается, бьется и гибнет во мраке душа», и сама смерть, как тень, как призрак, идет за ним по пятам. Таким «нездешним» кажется ему этот мир на пороге смерти.

Быть может, скоро, на закате дня,
Иль на рассвете, на одно мгновенье,
Увижу я, что все вокруг меня
Нездешнее имеет выраженье.

Как-то в середине 80-х на выступлении И. Бродского в Филадельфии я повернулась к сидящей рядом поэтессе второй волны эмиграции Валентине Алексеевне Синкевич и тихо сказала ей: «У меня такое чувство, что он внутри мертвый». Валентина Алексеевна удивленно на меня взглянула: «Вы правы, я только что была с ним на обеде. Он вдруг наклонился ко мне и сказал: ‘Я мертв внутри’».

Сейчас, перечитывая стихи Владимира Алексеевича Смоленского, любимого поэта первой волны эмиграции, я вспоминаю этот короткий разговор. Ведь и душа Владимира Смоленского постепенно умирала («Ты стал уже почти не человек, / Уже почти мертвец, почти виденье»), хотя он и искал оправдания смерти как той тропы, «незаметной глазу», которая приведет его к бессмертию и когда:

Качнувшись, дрогнет вышина
И поползет, и свет потухнет,
И тяжело, как камень, рухнет
На камни мертвая луна.

Смерть – основной лейтмотив всей поэтической структуры Смоленского, она идет рядом с ним, завладевая его душой, его мыслями. И это не столько страх умереть, сколько ощущение постоянного присутствия смерти, под влиянием тех событий, которые произошли в его молодой жизни: расстрел отца большевиками на глазах у юного, 16-летнего, поэта – сцена, которую он не смог забыть: «Забудь, забудь... Но как забудешь ты / Увиденное этими глазами...» И тогда, как защита от страшного конца, появилась у молодого поэта надежда, что, может быть, смерти нет. Этот теософский подход к смерти, как я уже сказала, становится лейтмотивом его будущей поэзии.

Моему отцу

Ты встаешь из ледяной земли,
Ты почти не видишь издали,
Ты еще как сон – ни там, ни здесь,
Ты еще не явь – не тот, не весь...
Стискиваю зубы. – Смерти нет.
Медленно сжимаю сердце. Свет
Каплями стекает с высоты.
Явственной видны твои черты,
Но слова твои едва слышны,
Но глаза твои еще мутны,
Будто между нами пролегло
Дымом затемненное стекло.
Смерти нет. Не может смерти быть.
Надо всё понять и всё забыть.
Страшное усилие. Страшный свет,
Слабый звон... – Ты видишь, смерти нет!

С этого момента мир для него становится «призрачным, ненастоящим», это – «пустая ледяная земля», на которой он «обречен умереть». В 19-летнем возрасте Владимир Смоленский уходит добровольцем в армию Врангеля, с которой в 1920 году покинет Россию.

Над Черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.
Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом,
И Ангел плакал над мертвым ангелом...
– Мы уходили за море с Врангелем.

Два года он провел в Тунисе, где и начал писать стихи, но первые публикации появились только в 1929 году в Париже, куда Смоленский переехал в 1922 году. Там же он окончил гимназию, Сорбонну и Коммерческую академию. Впервые услышав стихи Смоленского на его выступлении в 1929 году, Георгий Иванов отождествлял о нем как «о новой восходящей звезде».

Однако та нищета, в которой жили молодые эмигрантские поэты, неверие в завтрашний день, потеря родины и родных, одиночество («Что я везде – о, это видит Бог, – / Так навсегда, так страшно одинок») создавали атмосферу пустоты, без настоящего и без буду-

щего. Несмотря на первый успех, глаза юноши, полные ужаса, смотрели в темный провал жизни – в смерть, и собрав последние силы, чтобы «не сойти с ума от боли», он боялся и в то же время ждал ее приближения.

В такой тоске, в такой неволе
Как много надо сил иметь,
Чтоб не сойти с ума от боли,
От бешенства не умереть.

1930

«Не только внешние условия – голод и нищета, или пуля противника приводили поэтов к гибели. Была и, вероятно, всегда будет какая-то обреченность в них самих, обреченность сознательная и как бы заранее ими принятая», – писал поэт и литературный критик Юрий Мандельштам в статье «Судьба поэта»⁸. Именно так можно охарактеризовать и поэзию, и личность близкого друга Юрия Мандельштама, Владимира Смоленского.

До того, как Владимир Смоленский эмигрировал в Париж, он прошел тяжелый путь страданий, безысходности, потери близких. Еще совсем молодым поэт познал ужасы сражений и воочию увидел смерть.

Все исчезнет как дым, как сон,
Даже с камней сотрется след
Этих темных и злых времен,
Этих страшных и долгих лет.

Но чтобы выстоять, нужна была вера, нужен был тот свет, который показал бы ему путь к добру. Этим светом явилась вера в Бога, который, казалось, покинул поэта.

Я не хочу поднять тяжелых век,
Там те же звезды, в том же мраке стынут.
Как одинок бывает человек,
Когда он Богом на земле покинут.

Он, как и многие его соотечественники, обретя свободу, искал нового пути для выражения своих чувств. Душа искала выхода из тисков пережитого, стремилась к свету, к метафизическому осмыслению настоящего и будущего мира. В своей поэзии Вл. Смоленский соединяет воедино духовное сознание бытия и веры в Бога, человека

и космического мира. Размышляя о смерти, он искал выхода из тупика именно в Боге, молясь о нем, обращаясь к нему, ища ответа.

Не кляни ни людей, ни Бога,
Не плачь о счастье земном,
Каждый вечер тайно и строго
О себе молись и о Нем.

«В религиозном отношении он (Поэт. — Е. Д.) пребывает в неустойчивом равновесии, и на любом повороте, при чрезмерном уклоне в магию, его поджидает крушение, смерть, духовная гибель», — писал Георгий Меер в статье «Жало и дух. Обморок веры живой»⁹. В поэзии Смоленского есть свое мироощущение, духовное стремление к познанию Тайны жизни и смерти. Недаром символизм является одним из творческих проявлений декадентства, ибо он как бы открывал читателю связь божественного в земном бытии. Выразительность поэтических форм, музыкальность, художественный смысл, таинство подсознательного стремления к высшему, божественному помогли превратить его поэтическое мастерство в искусство. Поэзия Смоленского состоит из той духовной субстанции, которая заложена в душе самого поэта. «Отныне поэт только тот, кто платит за каждую строчку своей кровью», — писал в газете «Возрождение» Н. Дашков в 1927 году¹⁰.

«Творчество всегда жертвенно. Творчество, не проходящее через жертву, — пустота», — отмечает Н. Бердяев в «Новом Журнале»¹¹. Смоленский был жертвой времени, что отразилось в его больном сознании и в его поэзии. Однако размышления Смоленского о смерти не означали, что поэт ее искал, — наоборот, ему казалось, что смерть ищет его, смотрит на него своими «тусклыми зрачками».

Тогда, как в ледяных могилах,
Тогда, как в непробудном сне,
Крик человеческий не в силах
Возникнуть в мертвой тишине.

Беззвучно шевеля губами,
Нем человек. И на него
Смерть смотрит тусклыми зрачками,
Не видящими ничего.

Владимир Смоленский великолепно читал свои стихи, с пафосом, и, как вспоминали его соотечественники, порой даже переигры-

вал. «Владимир Алексеевич Смоленский был, безусловно, самым популярным поэтом послевоенного времени в Париже. Когда он выступал в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен», – писал в своей книге «Сквозь смерть: воспоминания» его близкий друг К. Д. Померанцев¹². Очень красивый молодой человек романтической наружности, с бледным, задумчивым лицом, красивым тембром голоса, он читал свои стихи «со сдержанным пафосом, сопровождая чтение музыкальными жестами рук» (Померанцев). Но это была только игра, внутри он глубоко страдал, постоянно думая о смерти. Я думаю, что его не столько пугала сама смерть – он верил во второе рождение, – а сам процесс умирания, болезненный процесс физического ухода из земного существования, так как дороги назад, на землю, из загробного мира уже нет. Вспоминая, К. Д. Померанцев писал там же: «...Это был сложный и глубоко несчастный человек».

Никакими словами, никакими стихами,
 Ни молчаньем, ни криком – ничем
 Не расскажешь о том, что ты слышишь ночами,
 О том, что закрытыми видишь очами,
 Когда неподвижен, и нем,
 И глух ты лежишь, как в могиле, в постели,
 На грани того бытия,
 И в темном, надземном, надзвездном пределе,
 Над жизнью и смертью, без страха, без цели
 Душа пролетает твоя.

Умер Владимир Смоленский сравнительно молодым, ему едва исполнилось 60. Незадолго до смерти поэт писал: «Между жизнью и смертью прослойка // Ледяная больничная койка». Умер он от рака горла, потеряв свой красивый бархатный голос, привлекавший к нему когда-то так много поклонников и поклонниц и его таланта, и его импозантной внешности. В стихотворении, посвященном жене и написанном незадолго до смерти (напечатано в 64-м номере «Нового Журнала», 1961), Смоленский писал:

Перерезали горло,
 Бьют в несчастное сердце,
 Душат бедную душу мою,
 – Нету рифмы на сердце,
 Нету рифмы на горло,
 Но я всё же пою и люблю.

Померанцев: «Он лежал на кровати, смуглый, с белым венчиком на лбу. Еще более красивый, чем при жизни. Почему-то мелькнула мысль (до сих пор от виденья не могу отделаться): таким был Магомет». Какую душевную боль переживал поэт перед смертью, мы никогда не узнаем, так как внутренний его мир был закрыт в последние минуты жизни для друзей и близких, но в стихах своих он описал видение перед смертью в одном из лучших стихотворений «Стансы».

Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом –
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.

И ласточек крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом – вся Россия,
Как ямб торжественный звучит.

Владимир Смоленский, веривший в предначертанность судеб наших, точно, как провидец, описал и свой конец:

Лежать я буду на столе один.
Торжественный, заупокойный чин
Священник будет истово свершать,
И будут молча вокруг меня стоять
Мои друзья, враги, моя семья,
Все, с кем я жил и с кем встречался я,
И будет, от прозрачной белизны,
Еще красивее лицо жены.
Всё будет так, как я хотел всегда.

«Стихи Смоленского до крайности меланхоличны. Они действительно ‘закатны’. Поэт не живет, поэт ‘перманентно’ умирает», – так охарактеризовал его поэзию Георгий Адамович¹³. Как в поэзии, так и в жизни Смоленский покорно плывет по течению судьбы, он не борется со злым роком, он покорно ждет того последнего часа, «Когда уже не изменить судьбу, / Когда свинец в боку, мертвец в гробу».

У каждого поэта есть свой доминирующий символ: у Поплавского этим символом был снег, белый, розовый, зеленый; у Ивана Савина и Ивана Елагина – звезды. В поэзии Смоленского, как, кстати, и у Георгия Иванова, преобладают два главных образа: ангела и

звезды, горящей «в вечности своей невыносимой», как символа света, опаляющего темное и трудное существование.

Подобная огню и льду,
Подобная моей жестокой
Судьбе, она горит в ночах,
Божественной подвластна силе.

У Георгия Иванова:

Человеческое горе,
Ангельское торжество...
Только звезды. Только море.
Только. Больше ничего.

В 1958 году Смоленский в одном из своих стихотворений оплакивал смерть Георгия Иванова. И в этой его эмоции улавливалась какая-то двойственность. С одной стороны, это прощание с другом, с великим поэтом, но с другой стороны, это – сомнение в том, есть ли тайна смерти, неизвестной нам запредельной жизни, т. е. в этом стихотворении есть едва заметный горький элемент надежды и сомнения.

Георгию Иванову

Умер друг – не плачь, душа, не надо...
Умер друг – но почему ж я плачу?
Ничего не знаю я, не значу
В тайнах смерти, жизни, рая, ада...

В поэзии самого Георгия Иванова смерть – это выход из трагической действительности («По синему царству эфира / Свободное сердце летит») или:

Тише... Это жизнь уходит,
Всё любя и всё губя.
Слышишь? Это ночь уводит
В вечность звездную тебя...

У Вл. Смоленского конец жизни означал не полет в другие, звездные миры, а срыв в бездну, в пропасть, в ад.

Так в безрадостной страсти сторае холодное сердце,
Так в чаду догорают последние дни на земле...

Буду вечно в аду в свою жизнь с отвращением глядеться,
Будет пламя лизать отражение на мутном стекле.

Стихотворение Смоленского «О звезде» впервые было напечатано в газете «Возрождение» в 1932 году. Его могут обвинить здесь в подражании Лермонтову, но ничего удивительного – Лермонтов был его любимым поэтом. В «Воспоминаниях» Смоленский пишет о влиянии Лермонтова на его жизнь и творчество: «Висит над моей кроватью портрет Лермонтова, убитого много, много лет назад Мартыновым. Но жив Лермонтов в моем сердце, и если бы не было его, то и я был бы совсем не тот. Был бы, конечно, но совсем другим».

Гори, гори в тумане белом,
В тумане ледяном гори,
Летающим и горящим телом
Недвижный сумрак озари.

Или – это стихотворение, написанное в 1931 году:

Моя высокая, моя звезда,
Едва заметная, горит в ночи,
Дробясь, как синие осколки льда,
На землю падают ее лучи.

И от мерцающих лучей ее
На сердце призрачный ложится свет.
Во тьме и вечности и ты, и я.
И жизни не было, и смерти нет.

Вчитываясь в его стихи о ледяной звезде, излучающей холодный свет, начинаешь понимать, что Смоленский отождествляет свою душу с этой вечно горящей, ледяной и вечно сгорающей звездой.

От бессмысленных дней, от бессонных ночей,
От земной темноты, от небесных лучей,
От любви, что темна, от тоски, что светла,
От свободы, летящей звеня, как стрела,
От бессмертных стихов и от смертных людей
Стало сердце звезды ледяной тяжелей.
Обжигая меня, убивая меня,
Посылая снопы ледяного огня,
В неподвижном, бессмертном, безжизненном сне

Ледяною звездою сияет во мне,
И проснуться нельзя, и нельзя умереть,
Только вечно сгорать, только вечно гореть.

Образ ангела у него – как символ добра, который, расправив крылья, стоит на пороге рая. Этот белый ангел, стоящий у входа в другой мир, должен открыть ему путь в бессмертие.

В томлении смертном, на смятой постели,
Хрипя, задыхаясь, томясь
От боли и страха... Но ангелы пели,
Над комнатой душевной кружась.

Вот стихотворение под названием «Ангел», в котором четко прослеживается эта мысль о том, что в конце пути ангел укроет его своим крылом и укажет ему дорогу в рай:

Как медленно я умираю...
Но верю, что в конце пути
Он приоткроет двери рая,
Крылом поможет доползти.

1930

Музыка была одним из главных компонентов поэзии символистов. Смоленский, как и Малларме, считал, что главным умением поэта была способность взять у музыки всё, что она может дать, т. е. приблизить искусство поэзии к музыке. Стихи Смоленского были, действительно, музыкальны, и, казалось бы, по структуре своей – несложные. Однако, говоря о простоте его поэзии, надо отметить, что простота у Смоленского – не ноль, а мера глубокая и многогранная («Одно простое слово, / Но оно, как уголь добела раскалено»), созданная из элементов страдания, сотканная из невидимых нитей бытия, – когда то, чего ждал он от жизни, к чему стремился, вдруг, суммируясь, становится пустотой, темной бездной, глубиной, в которую он падает, – и все это выражено так словесно просто, но так духовно сложно.

Помолчи, все это очень просто –
Жизнь и смерть – струна, что рвется в лире,
Крест на дальнем, как мечта, погосте,
И звезда, горящая в эфире.

Владимир Вейдле на одном из своих выступлений в «Перекрестке» так охарактеризовал «поэтическую простоту»: «Простота, в сущности, требование абсолютное. Оно, в сущности, говорит одно: познай самого себя, будь самим собою. А значит, оставь все чужое, не рядись в чужие одежды, будь наг». Я думаю, что под простотой Вейдле подразумевает правду, а поиск правды и есть назначение поэзии. У Владимира Смоленского мир преломляется в его сознании, и поэт видит правду в искаженном виде, и тогда – «и правдою становится обман», и потому он ищет свою правду в поэзии, снах или в бессмертии.

Безжалостна правда земная,
Беги от нее без оглядки
В мечты о бессмертье и Боге,
В безумье, в поэзию, в сны.

Правда Смоленского выходит за пределы рационального поиска, это ирреальная правда, преображенная в душе художника, но это уже не правда религиозная и божественная, увиденная им сквозь призму других миров, – в его сознании правда становится ложью.

И никогда не умирая,
Меня только бытие,
Кривится отраженьем рая
Сознание темное мое.

Нет ничего, ни зла, ни блага,
Ни мудрости, ни правды нет, –
Зеркальная темнеет влага,
Мерцает отраженный свет.

Поэт постоянно идет по краю пропасти, но наступает тот момент, когда душа не выдерживает тяжести повседневного груза, «метафизического отчаянья» (Маковский), и он срывается в пропасть, чтобы навечно пропасть, кануть в небытие из бытия сложного и запутанного, где нет защиты от одиночества. («Ты один, и нет тебя меж ними / Беззащитный и непобедимый»).

А ты в земле, а ты на дне,
Холодный, страшный, недвижимый,
В ненарушимой тишине
И в пустоте ненарушимой.

Но есть Бог, и поэт, стоя на краю этой пропасти, обращается к нему за помощью, потому что он еще не сдается темным силам, он еще непобедим, еще есть свет, показывающий ему дорогу из тьмы.

Я знаю, что любовь... Но все равно,
Я слишком много знаю, слишком много,
За свет свечи, когда вокруг темно,
Благодарить я должен Бога.

1931

И если над ним светит яркая звезда и белый ангел расправил крылья – поэт спасен, то есть душа его освобождается от тяжести и сливается с душой мировой.

Владимир Смоленский – поэт взволнованный, мятущийся и ищущий свой путь – отображал внутренний мир с такой болью и надломом, что трагедия целого поколения молодых поэтов русской диаспоры звучала в его творчестве с новой метафизической силой. В рецензии на книгу поэзии Смоленского «Закат» В. Ходасевич писал: «В небольшой книжке Смоленский сосредоточил то, что разрозненно бродит в стихах весьма и весьма многих его сверстников, а в той или иной степени присутствует, может быть, даже у всех»¹⁴.

Поэтическое творчество Владимира Смоленского возникло в эмиграции, как и творчество многих его современников, оказавшихся за рубежом в раннем возрасте. У них не было прошлого литературного опыта, и новый творческий путь возникал в эмигрантской среде, на новой чужбинной почве, в стране, где многие из них находились между двух миров и были глубоко несчастны. Трагедия одного поэта была трагедией целого поколения, поэтому строки стихов Вл. Смоленского так глубоко отзывались в сердцах его соотечественников.

И ничего не понимая,
Не в силах вспомнить ни о чем,
Руками голову сжимая,
Я плачу о забытом рае,
О счастье отнятом моем.

«У него не только стихотворный талант, но и способность трогать сердца», – писал литературный критик Юрий Мандельштам о поэзии Смоленского в статье «Гамбургский счет»¹⁵. Владимир Смоленский пронес в душе через всю жизнь затаенную боль, глубочайшую обиду на кратковременность и недолговечность нашего зем-

ного существования, на те крохи счастья, которые были не чудом, а лишь ежеминутным обманом судьбы. С помощью поэтического слова пытался разобраться он в том хаосе, в котором пребывал мир и его душа.

Наедине с самим собой
Бессонницей томлюсь и снами,
Бессмыслицу зову судьбой,
А жалобу и боль – стихами.

Понять мир и найти себя с помощью искусства, с помощью той магии, которая преобразует душу, стало задачей молодой эмигрантской поэзии, представителем которой был Владимир Смоленский. В статье «Заметки на полях. О литературном движении» Иван Лукаш, обобщая путь современного искусства, утверждает: «Само искусство – несомненная ирреальность, но художник никогда не усомнится в возможностях путями творческой магии претворить это ирреальное самобытие в наше самобытие... Он должен, прежде всего (и это самое трудное), стать микрокосмосом магического мира самобытия, оставить все чужое, кроме своего, быть самим собою, если оно есть»¹⁶.

В статье о творчестве В. Ходасевича Вл. Смоленский писал: «...Проникая в тайный смысл вещей, Ходасевич, любя и жалея обреченных поэтов, ушедших от пули в затылок к медленной смерти от голода, понимает, что 'в жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное'»¹⁷. Сам Смоленский, человек чистой и доброй души, стал жертвой времени, в котором жил, и хотя он пережил многих своих соотечественников, вся его жизнь была ожиданием смерти, размышлением о ней. «Что есть смерть?» – такой метафизический вопрос он часто задавал себе и читателю. И сам на этот вопрос отвечал, представляя себе последние дни своей недопрожитой до конца жизни.

Ты на краю земли. – Какая тишь,
Какая тьма. Ты руки поднимаешь
– О, как они прозрачны! – Ты летишь,
Ты падаешь, ты умираешь.

Стихотворение, озаглавленное «Стихи о Лермонтове», заканчивается такими словами: «В кавказском ущелье на грудь наведен пистолет – / Но смерти, мой мальчик, мой ангел, мой мученик, нет». И в этих строчках, посвященных любимому поэту, заключается вся суть философии Владимира Смоленского: смерти нет, душа поэта

остается жить в его поэзии. А память о нем? Может быть, она и есть залог его бессмертия?

Для нас, новых его читателей, Смоленский остался жить в своих стихах, в старых, истлевших сборниках поэзии, которая до сих пор трогает и заставляет задуматься нас над вопросом: «А что есть смерть?»

Пиши стихи, за это ты
Бессмертным после смерти будешь,
Твои истлевшие черты
Живыми будут помнить люди.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Закутин Л. О книге В. Янкелевича. // «Новый Журнал», № 83, 1966. С. 273.
2. Лосский Н. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. – Париж: Изд-во «Современные Записки», 1931.
3. Мочульский К. Валерий Брюсов. – Париж: YMCA-PRESS, 1962. С. 74.
4. Ходасевич В. Двадцать два. // «Возрождение», № 4136, 1938.
5. Смоленский В. Воспоминания // «Возрождение». 1960. № 98. С. 112.
6. Бердяев Н. Теософия и антропософия в России. // Типы религиозной мысли в России. [Собрание сочинений. Т. III] – Париж: YMCA-PRESS, 1989. С. 463.
7. Ходасевич В. Книги и люди. «Закат» // «Возрождение», № 2410, 1932.
8. Мандельштам Ю. Судьба поэта. // «Возрождение», № 3214, 1934.
9. Мейр Г. Жало и дух. Обморок веры живой // Сборник литературных статей. – Франкфурт: Посев, 1968, С. 100.
10. Дашков Н. Французский символизм и русская поэзия. // «Возрождение», № 758, 1927.
11. Бердяев Н. Выдержки из писем к госпоже Х. // «Новый Журнал», № 35, 1953. С. 172.
12. Померанцев К. Сквозь смерть. Воспоминания. – London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1986.
13. Адамович Г. Мысли и сомнения: О литературе в эмиграции. // «Последние Новости», 21 января, 1932.
14. Ходасевич В. Книги и люди // «Возрождение», № 2410, 1932.
15. Мандельштам Ю. Гамбургский счет. // «Журнал Содружества», № 2 (38). 1936. Сс. 7-12.
16. Лукаш И. Заметки на полях. О литературном движении // «Возрождение», № 1906, 1930.
17. Смоленский В. Мысли о Владиславе Ходасевиче. // Смоленский В. А. «О гибели страны единственной...»: Стихи и проза. – М.: «Русский путь», 2001.

А. Е. Климов

Солженицын смотрит на Америку*

1

Мы не имеем никаких сведений о взглядах Солженицына на Америку в годы, когда он был ортодоксальным последователем марксизма-ленинизма. Скорее всего, Солженицын в 1930-е годы к теме Америки просто не проявлял специального интереса, и в этом отношении показательно, что в его большой автобиографической поэме «Дороженька», освещающей много сторон его ранней жизни, Америка вообще не упоминается.

Кое-что, правда, стало известно о знакомстве Солженицына с некоторыми произведениями американской литературы, но это первым делом свидетельствует о его пристрастии к чтению в юные годы и не может считаться проявлением особого интереса к Америке как таковой. Можно назвать два примера. Будучи в Калифорнии в 1976 году, Солженицын обнаружил Дом-музей Джека Лондона и вспомнил о своем – и общесоветском – увлечении рассказами Лондона в детские годы («Всё наше советское поколение на нем воспитывалось», – пишет он¹). И из мемуарных записей писателя мы узнаём, что когда он проезжал по северной части штата Нью-Йорк близ города Куперстаун, названия этих мест оказались знакомы ему по романам Фенимора Купера – «исчитанными», – как он пишет, – с детства². Несомненно, он также был знаком и с такими излюбленными книгами для юношества, как «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна».

Имеется, кроме того, один существенный отклик Солженицына на произведение американской литературы, прочитанное им в зрелом возрасте. Относится это к роману Джона Дос Пассоса «1919 год», опубликованному в русском переводе в 1933 году. Солженицын ознакомился с этим произведением в 1945 г. во время своего тюремного заключения на Лубянке. Как он объясняет в «Архипелаге ГУЛАГ», тюрьма эта неожиданно имела отличную библиотеку, причем необщипанную идеологическими цензорами³. Роман «1919 год»,

*Статья основана на докладе, прочитанном летом 2018 года в Middlebury College, Vermont, на специальных чтениях, посвященных 100-летию А. И. Солженицына.

вероятно, был интересен Солженицыну благодаря его новаторской литературной репутации: писатель сообщает, что в построении этой книги он увидел нечто «близкое тому, что нам нужно»⁴. Он уже тогда имел намерение создать большой исторический роман о русской революции, и в романе Дос Пассоса он познакомился с новым способом размещения революционно-взбудораженного материала. Его особенно заинтересовали два конкретных художественных приема, впервые использованные в литературе: во-первых, включение в текст монтажей из газетных вырезок и, во-вторых, введение своего рода «сценарных» глав – того, что Дос Пассос, вслед за Дзигой Вертовым, называл «киноглазом» («Camera Eye» или «Cine-Eye»). И хотя эти приемы, по мнению Солженицына, были лишь частично приложимы к русскому материалу, они, тем не менее, открывали перспективные возможности, которыми Солженицын воспользовался в работе над «Красным колесом». Как Солженицын признаёт, он «у Дос Пассоса поучился»⁵, но это был урок профессионально-писательский, к какой-либо оценке Америки имевший мало отношения.

2

Тема Америки сложилась у Солженицына только после того, как его отказ от идеологии марксизма-ленинизма привел его к пониманию опасности коммунизма для всего мира – и заставил думать о силах, которые были бы в состоянии противостоять этой угрозе.

Процесс пересмотра убеждений у Солженицына начался с момента его ареста в феврале 1945 г. и развивался в годы заключения. В интервью в 1989 г. он охарактеризовал этот процесс следующим образом: «... в тюрьме я <...> встретился с разнообразием, невиданно свободным разнообразием мнений, – и я заметил, что мои убеждения прочно не стоят, ни на чем не основаны, не могут выдержать спора. И я от них стал отказываться. <...> естественно не в один год...»⁶

Если учесть слова писателя, что мировоззрение у него сложилось в лагерях⁷, то можно предположительно отнести окончательный отказ от идеологических увлечений 1930-х годов к периоду заключения в екибастузском лагере (1950–1953). Однако сохранилась информация о важном промежуточном этапе в эволюции взглядов Солженицына. Речь идет о второй половине 1940-х годов, когда Солженицын находился в т. н. «шарашке» – тюремном заведении, разрабатывающем научно-технические проекты для режима. Марфинская шарашка – место действия романа «В круге первом»⁸, и мы знаем по воспоминаниям двух союзников Солженицына – Льва Копелева и Дмитрия Панина, – что роман правдиво описывает общую обстановку в шарашке⁹.

Одна из важных тем романа, основанная, по словам Копелева, на реально происходивших в шарашке событиях, – бесконечные споры на философские и политические темы между автобиографическим героем повествования и его тюремными друзьями. Копелев сообщает, в частности, что Солженицын в этих спорах постоянно занимал позицию принципиального скептика и что он особенно возмущался историческим детерминизмом, одной из основных догм марксизма¹⁰.

И в шарашке у Солженицына произошла первая значительная встреча с «американской темой». Она возникла в конце 1949 года, когда администрация Марфинской шарашки поручила Льву Копелеву возглавить строго секретный проект, целью которого был арест человека, позвонившего в посольство США в Москве, чтобы предупредить американцев о готовящейся шпионской операции в Нью-Йорке, каким-то образом связанной с технологией атомной бомбы¹¹. Звонок в посольство был записан агентами советской госбезопасности, и Копелеву предстояло сравнивать голос на этой записи с голосами нескольких подозреваемых лиц. Он обратился к Солженицыну в надежде, что тот примет участие в операции по поимке разрушителя советских планов. Но Солженицын категорически отказался, тем самым указывая на то, как далеко он отошел от чувства лояльности по отношению к советскому режиму уже в долагерные годы¹².

Но сведение о попытке предупредить американцев поразило Солженицына своей неожиданностью и наивной безнадежностью, и, как он написал своему знакомому С. Н. Никифорову, у него «в тот самый момент сверкнуло, что это – потрясающий сюжет для романа»¹³. И действительно, вскоре после выхода из экибастузского лагеря он начал писать роман «В круге первом», сюжет которого является художественной разработкой именно этого случая.

В заметке 1994 года Солженицын сообщает, что во время написания этого романа он испытывал тревогу об американской судьбе¹⁴. Речь идет о середине 1950-х годов (1955–1957 гг.), когда создавалась первая редакция романа. А эти годы, по воспоминаниям писателя, были для поколения людей, прошедших, как Солженицын, и войну, и ГУЛаг, периодом яркой веры в спасительную сущность Запада в борьбе с коммунистической системой: «В годы пятидесятые, после окончания войны, мы буквально молились на Запад, мы считали Запад солнцем свободы, крепостью духа, нашей надеждой, нашим союзником, <...который> поможет нам подняться из рабства»¹⁵.

Но следует сказать, что роман Солженицына таких радужных надежд вовсе не выражает. Начать с того, что тревога и озабоченность относятся первым делом к последствиям *для России* того, что Сталин получит доступ к атомной бомбе. Как говорит «дядюшка»

Иннокентия Володина, в таком случае «никогда нам свободы не видать»¹⁶. Кроме того, в романе освещается тема слепоты и непонимания как России, так и Советского Союза среди представителей Запада. Это намечается уже в образе мало сообразительного сотрудника американского посольства в Москве, который дежурит у телефона посольства и бездумно хочет подозвать советского помощника для разговора с человеком, стремящимся сообщить о советской шпионской операции. Затем тема представлена в ярко сатирической форме в главе «Улыбка Будды», которая в контексте романа является сочинением двух узников шарашки, создавших фантазию на мотив «А что, если бы...?» Сочинение подано в торжественном стиле, как бы от лица, взвешивающего на описываемые события с наивным пиететом и полным отсутствием понимания всей вопиющей ложности происходящего. В таком же ключе и с таким же противоестественным доверием ведет себя воображаемая западная гостья. В данном случае, конечно, мы имеем дело с доведенной до комического абсурда карикатурой, но тема основана на сведениях о реальных приемах, устраиваемых советскими властями в 1930-е годы для несведущих, но надежно левонастроенных западных гостей¹⁷.

3

Роль Америки в судьбе Солженицына стремительно возросла с момента высылки писателя из Советского Союза в феврале 1974 года. Благодаря своему отважному противостоянию советскому режиму и особенно после сенсационного появления «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын приобрел не только широкую известность, но и огромную символическую значимость в конфликте Запада с Советским Союзом, еще более увеличенную внезапным появлением писателя вне СССР. В этой политически наэлектризованной атмосфере ряд влиятельных представителей американских консервативных кругов поспешил установить контакт со знаменитым изгнанником. Первым был Джесси Хелмс, республиканский сенатор от Северной Каролины, известный Солженицына, что он внес резолюцию в Сенат о присуждении писателю почетного американского гражданства. Хелмс приглашал его приехать в США для встречи с поддержавшими эту резолюцию сенаторами. Почти одновременно пришло письмо от Джоржа Мини, главы самого крупного американского профсоюзного объединения, с предложением устроить Солженицыну выступления в ряде городов Соединенных Штатов. И поступило личное приглашение от сенатора Генри Джексона, влиятельного деятеля Демократической партии.

На все эти ранние приглашения Солженицын ответил отказом,

ссылаясь на необходимость вернуться к прерванной литературной работе¹⁸. Но прошел год, и обстоятельства кардинально изменились. Во-первых, Солженицын пришел к заключению, что для спокойной и продуктивной работы и ради общей безопасности жизни ему и всей семье следует перебраться из Швейцарии в другую страну, причем особенно манила идея поселиться в Канаде. А это требовало предварительной поездки в Северную Америку для поиска подходящего жилья.

А во-вторых, Солженицын в течение этого года с возрастающей тревогой следил за событиями во Вьетнаме, где участие американской армии в войне резко сокращалось с каждым месяцем в соответствии с планом о «вьетнамизации» военных усилий, т. е. ставки на то, что южновьетнамская армия будет способна самостоятельно сдерживать натиск северовьетнамских войск. И несмотря на то, что надежды эти очень скоро показали свою иллюзорность, Соединенные Штаты не пришли на помощь погибающему режиму Южного Вьетнама.

Солженицына поразили эти события, особенно явное решение США прекратить военное сопротивление коммунистам: «...Катились огненные дни вьетнамской капитуляции, а ни Америка, ни Европа не понимали, насколько в эти дни пошатнулось их будущее. <...> Как не увидеть? Сперва подарили коммунизму Восточную Европу, теперь отдают Восточную Азию, не препятствуют ему вклиниться на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, – вот так-то, всё опасаясь Большой войны, немудрено сдать и всю планету»¹⁹.

В глазах писателя, происходящее во Вьетнаме являлось зловещим символом трусливого отступления Запада перед открытой агрессией. Главной причиной этой пагубной робости, по глубокому убеждению писателя, было нежелание западных граждан (а следовательно и политиков) рисковать своим благополучием в противостоянии агрессорам. А это он считал губительной ошибкой, опираясь здесь на свой зреческий опыт: «против коммунистов, как и против ўрок: надо проявить неуступную твердость»²⁰.

И в марте 1975 года Солженицын, узнав, что Сенат США единогласно проголосовал за избрание его почетным гражданином Соединенных Штатов, решил принять отклоненные ранее приглашения и соединить ряд выступлений с поисками подходящего местожительства.

В произнесенных летом 1975 г. трех больших речах – перед представителями американских профсоюзов в Вашингтоне и Нью-Йорке, а затем в зале приемов Конгресса США по приглашению группы сенаторов²¹ – Солженицын бил в набат, указывая на разительные отступления Запада. Речи 1975 г. были страстной попыткой

Солженицына заставить слушателей понять угрозу, побудить их встать на защиту своих ценностей, объяснить коварную суть политики «разрядки». В первой речи (Вашингтон, 30 июня), писатель начертил кровавый исторический путь советской системы, перечислив несчастья, которые она принесла народам России, а во второй (Нью-Йорк, 9 июля) остановился на бесчеловечной сути коммунистической доктрины.

Солженицын признаёт предельный накал своих выступлений: «Я бил – по людоедам, и со всей силой, какая у меня была. Копилось всю жизнь, а еще страстней прорвалось от гибели Вьетнама. Думаю, что большевики за 58 своих лет не получили такого горячего удара, как эти две мои речи, вашингтонская и нью-йоркская. (Думаю – пожалели, что выслали меня, а не заперли.)»²²

Следует добавить, что речи Солженицына не ограничивались одним обзором преступлений коммунизма в исторической перспективе. Писатель призывал Соединенные Штаты помнить, что на Америке, как на ведущей державе современного мира, лежит ответственность за судьбу доселе свободных стран. Тема эта с особой силой прозвучала в выступлении перед членами Сената и Палаты Представителей США²³.

Но оглядываясь на свои выступления через несколько лет, Солженицын с огорчением признал, что больше таких речей он произносить бы не мог – по причине того, что он уже не ощущал Америку «таким плотным, верным и сильным союзником» русского освобождения, каким она ему казалась ранее²⁴. Он это почувствовал особенно остро, когда узнал о существовании закона 1959 года о «Порабощенных нациях» (PL 86-90), в котором Конгресс США не только не включил Россию в число наций-жертв коммунизма, но обозначил именно русских – в отличие от коммунистов – всемирными угнетателями и поработителями.

Вопросы такого рода упираются в оценку различия между дореволюционной Россией и Советским Союзом, и этой теме были посвящены ряд дальнейших крупных выступлений Солженицына. Первое из них относится к весне 1976 года, когда писатель работал в архиве Гуверовского института²⁵. В своей Гуверовской речи писатель сетовал на вошедшие в обиход искажения русской истории, слишком часто основанные на предвзятых взглядах враждебно настроенных оппонентов старого режима.

Тема искажения русской действительности была разработана более подробно в 1980 году в большой статье, предназначенной для американского журнала «Foreign Affairs»²⁶. Писатель озаглавил ее «Чем грозит Америке плохое понимание России» и сосредоточил

внимание на двух основных проблемах. Первая из них заключается в хронической недооценке опасности коммунизма — советского или любого другого. А вторая является неправомерным смешением русской и советской истории и непониманием разницы между понятиями «русский» и «советский». Путаница в этих понятиях приводит и к тому, пишет Солженицын, что пагубные качества советской коммунистической системы приписываются «исконной русской традиции», тем самым создавая ложное впечатление, что Западу опасаться нечего: «русские» черты, мол, не способны заразить нерусские народы. И так же, как в Гуверовской речи, Солженицын критикует конкретные работы американских историков и политологов. Критике подвергнуты и политические деятели разных эпох, и их жестокие действия вроде насильственной передачи в руки советских властей многих тысяч людей, не желавших вернуться в СССР после войны. Кроме того, в статье Солженицын предлагает подробное разъяснение двух своих публицистических произведений, неверно истолкованных западными комментаторами, — «Письма вождям Советского Союза» и Гарвардской речи (о последней — ниже).

Статья вызвала ряд полемических откликов, напечатанных, вместе с обстоятельным ответом Солженицына на критику («Иметь мужество видеть»), в одном из следующих выпусков журнала²⁷.

Но несмотря на исключительный интерес этих полемических статей, они имеют лишь косвенное отношение к вопросу о взглядах Солженицына на Америку. Дело в том, что критика Солженицына здесь направлена не на Америку как таковую, а на конкретных американских научных или политических деятелей. Писатель порицает неверные идеи и тех, кто их провозглашает. Америке, по его мысли, эти неверные толкования приносят прямой урон, однако Америку они не определяют.

Единственный текст, в котором Солженицын ближе всего подходит к некоторой оценке Америки, — его выступление в Гарвардском университете на выпускном акте 8 июня 1978 года²⁸. Название речи — «Расколотивший мир».

Следует начать с оговорки. Солженицын явно имеет в виду не только Америку, и в большинстве случаев он совсем не использует слово «Америка», а говорит о «Западе», подразумевая коллективное единство, некий «западный мир», в котором Соединенные Штаты, разумеется, играют ведущую роль.

Критика Запада излагается в шести разделах речи. Первый из них посвящен тому, что Солженицын называет «падением мужества». Западный мир, по мнению писателя, потерял способность мужественно противостоять агрессии. В контексте того времени

(1978) явно имеется в виду коммунистическая экспансия с горестным примером падения Южного Вьетнама. Солженицын тут в более обобщенном виде повторяет мысли, изложенные ранее в горячих выступлениях 1975 года.

Столь же обобщенно представлена заветная мысль Солженицына, что успех в достижении физического благополучия понижает желание граждан отстаивать свои ценности. Люди не хотят рисковать своим достигнутым благосостоянием. Однако, напоминает Солженицын: «Даже биология знает, что привычка к высокоблагополучной жизни не является преимуществом для живого существа»²⁹.

Другая весьма уязвимая склонность Запада, по мнению Солженицына, – преувеличенная вера в возможность разрешения всех проблем и конфликтов юридическим образом. Нисколько не отрицая необходимости наличия сильной юридической системы, писатель напоминает, что возможно злоупотреблять даже хорошими законами. Он приводит пример: крупная нефтяная фирма совершенно легально скупает патенты на изобретение нового вида энергии, чтобы воспрепятствовать ее распространению. Солженицын заключает: «...ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека»³⁰.

Юридические системы западного мира развили сферу прав и свобод до мыслимого максимума. Свобода творить добро не ограничивается, так же как свобода заниматься злом, не наносящим прямого физического вреда. В результате, считает Солженицын, «общество оказалось слабо защищено от бездн человеческого падения»³¹. Можно выпускать фильмы для юношества, полные порнографии, преступности или бесовщины, – и свобода заключается в том, что у всех есть полное право эти фильмы не смотреть.

Западная пресса (и все СМИ вообще), по мысли писателя, отражают все эти тенденции. Формальная юридическая корректность обычно соблюдается, но о нравственной ответственности лучше не спрашивать. Это особенно важно ввиду огромного влияния прессы на общественное мнение, при ее вечной поспешности, поверхностности суждений и склонности придерживаться модных тем и теорий, ее закрытости ко всему, что выходит за рамки современных общих мест.

Это перечисление недостатков западного мира подводит Солженицына к заключению, вызвавшему наибольшие споры и нарекания, – к мысли, что западное общество в современном его виде не может рассматриваться как образец для подражания, – особенно для жителей стран Восточной Европы, находившихся тогда под властью

коммунистов: «Душа человека, страдавшая под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более теплomu, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее западное массовое существование, как визитной карточкой предпосылаемое отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой»³².

Неудивительно, что эти слова вызвали споры. Некоторые слушатели-студенты, вероятно, не пожелали посчитать любимую ими рок-музыку «непереносимой», но более серьезные возражения относились к принципиальному неприятию западного образа жизни. Здесь многим виделось прямое посягательство на понятие американской «исключительности» (exceptionalism), идеологической установки, утверждающей, что выдающиеся качества государственного и общественного строя Америки способны служить примером для других народов.

Но всё же важнее другое. Критика Запада вовсе не являлась главной мыслью выступления Солженицына. Его речь – призыв вернуться к утерянным устоям нравственности, заложенным, как он напоминает, при основании американского государства³³. Цель речи – педагогическая, даже проповедническая. И в соответствии с этой установкой Солженицын затрагивает глубинные философские вопросы. Затмение нравственного чутья, по его мысли, неизменно сопутствует стремлению сделать благосостояние единственной целью жизни. Такому взгляду способствует идеология, которую он именует «рационалистическим гуманизмом». Это – сугубо секулярное учение, рожденное от идей Просвещения, но лишенное веры в те нравственные начала, которые воспринимались как данные в период формирования американского государства. Учение это не признаёт никакого авторитета выше Человека, и в результате этой односторонности оно, по убеждению писателя, не способно справиться с трудностями, стоящими перед современным человечеством. Мир, утверждает Солженицын, «потребует от нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная»³⁴.

Речь Солженицына вызвала шквал возражений³⁵. Но Солженицын чувствовал поддержку «коренной, низовой, здоровой Америки»³⁶, с особой силой проявившуюся после выступления в Гарварде, как он сообщает в статье для «Foreign Affairs»: «Гарвардская речь вознаградила меня потоком сочувственных откликов от простых американцев (кое-кому из них удалось напечататься и в газетах), поэтому я спокойно относился к потоку упреков, который сыпался на меня рассерженная пресса»³⁷.

4

В мемуарных записях Солженицына о годах жизни на Западе рассыпано множество замечаний об Америке. Приведу здесь отклики на ряд эпизодов, непосредственно связанных с проживанием писателя в США.

Когда писатель понял, что в Швейцарии он не сможет обеспечить себе подходящих условий для спокойной работы, он задумал переезд в Северную Америку, решив начать поиски местожительства с Канады. Но поездка туда весной 1975 года оказалась безуспешной – ничего подходящего найти не удалось. Зато в этот период он несколько раз заезжал на американскую территорию, и каждый раз отмечал бодрую расторопность и порядок американской пограничной службы, резко отличающуюся от сонной вялости, которую он ощущал в Канаде. И это впечатление сыграло роль в решении переключиться на поиски дома в Соединенных Штатах. «Американская атмосфера после канадской – бодрила, и стало у нас всё более поворачиваться: может быть, поселиться в Штатах? Мы не пришли бы к этому так легко, если бы не контраст с Канадой. До сих пор представлялись мне Штаты слишком густо населенной страной и слишком политически-дёрганой, крикливой. Но начали передаваться нам ее раздолье и сила»³⁸.

Как известно, Солженицын поселился в штате Вермонт, близ небольшого городка Кавендиш, благополучно прожив там целых 18 лет. Но в начале этого периода возникла неожиданная проблема. Вермонтские соседи Солженицына высказали неудовольствие сетчатым забором, которым был обведен новый участок, ввиду того, что преграда эта перерезала привычные пути местных охотников и сноумобилистов. Чтобы разрядить атмосферу, Солженицын выступил на общественном собрании жителей Кавендиша с небольшой речью. Писатель объяснил, что забор необходим ему для ограды от навязчивых корреспондентов и других незваных гостей, мешавших его работе, и просил извинить его за то, что он поневоле внес осложнения в жизнь некоторых соседей³⁹. Речь произвела нужное действие и конфликт был снят.

Через 17 лет Солженицын снова выступил на общественном собрании Кавендиша, чтобы проститься со своими соседями. Помимо благодарности он отметил с уважением давнюю традицию в Кавендише решать все местные вопросы на открытых собраниях (town meetings). Это именно та «демократия малых пространств», которой, по мысли Солженицына, так не хватает современной России⁴⁰.

В отличие от добрососедских отношений Солженицына с про-

стыми гражданами Соединенных Штатов, его отношения с формальными властями США оказались достаточно сложными. Речь идет о двух эпизодах, относящихся к процессу получения американского гражданства.

Как было отмечено выше, сенатор Джесси Хелмс в 1974 г. подал резолюцию в Конгресс о присуждении писателю почетного гражданства США. Несмотря на поддержку в Сенате, резолюция не была принята в Палате Представителей из-за возражений Госдепартамента, возглавляемого в то время Генри Киссинджером. Госдеп посчитал, что символика присвоения почетного гражданства столь заметному врагу Советского Союза являлась бы ударом по политике «разрядки» (*détente*), которую именно Киссинджер разработал и политически воплотил.

Солженицын поначалу был огорчен неудачей этой акции, считая, что почетное гражданство помогло бы ему более эффектно оглашать предупреждения об угрозе коммунизма, но по зрелому размышлению он понял, что на самом деле произошло освобождение от обязанностей, которые неминуемым образом последовали бы после присуждения такого звания. И он сравнил этот эпизод с аналогичной «счастливой неудачей» его кандидатуры на Ленинскую премию в 1964 году: «Неудача с моим почетным гражданством в США – такая же закономерность (и такая же благостная), как когда-то неудача с Ленинской премией в СССР: я не ко двору обеим системам, вот и находятся вовремя противодействующие силы»⁴¹.

Болезненное проходил процесс подачи прошения на обычное американское гражданство. По законам США, легально въехавшие иммигранты могут начать процесс получения гражданства после пяти лет проживания в стране. Для Солженицына с семьей пятилетний срок исполнился в 1981 году, но никаких шагов они не предпринимали до середины 1980-х, когда остро встал вопрос о необходимости паспорта для Наталии Дмитриевны. Она, как председатель Русского Общественного Фонда, часто ездила в Европу для тайной передачи средств доверенным лицам, которые в Советском Союзе распределяли эти средства семьям политических заключенных. При отсутствии паспорта Наталии Дмитриевне приходилось каждый раз оформлять визовые анкеты, что делало невозможным незаметное прибытие в Европу. А в Союзе в 1980-е годы ужесточилось преследование Фонда и создалось впечатление, что КГБ научилось отслеживать приезды Наталии Дмитриевны в Европу. Итак, в 1985 году Солженицыными было принято решение подать документы на получение гражданства. Александр Исаевич поручил секретарю заполнить все официальные бумаги, подписал их и отправился на собеседование, не ожидая ниче-

го, кроме ряда формальностей. Но как ему стало ясно из разговора с сотрудницей иммиграционной службы, каждый, желающий стать гражданином США, был обязан дать клятвенное заверение быть готовым защищать Соединенные Штаты с оружием в руках против всех врагов, внутренних и внешних.

В своих мемуарных записях Солженицын цитирует самые существенные части требуемой присяги, перемежая их своими мыслями, как бы адресованными Америке:

«...буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, иностранных и внутренних...»

Ну-ну. От *внутренних*-то ваших врагов, от прессы лево-бесноватой и прожженных политиков я и пытался вас остерегать эти годы, да вы не чуяли.

«...что я буду носить оружие в интересах Соединенных Штатов...»

Вот оно. А воевать-то предстоит – против моей родной страны. И вы же не способны вести войну против коммунистов как таковых, – вы уже сейчас объявили ее против «русских».

«...и я принимаю это обязательство безо всякой мысленной оговорки или намерения увёртки...»

Вот она где заноза. У меня конечно есть оговорка: против русских я не пойду⁴².

И Солженицын отказался принять участие в церемонии присяги. И хотя решение это оказалось для него неким внутренним освобождением, всё же преобладали безрадостные мысли: «Русская почва мне еще долго может не открыться, и до смерти, а американскую – не могу ощутить своей. Без твердой земли под ногами, без зримых союзников. Между двумя Мировыми Силами, в перемол»⁴³.

5

Приведенные выше печальные слова должны быть поняты правильно. Как уже было отмечено, Солженицын с удовлетворением чувствовал поддержку той Америки, которую он называл «коренной», «низовой» и «здоровой», прекрасно понимая, насколько взгляды комментаторов такого рода отличаются от воззрений нью-йоркских и вашингтонских журналистов, возмущавшихся Гарвардской речью. Следует добавить, кроме того, что хотя враждебно-надменный тон недоброжелателей сильно обострился после Гарварда, неприятие мыслей Солженицына на самом деле присутствовало (пусть в менее резкой форме) в ведущих американских СМИ уже со времени первых выступлений писателя в США.

Но не это было главной причиной огорчения Солженицына. Он чувствовал и болезненно переживал, что за неприятием его как писателя часто стояла нелюбовь и даже ненависть к России, к самой стране и культуре, вне ее несчастного коммунистического обличья. И невозможно было пройти мимо закона о «Порабощенных нациях» (PL 86-90), фактически объединяющего понятие «русский» с понятием агрессора и врага.

Солженицын с болью сознавал бесконечную сложность и даже безнадежность своей борьбы в этих обстоятельствах: «Сумасшедшая трудность позиции: нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, но и нельзя стать союзником врагов нашей страны. И всё время – без опоры на свою территорию. Свет велик, а деваться некуда»⁴⁴.

Вся мучительная тупиковость этой ситуации особенно образно представлена в следующих словах: «...какая сомнительная двойственность позиции, когда нападаешь на советский режим не изнутри, а извне: в ком ишу союзника? В тех, кто противник и сильной России, и уж особенно национального возрождения у нас? А – на кого жалуюсь? Как будто только на советское правительство, но если правительство как спрут оплело и шею и тело твоей родины – то где разделительная отслойка? Не рубить же и тело матери вместе со спрутом»⁴⁵.

И Солженицын приходит к заключению, которое соединяет признание ограниченности своих усилий с характерной для себя надеждой на будущее: «...лучше бы мне надолго замолкнуть, не выступать. И со временем какой-то плодотворный исход наметится сам собою»⁴⁶.

Эти слова были написаны осенью 1978 года, но писатель вовсе не замолк, однако он действительно стал выступать намного реже, уйдя в работу над «Красным Колесом». А через тринадцать лет «спрут» на самом деле отпал сам собой...

Но история на этом не остановилась, и со временем некоторые мрачные опасения писателя оправдались – однако это уже другая тема, уводящая нас от Солженицына в сферу геополитики.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Солженицын А.И.* Угодило зёрнышко промеж двух жерновов (далее «Зёрнышко». – *А. К.*). – «Новый мир» (далее НМ. – *А. К.*) 1998, № 2. С. 72.
2. «Зёрнышко». – НМ. 1999, № 11. С. 130.
3. *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: Опыт художественного исследования. 3 тт. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. Т. 1. Сс.198-199. [Часть I, гл. 5].

4. *Солженицын А. И.* Публицистика. 3 тт. – Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1995–1997. Т. 2. С. 434.
5. Там же.
6. Публицистика. Т. 3. С. 337. Интервью для журнала «Time». 24.07.1989.
7. Публицистика. Т. 2. С. 336.
8. Имеется в виду первоначальный роман с «атомным сюжетом» и 96-ю главами.
9. См. *Копелев Л.З.* Утоли моя печали. – Анн Арбор: Ардис, 1981; *Панин Д.М.* Записки Сологдина. – Frankfurt/Main: Посев, 1973.
10. *Копелев Л. З.* Утоли моя печали. С. 19-21. Солженицын подтвердил верность этого высказывания. См. «Зёрнышко». – НМ. 2001, № 4. С. 98.
11. «Утоли моя печали». С. 94 и сл.
12. См. письмо Солженицына к С. Н. Никифорову, процитированное в послесловии М. Г. Петровой в кн. *Солженицын А. И.* В круге первом. – Москва: Наука / Серия «Литературные памятники». 2006. С. 654. Копелев утверждает, вопреки ориентации всего романа, что Солженицын согласился и «увлеченно участвовал» в проекте (указ. соч. С. 102), и Солженицын в своих мемуарных записях делает попытку понять причину этого ложного сведения («Зёрнышко». – НМ. 2001, № 4. Сс. 97–100).
13. Письмо Солженицына С. Н. Никифорову. С. 654. См. также «Зёрнышко». – НМ. 2001, № 4. С. 98.
14. «Зёрнышко». – НМ. 2000, № 12. С. 143.
15. Публицистика. Т. 2. С. 333.
16. *Солженицын А. И.* В круге первом / Серия «Литературные памятники». С. 373 (гл. 61). По поводу реального контекста см. *Климов А. Е.* «Роман 'В круге первом' и 'шпионский сюжет'» – НМ. 2006, № 11. Сс. 203-204.
17. Поездки на поклон «странам социализма» рассмотрены в кн. *Hollander Paul.* Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba, 1928–1978. – NY: Oxford Univ. Press, 1981. «Госпожа Рузвельт» является в фантазии фигурой условно-символической, рожденной фразой «А что, если бы...», и отнюдь не реально-исторической. Настоящая Элеанора Рузвельт впервые посетила СССР в 1957 году.
18. См. опубликованную переписку на этот счет: «Зёрнышко». – НМ. 1998, № 9. Сс. 115-121.
19. «Зёрнышко». – НМ. 1998, № 9. Сс. 111-112.
20. «Зёрнышко». – НМ. 1998, № 11. С. 130.
21. Три речи 1975 г. в 1-м томе публицистики: Сс. 229-255; 256-279; 280-283.
22. «Зёрнышко». – НМ. 1998, № 11. С. 131
23. Публицистика. Т. 1. Сс. 280-283.
24. «Зёрнышко». – НМ. 1998, № 11. С. 132.
25. Публицистика. Т. 1. Сс. 298-304.
26. Публицистика. Т. 1. Сс. 336-381. Английский текст: «Misconceptions

- About Russia Are a Threat to America». – *Foreign Affairs*, vol. 58, no. 4 (Spring 1980).
27. Публицистика. Т. 1. Сс. 382-405. Английское заглавие ответа на критику: «The Courage to See». – *Foreign Affairs*, vol. 59, no. 1 (Fall 1980).
28. Публицистика. Т. 1. Сс. 309-328.
29. Публицистика. Т. 1. С. 313.
30. Указ. соч. С. 314.
31. Указ. соч. С. 315.
32. Указ. соч. С. 320.
33. Указ. соч. С. 325.
34. Указ. соч. С. 328.
35. Обзор откликов см. в кн. *Ericson Edward E. Solzhenitsyn and the Modern World*. – Вашингтон: Regnery Gateway, 1993. Сс. 100-107.
36. «Зёрнышко». – НМ. 1999, № 2. С. 105.
37. Публицистика. Т. 1. С. 376.
38. «Зёрнышко». – НМ. 1998, № 11. С. 123. См. также аналогичное высказывание на С. 129.
39. «Зёрнышко». – НМ. 1999, № 2. Сс. 136-137.
40. «Зёрнышко». – НМ. 2003, № 11. Сс. 96-97. О «демократии малых странств» Солженицын писал в работе «Как нам обустроить Россию?» См.: Публицистика. Т. 1. Сс. 583-586.
41. «Зёрнышко». – НМ. 1998, № 9. С. 90.
42. «Зёрнышко». – НМ. 2001, № 4. С. 129.
43. Указ. соч. С. 130.
44. «Зёрнышко». – НМ. 2000, № 9. С. 137.
45. «Зёрнышко». – НМ. 1999, № 2. С. 82.
46. Указ. соч. С. 83.

Пакипси, Нью-Йорк

КНИГА И СУДЬБА

Наталья Червинская

Записки читателя*

Часть II

Детство прошло в комнате коммуналки, а начало отрочества совпало с переездом в огромную по тем временам квартиру писательского дома на Аэропорте. Это был самый первый кооператив будущего Розового Гетто. Окружающие деревенские домишки постепенно исчезали, и вместо них вырастали дома разных творческих союзов: писатели, киношники, даже цирковые лилипуты там жили.

Для меня главным изменением было то, что собрания сочинений переехали с верха шкафа на специально для них построенные полки. И я начала их читать, один том за другим. Читала я не столько ради собственного удовольствия, сколько для того, чтобы меня считали очень, очень умной, развитой, начитанной, интеллигентной девочкой.

Первым собранием сочинений был, естественно, Пушкин.

Это собрание сочинений не похоже на все остальные. Маленькие серо-зеленые томики помещаются на ладони – и не только сейчас, но и тогда, на детской ладони. Юбилейное издание тридцать седьмого года, издательство Academia, с гравюрами Фаворского. Чуть ли не единственная семейная легенда, которую мне рассказывали: это собрание принадлежало моей матери, но одного томика не хватало. Отец, познакомившись с нею, подарил ей этот томик.

И вот всю жизнь я читаю Пушкина только в виде этих маленьких книжечек. В начале эмиграции, когда всякое общение было прервано, как казалось, навсегда, – это был чуть ли не единственный мой контакт с русским языком. Можно было, конечно, и других авторов почитать. Но если пить хочется, то пьешь все-таки не компот и не вино, а предпочтительно свежую воду.

«Евгения Онегина» не перечитывала: в двенадцать лет я его выучила наизусть, включая черновики, отрывки и дополнительные главы. Не от большой любви к Пушкину, а как у подростков бывает, для воспитания силы воли. Это мне потом в жизни пригодилось: если

* См.: Н. Червинская. Записки читателя. Часть I. – НЖ, № 290, 2018.

нечего было читать, можно было всегда почитать самой себе «Евгения Онегина».

В Нью-Йорке корешки с маленьких томиков тридцать седьмого года начали отваливаться под влиянием буйного климата и парового отопления. Оказалось: книжки сшиты вручную аккуратнейшими длинными продольными стежками, корешок проклеен полосками газетной бумаги. Кое-где прочитываются тексты: «прокурор Вышинс... туманом сомнений... буржуаз... нашей роди...» Мой Пушкин обклеен стенограммами показательного суда. Возможно – суда над Львом Каменевым, бывшим директором издательства Academia.

Комментариев в издании тридцать седьмого года почти нет. Сталин не велел. Зато отточий полно, скрывающих фривольность. На полстраницы одни многозначительные многоточия. Как будто стихи были расстреляны и остались только следы от пуль на пустой странице. Но ведь рифма-то намекает, подмигивает! До сих пор многоточия кажутся мне двусмысленными, а рифма – намеком на сокровенные тайны. Мы с Пушкиным с раннего возраста интересовались сокровенными тайнами.

Большинство русских классиков сидят, как классная дама в Смольном институте, и надзирают над благонравным поведением своих персонажей. Раздают строгие выговоры и сдержанные поощрения. Но не Пушкин: «больше ничего не выжмешь из рассказа моего» – кто еще из классиков мог себе позволить такое легкомыслие?

Приехав в Нью-Йорк, я все думала: вот кому бы тут понравилось – Пушкину.

Если бы в девятнадцатом веке в Петербурге были китайские лавочки и харчевни, как в Нью-Йорке, где так хорошо поесть чего-нибудь острого, горячего, дымящегося в сырую и промозглую погоду, столь характерную для этих двух городов, отпрысков Амстердама, – то Пушкин бы знал все экзотические китайские блюда, все лучшие места. И как бы он ловко ел палочками...

Толстой у меня голубенький, такого военного, мундирного оттенка. В 14-ти томах, пятьдесят первого года издания. Вернее, в тринадцати – один том пропал по дороге из Москвы в Нью-Йорк.

Перечитываю я Толстого раз в три-четыре года. Некоторые ощущения даже не изменились. Когда-то я объясняла школьной подруге, Толстого еще не читавшей: – Во всех других книгах люди плоские, их видно только с одной стороны. А у Толстого можно обойти вокруг, видно с разных сторон, можно дотронуться.

Да, согласна и теперь. Трудно поверить, что это все у Толстого

сделано из слов, из языка. Например, сцена поезда и метели в «Анне Карениной». Как? Ведь это почти виртуальная реальность. Стереоскопический эффект. Голограммы. Ты ходишь вокруг них, слушаешь их разговоры, а они тебя не замечают.

Очень я тосковала по потерянному при переезде тому. Это как раз последняя часть «Войны и мира», а мне хотелось перечитать про то желтое, вместо зеленого, пятно на пеленке, с которым Наташа Ростова выбегает к гостям.

– Ей нужен был муж, – объясняет Толстой. – Муж был ей дан.

– Она отказалась от всех своих очарований, из которых сильнейшим было пение, – говорит Толстой.

Я, уже и взрослая, всему этому верила и чувствовала себя виноватой, неестественной и лишенной Вечной Женственности. И муж был мне дан, и с желтыми и с зелеными пятнами имела дело двадцать четыре часа в сутки, а все чувствовала, что мне чего-то нейдет. Типа: хотелось спеть арию.

Где-то годам к сорока я прочла много книжек на английском языке по женскому, так сказать, вопросу. Книжки эти давали наивные ответы, – но мне было неважно, что наивные. Меня поразило, что вопросы вообще можно задавать, что атрибуты Вечной Женственности можно подвергать сомнению. И вот, то ли от этих книжек, то ли от происходящего кругом, а скорее всего на основе собственного жизненного опыта, – осенило меня. Поняла. Помню даже момент.

– Меня всю жизнь учат, как быть настоящей женщиной. Они меня учат не для того, чтобы мне было лучше, а для того, чтоб лучше и удобнее было им!

Тем более, что учили меня в основном через литературу, написанную, простите за вульгарную политкорректность, писателями мужского пола. Это воспитание настоящей женщины – вроде как курицу жарят с соусом и специями и говорят: я больше люблю курицу с чесночком. Какая от такой любви радость курице???

Когда я росла, самопожертвование для мужчины считалось подвигом, но от женщин просто ожидалось, как естественная норма поведения. Всякие попытки от него увильнуть воспринимались как извращение. Учили нас не лезть на первый план, а скромно и женственно ступать.

Вот прекрасное слово: *ступаться*. Выдумал его Достоевский. У Достоевского очень много смешного, но при первом прочтении, в отрочестве, я этого, конечно, не заметила. Замечаешь свое, подростковое: скандалы с рыданиями, кризисы, выяснение отношений. Ведь любой герой Достоевского способен на истерику. И все они, без исключения, во всех своих действиях руководствуются уязвленным

самолюбием. Вся их практическая деятельность – как игра в солдатики или в дочки-матери: понарошку. Намерения провозглашаются, но никогда не выполняются. Даже убивают не ради денег, а для самоутверждения. Все они – дети переходного возраста. То есть нет автора понятней и родней для подростка.

Только гораздо позже поняла, что у Достоевского смешного бывает не меньше, чем у Гоголя.

В детстве я была влюблена в платоновского Финиста Ясна Сокола, а годам к двенадцати, погрузившись в собрания сочинений, уже в князей Мышкина и Болконского. И всё за то же, за муки полюбила. Кроме того, я была влюблена в чудовищную, как мне теперь кажется, прозу Александра Грина, в стихи Блока, в мальчика Колю Дмитриева из книжки Кассиля «Ранний восход», а также в художника Илью Глазунова.

Мне было одиннадцать лет, когда в ЦДРИ устроили первую выставку Глазунова, причем это было событие очень либеральное, почти подпольное. По поводу выставки создался нездоровый ажиотаж, и Глазунов считался бунтовщиком, преследуемым властями. Ужасно мне его искусство тогда понравилось. На всех портретах были огромные, обведенные черным глаза: что у Джини Лоллобриджи, что у Сонечки Мармеладовой. И сам он был такой красавец: волос темный, глаз голубой... Я лет до четырнадцати всё мечтала его хоть разок еще увидеть. А потом увидела на каком-то культурном вечере. Он сидел, закинув ногу на ногу, и носок у него был фиолетовый. Сиреневый. И почему-то на этом сиреновом носке моя любовь кончилась.

Потом мне и князь Мышкин перестал нравиться, а теперь и вовсе нравится Рогожин. Он единственный человек в романе, который знает, чего хочет, и действительно этого хочет. И сделал полезное дело, зарезав эту невыносимую Настасью Филипповну.

Из книжки Льва Кассиля «Ранний восход» я узнала про МСХШ, знаменитую Художественную школу в Лаврушинском. Эту книжку про мальчика-художника Колю Дмитриева я перечитывала много раз, рассматривала репродукции его акварелей и потом пыталась подражать. И вот Виктор Ардов увидел мои рисунки и сказал родителям, что мне надо поступать в эту школу. Его двоюродный брат там преподавал и опубликовал книгу по академическому рисунку.

– Если меня примут в эту школу,- думала я,- то я попаду в настоящий мир, мир внутри книжки. Не бесформенный ежедневный мир, а навечно существующий, описанный.

Все следующее лето я готовилась к поступлению в художествен-

ную школу и к самоубийству. Мне было тогда одиннадцать лет, расцвет любви к Глазунову. И у меня было решено: если не примут учиться на художника – повешусь в Красной Пахре. Меня несколько беспокоила тщедушность тамошних молоденьких березок и осин.

В то время одновременно с кооперативом на Аэропорте родители строили дачу в Красной Пахре, в поселке «Советский писатель».

Архитектор сделал проекты дач. Писателям предложили сначала купить тяжелые альбомы с рисунками и планами трех видов: сверхроскошный вариант, просто роскошный и солидный, но поскромнее. Всё было очень красиво нарисовано и начерчено, наклеено на картон. Потом дело как-то приостановилось. Возможно, на альбомы ушли все деньги, полагавшиеся на нулевой цикл. Кто-то проворовался, кого-то уволили со скандалом. Проектам следовать не стали, очень уж дорого получалось. В отличие от Переделкина, эти дачи были не государственные, писатели вкладывали в них свои кровные гонорары.

Кооператив нанял рабочих. Сначала они построили бараки, довольно далеко от будущего дачного поселка, рядом с фабрикой, Троицкой мануфактурой. Там было огромное колесо, плотина какая-то, кубовая краска – то бурая, то синяя – пузырилась грязной пеной и сливалась прямо в речку Десну. По мрачности напоминало гравюры Доре. Бараки внутри были разгорожены простынями, в них жили рабочие с семьями.

Писатели поселились на отведенных им участках в небольших дачках-временках и ругали рабочих за пьянство и нерадивость. Почему-то принято было считать, что рабочие и вправду – гегемон, и что гегемон притесняет творческую интеллигенцию.

Во временках были русские печки, для освещения – керосиновые лампы и свечи. Воду брали из колодца. Белье тетушка наша гладила чугуном угольным утюгом. Из Москвы до военного городка доезжали на автобусе, а дальше – на телеге или на санях.

Иногда я думаю: как изменился мир, когда из него полностью исчезли лошади. Ведь раньше их было множество, весь город был заполнен лошадьми. Всегда они были рядом. Куда бы ты ни ехал, посреди пейзажа всегда перед тобой был лошадиный хвост.

Эту часть моего детства я вспоминаю с умилением, особенно дачный огород, который всю жизнь тщетно надеялась где-нибудь, как-нибудь воспроизвести: огурчики колючие, испачканные землей, крошечная молодая картошка, клубника с усами...

Дачи предполагались каменные, двухэтажные, с верандами, балконами и каминами, строились они очень медленно. На стене нашей кто-то написал мелом: «Не обмыта, может рассохнуться». Вскоре она

загорелась во время ночной грозы, вроде бы молния в нее ударила. Когда мы с тетушкой проснулись во времянке от света пожара, я первым делом собрала свои акварели и рисунки. На погибающий дом, будущее родовое гнездо, мне было плевать – внутренний Павлик Морозов не дремал. На другое утро народ начал приходить. Шли из окрестных глухих деревушек – из Ватутинок, Конькова, Теплого Стана. Говорили не торопясь, с удовольствием: «Видать, на роду вам так написано... Грешили, значит».

Дачу опять отстроили. Отец нанял от себя, не от кооператива, целую бригаду рабочих-шабашников и поселил во времянке. Они построили все заново, довольно быстро.

Вот «Тысяча и одна ночь», издания 1956 г., переводы М. Салье.

Желтенький томик, засаленный и замурзанный. Среди книжек, оставшихся во времянке, она одна так сильно поистаскалась. Работяги читали «Шехерезаду» всей бригадой. Умилительно думать: персидские сказки, чуть ли не в десятом веке сочиненные, были для взрослых мужиков соблазнительным чтивом. Порнографии-то при советской власти не было.

На бригаду готовила повариха, молоденькая девушка Валя с фабрики. Такие там были классовые определения: с фабрики, из военного городка, барачные, из деревни... Валя была очень хорошенькая и железного, видимо, характера. Умела себя поставить не только среди рабочих, распаленных Шехерезадой, но и среди писателей. Один детский писатель, причем хороший человек, герой войны, инвалид, влюбился в Валю и сделал ей предложение. Валя ему отказала. Писательские жены ее хвалили: не соблазнилась на деньги, не опустила до брака с увечным. Писательские жены предпочитали, чтобы обслуживающий персонал был высокоморальным; они побаивались конкуренции.

В школьных коридорах МСХШ стояли по углам голые мраморные люди. На самом деле не мраморные, конечно, а из серого гипса, в стратегических местах захватанного похотливыми лапами юных художников. Венера Милосская, Венера Медицейская, Апполон Бельведерский – имена и фамилии сотоварищей по школе.

Девочки в коричневых формах, мальчики в корявых серых френчах из какого-то ватного войлока – это не сменялось весь год, а мы еще и красками мазались, вонючим терпентином, маслом льняным, белилами свинцовыми, стронцием желтым и стронцием оранжевым, кадмием оранжевым, хромом зеленым и зеленым волконскоитом, который так нравился Пикассо, что ему из СССР привозили. Хуже

всего была свекольная краска краплак. Краплак красный, краплак фиолетовый, расползающийся и во всё пролезающий. Ужас моего отрочества, вездесущий багровый краплак.

Поступали в интернат МСХШ с одиннадцати лет. К выпуску, к восемнадцати, интернатские вырастали заметно мельче домашних московских одноклассников – от недокорму, наверное. После обеденного перерыва от интернатских всегда разило жутковатым запахом свекольного краплакового борща.

Общеобразовательные предметы игнорировались, юные художники хотели целиком отдавать себя искусству: полное отсутствие других интересов считалось признаком целеустремленности. Была библиотека, и в ней свой спецхран: издания Скира, монографии Матисса и Пикассо. Легендарный огромный том, подаренный школе президентом Сукарно во время его визита. Все это было под замком. Но после уроков, в большой тайне, будущие концептуалисты эти книжки изучали.

В натюрмортном фонде хранились муляжи всяких фруктов-овощей, драпировки, кувшины и корзинки. Для младшекласников – гипсовые геометрические формы: конус, шар, куб, которые рисовали твердым карандашом на занятиях академическим рисунком. Учили штриховке и светотени по Чистякову. Был такой отец-основатель русского академического рисунка Чистяков. Градации до сих пор помню: блик, свет, полутень, тень, рефлекс.

Какое может быть представление о свободе у художника, если его не заставляли часами штриховать конус по системе Чистякова? Да никакого у него понятия о свободе нет. Наша школа, МСХШ, породила поколение абстракционистов и концептуалистов, подобных чемпионам мира по фигурному катанию Белоусовой и Протопопову. Те тренировались в тяжелых цепях, а потом снимали цепи и прямо-таки летели по льду! А потом еще и сбежали из СССР! Вот они понимали разницу между свободой и несвободой.

Отрисовав шары, переходили на кувшины, потом на головы Сократа и Венеры, а к тринадцати-четырнадцати приступали к рисованию обнаженной натуры и переходили с акварели на масло.

Натурщики были старики и старухи по большей части – и не из соображений морали и внешней асексуальности, а потому что в старике мышцы и скелет заметнее. В МСХШ обучали пластической анатомии. Еще до стариков мы рисовали экорше – модель человека с ободранной кожей. Надо было знать, где мышца к кости крепится и как она при движении сокращается, куда и откуда идут сухожилия. Натурщики были профессионалы, работа это трудная: сидеть на подиуме не шевелясь. Зимой ставили электрический рефлектор для

обогрева. Молодые натурщицы тоже попадались, и тут можно только удивляться тому, что класс, наполненный подростками обоего пола, был до такой степени предан искусству, что почти всё внимание отдавалось на изучение пропорций, светотени, воздушной перспективы и того, что в МСХШ называлось: лепить по форме.

– Разбирайте по цвету! Лепите по форме! – огрызались наши преподаватели по специальности. Их-то не игнорировали, от них все зависело. А мы были дети амбициозные, делившиеся на способных и неспособных, имевших чувство цвета и его лишенных. В балетной школе полагалось иметь выворотность, в музыкальной – слух, а у нас – чувство цвета. Теперь, по прошествии многих лет, выяснилось, что чувство цвета не так и важно. Умение лепить по форме вышло из моды в девятнадцатом веке, от нас это скрывали. Нам не разрешали знать ничего позднее Серова. Даже на выставку Врубеля запрещено было ходить, потому что он хоть и здорово лепил по форме, но искажал по цвету. Искажать нельзя было.

– Ты что, видишь не так, как все другие?

Это было ужасное обвинение и могло привести к тройке по специальности.

Или, еще хуже:

– Ты что, самовыражением занимаешься?

Теперь вот оказалось, что вообще умение рисовать – дело десятое. В художники вышли именно те, кто упорно курил в уборной, несмотря на выговоры и угрозы отчислением, те, кто играл в коридоре возле Венеры Милосской в расшибалочку, кто вел таинственные переговоры в уголке с натурщицами помоложе, кто привозил в интернат из родных среднеазиатских стран анашу. Те же, кто вел себя хорошо, исчезли. В художники вышли, конечно, не отличники, а хулиганы.

В этой бурсе была дедовщина и был свой язык. Теперь я с удивлением обнаруживаю английское происхождение некоторых слов. Учеников младших классов называли «личинками». Тем же словом называют кадетов первого года в американской военной академии: «grubs», «личинки». Остающаяся на палитре после работы серо-буро-малиновая смесь разных масляных красок называлась у нас «фуза». Это, конечно, происходит от слова «fusion», которое чаще всего употребляется в связи с ядерной реакцией.

Какие-то все военные аналогии. И потом, конечно, названия красок: «хром», «стронций», «кобальт», «свинец»... Занятия по гражданской обороне. В спортивном зале, он же актовый, показывают фильм про атомную войну. Тихое, спокойное черно-белое кино с закадровым текстом, без музыки: в организованном порядке граждане, накрывшись белыми простынями, ползут по серому асфальту. Это не

из анекдота: помню кадр. Когда кино кончалось, школьники, ошалевшие от скуки, неорганизованно кидались к выходу, давя друг друга в дверях.

Вообще, мы не верили в атомную войну, потому что мы ничему не верили. Здесь, где я теперь живу, детей учили под парту нырять от атомной бомбы, они песенку разучивали: «Спрячься и укройся, спрячься и укройся!» И они верили, боялись. Теперь они – мои ровесники – рассказывают об этом серьезно, как об одной из трагедий своего детства. Здесь до сих пор на домах знаки остались с символом радиации: входы в бомбоубежища.

Смешно прожить свою жизнь по обе стороны прицела и мушки.

В девяностые годы охранник стоял в дверях МСХШ и на вопрос: – А что тут теперь? – ответил сварливо: – Бардак тут! Бардак!

Он имел в виду – в переносном смысле, хотя могло быть и в буквальном. Он показал мне актовый зал, там не было пола, а была темнота и адский подвальный холод, как будто бомба упала. А у входа стояли витрины с матрешками на продажу. Вообще, вся страна была тогда битком набита матрешками, как будто все население занималось производством пестрой дряни двадцать четыре часа в сутки.

Человеку, которого травили и дразнили в детстве за отсутствие чувства цвета, который всю последующую жизнь это самое чувство цвета в себе всячески растил и развивал, оставалось только изумляться контрасту между аскетической сдержанной скудостью прошлого, между скорбной эстетикой нашего детства, эстетикой дефицита, благородной обветшалости, штриховки конусов твердым карандашом – тень, свет, блик, рефлекс – и заменившей все это матрешечной мерзостью.

Охранник утверждал, что наша бывшая МСХШ принадлежала лично Церетели. Приехав из Нью-Йорка, я не знала, кто такой Церетели. Это вызвало глубокое презрение и возмущение охранника: как можно не знать всех наших бед-несчастий, какое невежество не быть в курсе того, что мы тут напортачили и что сами над собой учинили!

Каждое лето проходило на даче, это считалось полезным для здоровья. Рядом находился Курчатовский институт с термоядерными исследованиями и фабрика с красителями, но воздух действительно был свежий. Грибов было полно, так как не все участки еще застроились и заселились писателями. Из леса часто приходили лоси, ходили по просекам. Еще я с удовольствием вспоминаю глину: из нее можно было лепить, глина была замечательная, настоящая гончарная.

После дождя ноги в теплой глине тонули по щиколотку. Были целые месторождения лисичек, земляничные поляны.

И поразительная, мучительная скука. В этой Пахре я вроде бы на всю жизнь заразилась скукой, — бывают такие вирусы, которые сидят в тебе и время от времени от них заболеваешь. Некоторые люди отказываются выдерживать медленность, однообразие, будничную вязкость жизни, но у них достаточно силы характера, или сумасшествия, или таланта, чтоб тягомотину эту взорвать, чтобы реальность вокруг себя преобразовать любой ценой. С другой стороны, бывают люди, которые вполне довольны размеренностью своей жизни, вполне согласны, чтоб каждый день был похож на другой. Хуже всего тем, кто и не там, и не сям; вот к ним я и отношусь. Всю жизнь лезу на стенку, но тихо и терпеливо.

Про Красную Пахру написаны лирические мемуары. Один из состарившихся писательских детей так завершает свои воспоминания: «Святое для меня слово: Пахра!» Кто-то назвал дачу «наследственным поместьем». Между тем, слово «дача» имеет тот же корень, что «подачка». На решении о постройке Красной Пахры стоит резолюция самого Сталина, и эта священная реликвия хранилась в правлении поселка.

Писатели сидели на верандах летними вечерами, окруженные комарами и женами. Жены жужжали про свое, комары про свое, а писатели в те годы — все больше про Фурцеву. В Пахре было еще много соловьев, соловьи свистели и заливались в сырой темноте. Казалось, воздух так свеж потому, что соловьи его прочищают, просвистывают. На стол ставился самовар, его топили шишками, пахло дымом.

Нет, тут надо сказать: дымком... Так лиричнее. Сами советские писатели сказали бы: дымком...

Писательские жены пекли пироги со свежими ягодами, выращенными на участках. Еще даже не провели туда электричества, горела керосиновая лампа.

Ну, просто Чехов в постановке МХАТа.

После вечернего чая, отягощенные пирогами, писатели совершали неторопливый моцион в душистой, свежей дачной темноте, гуляли по просекам, которые потом стали называться аллеями: Восточная аллея, Центральная аллея... Провожали друг друга по аллеям до калиток другдружиных дач. Ходили писатели особой валяжной дачной походкой: заложив руки за спину, вдумчиво переступая с ноги на ногу. Говорили, если я правильно помню, о муках творчества. И талантливые были люди...

Хотя, кто знает... Конкуренцию-то всю сгнобили.

Почтение к литературе, которую я считала намного важнее реальной жизни, не распространялось на тех писателей, среди которых я росла. Тут произошло недоразумение. В раннем детстве мне запретили «выносить из дому», то есть повторять, имена людей, приходивших к нам в гости. Имелось в виду, безусловно, воспитание скромности. Но никто со мной в объяснения не вдавался, и я неправильно поняла этот запрет: я решила, что советские писатели делают что-то нехорошее и постыдное.

Неприлично писать враждебные мемуары о знаменитостях – это как на трамвайной колбасе проехать зайцем или сварить козленка в молоке его матери. В таких мемуарах поносят какую-нибудь личность, при этом надеясь на успех именно благодаря известности поливаемой личности. То же самое, написанное про неизвестного, могло бы быть интересно только при высоком литературном качестве. Нельзя же человека использовать и в хвост и в гриву, т. е. и поливать его, и на нем же ехать. Есть же предел цинизму.

Довольно часто люди очень близко подходят к истине по неведению, дети особенно. Большинство детских представлений у меня исчезло, но вот с этим я прожила всю жизнь. Мне так никогда и не удалось поменять мнение по этому поводу – хотя вполне осознаю чистоплюйство такой позиции. Я понимаю, конечно, что ради куска хлеба человек имеет право торговать чем угодно. Но мыслями обычно торгуют ради куска хлеба со свежим маслом. А деятели искусств, по сложности своего душевного склада, хрупкости психики и ранимости творческой натуры, часто нуждаются в куске хлеба со свежим маслом и зернистой икрой.

Можно сказать: все бы хотели с маслом и с икрой, у них просто не получилось по бездарности. Это правда, что не получилось, но не обязательно по отсутствию таланта. Видимо, старались не так. Дорога туда, в Дом Ростовых, с рестораном и поликлиникой, или в тот Дом, где показывали фильмы Феллини, – и, самое главное, турецкий кофе варили на углях! – она ведь была узкая, эта дорога. Тоненькая такая жердочка над пропастью. Надо было уметь сохранять равновесие, не вздрагивать от воплей сорвавшихся, не оглядываться, если кто-нибудь из близких превращался в соляной столб.

Жившие на Пахре люди были – не все, конечно, не все, но все же в большинстве своем, – скорее не писателями, а работниками рекламы, агитации и массовой пропаганды.

Цензура стала важнейшим атрибутом искусства, обход цензуры – особой художественной формой, сложным ритуальным танцем. Нельзя было считаться профессионалом без знания этих танцев. Это

усложняло творческий процесс до такой выморочной тонкости, что часто изначальный смысл исчезал полностью, как в сказке про суп из топора. И результат получался совсем уж дохлый, бессвязный и по смыслу загадочный.

— Но, — говорили почтительно, — у него вначале было очень смело. Очень откровенно. Все выкинули, цензура искорежила.

Разрешенный художественный метод назывался реализмом, но на самом деле реальность была государственной тайной и вся человеческая жизнь — режимным объектом. В результате тот мир остался не описанным, не документированным ни в литературе, ни в изобразительном искусстве, ни даже в фотографиях. Какие там фотографии — географические карты и планы городов были заведомо искажены.

Всё, что имело действительное сходство с окружающим, всё, где реальность проскальзывала хотя бы в оговорках, немедленно становилось сенсацией, соблазнительной и заманчивой. Люди перешептывались: смело! очень смело! Возникал нездоровый ажиотаж — так в газетах называли несанкционированную популярность, незапланированный интерес. Даже совершенно невинное и достаточно бездарное произведение искусства — какая-нибудь песенка «Ландыши, ландыши», какой-нибудь Глазунов — могли стать подозрительными именно вследствие своей дикорастущей популярности. А уж небездарное было подозрительно вдвойне.

У жителей Пахры и Аэропорта не прошедшее цензуру сочинительство считалось графоманией. И ведь есть в этом смысл. Полное отсутствие личной выгоды вредоносно действует на психику: можно совсем забыть об адресате. Небольшое шулерство заключалось в том, что профессионалы тоже не особенно задумывались о конечном адресате своего продукта. Они думали о главке, худсовете, комитете и так далее. Хотя многие старались врать интереснее, увлекательнее. В те оттепельные времена ввали уже не как раньше, не от смертного страха или полного помутнения мозгов. Не разрешалось говорить правду — но ведь можно было и помолчать? Есть разница между страхом и соблазном. В той среде, где я росла, мысль об отказе от добровольной лжи вроде бы и не приходила никому в голову.

Некоторые пытались сказать полуправду. Но в искусстве от полуправды пользы никакой. Пользы от нее не больше, чем от моста, построенного до середины реки. Все эти получестные фильмы и книги с полуправдивыми мыслями, стремившиеся заменить тьму невежества серостью, вся эта слякоть оттепельная, создавали у людей привычку доводить мысль до середины, а далее увиливать — и в результате привели к тому, что происходит сейчас.

Профессиональные советские писатели искренне обижались на всяческих нарушителей конвенции, на тех, кто перся напролом, сочинял что-то безо всякого расчета на главк, грубо нарушал утонченную традицию невинных намеков. Они искренне считали, что это как-то малохудожественно.

— Солженицыну хорошо... — задумчиво говорила начинающая советская писательница из второго уже поколения жителей Пахры. У нее была такая замедленная речь, с несколько ноющей, жалобной интонацией. — Он просто берет и правду пишет... — канючила она, — а мы должны думать о форме...

Она думала, бедненькая, что говорить правду как-то нехудожественно. Можно простить ее ошибку, так как она никогда не пробовала и никого не знала, кто бы пробовал.

— Ну а зачем Александру Аркадьевичу понадобилось сочинять эти неосторожные песенки? — говорила писательская жена про бывшего друга семьи Галича.

Осуждала я их тогда с подростковой прямолинейностью. Но и потом никак не могла понять, думала, что всё это делается просто ради денег. Пока не прочла у Чеслава Милоша: люди боятся остаться в неизвестности. Боятся стать маргиналами. Они хотят идти магистральным путем истории, даже если в данный исторический момент этот магистральный путь довольно ужасен.

Для меня, подростка, люди делились на трусов и героев. Такое было незамысловатое мышление. Да и историческая эпоха была намного проще, чем теперь. Можно сказать — повезло. Но для старших, для жителей Пахры и Аэропорта, все делилось на дураков и серьезных людей.

Дураки-маргиналы лезут на рожон. Серьезные люди охотно признают свою пассивность, но с выражением ироническим: зато мы не дураки-маргиналы, мы заняты серьезным делом. Мы — профессионалы, а они — дилетанты.

Так всегда бывает. Люди солидные высчитывают все возможные варианты, понимают, что в девяти случаях из десяти ничего не получится, только останешься в дураках, — и разумно ничего не предпринимают. Маргиналы лезут на рожон, и в девяти случаях из десяти действительно ничего не получается. В лучшем случае над ними посмеются, в худшем — катастрофа.

В одном случае из десяти у них получается такое, что серьезным людям и не снилось.

Первым прочитанным мною в машинописи текстом была пьеса

Галича «Матросская тишина». Мне было лет тринадцать, и это еще не считалось самиздатом – просто в доме на Аэропортовской все носили друг другу рукописи. Вначале рукописей было много, некоторые про лагерь. Еще ничего не запрещалось, но довольно скоро всё встало на свои места.

Пьеса Галича была про евреев и произвела на меня сильнейшее впечатление. Раньше про евреев я читала только Шолом-Алейхема. С тех пор всё, напечатанное на машинке, переданное на короткий срок, вызывало у меня заведомое доверие и повышенный интерес.

Теперь я знаю, что реакция читающего очень сильно зависит от готовности обращать внимание, что всякое художественное произведение происходит на полдороге – там, где встречаются автор с читателем. Всякий читающий – соавтор пишущего.

Но читатель самиздата встречался с автором на тайной явке и мог вполне реально оказаться не только соавтором, но и поделником. Поэтому у самиздатского текста изначальная ценность всегда была: уж очень дорого он мог обойтись, слишком многим не только автор, но и читатель, рисковал.

Самиздат был близок к теперешнему электронному чтению беспредметностью, эфемерностью, отсутствием полиграфии, вещности, эстетики, часто даже и имени автора. Чистая идея, только слово, только текст. Прочитаешь – и исчезает. И, как теперешние писания в эфире, самиздат смыкался с фольклором: безымянная многоголосица. Ворованный воздух.

Теперь грустно перечитывать философские и политические тексты, да и вообще почти все тексты, написанные в те затхлые и тухлые времена. Написанное в стол, положенное на полку, прочитанное от силы несколькими десятками людей – нельзя даже сказать, что эти несоревнившиеся рукописи дождались своего часа. Потому что их свой час уже прошел. Пришел автор на свидание – и никто его не встретил. Тех читателей, которые могли бы понять все оттенки и особенности речи и намеки на лету подхватить, и пришли бы на эту встречу со своим граненым стаканом, и пошел бы пир горой... – их уже нет. Всё, что автор сказал тогда первым, что было его открытием, уже стало общим местом благодаря просто течению времени. Упало дерево в лесу – и никто не услышал.

И поэтому особенно поразительно, если при последующем перечитывании, уже в безопасных буржуазных обстоятельствах, не за одну ночь второпях, не слепым, а вполне типографским шрифтом, некоторые – очень немногие – тексты не только сохранили для меня свою ценность, но даже оказались намного ценнее, чем при первом прочтении.

Намного ценнее оказалась поэма «Москва – Петушки», которую я в первый раз прочла в слепой машинописной копии, вскоре после написания. Никаких сведений ни о книжке, ни об авторе, кроме того, что были у нас с автором общие друзья. Цитату одну запомнила и долго повторяла: «Гёте сам не пил, но других подначивал».

Спустя много лет сопровождала Горбаневскую в книжный магазин в Бруклине, и она ушучила среди золоченой новорусской полиграфии замечательное издание Ерофеева, похожее на детские книжки времен нашего детства. Большая книга, вся сплошь иллюстрированная. И вот я прочла эту книгу заново, не зная, что гениальность Венечки Ерофеева была уже к тому времени признана и общеизвестна: для меня это стало моим собственным открытием. А цитаты про Гёте там нет, это меня память долгие годы обманывала.

Написанное Амальриком полвека назад совершенно современно не только содержанием, но и тоном, духом и языком, уж не говоря о феноменальной точности некоторых его исторических предсказаний. О нем надо бы не только научные исследования, а романы сочинять. И можно бы сделать замечательное кино с приключениями: любовь, героизм, божественная жизнь, искусство, изгнание, внезапная трагическая смерть. Противостоял он не только тому, чему и все его сотоварищи противостояли, но и всяческой общности и групповой идее. Характер, говорят, у человека был тяжелый. А индивидуализм не поощрялся даже и в диссидентских кругах. Предпочитают люди, чтобы даже инакомыслие было иным по общепринятым стандартам.

Летом после окончания МСХШ я осталась в городе одна, сдавала экзамены в институт. Сдала, поступила. В очень жаркий день, в августе, встретила в аэропортовском дворе Ангелину Николаевну, жену Галича, она меня поздравила и позвала к ним – отпраздновать. Там Галич, одетый исключительно в сатиновые семейные трусы – шортов тогда еще не придумали, – с гитарой на шее сочинял песню. Я уважала его за пьесу, а про песни еще тогда не знала, да и никто почти не знал. Галичи налили мне первую в моей жизни маленькую рюмку коньяку. Я была невероятно польщена и благодарна. Только в тот момент почувствовала, что поступить во ВГИК – не фунт изюма.

Незадолго до поступления в институт я прочла «Один день Ивана Денисовича», и среди прочих идей – например, что он описывает не отдельную ситуацию лагеря, а всю страну, в которой существует рабовладельческое общество, а также, что поработанным людям остается одна форма свободы – словотворчество, создание своего языка, – так вот, кроме всего этого, усвоила я идею сохране-

ния энергии: солдат спит, срок идет. Именно так и провела свои годы во ВГИКе. Старалась отделиться, жить внутри себя, ни во что не включаться. Институт я считала советским учреждением, профессоров – начальниками, то есть классовыми врагами. Это было большой ошибкой. Например, пантомиму преподавал нам Александр Румнев, а ассистентом у него был Евгений Харитонов. Тот самый, ставший основоположником новой русской гомосексуальной литературы. Впрочем, он не очень преподавал, почти всегда сидел где-то на заднем плане, был примерно одного возраста со студентами, если не моложе. Иногда выпивал с нами. Смутно было известно, что у него в жизни есть какое-то тайное несчастье, – теперь понимаю, что под несчастьем подразумевался гомосексуализм, воспринимавшийся в те времена как неизлечимое венерическое заболевание. Но тогда думала, что несчастьем было место его рождения – Сибирь.

Историю искусств преподавала Паола Волкова. Она была еще очень молода и на лекциях любила разговаривать обо всем на свете, часто не относившемся к истории искусства. Например, рассказывала, что учившийся тогда у нас Никита Михалков полностью отказался от умонастроений своей семьи и даже ушел из дому. Время доказало ошибочность этого утверждения.

Потом то же отношение перенесла я и на свою студию «Союзмультфильм». И вот сколько с тех пор произошло изменений, но до сих пор не знаю – а не была ли я в таком своем упрощенном детском понимании более права, чем теперь, со всеми оттенками и объяснениями? Столько теперь рассказов есть о том, как деятели искусств были вынуждены, но в душе сопротивлялись... Честно говоря, тогда это незаметно было. Вот был человек, например, секретарем комсомольской организации, а в глубине души сопротивлялся... но незаметно. Может, мой тогдашний примитивный отказ вглядываться в оттенки был гигиеничнее?

Это было довольно глупо, но так я и прожила всю свою оставшуюся жизнь в той стране, – вроде бы поджидая отхода поезда на очень, очень холодной платформе. Не помню точно, с какого времени я была уверена, что мне там не жить, – но уж точно с шестьдесят восьмого года.

Синенькие маленькие томики, размером с моего Пушкина. Многие из них пропали за долгие годы, но десятка два осталось. Раньше у них были разноцветные, пастельных тонов, суперобложки; такие бумажные обложки по-английски называются dust jacket, пыльники. Пыльники эти почти все потерялись.

Всё это английская классика 18-19 века, издания Oxford Press.

То, что считают классикой сами англичане, а не русские. Романы Джейн Остин, Лоренса Стерна, Тобиаса Смоллета... Но и Конан-Дойль, который считался у нас низким жанром, а в англоязычном мире давно уже стал классикой, и «Остров сокровищ». У русских существует своя собственная английская литература, сочиненная великолепными переводчиками; в ней Голсуорси – главный писатель.

Эти десятка два книжечек – всё, что у меня осталось от моего первого сумасшедшего замужества. Вышла я замуж, как это принято в неразвитых цивилизациях, очень рано. Очень ненадолго и почти понарошку.

Об этом эпизоде никто и не помнит. Ни в справочных аппаратах многочисленных биографий, ни в мемуарах и статьях я, временный родственник того странного семейства, никогда не упоминалась. И правильно: брак этот случился, с одной стороны, – по абсолютно детской, своевольной уверенности в возможность приснившегося киселя похлевать, превратить романтические бредни в реальность, с другой стороны, – в связи с нехваткой жилья в городе, где квартирный вопрос так испортил нравы. Романтическая сторона была целиком и полностью моя, а женившегося на мне очень странного мальчика интересовал квартирный вопрос, ему хотелось уехать из дома. Отец его прославился своими страшными запоями на нескольких континентах.

Следует, однако, назвать вещи своими именами: мальчик был сыном одного из самых известных шпионов двадцатого века. Некоторое время, около года, я была – вроде бы, почти что, с большими оговорками, – их родственницей. Праздновала Рождество и ела самый настоящий диккенсовский сливовый пудинг со шпионами, с главными Иудами Британской Империи. Меня, глупую туземную девочку, считали временно полезной для здоровья их заблудшего сына, но справедливо надеялись, что эпизод продлится недолго.

Ну, начав с увлечения Ильей Глазуновым и начитавшись Александра Грина – чего еще можно было ожидать?

В свое извинение могу только сказать, что в ситуации не понимала совсем ничего. Когда мне говорили: он прячется, о месте его проживания никому нельзя говорить, – я-то думала, что если человек прячется, то от ГБ. Что-то мне мерещилось из области Коминтерна, некий коммунизм с человеческим лицом... Не могла же я себе представить, что прятались они от британской разведки, ЦРУ и мировой прессы.

Но ведь не я одна плохо понимала, с кем имею дело. Ведь и авторы биографий, мемуаров и статей плохо понимают всю эту историю,

несмотря на работу в открывшихся спустя каких-нибудь полвека архивах...

Есть профессии, в которых отсутствие результатов не мешает блистательной карьере: экономисты-теоретики, политологи и особенно шпионы. Ведь ничего полезного для британской разведки и дипломатии из деятельности этих людей произойти не могло по определению – они работали на совсем другую организацию. Это не помешало им сделать блистательные карьеры. Они прекрасно писали докладные, носили правильную одежду. А в те времена если твои, скажем, ботинки были не того фасона или рукава пиджака слишком коротки, или, хуже всего, если твоё произношение было плебейское, то это имело решающее значение. А если засланных тобою добровольцев на враждебной территории какого-нибудь коммунистического государства всегда, без исключения, раз за разом, ожидала засада и немедленная смерть – это было ничего, издержки производства. Только доложить по начальству следовало в подобающей форме. Ведь добровольцы-патриоты с горящими глазами были инородцами, не в тех пиджаках и не с тем акцентом.

Ну, может политкорректность – пошлая вещь. Но не ужас ли то, что было до политкорректности? Ведь эти джентльмены, представители высшего общества и борцы за общество бесклассовое, за Интернационал, за гегемонию пролетариата и светлое будущее всего человечества, – они не то что цветных, инородцев и представителей низших классов, они даже и своего круга женщин не считали людьми. Но как были милы, как очаровательны!

Очарование у людей, как у кошек, происходит от привычки быть избалованными. Не красота и ум порождают успех – предыдущий успех рождает последующие. Обаяние – следствие успеха. Посмотрите, как домашняя кошка подставляет башку, пихает под руку, ожидает ласки. Бездомная кошка прячется и шипит, и в нее кидают камень. Врожденный успех, то есть привилегия рождения, делали их, представителей высших классов, очаровательными.

Однажды я сказала:

– Ведь твои родители – интеллигентные люди...

Это очень рассмешило моего британского мужа. Смешно ему было, потому что это определение – для меня несомненный комплимент – для них было символом маргинальности, подозрительного инородства, достигающего своей кульминации в иудее. Или в той форме иудея, которая называется «русский интеллигент», не обязательно даже еврейского происхождения. Интеллектуалы всё же бывают и среди джентльменов, интеллигент же – чисто русская категория, вечно находящаяся в страдательном залоге и винительном падеже.

Разошлись мы через несколько месяцев. Бывший муж со временем слился в моей памяти с князем Мышкиным, Ясным Соколом, персонажами Ивлиева. Мне осталась в наследство драгоценная для советского человека вещь – замшевая куртка. Куртка сносилась много десятилетий назад. А библиотека английской классики, маленькие синие книжки – вот они, на полке стоят.

Жили мы и ждали, как в той стране все всегда ждут. И в ожидании всё прядут и ткут свои теории, концепции и философские системы. Ткут и распускают, ткут и распускают. Всё всегда начинается заново и с нуля, как будто не было уже этих утонченных и витиеватых систем раньше, узоров этих мыслительных; ничего ведь этой тканью на удержись, не изловишь – расплзается. Ткут и распускают, ткут и распускают; слова распускают, слюни распускают, сопли распускают... Ждут Годо, Одиссея или, на худой конец, Ревизора. Вот приедет барин, барин нас рассудит... Цивилизация эта – это цивилизация? Нет, конечно. Скажем, культура? Нет, какая там культура: традиция. Традиция эта вечно женственная, полная собой, Пенелопой, в своих поисках вечной истины не просто безрезультатная, а гордо безрезультатная. Ведь пока распускаешь и распускаешься, не надо жениха окончательно выбирать, можно проводить ночи за пряжей.

Кухни, кухни, на которых языки наши тархтели, как ткацкие станки Любови Орловой в фильме «Светлый путь»! Как мы говорили, как мы прекрасно говорили! – или казалось, что прекрасно, потому что не чай же там пили, и не по усам текло... и нравы ведь тоже распускались. Под кухонным столом, под прикрытием клеёнки, в тесноте гость случайно клал руку на колено хозяйке... Говорили мы так, чтоб на всякий случай всё нами сказанное всегда можно было принять за иронию. Молодости вообще свойственен панический страх, как бы чего не сморозить. Художники были тогда, целое течение художественное, которые почти не касались карандашом бумаги, почти следов никаких не оставляли. Ничто в те времена ни к чему не приводило и взывало к любви не заслугами какими-то, не победами, – а именно своей болезненностью и недостаточностью, дрожащими огнями, многократно облешей покраской, вечно неудавшимися реформами. Вроде бы мы пародировали, вроде бы мы иронизировали над тем, кто мог бы что-то всерьез сказать, любое слово вроде бы имело противоположное себе значение. Так Каренин, пародируя страстно любящего мужа, разговаривает с Анной, именно на этом пункте она и понимает, как он ей осточертел и опостылел, и начинает в глубоком подсознании замышлять измену... Всё утирается ясный сокол, и как только терпят бабы...

Иронизировали об евразийстве, скажем, или о том же Прусте. А

рядом – по странному безразличию советской архитектуры к мелочам и физиологическим потребностям – находилась уборная. И гости делали вид, что не существует доходящих оттуда время от времени звуков. Ибо длинна ночь, бесконечна пряжа, сложны проблемы евразийства, а человек-то слаб, слаб человек. Особенно дамы, особенно хмельная хозяйка, беременная то ли от хозяина дома, то ли от гостя, положившего ей руку на колено... А ведь и не разберешься в тесноте – чья рука. Чья была рука-то? – как спросил бы Рогожин. И нет, никто не делает вид и никто не притворяется, все искренне не замечают. Потому что знают, что только так и может быть, и это прекрасно, это и есть действительность, данная нам в ощущениях, а другой не дано и не надо: клеенка, кухня, пепельница. Клеенка, немножко липкая, прилипающая к руке летней ночью, крошки впиваются в локоть, если облокотиться и говорить, говорить, говорить. Пепельница, из которой к концу вечера, к середине ночи, уже и бычки будут вытаскивать, курить ничего не останется. И распустим теории, и начнем прясть сначала, и повторится всё, как встарь: бормотание бачка, бульканье бутылки, бард, бред...

Этим и соблазнялись приезжие, молодые стажеры, студенты лучших университетов, прошедшие через горнило экзаменов и курсов. В их западном мире, в цивилизациях реальных и рациональных, именно в молодости конкуренция страшнее всего; она, конкуренция, всем правит, сладкие годы молодости стажеры на нее ухlopали...

Но ведь в глубине души даже самые успешные победители курсов, получатели грантов и лауреаты премий – ведь и они знают, что удача временна, иллюзорна... Может быть, они, умные, лучше всех и знают, потому что много прочли.

Попав в холод, скудость и темноту, которые заранее так долго изучали, окруженные прототипами, – как же они быстро растворялись в среде! Как же они, усталые от многолетнего юношеского недосяпа, быстро распускались: снова живем, все там будем, всех денег не заработаешь, работа не волк... Ведь правда, правда же это!

Когда люди говорили о своих планах на будущее, я слушала сочувственно, но внутренне удивлялась: – Какие могут быть планы на будущее здесь, в этом месте? Планы на будущее предполагают надежды на успех. У меня было ощущение, что успех в тех условиях был позором, всегда компромиссом, часто – цепью мелких предательств. Привычка к успеху разъедала людей изнутри. Я выросла среди очень успешных людей.

Не берусь логически, исторически, морально и философски

обосновывать такую точку зрения, потому что это была не точка зрения, а чувство.

Моя относительная честность была скорее наивностью и чистоплюйством и во многом объяснялась тем, что я жила в обеспеченной семье, с поисками еды и жилья и прочими ужасами мне до отъезда дела иметь не приходилось. Почему я, собственно, уехала? Потому что в то время для элементарной порядочности нужен был героизм. Мне повезло, я в молодости дружила с людьми, которые на это были способны. Но мне совершенно не хотелось жизни, в которой всегда есть место подвигу. Я предпочитаю общество, где отказ сотрудничать с убийцами не требует особой гражданской доблести.

Нас держали в неподвижности, на оттянутой назад тетиве. А потом выстрелили во внешний мир. В этот сказочный, загробный мир капитализма, который сохранился для нас только в книжках про старые времена, но в то же время был миром, ушедшим на десятилетия вперед. Наши представления о прошлом и будущем тошнотворно закружились. Машина времени мотала нас по кольцу Мёбиуса.

Через несколько месяцев после отъезда я оказалась в Венеции.

У людей, сбежавших из тюрьмы, бывают нереалистичные представления о прелестях свободы. Мы ожидали от таинственной заграницы, от легендарного Запада, освобождения от всех законов не только социальных, но, возможно, и времени и пространства.

В Венеции именно это и произошло для меня. Всё же раньше под ногами была земля, а над головой небо, — а здесь и того не было, улицы были не улицы, всюду вода под ногами, между домами расщелины, коридоры, над которыми неба — узкая струйка.

Биеннале того года, 1977-го, была посвящена советскому подпольному искусству, квартирным выставкам и самиздату. Самиздат наш, тетрадочки и листочки, лежал в музейных витринах — как каменные наконечники стрел неолита, как обломки этрусских ваз. Очень сильно действовало на мозги человека, впервые вышедшего из этого неолита всего лишь три месяца назад. И вот в музее — а это было на площади Св. Марка — мне показывают мое прошлое в застекленной, с температурным контролем витрине. На сыром венецианском ветру полощутся геральдические полотнища со списками моих соучеников по МСХИИ.

По площади Св. Марка идет наш бывший сосед по Розовому Гетто — Галич, ставший жителем Парижа, под руку с Синявским. Бродский читает стихи в театре Ла Фениче, золоченой табакерке. Он выглядел веселым и после чтения радостно рассказывал, что накануне какой-то художник-нонконформист свалился-таки по пьянке в канал.

Галич умер в Париже через две недели. Театр Ла Фениче сгорел восемнадцать лет спустя, в тот самый день, когда умер Бродский.

Когда я отплывала от Венеции, начиналось наводнение. Мне всерьез показалось, что город тонет, что я отвернусь – и Венеция утонет, растает, как и вся моя предыдущая жизнь.

Нью-Йорк

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Андрея Битова 1937–2018

3 декабря 2018 года в Москве скончался Андрей Георгиевич Битов. Он родился в Ленинграде в страшном для страны 1937-м, в год Большого террора. Его жизнь вобрала в себя все драмы и надежды его народа.

Через двадцать лет Андрей поступил в Ленинградский горный институт. Откуда его исключили за протест против казни лидеров Венгерского восстания 1956-го – участники литобъединения символически сожгли литературный сборник, в который входили, в том числе, и первые рассказы Битова. Отслужив, он восстанавливается в институте, оканчивает его, но к тому времени ему самому уже понятно, что его призвание – литература. Он пишет стихи, прозу. В 1965 году становится членом Союза писателей. С 1960 по 1978 год вышло около десяти книг его прозы. В 1978 году в США был опубликован роман Андрея Битова «Пушкинский дом». Это стало началом нового эстетического направления в русской литературе. В 1979 году Битов – участник бесцензурного литературного альманаха «Метрополь». И с этого года его имя оказывается под запретом в СССР. Но его жизнь писателя продолжилась в самиздате.

С Перестройкой издательская судьба его произведений меняется. За этот период выходит больше его книг, чем за всю предыдущую творческую деятельность. Он активно участвует в литературном и общественном движении России, выезжает за границу с лекциями, в том числе – в знаменитую Русскую школу в Норвиче, Вермонт. В 1988 году он – один из создателей Российского ПЕНа, с 1991-го – его президент.

Андрей Георгиевич Битов преподает в Литературном институте, издает новые книги. В марте 2014 года, в свете аннексии Крыма, вместе с другими известными деятелями науки и культуры России Андрей Битов в Открытом письме выразил свое несогласие с политикой российской власти.

За годы творчества Андрей Битов стал лауреатом многочисленных российских и международных премий. Ему присуждена Пушкинская премия фонда А. Тепфера (Германия), Государственная премия Российской Федерации за роман «Улетающий Монахов», орден «За заслуги в искусстве и литературе» (Франция) и др. «Битов открыл новую область исследования, при этом обнаружив абсолют-

ный уровень в слове», – писал о нем российский поэт и критик Юрий Карабчиевский.

Прах писателя захоронен на его родине, в Санкт-Петербурге, на Шуваловском кладбище. «Новый Журнал» выражает свои соболезнования родным и близким покойного.

Редакция «Нового Журнала»

Памяти друга

Он родился в Ленинграде, в приснопамятном 37-м году. «Успел» пожить в осажденном городе, был «блокадником». Окончил Горный институт, но первые опубликованные рассказы привлекли внимание известной ленинградской писательницы Веры Федоровны Пановой. Высшие литературные курсы в Москве сделали его одним из многих советских людей, «метавшихся» между двумя столицами.

Никто так точно не описал моей первой несчастной влюбленности, как он. Это были его «Дни человека». Потом я прочитал едва ли не всё, что он написал: «Пушкинский дом», «Уроки Армении», «Улетающий Монахов», «Семь путешествий»... Ставлю многоточие, потому что любой его текст – кладезь мудрости, пример высочайшей требовательности к себе как писателю. Не побоюсь громких слов, назвав его классиком современной русской литературы... О многом говорит присужденная ему в девяностые годы ушедшего века Пушкинская премия...

Помню, как пригласил его на литературное объединение «Магистраль», руководимое поэтом Григорием Михайловичем Левиным. На следующем после визита Андрея занятии Григорий Михайлович сказал: «Со временем на этом здании (то был, к слову сказать, Центральный дом культуры железнодорожников, ЦДКЖ) будет висеть мемориальная доска в честь Андрея Георгиевича Битова». Дай-то Бог!

Несколько лет он был президентом российского ПЕН-Центра – на эту должность Битова рекомендовал первый президент этого Центра – Анатолий Наумович Рыбаков.

Андрей был настоящий ленинградец: мягкий, обходительный, интеллигентнейший человек. Он гордился тем, что родился в день основания родного города. Последний раз я слышал его прекрасный голос в мае сего года, когда по телефону поздравил его с днем рождения. Увы, тот день рождения оказался последним.

Вечная память, Андрей.

Владимир Нузов

ОБ АВТОРАХ

АМУРСКИЙ Виталий (1944, Москва). Поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический ф-т МОПИ, позднее — Сорбонну. Публиковался в журналах «Континент», «Вестник РХД», «Футурум АРТ», «Мосты» и др. Более двадцати лет работал в русской редакции Международного французского радио. Автор книг «Памяти Тишинки», «Запечатленные голоса», «Тень маятника и другие тени»; поэтических сборников: «СловЛарь», «Трамвай 'А'», «Tempora mea», «Серебро ночи», «Земными путями» и др. С 1973 г. живет во Франции.

АНАСТАСЬЕВА Ирина Леонидовна (1959, Краснодар). Историк культуры. Окончила филологический факультет МГУ в 1986 году, диссертация посвящена русской религиозной философии. Автор статей в контексте курсов истории Русского Зарубежья; по игровой культуре, по русской литературе 1-ой и 2-ой пол. XIX века.

ГРИГОРЬЕВ Александр (1984, Керчь). Журналист. Окончил филологический факультет МГУ, кандидат филолог. наук. Волонтер итальянской экологической ассоциации Legambiente. Публиковался в периодических изданиях Крыма. Живет в Подмоскowie.

ГРИЦМАН Андрей (Москва). Поэт, издатель. С 1981 г. в США, работает врачом. В 1998 г. окончил литературный факультет Университета Вермонта. Публикуется в ж. «Октябрь», «Новый мир», «Арион», «Вестник Европы», «Новая Юность», «Сибирские огни» (Россия), «Новый Журнал» (США), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Стетоскоп» (Париж), «Крещатик» (Германия) и др. Автор книг стихов «Ничейная земля», «Двойник», «Пересадка», «In Transit» (англ., рум.), «Остров в лесах», «Голоса ветра», «Pisces», «Long Fall» (англ.) и др. Ведущий международного клуба поэзии в Нью-Йорке и редактор журнала INTERPOEZIA.

ДАНИЛЬЯНЦ Татьяна. Поэт, кинорежиссер. Автор книг «Красный шум», «Белое», «Венецианское». Лауреат Фестивалей свободного стиха (Москва; 1993, 1994), лауреат международной литературной премии «Носсиде» (Реджио Калабрия; 2008, 2011), лауреат премии «Бродский на Искье» (2018). Стихи переведены на англ., франц., нем., итал., польский, армянский, китайский, сербский, македонский и др. Книги стихов изданы в Италии, Польше, Франции, Армении. Член российского ПЕНа. Живет и работает в Венеции и в Москве.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа «In Search of Van Dyck»; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology» (2013). Печаталась в ж. «Грани», «Континент», «Встречи», в НРС и др. Состояла в редколлегии альманаха «Встречи»; гл. редактор журналов «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». Награждена Национальной литературной премией им. Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 1970-х. Живет в Филадельфии.

ДУДУКИНА Елена (1983, д. Усады, Владимирская обл.). Поэт. Окончила филологическое отделение Владимирского ГУ. Автор сборников стихов «В этом городе», «Между небом и асфальтом. Визуально-поэтическая бродилка по Воронежу» (совм. с Д. Булавинцевым), «В котомке твоей», «Всякий звук» (2018). Публиковалась в российских журналах «Местное время», «День и Ночь», «Ямская слобода» и др. Член Союза российских писателей; лауреат воронежской литературной Исаевской премии (2016).

ЗОЛОТАРЕВ Сергей Феликсович (1973). Поэт. Автор книги поэзии «Книга жалоб и предложений». Публиковался в ж. «Арион», «Новый мир», «Дружба народов», «Новая юность», «Волга», «Prosodia», «Урал» и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015). Живет в Литве.

ИВАНОВА Ольга (2-ой псевдоним – Полина Иванова; автоним – Ольга Яблонская. Род. в Москве). Поэт. Окончила Литературный институт, отделение поэзии. С 1997 года состоит в Союзе писателей Москвы. Публикуется в ж. «Новый мир», «Континент», «Интерпоэзия», «Новый берег», «Арион», «Дружба народов», «Новая реальность», «Дети Ра» и др. Автор семи поэтических сборников и антологий, вышедших в России и за рубежом.

КЛИМОВ Алексей Евгеньевич (1939, Рига). Литературовед. Вторая волна эмиграции. Докт. степень по славистике получил в Йельском университете (1974). Преподавал русский язык и литературу в американских университетах, почетный профессор в Vassar College. Основные публикации – о Вяч. Иванове и А. И. Солженицыне в американских и российских научных сборниках. Среди последних – «The Soul and Barbed Wire: An Introduction to Solzhenitsyn» (2008; в соавторстве с Эдвардом Эриксоном).

КРАСИЛЬНИКОВ Андрей (1953, Москва). Прозаик. Окончил Литературный институт (семинар драматургии). Один из основателей телевизионного политического театра в 1980-е гг. («Гибель поэта», «Почему убили Улофа Пальме?», «Кругосветное путешествие Бертольта Брехта»). Лауреат Всероссийского конкурса драматургов «Долг. Честь. Достоинство» (2002). Автор романов «Отпуск», «Старинное древо», «Терпеливая история»; драматургических, прозаических и публицистических произведений. С 1992 года – первый секретарь правления Профессионального союза писателей России.

ЛИТИНСКАЯ Елена (Москва). Поэт. Окончила филологический факультет МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. Автор пяти книг стихов и прозы. Публикации в ж. «Новый мир», «Новый Журнал», «Слово/Word», «День и ночь», «Зарубежные записки», и др., а также в сборниках и альманахах. Президент Бруклинского клуба русской поэзии, заместитель главного редактора ж. «Гостиная». Живет в Нью-Йорке.

МЕКЛИНА Маргарита (1975, Ленинград). Прозаик, эссеист, журналист. Окончила филологический факультете Педагогического университета им. Герцена, СПб., и Университет Сан-Франциско. Автор книг «Сражение при Петербурге», «У любви четыре руки», «РОРЗ» (совм. с А. Драгомощенко), «А я посреди», «Моя преступная связь с искусством», «Вместе со всеми». Лауреат премии Андрея Белого (2003), Русской премии (2008), «Вольный Стрелок: серебряная пуля» (изд-во «Franc tigeur», 2009), Финалист премии «Нос» (2014); Лауреат премии им. Марка Алданова (2018). Автор многочисленных публикаций в англоязычных журналах. Живет в Ирландии.

МОТТ Александр (1947, Москва). Прозаик. Окончил факультеты журналистики и театрально-художественный. Работал редактором в московских издательствах, художником на ряде постановок в московских и областных театрах. В Нью-Йорке с 1992 г. До 2012 г. занимался компьютерной графикой. Печатался в российской периодике с 1964 г. В настоящее время работает над романом «Ангелу военной зимы», посвященной послевоенной эмиграции.

РАДАШКЕВИЧ Александр (1950, Оренбург). Поэт, эссеист, переводчик. Эмигрировал в 1978 г. в США, работал в библиотеке Йельского университета. С 1984 г. живет в Париже. Работал редактором в «Русской мысли». В 1991–1997 гг. был личным секретарем Великого князя Владимира Кирилловича Романова. Автор десяти книг поэзии,

прозы и переводов. Член СРП и СП XXI века, представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции. Стихи переведены на англ., фр., серб., болг. и араб. языки.

УРАЛЬСКИЙ Марк (1948, Новокузнецк). Окончил МИТХТ. Автор книг о литературно-художественном андеграунде «Камни из глубины вод», «Немухинские монологи: портрет художника в интерьере андеграунда», «Избранные, но незванные: Историография независимого художественного движения», «Небесный залог». Под псевдонимом «Николай Марин» выпустил сборники стихов «Янус», «Антология русского верлибра». Автор статей по истории Русского Зарубежья, книги «Неизвестный Троцкий. Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны» (2017). Публикуется в «NOVUM-Verlag» (Австрия), «Крещатик» (Германия) и др. С 1992 г. живет в Германии.

ЧЕРВИНСКАЯ Наталья (Москва). Прозаик. Окончила режиссерский ф-т ВГИКА. Работала на киностудии «Союзмультфильм». Эмигрировала в 1977 г. Занимается миниатюрной живописью, скульптурой. Пишет рассказы, публикуется в ж. «Знамя», «Звезда», «Новый Журнал». Сборник рассказов и повестей «Поправка Джексона» вошел в список «Русской премии» (2013). Лауреат Литературной Премии им. Марка Алданова (2012). Живет в Нью-Йорке.

ШАПОВАЛОВ Вячеслав (1947, Фрунзе/Бишкек, Киргизстан). Доктор филологических наук, профессор, академик. Народный поэт, заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии Киргизстана; литературных – Русской премии, Премии им. Фазиля Искандера и др.; автор 12 поэтических сборников, ряда книг переводов тюркской народной поэзии, лирики XX в., поэзии Запада и Востока. Публикации в ж. «Арион», «Дружба народов», «Знамя», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Литературный Киргизстан», «Литература», «Новая Юность», «Новый берег», «Шо», «Эмигрантская лира», «Prosodia» и др. Живет в Киргизстане.

ШЕВЧЕНКО Ганна (г. Енакиево, Украина). Поэт, прозаик. Лауреат международного драматургического конкурса «Свободный театр» (Минск) и премии Gabo Prize Winners (Великобритания) за стихотворные переводы; финалист поэтической премии «Московский счет», лауреат международной премии Фазиля Искандера. Автор книг «Подъемные краны», «Домохозяйкин блюз», «Обитатель перекрестка», «Форточка, ветер» (2017). Живет в Украине.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

General Sponsor of The New Review, Inc.: Zimin Foundation
The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patron: Mr. S. Hollerbach; Russian Nobility Association in America;

Benefactors: The Tcherepnine Society, Mr. P. Tcherepnine;

Sponsors: Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin;

Fellows: Mr. G. Glinka; Mr. & Mrs. B. Pushkarev;

Friends: Mr. M. Averbuch; Mrs. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff.

It requires the support of loyal friends for year 2019:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@gmail.com

Израиль: Альберт Фейгельсон: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Малый Гнездниковский пер., д.12/27,

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

на сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

www.newreviewinc.com

www.newreviewworld.com

www.rusdocfilmfest.org

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2019

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – \$ 145.00, за границу – \$ 190.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 76.00, за границу – \$ 110.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – \$ 5.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – \$ 315.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review
611 Broadway, # 902, New York, NY 10012

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
www.newreviewworld.com
newreview@msn.com
newreviewworld@gmail.com
